

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1995

1

1995

НОВОВЪЛН МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(837)

Январь, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

«НОВОМУ МИРУ» — 70 ЛЕТ 3

АЛЛА ШАРАПОВА — И улыбнулся ей ангел, стихи 5

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА — Великий поход за освобождение Индии.

Революционная хроника 10

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — В форме яблока, стихи 98

МАРК КОСТРОВ — Дульные тормоза. Рассказы об НСА — Незави-
симой северной армии 101

ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Простые песни, стихи 137

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Ю. КАГРАМАНОВ — Империя и ойкумена 140

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. В. ВИНОГРАДОВ — «...сумею преодолеть все препятствия...».
Письма Н. М. Виноградской-Малышевой. Составление и подго-
товка текста Г. А. Золотовой и В. М. Мальцевой. Вступительная
статья и комментарии А. П. Чудакова 172

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. БОРОВИКОВ — В русском жанре 214

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Пафос границы 221

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

224

А. Кузнецов. М. М. Бахтин серьезный и «несерьезный».
Павел Басинский. Памятник Кольшко-Серенькому.
Андрей Немзер. Воспитание исторического чувства.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИРИНА СУРАТ — «Твое пророческое слово...» 236
БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ ПРОТИВ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА 240
ЙОРГ Р. МЕТТКЕ — Письмо в редакцию 242

КОРОТКО О КНИГАХ:

Юрий Кублановский. — «Арион». Журнал поэзии.
№ 1, 2. ♦
А. Андрюшкин. — «Ной». Армяно-еврейский вестник.
№ 1 — 8 243

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА». 1985 — 1994 247

КНИЖНАЯ ПОЛКА 254

ПАМЯТИ А. С. БЕРЗЕР 255

SUMMARY 256

«Новый мир» — 70 лет издания.
«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.
«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Уважаемые читатели! Если вам удобно самим приехать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
Fax (089) 54-218-218

«НОВОМУ МИРУ» — 70 ЛЕТ

Эти семь десятилетий, почти совпавшие с существованием СССР, были прожиты журналом не в безвоздушном пространстве — вместе со страной и эпохой. Журнал был основан коммунистическими властями. В первом номере «Нового мира» центральное место занимала статья Ульянова-Ленина о диктатуре пролетариата. В разные годы печатались и официальный доклад Молотова 1939 года о разгроме Польши, и брежневские мемуары, и суровые инвективы в адрес проклятых троцкистов, вредителей и проч.

Печатали Есенина и Луначарского, Безыменского и Пастернака, М. Калинина и Платонова, А. Толстого и Пильняка, Шолохова и Солженицына, Фурманова и Ахматову, Горького и Бродского, Пришвина и Демьяна Бедного, Gladкова и Цветаеву, Леонова и Манделштама, Софронова и Федора Абрамова, Михалкова и Трифонова... Стоит ли продолжать? История нашей словесности XX века — со всей ее славой и позором — так или иначе запечатлена на страницах «Нового мира».

Имя нашего журнала прочно связано с именем А. Т. Твардовского. О тех годах, той редакции, ее судьбе написано уже много, в том числе и на страницах «Нового мира»; на Твардовского постоянно оглядываешься. Но и это уже история. Ее можно изучать, чтить, обсуждать. Но нельзя перенести в настоящее.

Сегодня мы действительно другой журнал — не тот, что был в 20-е годы, в 40 — 50-е, не тот, что в «твардовские» 60-е и не тот, что в застойные 70-е. «Новый мир» всегда должен быть новым.

В первые годы перестройки, когда еще свирепствовала цензура, мы вступили с нею в решающую схватку.

Общая, или гражданская, цензура всеми силами противилась публикации солженицынского «ГУЛАГа».

«ГУЛАГ» у нас прошел.

Цензура военная задерживала «Стройбат» Сергея Каледина. «Стройбат» у нас прошел.

Нам противостояла цензура «атомная». При поддержке А. Д. Сахарова мы едва ли не через год мытарств напечатали «Чернобыльскую тетрадь» Григория Медведева и целую серию статей, посвященных проблемам экологическим. В частности, приостановили проект переброски стока северных рек на юг.

Уже тогда мы печатали до той поры закрытые для прессы произведения Пастернака, Набокова, Домбровского, Хайека, Доры Штурман... — не перечислить тех, кто благодаря «Новому миру» предстал в поле зрения тогдашнего еще советского читателя.

Статьи таких авторов, как Селюнин, Шмелев, Клямкин, без преувеличения явились тогда учебными пособиями не только для деятелей рыночной экономики, но и для широкого читателя.

По мере сил мы и сегодня стараемся поддерживать этот уровень.

Меняется Россия, меняются авторы, сотрудники и читатели. Мы сегодня далеко не всем любезны, но у нас есть свой читатель.

Что же такое «Новый мир» сегодня? В самом общем смысле он журнал демократический. Каким он получается, пусть судят читатели. А каким мы сами хотели бы его видеть — можно сформулировать так: мы журнал либеральный. Не в смысле аморфно-безответственном, а в смысле последовательного отстаивания либеральных ценностей — незабываемости частной собственности, свободы предпринимательства, невмешательства государства в частную жизнь и т. д. Мы журнал безусловно светский — и тем не менее христианский, в том отношении, что именно христианские ценности видятся нам необходимым фундаментом ценностей либеральных. Мы журнал российский, поскольку нас в первую очередь волнует жизнь нашей страны, ее культура, благополучие, свобода, безопасность. Мы журнал независимый, и если надо напоминать, что ж, напомним: мы не красные и не коричневые. Мы не являемся, как раньше говорили, органом какой-либо партии.

Мы считаем необходимым давать читателям как можно более адекватную и разнообразную картину того, что происходит сегодня в российской словесности. Далеко не все происходящее в ней нас радует. Но мы, журнальные работники, не можем придумать какую-то другую литературу, иную, чем она есть в действительности. Не всегда то, что журнал (и сама литература) может предложить читателям, совпадает с нашими личными вкусами, хотя мы стараемся, чтобы наша позиция играла роль при отборе материала. Ведь свобода слова, печати состоит не в том, чтобы каждый журнал, например «Новый мир», предоставлял свои страницы для всех без исключения точек зрения и для любых литературных экспериментов, но в том, чтобы в обществе свободно действовал полный спектр периодических изданий, отражающих разные точки зрения и стилистические течения.

К нашей самооценке следует, наверное, добавить еще два понятия: консерватизм и историзм. Сохранение памяти о прошлом сказывается во внешнем облике журнала, почти неизменном на протяжении десятилетий, в устойчивом подборе и расположении журнальных рубрик. Что касается содержания, то обращение к предыстории, к корням каждого злободневного общественного явления и литературного факта составляет, как мы надеемся, отличительную черту публикуемого и придает ему проблемность. Поэтому и впредь наши страницы будут широко предоставляться архивным публикациям и историческим разысканиям. Некоторый налет академичности, неизбежный и даже желательный при таких задачах, надеемся, не отпугнет закаленного новомирского читателя.

В конце-то концов мы такие, какие есть, и судить о нас надо прежде всего по содержанию наших номеров.

К сожалению, «Новый мир», как и многие другие журналы, убыточен. Деньги, полученные от подписчиков, не играют существенной роли в нашем бюджете. Наша подписная цена заведомо ниже себестоимости журнала, да наши подписчики, зачастую люди скромного достатка, и не смогли бы оплатить реальную стоимость изготовления журнала.

Будучи журналом ежемесячным, с долгим производственным циклом, мы, в отличие от газетчиков, не всегда можем поспеть за быстротекущим днем. Но мы к этому и не стремимся, предпочитая освещать скорее вопросы общие, чем частные. Факты устаревают, проблемы остаются.

«Новый мир» существовал до нас. Живет при нас. Будет он и после нас — хочется верить, не под новым тоталитарным гнетом, а в России свободной и богатой.



АЛЛА ШАРАПОВА

*

И УЛЫБНУЛСЯ ЕЙ АНГЕЛ

* *
*

Всего прекрасней ранние вставанья
И празднующих городов салюты,
Которые не меркнут от сознанья,
Что пошатнулась вера в абсолюты.

А за окном промчавшаяся надпись,
Хоть славилась она творцов бесправья,
Она так хорошо вписалась в насыпь,
Как в корки книг их славные заглавья.

Она сердца переполняла тайной
В те дни, когда читать мы не умели
И рупора над пыльной крайной
О том, что мир прекрасен, нам шумели.

Кострома

Спой мне, мать моя Кострома,
Как сводили строптивых с ума,
Как их бедность вела под венцы,
Как дарили им кольца купцы
Да просили сыграть что-нибудь...
Как с обиды им целились в грудь,
Как с обрыва толкали их в пруд, —
Не утонут, от ран не умрут,
Ведь не тело, а кровь да эфир
У Ларис, у Анфис, у Глафир...
Из эфира и крови луна.
Монастырская в поле стена.
За стеной, за излучиной — Плес.
Два пригорка в венцах из берез,
Как жених с нареченной, стоят.
Белый катер летит на закат.

* *
*

В черных телеграфных проводах
Запевают звездные хоралы
Что-то о веселых поездах,
Малость не домчавших до вокзала.

Только крест приблизится к кресту
И кресту прошепчет: «Вы тут крайний?»
И считаю за верстой версту
Вдоль от Магадана до Украины.

И пока, свиваясь, темнота
У твоих ресниц не закружится,
Спят на электрических крестах
Белые фарфоровые птицы.

И, урвав какой-то сладкий миг
От забот ночного перелета,
Ястребы бросаются на них,
Как на хаты бомбы с самолета.

И летят, голодные, назад,
Лишь побьются клювы по фарфору,
Да глядят бездонные глаза
В филиново око светофора...

«Я к тебе, единственный мой друг!
Видишь, я прозяб до подноготной,
Кровь больная просится на юг
От клопов, от пагубы цинготной.

Я давно хотел. Но кровь раба
Не пускает в дальнюю дорогу.
Вроде бы осел, моя судьба,
Стал поприживаться понемногу.

Там ведь тоже город — Магадан.
Там другое море — но ведь море...»
(Видится ему упругий стан,
Силуэт на вылинявшей шторе,

И как золотого светлячка,
Чуть не захлебнувшегося в рюмке,
Вынимала тонкая рука,
Как потом он гладил эти руки.

Тридцать лет как нет ее руки, —
И еще найдешь такую где же?
А в лесу на юге — светлячки,
И всегда они одни и те же!)

«Равновесья не сулил тот год,
Все тряслось, шарахалось, металось...
Девочка моя, послушай вот,
Понимаешь, что мне намечталось?»

Чтобы Рай, Чистилище и Ад
Взять на землю из мечты поэта...
Почему твои глаза горят?
Я ведь просто так. Прости мне это.

Слушай! Размотал я двадцать лет,
Двое нас осело в Магадане:
Я да мой сокамерник-сосед,
Мы с ним воевали у Тамани.

Пучеглазый этот крокодил,
Денщиком служил он у комдива —
Как на бал, расстреливать ходил,
Падают по одному, красиво,

Это, молвит, надо понимать,
И глаза у самого смеются.
Как хотелось руки мне размять,
По стене трухлявой размахнуться,

Чтоб ни этой рожи, ни стены...
Но одними русскими попами
И одной мы верой крещены
И одними кусаны клопами —

Спинами же спим к одной стене...
Одного лишь не могу постичь я:
Почему ты улыбнулась мне
Из твоих туманов, Беатриче?

Ты меня простила? Как летят
Верстовые! Разве в силах спать я...
С каждой высоты они глядят,
Эти птицы, с каждого распятья!..»

Он к утру забудет обо всем,
И столбы и думы канут в бездну.
Лишь вагон последним колесом
Медленно гремит по переезду.

* *
*

С книгами присядем на полу,
Скажет: «Аллушка, Алуся, Лу!»

Я не много знаю русских слов,
Но читай мне русский Часослов,

Каждый слог в нем сердце мне щемит,
И в ушах как будто сад шумит,

Нет, не райский — Гефсиманский сад,
Как иуды, в нем плоды висят

И на камень падают, стуча...
Аллушка, Алушта, Алыча,

Я устал, что люди не равны,
Я ничьей перед собой вины

Не хочу — лишь белый снегопад
И в надтреснутом стекле лампад

На святой огонь смотреть мне дай...
Ты читай, читай, читай, читай...»

Сидя на подоконнике

Много ль надо мне? Я ведь маленькая.
Отчего меня гонят прочь?
Может, чертова, может, маменькина,
Но ведь все же я чья-то дочь...

И, наверное, назло нотариусам,
Подписавшим мне целый свет,
Я на кромке окна состариваюсь,
И других территорий нет.

В тех каморках, где лампы-виселицы
И надгробные потолки,
Где красивый чахнет от сифилиса,
Некрасивая от тоски, —

Там философ, что бредил ангелами,
Скажет мне, покосясь на свет:
«Где бессилён закон Евангелия,
Вам, живой ещё, места нет!»

Что ж! Порода моя не редкостная!
Не таится же от людей!
Окрестите меня окрестностями
И бескрайностью площадей!

Уведи меня, путешественница,
В законную сей страны!
«Извините, — скажет, — предшественница,
Людям мертвые не нужны».

Вот и жизнь — не сойтись с покойниками,
Без меня и живые пьют.
И разрезан мир подоконниками
На свободу и на уют.

* *
*

Я только мертвого тебя успела
Поцеловать в лицо, мой адресат.
А с неба падал снег такой же белый,
Как год назад и триста лет назад.
Он тихо шел, как велено природой,
Никем не вызван и не отменен,
И был он бел, без племени и роду,
Без очерка, без цвета, без имен.
Струился свет в пространствах заметных,
И ничего не знало Бытие
Белей, чем снег над кровью обреченных,
Поверивших в бессмертие свое.

Имя

Имя мое не вини, ко лжи не причастное: Алла.
Лгали другие слова, но имя не лгало.

За озорные слова, за неверность родне,
За беспокойство, убившее силу во мне,
В час установленный жизнь у меня отнимая,
Имени не отними, оглашенного, гласного: Алла...

Так говорила, о Боже, раба Твоя Алла,
В церкви забвенной под антифон причитая,
Плача так безутешно, как плакала Галла,
Что не пустила ее на Афон Пресвятая.

И улыбнулся ей Ангел, среди облаков пролетая.



ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА

*

ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ

Революционная хроника

Посвящается — красноармейцам, командирам и комиссарам Первого особого ордена Боевого Красного Знамени революционного кавалерийского корпуса им. В. И. Ленина.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В СЕ ТАЙНОЕ ОДНАЖДЫ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. ПРИШЛО ВРЕМЯ УЗНАТЬ САМУЮ БОЛЬШУЮ И САМУЮ СОКРОВЕННУЮ ТАЙНУ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ОНА НАСТОЛЬКО НЕВЕРОЯТНА, ЧТО У КОГО-ТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОМНЕНИЯ. СОМНЕВАЮЩИМСЯ ПРИДЕТСЯ НАПОМНИТЬ СЛОВА ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦИИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА, СКАЗАННЫЕ ИМ НАКАНУНЕ ЭТИХ ПОКА ЕЩЕ НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫХ СОБЫТИЙ: «ПУТЬ НА ПАРИЖ И ЛОНДОН ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ГОРОДА АФГАНИСТАНА, ПЕНДЖАБА И БЕНГАЛИИ». НЕ ЗНАТЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ ЗНАЧИТ НЕ ЗНАТЬ ПРАВДЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Глава первая

Индия. Штат Махараштра. Мертвый город. 23 октября 1961 года.

Тучи сгустились быстро и незаметно, на мгновение всех ослепила огромная, от неба до земли, белая ветвистая молния, и с неба хлынули потоки теплой, нагретой тропическим солнцем воды.

Совместная археологическая экспедиция АН СССР и МГУ дружно выскочила из раскопочной ямы и с криками, смехом и девичьим визгом понеслась к сооруженному неподалеку навесу.

Накрывшись джутовыми циновками, сгрудились в стороне от навеса индийцы.

— Эй, идите к нам! Здесь сухо! Кам ту ас, френдс! — звонко и весело прокричала им светловолосая, с длинной толстой косой девушка в ситцевом цветастом платье.

Индийцы застенчиво улыбались в ответ, но не двигались с места.

— Хинди, руси пхай-пхай! — озорно настаивала девушка.

— Прекратите, Эра, как вам не стыдно! — рассерженно обратился к ней руководитель экспедиции членкор Олег Януариевич Ямин. — Неужели вы не понимаете, что за это их хозяин может их уволить!

Но девушка уже забыла об индийцах, она выбежала под дождь, расправила руки, как крылья, закружилась на месте и запела радостно:

Пароход белый-беленький,
Черный дым над трубой,
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой..

— Эрка, простудишься! — кричали ей из-под навеса, но она продолжала кружиться и петь, а остановилась тогда, когда кто-то спросил:

— А где же Муромцев?

— Там, где нас уже нет, — ответил кто-то, и все рассмеялись.

Девушка приложила ладони ко рту и закричала в сторону раскопной ямы:

— Шурка!

— Муромцев! — поддержали ее другие.

— Так, давайте хором, — деловито скомандовал Олег Януариевич. — Три-четыре!

— Му!!! Ром!! Цев!!

Индийцы удивленно смотрели на русских и встревоженно переговаривались.

В мокрых до нитки ковбойке и брюках «техасах», босой, сидел на корточках в оплывающей красной грязи Шурка Муромцев и мокрым носовым платком протирал мокрые линзы очков. За этим занятием он, шурясь, посмотрел на небо и проговорил с досадой:

— Господи, как ты мне надоел!

— Му-ром-цев! — донеслось до него сквозь шум ливня.

— И вы тоже! — прибавил Шурка.

Однако продолжать работу было невозможно. Шурка надел очки и поднялся в то мгновение, когда еще одна молния осветила все вокруг, и что-то блеснуло вдруг прямо у Шуркиных ног. Это был сабельный эфес со сломанным наискосок почти у самого основания клинком. Шурка жадно смотрел на находку.

— Великие моголы? Непохоже... — разговаривал он с собой и, перевернув эфес, замер, застыл, окаменел.

Третья молния была яркой и долгой. Она осветила прикрепленный к эфесу ярко горящий орден Боевого Красного Знамени. Грянул гром.

— Ну вот и все... — потрясенно прошептал Шурка...

Селение Карахтай под Ташкентом.

19 января 1920 года.

В мечети было так накурено, что сизый махорочный дым, словно пуховые перины, укладывался слоями один на другой почти до самого сводчатого, расписанного орнаментом потолка.

Председатель революционного суда, он же начальник штаба, бывший матрос с «Авроры» Артем Шведов оцепенело смотрел в зал, где стояли, сидели и лежали бойцы Первого революционного кавалерийского корпуса, сморщился вдруг, будто собрался заплакать, огромными татуированными ладонями стал по-детски тереть выедаемые дымом глаза, торопливо схватил скрученную раньше козью ножку, прикурил, глубоко затянулся и облегченно вздохнул.

Слева от него сидел комиссар корпуса Григорий Брускин, рыжеволосый, носатый, с детским розовым румянцем на щеках. Спрятав, как гимназист, на коленях книгу, он с увлечением ее читал.

Справа от председателя сидела Попова Наталья, заместитель комиссара Брускина, замком, она же секретарь суда. Полногрудая, голубоглазая, желтоволосая, стриженная. Подперев щеку рукой, она то ли задумалась о чем-то, то ли замечталась.

Брускин с усилием оторвался от книги и негромко обратился к Шведову:

— Почему встали? Кто следующий?

— Да Новик Иван, — неохотно ответил председатель суда.

— Вызывайте.

— Веди Новикова, — хмуро приказал Шведов часовому, смачно плюнул на ладонь и погасил об нее самокрутку.

Когда боковая дверь распахнулась и важно вошел, сложив на груди руки, подсудимый, публика оживилась и зашумела.

— Ивану Васильевичу!.. Товарищу комэску!.. Держись, Ванюха! — приветствовали подсудимого.

Иван был высок, жилист, широкоплеч. Холеные, чуть рыжеватые усы были лихо закручены к тонким и злым ноздрям. На нем не было ремня и портупей, и потому гимнастерка напоминала бабью рубаху, но зато высокие хромовые сапоги сияли почти зеркальным блеском. Иван сел на табурет, не убирая рук с груди, закинул ногу на ногу и оглядел всех — насмешливо и снисходительно. Рядом, тяжело дыша, смущенно переминался часовой. На каждом его сапоге налипло не меньше чем по пуду грязи.

— Значит, так, — глухо заговорил председатель, — судим Новика... Новикова Ивана. За матершинство и рукоприкладничество. Рассказывай, Козленков.

Из первого ряда с готовностью поднялся щуплый, мелкий мужичишка с черным заплывшим глазом и охотно заговорил:

— Все как на духу скажу, товарищи! Ругался он, ругался по матушке и по-всякому, а как я его поправил, он ка-а-ак!..

— На какие буквы ругался? — перебил его Шведов.

— На буквы? — не понимал Козленков.

— Ясное дело — на буквы. Или ты на весь революционный суд матюганить станешь? — Председатель почти не скрывал своей неприязни к потерпевшему.

— На буквы, значит? — кивнул Козленков и стал загибать пальцы. — На букву «ведя», на букву «глаголь», на букву «добро» было, на букву «есть» тоже есть, на букву «живете» много, на букву «жер» вообще сколько раз...

После каждой буквы зал одобрительно вздыхал, вспоминая хором, и председатель затаенно улыбался в вислые усы, кивая сам себе еле заметно, подтверждая свое знание любого непечатного слова.

Когда незагнутых пальцев на руках потерпевшего не осталось, он опустил руки и прибавил расстроено:

— И это еще... на букву «ять»...

Суд замер и онемел. Шведов поднял голову, чтобы кивнуть, но остановился. Улыбка под усами пропала, и в глазах возникло мгновенное смятение. Комиссар Брускин оторвался от книги и завертел, ничего не понимая, головой. Наталья зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться, но глаза ее хохотали.

Все обратили взор к Новикову, потому что хотели знать то единственное слово, которого не знали они. Но подсудимый криво усмехнулся и отвернулся.

— Ванька Сунь тозе лугала! — выкрикнул высоко, вскакивая, китаец-кавалерист.

— А тебя на какие буквы? — устало спросил председатель.

— Сунь буква не знай! Китаеса лугала!

— Так ты и есть китаец! — высказался, пожимая плечами, комэск Колобков.

— Сунь не китаеса, Сунь — буденовса! — В подтверждение Сунь надел на голову явно великоватую буденовку. — Молда желтозопая лугала! Хотела Сунь молда бить! Сунь безала, лецька пльгала, вода холодная целый день стояла. Ванька белег лезала, ханка пила, табак кулила!

— Так ты же, черт, Шарика слопал! — взорвался комэск Колобков.

Одни засмеялись, другие заругались, сплевывая в пол. Стало очень шумно. Окончательно заинтересованный происходящим, Брускин закрыл книгу и положил на стол. «Лев Троцкий. Война и революция» — было написано на ее красной обложке.

Председатель застучал кулаком по столу и закричал:

— Тих-ха! Какие будут предложения?

— Предложения? Снять его с верхов! — отозвались из первого ряда, где сидел потерпевший и такие же, как он, худосочные обозники.

— Он, гад, как мимо обоза проезжает, так непременно нагайкой по спине стеганет, не пропустит!

— Нехай пешком потопает, комэск!

— Отказаковал, будет!

— Та вы що, хлопци! Куды мы бэз Ивана? — взревел, поднимаясь во весь свой богатырский рост, комэск Ведмеденко. Круглая его рожа, расседенная наискосок сабельным шрамом, побагровела от возмущения.

— Ничаво, не помрем небось, — отзывались обозники.

— Вин чоторех Георгиев мав! Вин у нашей казачий дывизии генерала Жигалина першим казаком був!

— Ишь ты! Вспомнила бабка, как девкой была! Молчал бы уж, галушечник!

— Так вы шо, с глузду сыхали? Як же бэз Ивана ляхов рубати будемо?!

— И без Новика Варшаву возьмем!

— Тих-ха! — кричал Шведов и колотил кулаком по столу, но безрезультатно — шум стоял ужасный.

И вдруг стало тихо. Из середины зала поднялся и направился к сцене, прихрамывая и покашливая, маленький шуплый человек в застегнутой под горло шинели. На груди его в красной окантовке горели два ордена Боевого Красного Знамени. Это был командир корпуса Лапиньш. По лицу его катился пот, и одновременно его бил озноб. Он остановился и, дождавшись, когда все затаили дыхание, заговорил тихим скрипучим голосом:

— Это не есть революционный сут. Это есть палакан. Я смотрю на этот конвоир и тумаяю: потому у него на сапоках грязь, а у потсутимого — сапки, как у белоко офитера на палу?

— Да чего тут думать, Казис Янович, все видели, как он его сюда на закорках ташил! — подсказал кто-то.

— Это не есть революционный сут. Тистиплина катастрофически патает. Пьянка, траки, маротерство...

— Так сидим же без дела, Казис Янович, скучно!

— Скорей бы на Варшаву!

— Скучно? — возвысил голос комкор. — Сейтяс стелаю весело. Тяя сокранения тистиплины в корпусе претлакаю комантира эскатрона Новикова — расстрелять.

— Ох! — испуганно выдохнула Наталья.

Лапиньш первым поднял руку и повернулся к сидящим напротив красноармейцам. Он смотрел на одного, другого, третьего, и никто не выдерживал взгляда его маленьких прозрачных глаз — все поочередно поднимали руки. Их становилось все больше и больше. Было тихо и страшно. И вдруг кто-то засмеялся. Смех был сдавленный, но веселый. Лапиньш заметался взглядом по залу. А смех становился громче и свободнее.

Смеялся Новиков. Не смеялся уже, хохотал.

— Ты що, Иван? — растерянно спросил его Ведмеденко и улыбнулся.

— Смешно дураку... — прокомментировал кто-то раздраженно.

Но смех штука заразная. Загыгыкал Ведмеденко, закатился Колобков, засмеялись те, кто был за Новикова, а потом и те, кто был против. Глаза Лапиньша стали белыми, рука судорожно ковыряла кобуру.

— Есть еще одно предложение! — вскакивая, звонко выкрикнул комиссар Брускин. — Товарищ Новиков — злостный нарушитель дисциплины, и наказание, которое предлагает Казис Янович, сегодня ~~не~~ соответствует

тяжести содеянного. И если мы сейчас вынесем этот приговор, то это будет справедливый приговор, потому что наш суд сегодня — самый справедливый суд в мире. У нас заседают не какие-нибудь двенадцать паршивых присяжных, а десятижды двенадцать, присягнувших собственной кровью! Но не сегодня-завтра мировая революция огненным смерчем пронесется по всей планете и принесет с собой новый суд, в котором будут новые миллионы присяжных! И как бы тут не совершить нам ошибку, товарищи... Вдруг наш приговор окажется недостаточно справедлив, и тогда нас самих надо будет судить по всей строгости нового закона! Поэтому я предлагаю принять предложение товарища Лапinyша, но применить его условно, отложив дело товарища Новикова до рассмотрения его в Мировом Революционном Трибунале!

— Правильно!

— Молодец, товарищ комиссар!

— Да здравствует товарищ Брускин!

— Да здравствует мировая революция!

Предложение понравилось всем. Во-первых, потому, что смерти Новикова здесь все же никто не желал, а во-вторых, потому, что это решение еще на шаг приближало к мировой революции.

— Товарищ Лапinyш! — закричал, вбегая в мечеть, телеграфист, путаясь в телеграфной ленте. — Товарищ Лапinyш! Телеграмма от товарища Ленина!

...Индийское солнце плавно погружалось в Индийский океан. Оставляя следы на песке, шли вдоль берега членкор Ямин и Шурка Муромцев.

— Понимаете, Олег Януариевич, — говорил, задыхаясь от волнения, Шурка, — я соглашался с вами в том, что найденные мною кавалерийские шпоры и стремяна остались от англичан, что пуговицы от красноармейских гимнастерок — это наша послевоенная помощь дружественному индийскому народу, но... после этой находки... Они здесь были, понимаете, были!

— Нет, их здесь не было! — убежденно и твердо сказал Ямин.

— Почему?

— Потому что их не могло здесь быть!

Шурка торопливо вытащил из кармана находку, постучал пальцем по ордену.

— А это? Что это такое, Олег Януариевич?

Ямин остановился.

— Мы ведем раскопки эпохи Великих Моголов. Столько потрясающих находок! Один шлем Бабура чего стоит. Это же будет сенсация в научном мире! И только вы, Шура, один вы находите нечто подобное. Могу я вас спросить — почему?

Шурка задумчиво посмотрел вдаль. Индеец в набедренной повязке вытащил на берег лодку со спущенным парусом и, отдыхая, держась за поясницу, смотрел на них. У его ног крутилась большая черная собака.

— Не знаю, — тихо сказал Шурка и перевел взгляд на Ямина. — Может быть, потому, что я ищущ?

— А вы не ищите, понимаете, не ищите! Я запрещаю вам искать! — закричал вдруг Ямин.

Шурка потрясенно смотрел на него. Ямин виновато улыбнулся.

— Извините, Шура... Извините и послушайте... Вы мой любимый ученик. Уверяю — вас ждет блестящее будущее! Если только вы забудете про все это раз и навсегда!

Шурка посмотрел на злосчастную находку в своей руке, потом на Ямина.

— Но как я могу забыть?.. Она ведь есть...

С мальчишеским проворством Ямин вдруг выхватил эфес и с силой швырнул его в океан. Улыбнулся, глядя на потрясенного Шурку, развел руками и сказал с облегчением:

— А теперь нет.

— Что... вы... наделали?... — пятась к воде, зашептал Шурка.

Ямин повернулся и быстро пошел к лагерю, по-детски подсакивая при каждом шаге от радости, остановился и сообщил, улыбаясь:

— И на всякий случай я отстраняю вас от раскопок.

Москва. Кремль.

4 февраля 1920 года.

За длинным дубовым, с зеленым суконным верхом столом сидели Шведов, Лапиньш и Брускин. Обычно розовые щеки комиссара сейчас горели от волнения кумачом. На лбу Лапиньша выступила испарина. Шведов то клал ладони на стол, то прятал их на колени.

Напротив сидели слева направо: Троцкий, Ленин и Сталин. Подавшись вперед, в полном тревоги молчании вожди пристально взирали на простых солдат революции. Ленин вдруг поморщился и тронул правой рукой свое левое плечо. Сталин и Троцкий взглянули на Ильича встревоженно.

— Болит, Владимир Ильич? — глухим от волнения басом спросил Шведов.

— Ничего-ничего, — успокоил Ленин и в свою очередь с озабоченностью во взгляде посмотрел на Лапиньша. — А вот как здоровье комкора?

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич. — Лапиньш улыбнулся, обнажив мелкие желтые зубы. — Путет революция — путу и я.

— Вы совершенно правы, товарищ Лапиньш! — взволнованно подхватил эту мысль Ленин. — Если ради чего и стоит жить, то только ради революции! — Он стремительно поднялся и, сунув большие пальцы в вырезы жилета под мышками, заходил взад-вперед вдоль стола. — Начинайте вы, Лев Давыдович!

Хрустя кожаными галифе и тужуркой, Троцкий поднялся, поправил пенсне и заговорил:

— Мы не на митинге, поэтому скажу коротко: мировая революция в смертельной опасности! Если мы сегодня не нанесем удар по международному империализму, завтра будет поздно. В Европе все ждут нашего удара, и они его скоро дождутся: армия Тухачевского готова к походу на Польшу. Но не согласитесь ли вы с тем, что дом, зажженный с двух сторон, горит быстрее? С этой целью нами — я подчеркиваю, нами, в составе трех вождей революции, — разработан сверхсекретный план военного похода на Индию...

Шведов, Лапиньш и Брускин молчали и, казалось, не верили. Но горячо и страстно заговорил Ленин:

— Мы зажжем в Индии революционный огонь освободительного движения, и разбегающиеся английские колонизаторы на своих крысиных хвостах разнесут его по всему миру! Да, товарищи, сегодня путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии!

Троцкий резко повернулся к Ленину.

— Через Афганистан идти нельзя, Владимир Ильич.

— Почему? — удивился Ленин.

— Англичане однажды завязли в Афганистане, как в топком болоте, а нам нужен стремительный штурм!

Ленин согласно кивнул.

— Хорошо, на Афганистан пойдем позднее. Ваше слово, товарищ Сталин.

— В связи с особой секретностью нашего плана мы отказались от привлечения к работе бывших царских офицеров. Будете разрабатывать маршрут на ходу и действовать по обстоятельствам. Здесь, — Сталин положил ладонь на лежащую перед ним толстую кожаную папку, — мы собрали различные исторические документы по Индии. Оказывается, товарищи, еще Павел Первый готовил поход на Индию...

— Вот видите — еще Павел Первый! — воскликнул Ленин. — А знаете, почему это ему не удалось?

Никто не знал, но Ленин не стал томить с ответом.

— Потому что Павел Первый не был большевиком!

— В целях секретности ваш корпус расформируется и весь личный состав будет числиться среди пропавших без вести. Отныне вы будете называться так: Первый особый революционный кавалерийский корпус, — сообщил Троцкий, сделав ударение на слове «особый».

— Имени Ленина, — прибавил Лапиньш.

— Что? — Ленин остановился.

— Владимир Ильич, братки просят, — улыбаясь, объяснил Шведов.

Взволнованный Брускин часто кивал, подтверждая.

— С вашим именем на нашем знамени мы скорее освотим Индию, — объяснил Лапиньш.

— Нет, нет и нет! — горячо воскликнул Ленин. — Не к лицу пролетарскому вождю устраивать себе при жизни кумирню!

— Это особый случай, Владимир Ильич, — сказал Троцкий.

— Я тоже так думаю, — присоединился Сталин.

Ленин молчал. Брускин улыбнулся.

— В конце концов, Владимир Ильич, наш корпус теперь секретный, и об этом никто не узнает.

Ленин рассмеялся.

— Ну хорошо уговорили. Но вернемся к делу. — Ленин вновь заходил взад-вперед.

— В целях секретности предлагаю взять с каждого бойца подписку о неразглашении тайны — пожизненно. — Сталин стал раскуривать трубку.

— Молодец, Коба! О победах революции должны знать все, о поражениях — никто! — воскликнул Ленин. — Но мы верим в вашу победу! Когда вы начнете в Индии, Тухачевский закончит в Польше. И мы сразу направим его армию к вам. Надо будет продержаться совсем немного. — Он вдруг улыбнулся улыбкой простой и теплой. — Ну вот и все. Вопросы есть, товарищи?

— Нет, — ответил Лапиньш.

— Нет, — ответил Шведов.

— Есть, — сказал Брускин и поднялся. — Есть у нас в корпусе командир эскадрона товарищ Нови́ков...

— Иван Васильевич? — перебил его Троцкий. — Прекрасно его знаю! Прирожденный воин! Я лично вручал ему почетное революционное оружие. Что с ним?

— Он от скуки стал водку пить, драться. Мы его судили и чуть не приговорили к расстрелу, а потом отложили рассмотрение дела до победы мировой революции...

— Мировая революция! — Ленин улыбнулся. — Пусть товарищ Нови́ков приближает ее победу! И передайте ему от меня революционный привет!

...Сидя в тени растущего на краю села баньяна, пристроив на коленях дощечку, Шурка с воодушевлением мастерил из бумаги пилотки, кораблики и рыбок. К нему стояла очередь из полуголых, а то и совсем голых индийских детей, и, подходя к Шурке и протягивая бумагу, каждый делал заказ:

— Hat... Fish... Ship¹.

Из стоящей рядом Шуркиной «Спидолы» звучала сладкая индийская музыка. Шурка быстро исполнял заказ и весело кричал по-русски:

— Следующий! Повеселей, товарищи, повеселей!

Маленький рахитичный пацан протягивал маленький ветхий листок:

¹ Пилотка. Рыбка.. Кораблик. (Англ.)

— Ship.

Муромцев глянул на листок и помотал отрицательно головой.

— Ноу. Ту литл, а также ту олд, — объяснил он свой отказ.

Малец неотрывно смотрел огромными печальными глазами. Слезы были совсем близко. Шурка поморщился.

— Ну давай! Литл шип? — спросил он, улыбнувшись.

Малец кивнул, и глаза его счастливо засияли. Шурка положил листок на дощечку и вдруг замер. Почти выцветшие от времени, там были русские буквы, русские слова.

— Что-о-о? — Шурка схватил листок, приблизил его почти вплотную к очкам и стал дрожащим от волнения голосом читать вслух: — «Вчера какой-то махатма начал рассказывать историю... История, или сказка, или анекдот заключается в том, что четыре путешественника открыли неизвестное место, окруженное глухой высокой стеной. Им очень хотелось видеть, что находится за ней, и поэтому ценой невероятных усилий один из них забрался на стену и посмотрел внутрь. И тут же он издал крик радости и восторга и прыгнул туда. Больше его не слышали и не видели. Дальше махатма по-восточному многословно живописал точно такие же действия остальных троих. А вот концовку истории я не узнал. Снова поперли англичане, и Новикову пришлось...»

Здесь запись обрывалась. Шурка поднял на пацана круглые глаза.

— Вер из ю... Вер а ю... Черт, где ты это взял? — в нетерпении закричал Шурка.

Малыш испуганно вздрогнул, повернулся и побежал к селу. Шурка вскочил и кинулся вдогонку. Рядом неслись остальные. Лаяли собаки, с кудахтаньем выскакивали из-под ног куры, шум и суматоха поднялись страшные. Пацан заскочил в одну из хижин, а навстречу Шурке выскочила крупная, насуспенная, очень смуглая женщина. И Шурка стал извиняться и показывать ей листок, объясняя, путая слова английские и русские. Она поняла, и сведенные к переносице брови расправились.

— My big san knows... He is fishing now², — сказала она.

Удочка была воткнута в землю. Подросток-индеец лежал на песке и бесстыже разглядывал Марианну Вертинскую в декольте на обложке «Советского экрана». Услышав, а потом увидев толпу, он спешно закопал журнал в песок и поднялся, готовый дать деру. От толпы отделился Шурка. В одной руке его был тот листок, в другой — выключенная «Спидола» Шурка подошел и молча протянул листок. Подросток все понял, подумал и посмотрел в ответ на «Спидолу»...

...Комиссар Брускин оглянулся. Комкор Лапиньш верхом объезжал выстроенный в каре корпус. Играл духовой оркестр. А из оконца глинобитного сараюшка, служащего тюрьмой, доносился богатырский храп. Запор на дощатой двери был закрыт на веточку от хлопкового куста. Часовой отсутствовал.

Брускин вошел. На низком, заваленном хлопком топчане спал, разметавшись, Иван Новиков. На стене были отмечены палочками проведенные в тюрьме дни.

Брускин кашлянул негромко в кулак.

Иван спал.

Брускин кашлянул громче.

Новиков не реагировал.

Брускин кашлянул так громко, как только мог, но кашель вдруг стал бить его всерьез. Когда Григорий Наумович справился с кашлем, вытер выступивший на лбу пот и выбитые слезы, то увидел, что Новиков уже сидит на топчане и даже скручивает самокрутку.

² Мой старший сын знает.. Сейчас он на рыбалке (Англ.)

— Вернулись? — спросил Иван глухим со сна голосом.

— Вернулись, — кивнул Брускин.

И Новиков кивнул.

— А я слышу — оркестр, значит, думаю, вернулись.

— Я пришел вам сказать что вы свободны. Вы свободны, товарищ Новиков! — воскликнул Брускин с пафосом, но не удержался от улыбки.

Новиков закурил, выпустил дым, посмотрел на свои отметины на стене и мотнул головой удивленно.

— Не ждал я, что так быстро... Значит, уже победила?

— Кто? — спросил, склонив голову Брускин.

— Мировая революция...

— Пока нет...

— А как же? — Иван непонимающе развел руками.

— Но скоро обязательно победит.

— А как же — свободен? — недоумевал Иван.

— За вас ходатайствовал один человек.

Брускин загадочно улыбнулся. Иван в ответ улыбнулся недоверчиво.

— Разве ж есть такой человек, кого бы Лапиныш послушался?

— Есть.

— Кто ж такой, не знаю...

— Владимир... Ильич... Ленин...

— Не бреши! — Новиков глянул строго.

Брускин посмотрел искренне и серьезно.

— Честное большевистское!

И Новиков вскочил, подошел к комиссару почти вплотную и зашептал в лицо:

— Как он сказал?

— «Передайте мой революционный привет товарищу Новикову», — процитировал Брускин.

Новиков быстро отошел к оконцу, глубоко затянулся, выпуская дым.

— Мы идем на Индию! — задохнувшись от волнения, сообщил Брускин.

— На Индию так на Индию, хоть к черту на рога, — согласился Иван.

— Ур-ра!! Ур-ра!! Ур-ра!! — разнеслось по округе: корпус приветствовал известие о новом походе.

Новиков выскочил во двор, расправил с хрустом плечи, вдохнул полными легкими свежего весеннего воздуха и сжал зубы и кулаки, не зная, куда девать свою радостную беспредельную силу.

Мимо скакала на белой кобыле Наталья.

— Наталья! — взревел, раздувая ноздри, Новиков.

Наталья осадил лошадь так, что та встала на дыбки и заржала. Наталья улыбалась во весь рот и звонко прокричала:

— Эй, условно расстрелянный! На Индию пойдём?

...Эра стояла откинувшись, прислонясь спиной к наклоненной пальме. Шурка навалился на нее и целовал.

— Не надо, — просила Эра, громко и прерывисто дыша, и прижимала к себе Шурку крепче.

Глаза ее были закрыты, а Шуркины, наоборот, широко открыты. В стеклах его очков отражался огонь костра. Оттуда доносилась дружная и озорная песня:

«Когда же помрешь ты, милый мой дедочек?

Ой, когда помрешь ты, сизый голубочек?»

«Во середу, бабка, во середу, Любка,

Во середу, ты моя сизая голубка»

— Не на-адо... — страстно шептала Эра.

— Хорошо, — охотно согласился Шурка и с усилием высвободился из объятий.

«На кого оставишь, милый мой дедочек?
На кого оставишь, сизый голубочек?»
«На деверя, бабка, на деверя, Любка,
На деверя, ты моя сизая голубка!»

— Знаешь, я сейчас смотрю — и вижу их, — глядя на костер, сказал Шурка.

— Кого?

— Наших. Может быть, они вот так же сидели здесь у костра и пели... Может быть, даже эту самую песню.

Эра громко вздохнула, открыла глаза и выпрямилась. Во взгляде ее на Шурку была досада и даже раздражение.

— У тебя маниакально-депрессивное состояние, ты не находишь?

Шурка не обиделся, он, кажется, даже не услышал.

— Понимаешь, Эра, это какое-то недоразумение... Гигантское недоразумение. Трагическое недоразумение! Это должны знать все, а... не знает никто...

— Ты все это выдумал, Муромцев, выдумал! — закричала Эра.

— Выдумал?! — с ликованием в голосе спросил Шурка.

Озорная песня у костра вдруг сбилась и пропала, а вместо нее донесся строгий начальнический голос Ямина. Шурка и Эра прислушались.

Едем мы, друзья,
В дальние края!
Станем новоселами
И ты, и я! —

громко запели у костра новую песню.

— Выдумал... — прошептал Шурка. — Эрка, скажи, ты умеешь хранить тайны?

— Конечно, — с готовностью ответила Эра.

— Дай слово, что не расскажешь никому... Даже под пыткой!

— Честное комсомольское! — Она смотрела в Шуркины глаза прямо и искренне.

Шурка вытащил из-под ковбойки завернутую в целлофан тетрадь.

— Это дневник. Его вел во время похода комиссар Григорий Брускин. — Шурка осторожно переворачивал ветхие странички. — Вот! Они здесь были! Именно здесь, в Мертвом городе. Видишь? «23 февр. 1923 года. Мертвый город. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Только не знаю, поймет ли меня Новиков...»

— А кто такой Новиков? — шепотом спросила Эра.

— Не знаю. Пока не знаю. Но он здесь часто упоминается. И еще — Наталья. Мне кажется, он ее любил.

— Новиков?

— Брускин. А может, и Новиков... А вот смотри: «Сталин — это Ленин в Индии». Что это значит? Я не понимаю! А вот даже рисунок.

Во всю страницу было нарисовано развевающееся красное знамя.

— «31 декабря 1925 года. Они нас не замечают. Теперь заметят».

Эра замороженно переворачивала страницы и остановилась еще на одном рисунке.

— А это что?

— Понятия не имею...

— А я знаю. Это женщина, — уверенно сказала Эра.

— Женщина?

— Да. Голая и к тому же беременная. На девятом месяце наверняка, видишь, живот какой большой? Ой, Шурка, как интересно! У меня мурашки по спине бегут. Давай покажем Олегу Януариевичу!

Шурка испуганно закрыл тетрадь.

- Ни в коем случае! Он узнает это вместе со всеми!
 — С кем со всеми?
 — Со всей нашей страной... Со всем народом... Со всем человечеством!
 Песня у костра кончилась.
 — Муромцев! — закричали оттуда. — Му! Ром! Цев!
 Шурка посмотрел на Эру, взял ее за руку.
 — Слушай, Эрка, ты можешь спрятать его у себя? Но чтобы никто-никто!
 — Конечно, — искренне и уверенно ответила Эра...

*Селение Карахтай под Ташкентом.
 21 марта 1920 года.*

...Кавалеристы вольготно расселись и улеглись на зеленой траве под цветущими персиковыми деревьями. Курили, болтали, смеялись, смотрели в голубое небо. Под одним из деревьев расположилась Наталья. Ее ноги были укрыты красным знаменем с названием корпуса. Золотыми нитками она прибавляла к нему имя Ленина.

За накрытым кумачом столом сидел Брускин. Рядом стояли дед и внук Государевы, похожие друг на друга, благообразные. Дед держал в руках желтые пергаментные листы. Брускин улыбнулся ему и кивнул.

— «Се написах свое грешное хождение за три моря, — торжественно и протяжно, как на церковной службе, стал читать дед Государев. — Поидох от Спаса святаго златоверхаго и се его милостью, от государя своего от великаго князя Михаила Борисовича Тверьскаго и от владыки Генадья Тверьскаго и Бориса Захарьича и поидох вниз Волгою и приидох в Монастырь Колязин ко святей Троицы живоначальной и к святым мученикам Борису и Глебу; и у игумена благословив у Макарья и у святых братьи».

— Чего-то ты буровишь, Тимофеич, вроде по-нашему, а непонятно! — крикнул Новиков недовольно.

— Ты про Индию давай, не в церкви, слава богу, — поддержал Ивана комэск Колобков.

— Тише, товарищи, сейчас будет перевод, — объяснил Брускин.

И, заглядывая в лист, волнуясь, стал переводить Государев-внук...

...Была ночь. Шурка и тот подросток-индеец быстро шли вдоль берега к скалам. В руке подростка была Шуркина «Спидола» и гремела на всю громкость американским рок-н-роллом. Шурка светил себе под ноги фонариком-«жучком». Индеец выключил приемник и повернулся.

— He had a dog. Black dog³, — сообщил он важно.

Шурка кивнул...

... — «И есть тут Индийская страна, и люди все нагие: голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены. Все ходят брюхаты, детей рожат каждый год, и детей у них много. Мужы и жены все нагие и все черные. В Индийской земле гости останавливаются на подворьях, и кушанья для них варят государыни и спят с гостями...»

Государев-внук замолк вдруг и покраснел как маков цвет. Слушающим же, наоборот, понравилось, зашумели кавалеристы, загоготали, хлопая друг друга по плечам. Новиков крутил усы и посматривал на Наталью. Она же продолжала вышивать, делая вид, что ничегошеньки не слышит. Брускин кинул на нее смущенный взгляд и нахмурился.

— Тише, товарищи! — потребовал он строго. — Не забывайте, что писал это человек темный, отсталый, несознательный! И когда писал — пятьсот лет назад!..

³ У него была собака. Черная собака. (Англ.)

...Подросток-индиец остановился у небольшого отверстия в скале и указал на него пальцем:

— Here.

— Хи ливд хиа? — спросил Шурка недоверчиво.

— Yes⁴.

Шурка двинулся к отверстию, но индиец преградил путь.

— Watch⁵, — напомнил он

— Ах да, извини, сорри. Плиз.. — смутился Шурка, торопливо снял с руки и отдал свои часы...

...Кавалеристы слушали в молчании, некоторые даже открыв рот

— «Есть в том Аянде птица гукук, летает ночью и кричит «кук-кук», на которую хоромину она сядет, то тот человек умрет; а кто захочет ее убить, тогда у нее изо рта огонь выйдет. Обезьяны живут в лесу, и есть у них князь обезьянский, ходит со своей ратью. И если их кто тронет, тогда они жалуются князю своему и они, напав на город, дворы разрушают и людей побивают».

— Это что ж, мы с обезьянами там воевать будем? — удивленно и растерянно высказался один из слушателей.

— Не с обезьянами, а с англичанами, голова два уха, — поправил другой.

...Согнувшись, Шурка стоял посреди небольшой пещеры. Напряженно гудел «жучок» в его руке. У стены был устроен топчан из камней и кучи высохших водорослей. Столом и стулом обитателю пещеры служили плоские камни. У другой стены был выложен из камней очаг — над ним в скале сквозило отверстие. Над топчаном углем были отмечены палочками прожитые здесь дни. Шурка опустился на колени, стал шарить рукой по полу, но ничего не нашел. Тогда он подполз к очагу, запустил ладонь в кучу пепла и обнаружил в нем маленький бумажный комок. Шурка осторожно развернул его. Это была вырезанная из газеты фотография Мавзолея Ленина. Но вместо имени вождя кто-то накорябал на нем карандашом — «ШИШКИН»

— «.И в том Джумере хан взял у меня жеребца. Узнав, что я не мусульманин, а русский, он сказал: «И жеребца отдам, и тысячу золотых дам, только прими веру нашу Мухаммедову, если не примешь нашей магометанской веры, то и жеребца возьму, и тысячу золотых с твоей головы возьму». И учинил мне срок 4 дня, в пост Богородицы на Спасов день. И Господь Бог смилостивился на свой честной праздник, не оставил своей милости от меня, грешного, и не повелел мне погибнуть в Джумере с нечестивыми. В канун Спасова дня приехал хорасанец Ходжа Мухаммед, и я бил ему челом, чтобы попросил обо мне. И он ездил к хану в город и упрямил его, чтобы меня в веру не обращали; он и жеребца моего у него взял. Таково Господне чудо на Спасов день. Вот, братья русские христиане, тот оставь свою веру на Руси и призвав Мухаммедову, иди в индостанскую землю»⁶.

Слушатели молчали.

— Ничто, — спокойно прореагировал на это комэск Колобков. — У меня в эскадроне татар да башкиры чуть не половина. Ежели чего — в обиду не дадут. Правду говорю, Мустафа?

Засмеялись, загоготали кавалеристы...

⁴ — Здесь.

— Он жил здесь?

— Да. (Англ.)

⁵ Часы (англ.).

⁶ «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

...— «Шиш-кин», — прочитал Шурка по слогам и вдруг услышал голос Эры:

— Шура, ты здесь?

— Здесь! — обрадованно откликнулся Шурка. — Как ты меня нашла? — Он вылез на четвереньках из пещеры. — Представляешь, Эрка, что я тут откопал...

Он выпрямился и запнулся. Рядом с улыбающейся Эрой стоял улыбающийся Ямин. А чуть поодаль слева и справа стояли два крепких, похожих друг на друга молодых человека в черных костюмах и белых сорочках с узкими черными галстуками. Эти не улыбались.

— Познакомьтесь, Шура, наши товарищи из посольства, — ласковым голосом представил их Ямин. — А что вы там нашли, Шура?

Шурка все понял. Он торопливо сунул найденный листок в рот и стал часто-часто его жевать. Молодые люди кинулись к нему с двух сторон, но Шурка успел сделать судорожно глотательное движение и победно улыбнулся...

...Брускин стоял на табурете и говорил яростно и страстно. Никто из бойцов уже не сидел и не лежал, но все стояли, внимая своему любимому комиссару.

— Индия — такая же бедная страна, как Россия, только в России работодатели были свои, а там, кроме своих, еще и чужие — англичане. Сто тысяч англичан держат в рабстве триста миллионов индусов. Мы должны освободить их из этого рабства!

— Освободим! Разобьем англичанку! Даешь Индию! — снедаемые счастливым нетерпением, кричали бойцы Первого особого революционно-кавалерийского корпуса имени Ленина.

...— Наш самолет «ИЛ-18» совершает рейс по маршруту Дели — Москва, — хрипло объявила невидимая стюардесса и перешла на плохой английский.

Шурка не слышал. Он изменился, осунулся, даже постарел. Печальными страдающими глазами он смотрел не моргая перед собой. Рядом с ним сидел один из тех товарищей из посольства. Он дремал, а может, делал вид, что дремал. Его левая рука и правая рука Шурки лежали на подлокотнике рядом. Их соединяла тускло поблескивающая цепочка наручника. Сзади сидел второй товарищ из посольства и читал «Правду».

Шурка не слышал, потому что слушал другое — внимательно и напряженно. Сквозь натужное волнообразное гудение самолетных моторов пробивалась песня — кавалерийский походный марш, исполняемый одновременно тысячами луженых глоток, песня простая, счастливая и понятная, как правда:

Мы красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

Шурка осторожно приподнялся и, стоя на полусогнутых, посмотрел сквозь стекло иллюминатора вниз. Там лежали белые Гималаи. А в распадке тянулись черной вереницей люди. Они шли в сторону, обратную той, куда сейчас летел Шурка, они шли на юг, они шли — в Индию...

Глава вторая

ОНИ ШЛИ БЫСТРО, ОГИБАЯ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И НЕ ВСТУПАЯ В КОНТАКТ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. О ТОМ, ЧТО ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ САБЕЛЬ, НЕ СЧИТАЯ ДРУГОЙ, СОПУТСТВУЮЩЕЙ КАВАЛЕРИИ ЖИВОЙ СИЛЫ И ТЕХНИКИ, УЖЕ ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ ИНДИИ И УПОРНО ДВИЖУТСЯ НА ЮГ, ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ ДАЖЕ В КРЕМЛЕ.

Густое синее небо, голубой снег, зеленый рифленый лед. Среди гряды покрытых вечным снегом вершин выделялась одна — ее пик растворялся в невидимой вышине на фоне маленького, но ослепляюще белого солнца. В шинелях, в буденовках с застегнутыми клапанами на открытых полонани лошадях сидели изрядно замерзшие, красноносые комиссар Брускин и бывший комэск Новиков. Рукой в вязаной шерстяной варежке комиссар указывал на горы и увлеченно рассказывал:

— Эта группа гор называется Кадринатх-Бадринатх. Там берет свое начало великий Ганг. А это знаменитая гора Нандадеви.

— Манда деви? — удивился Новиков, дую на свои красные, как лапы гуся, ладони.

— Нандадеви, — поморщился Брускин. — Ее вершина видна из любой точки Индии. Между прочим, существуют свидетельства, что в ее пещерах скрывается людоедское племя хетти, живущее еще в каменном веке. Разу меется, это не более чем миф.

Новик смотрел на комиссара с бесконечным уважением.

— Гляжу я на тебя, Григорий Наумович, и диву даюсь! Вроде голова не такая большая... И как это в ней все помещается!

Брускин смущенно усмехнулся.

— В гимназии моим любимым предметом была география. Думаю, если бы я не стал революционером, то наверняка был бы географом, путешественником. В этих профессиях много общего. И те и другие — перво-проходцы! Вы не находите, товарищ Новиков?

— Да я в этом ни хрена не понимаю! — искренне признался Новик. — Вот ты мне сейчас говорил-говорил, а я уже ни-чего-шеньки не помню! Я, Григорь Наумыч, страсть как учиться не любил. Мне легче руку себе отрубить, чем слово какое написать...

Брускин нахмурился.

— Это плохо! Учиться надо, Иван Васильевич. Учиться, учиться и учиться... Вот освободим Индию — и засажу я вас за парту

Новик проводил внимательным мужским взглядом сидящую верхом на белой кобыле Наталью.

— Взять-то мы ее возьмем, да только прежде яйца б не поморозить.. А то и останется тогда — учиться и учиться, — задумчиво проговорил Иван

Брускин вновь поморщился и, решив сменить тему, указал на другую вершину.

— А это.

Но вдруг Новиков обеими руками выбил из седла комиссара и сам полетел следом в девственно белый снег. В следующее мгновение кусок синего льда там, где только что была голова Брускина, вдруг взорвался фейерверком, и прощально визгнула улетающая от рикошета пуля. И только потом прозвучал звук выстрела, он рос, множился, гуляя эхом среди гор, и красноармейцы стали крутить головами, высматривая, откуда стреляли, а главное — в кого.

Осаженная на всем скаку белая кобыла остановилась рядом. Наталья хотела соскочить, но зацепилась сапогом за стремя и полетела в снег до кучи, и теперь они барахтались в снегу втроем.

— Живы? Оба живы? — спрашивала Наталья.

— А что? Что такое? — крутил головой ничего не понявший Брускин.

— Стреляли в тебя, Григорь Наумыч, — объяснил, поднимаясь, Иван. — Аккурат с твоего умного котелка крышку бы и сняли.

— А как же вы поняли, что в меня? — На лице комиссара совсем не было страха, было одно удивление.

— Выстрел-то я увидел. Во-он там. А что в тебя — почувал, — объяснил Иван.

— Шесть человек сегодня, — со вздохом сказала Наталья, помогая Брускину подняться.

— Ишь ты, как за комиссаром ухаживаешь, — шурясь насмешливо, прокомментировал Иван.

Наталья хотела что-то ответить, но замерла. У одного из кавалеристов вдруг слетела с головы и полетела кувырком буденовка, плотно наполненная чем-то розовым. Сам верховой стал валиться набок и упал в снег лицом. И только потом услышали выстрел.

— А вот и седьмой, — мрачно сказал Брускин.

— Ох поймаю я того стрелка, распанахаю его от темечка до самого копчика, — играя желваками, пообещал Иван.

Мерцали угли в очаге, устроенном посреди горского домика, в котором спали на полу вповалку красноармейцы и страшно, будто соревнуясь, храпели.

Иван не спал. Он прикурил самокрутку и поднес горящую спичку к розовой палочке благовоний у домашнего алтаря. Палочка загорелась и задымила, осветив местного бога. Бог был небольшой, медный, голый — мальчик-подросток с монголоидным типом лица. Иван внимательно смотрел на него.

Сидящий рядом повел носом и открыл глаза.

— Ну и вонь. Ты чего не спишь, Иван?

— Храпите, черти, — объяснил Иван, не отводя взгляда от бога.

— Гляди, барин, — пробурчал красноармеец и повернулся на другой бок.

В приоткрывшуюся дверь втиснулся часовой с винтовкой.

— Новик, ты здесь, что ль? — спросил он громко.

— Не ори, народ разбудишь, — отозвался Иван.

— Тебя Лапиньш вызывает, срочно!

Иван не двигался, продолжая курить, и все смотрел на медную фигурку.

— Слышь, что ль, срочно!

— Я ему нужен, вот пусть и подождет... — проворчал Иван и стал подниматься.

Над самым большим из домов повис в безветрии красный флаг. Это был местный храм. Алтарь здесь был большим и бог, тот самый мальчик из меди, тоже большим, в человеческий рост. Вокруг него и расположились отцы командиры.

— Що це за чоловіки? — возмущенно кричал Ведмеденко. — Хочь бы побачити... В мэнэ у эскадрони троих вже повбывало...

— У артиллеристов шестнадцать человек убили, — мрачно сказал начштаба Шведов.

— Да три пушки вместе с лошадьми в пропасть ухнули, — прибавил командир артполка пучеглазый Михай Зюзин.

— Мы поставлены в дурацкое положение, когда совершенно невозможно вести агитационную и пропагандистскую работу, — возбужденно зачастил Брускин. — Мы их ищем, мы оставляем им в каждом селении агитлитературу и продукты, а в ответ — стреляют, стреляют, стреляют!

— А что скажет товарищ Курочкин? — спросил лежащий на спине бледный Лапиньш.

Все посмотрели на усатого, в кожаном шлеме авиатора.

— Ежели мотор заведется, то взлететь я, конечно, взлечу. — Курочкин был очень серьезен. — С горочки столкнуть — и аэроплан на крыло встанет. Увижу я их сверху, могу. Могу и бомбу бросить. Ну а сесть, извините, некуда...

— Красноармеец Новиков по вашему приказанию явился, — доложил Новиков, пристально и серьезно глядя в глаза Лапиньша.

Тот криво, одной половинкой рта улыбнулся.

— Скажите, красноармеец Новиков, потому вы смеялись токта, на суге?

Иван улыбнулся.

— Смешно стало. Думаю, как это вы меня расстреляете, если мне до ста одного года суждено прожить и своей смертью помереть.

Все удивленно смотрели на Новика.

— Это что еще за предрассудки, Иван Васильевич? — добродушно спросил Брускин.

— А мне бабка-повитуха, когда я двенадцатым, последним из мамки выскочил, сразу про то сказала.

— Вы это помните? — Лапиньш даже приподнял голову.

— То-то и оно что помню. Да я сперва и сам не верил, а потом, как германцы меня стреляли, да не застрелили, а потом белые — и тоже никак... Вот мне и смешно стало...

— Скажите спасипо комиссару, — жестко сказал Лапиньш.

Иван кивнул.

— Вот я и говорю, конфуз бы случился...

— Новиков! — оборвал его Лапиньш. — Нато взять языка. Токо, кто стреляет. Возьмете — полутите эскатрон снова. Сможете?

— Ясное дело, смогу, — уверенно ответил Иван.

— Перите сепе кого хотите...

— Да никого мне не надо...

— Потому?

Иван улыбнулся лукаво.

— А я славой не люблю делиться.

Все, кроме Лапиньша, засмеялись. Остановливая их, Иван сказал деловито:

— Значит, как этот гад стрельнет, бейте со всех стволов, чтоб шуму больше было. Только чтоб без артиллерии, понял, Михай?..

Возвращаясь к себе, Иван встретил Наталью. Она шла по натопанной хрупкой тропке.

— Чего не спится, замком? — весело спросил Иван.

— Не спится, — отозвалась Наталья.

— У комиссара рукавички хороши — уже не ты ль связала? — приближаясь вплотную, спросил Иван.

— Я... — тихо и смущенно ответила Наталья.

— Мне б связала. А то завтра языка пойду брать, отморожу руки — и не обнять тебя потом... — Иван прихватил Наталью за талию и притягивал к себе.

— Тебе вязала.. — прошептала Наталья, не поднимая глаз.

— А ему отдала?.. Ну и ладно, не нужны они мне, это я так...

— Ты там поберегись, Иван Васильевич...

— А ты поцелуй, тогда поберегусь, — пообещал Иван, ища своим лицом ее лицо, но Наталья вывернулась и побежала к одному из домишек.

Иван удовлетворенно смотрел ей вслед.

— Эх, Наталья, нам бы только до теплых земель добраться. А то, боюсь, простужу тебя на снегу... — сказал он негромко и очень серьезно.

Иван дышал часто и сиплю, как привязанный к телеге старый цыганский пес в конце долгого перехода, и был мокрым, как церковная мышь, выбравшаяся на край купели, в которую свалилась по неосторожности. Он сделал еще три шага вверх и ткнулся обессиленно лицом в снег...

Внизу, в ущелье, вытянулась медленная колонна. Иван лежал за камнем и разглядывал своих в бинокль. Ехали верхом рядом Брускин и Наталья. Он что-то говорил ей быстро, рассказывал, а она рассеянно слушала и поглядывала вверх, на горы. Иван вздохнул.

Выстрел прозвучал, как всегда, неожиданно. Новик завертел головой и все же успел увидеть легкий дымок, поднимающийся из-за камня слева и ниже.

— Что, забыли, черти! — процедил Иван сквозь зубы, и тут же снизу стали часто бить винтовки, а чуть позже зататакали и пулеметы. Новик улыбнулся, подоткнул полы шинели под ремень и, придерживая шашку, побежал туда — вниз и влево.

В свисте летящих над головой пуль Иван вдруг услышал знакомый звук ввинчивающегося в воздух снаряда, упал на камни и прикрыл голову руками. Снаряд разорвался выше, Ивана присыпало каменной крошкой, а когда он приподнял голову, какой-то припоздалый камешек больно ткнул его в макушку.

— Михай, гад, убью! — в бешенстве пообещал Иван.

Когда стрельба прекратилась, Иван приложил к глазам бинокль и скоро нашел того, кого искал. Он был совсем близко. Стрелок засыпал из рожка порох в длинный ствол старого кремневого ружья и опустил в него большую круглую пулю... Он уже выцелил кого-то внизу, но сделать выстрел не успел. Что было сил Иван перетянул его нагайкой вдоль спины и выкрикнул зло и торжествуяще:

— А-а, суч-чонок!

От неожиданности и резкой боли стрелок прогнулся и перевернулся на спину. Это был мальчик со смуглой кожей и монголоидным типом лица.

— Хай ме бхарата пули! — крикнул он неожиданно для своего положения властно

— Хай ме бхарата пули! — в очередной раз торжественно выпалил тинштвенный стрелок и даже топнул ногой.

Комэск Ведмеденко почесал могучий загривок и заговорил задумчиво:

— Що це таке хай, то я разумею.. Пули, воны пули и е А що це таке — мебхарата?

— Значит, думаешь, Микола, хлопчик не хохол? — спросил его усмешливо комэск Колобков.

Ведмеденко еще раз пристально и изучающе посмотрел в лицо незнакомца и, махнув рукой, подытожил:

— Та ни!

Командиры захохотали. Не смеялись лишь Лапиньш и Новиков. Иван смотрел на пацана внимательно и удивленно.

— А между прочим, товарищ Ведмеденко не так уж и не прав, — заговорил, вставая и протирая очки, Брускин. — Все языки мира делятся на группы и подгруппы. Так вот, я специально подсчитывал, в нашем корпусе присутствуют представители всех групп и почти всех подгрупп. Этим мы, кстати, опровергаем известный библейский миф о неудачном строительстве Вавилонской башни...

— Претложения, товарищ Прускин, — прервал его Лапиньш.

— Предложение мое простое, Казис Янович. Собрать всех представителей языковых групп и подгрупп, и пусть они послушают этого туземца. Что касается меня, то, хотя я совсем не знаю идиша, могу со всей ответственностью заявить, что его язык не принадлежит ни к семитской группе языков, ни к германской. А что можете сказать вы, Казис Янович, как носитель латышского языка?

Лапиньш посмотрел на туземца.

— Кад таве вяляяс гребту⁷, — сказал он и отвернулся

Длинной вереницей стоял кавалерийский интернационал: чех, венгр, эстонец, карел, финн, молдаванин, киргиз, казах, удмурт, грузин, лезгин, и, как стали говорить позже, многие-многие другие. Они поочередно подходили к юному стрелку, слушали одну и ту же фразу и мотали отрицательно головой.

Китаец Сунь слушать не стал, а, глядя в упор, стал задавать вопросы по-китайски, но вдруг стрелок резко ударил его ладонью по щеке. Сунь закрыл ладонями лицо и заплакал. Презрительно глянув на него, стрелок отвернулся.

Вновь собрались отцы командиры.

⁷ Латышское ругательство

— Если опираться на платформу революционного процесса, то мы должны помиловать его и взять с собой, — говорил Брускин. — С точки зрения ортодоксального христианства, к примеру, дохристианские язычники были безгрешны, так как они не могли еще знать истинной, по мнению христиан, веры. Может быть, он стрелял в нас не как в красных, а как в белых?

— А як же стяг? — развел руками Ведмеденко. — Чи вин нэ бачив, що стяг чорвоний?

Новиков сосредоточенно молчал и все переводил взгляд с лица пацана на лицо медного бога. Они были похожи как две капли воды. И пропорции тела, и осанка, и медный бубенчик на шее.

— Взять его с собой мы не можем, — задумчиво заговорил Шведов. — Братки его в первом же бою уконтропупят. Если сегодня ночью не придут.

— Хай ме бхарата пули, — встревоженно напомнил о себе подросток.

— Вот тебе и пули, — вздохнул Шведов. — Дитя ведь еще... Может, оставим его здесь завтра, а сами дальше пойдём?

— Он упил тватцать тевять наших поевых товарищей, вы запыли это? — спросил свистящим шепотом Лапиньш.

Все опустили глаза.

И вдруг глухо и тяжело ухнуло что-то в глубине гор, будто шевельнулось там их великое сердце.

Ночью Иван нашел в одном из домов спящего комиссара и с силой потряс его за плечо.

— Что? — спросонок вертел головой Брускин.

— Слушай, Григорь Наумыч! — зашептал Новик. — Места себе не нахожу, крутит все в груди у меня. Нельзя того пацана казнить!

Брускин потер лицо ладонью.

— Почему?

— Почему — не знаю, а что нельзя — знаю точно!

— Казнить... нельзя... помиловать... — задумчиво проговорил комиссар.

— Тебе не казалось, Григорь Наумыч, что ты его где-то уже видел? — с горящими глазами шептал Иван.

— Да, казалось, но я подумал, что это обычное дежа-вю. А что, вам тоже?

— Знаешь, где ты его видел? Вот он! — Иван торопливо зажег спичку и поднес ее к лицу медного бога.

— Да, пожалуй, похож, — согласился Брускин.

— Да не похож, а он сам и есть! Я уж все гляделки проглядел! Он бог ихний! Понимаешь, какое дело? Я как думаю... Он всех своих прогнал, спрятал выше ли, ниже ли, хрен их знает, а сам решил нас наказать за то, что мы в его владения без спросу зашли, понимаешь?

— Версия вполне убедительная. Горные народы часто выбирают себе живых богов. Тот же тибетский далай-лама... Но разве это что-нибудь меняет?

Новиков растерялся.

— Да как же... Бог как-никак!

Брускин покачал головой.

— Какая у вас все-таки каша в голове, Иван Васильевич! В борьбе с религией наши враги не верующие, а боги, тем более если они — живые.

На рассвете перед выходом состоялась казнь. Петлю приладили на брус, торчащем из стены храма рядом с небольшим медным колоколом.

— «По закону революционного времени за контрреволюционную деятельность гражданин Хайме Бхарата Пули приговаривается к смертной казни через повешение. Приговор осуществить немедленно», — громко прочитал по бумажке комиссар артполка.

— Хай ме бхарата пули!⁸ — звонко крикнул мальчик, глядя в небо.

Командир артполка Михей Зюзин ловко и привычно выбил из-под ног приговоренного пустой снарядный ящик. Бог дрыгнул ногами, пытаясь ухватиться руками за веревку над головой, сильно качнулся, ударился лбом о колокол и тут же послушно опустил руки и испустил дух. Глухой медный звон заметался по ущелью и, успокаиваясь, стал подниматься к небу.

*Москва. Кремль.
13 июня 1920 года.*

Ленин сидел в глубоком кожаном, в белом полотняном чехле кресле и что-то быстро и увлеченно писал, пристроив на колене блокнот. Ему не мешал стрекот телеграфного аппарата, стоящего рядом на стуле. Выползающую из него ленту принимал телеграфист — атлетически сложенный красноармеец в гимнастерке, галифе и ботинках с обмотками — и громко вслух читал

— «Лондон. Как передает агентство Рейтер из Индии...»

Ленин тут же оторвался от работы, поднял голову, внимательно вслушиваясь в каждое слово

— «В индийских Гималаях произошло самое сильное за последние пятьдесят лет землетрясение. По подсчетам английских специалистов, это ужасное стихийное бедствие унесло не менее ста тысяч человеческих жизней»

С громким шлепком упал вдруг на пол блокнот и покатилась ручка. Телеграфист оторвал взгляд от ленты. Ленин лежал в кресле неподвижно, глаза его были закрыты

— Владимир Ильич, — негромко позвал его телеграфист.

Ленин никак не прореагировал.

— Надежда Константиновна! — закричал телеграфист.

ВОПРЕКИ УТВЕРЖДЕНИЯМ ВЧЕРАШНИХ И СЕГОДНЯШНИХ ИСТОРИКОВ ПЕРВЫЙ УДАР СЛУЧИЛСЯ С ЛЕНИНЫМ НЕ В ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ, А РАНЬШЕ — В ДВАДЦАТОМ ГОДУ

Вечером, когда вошли в очередное безмолвное и безлюдное селение и уже начали спешиваться, Иван поднял голову и посмотрел на вершину Нандадеви. Всегда четко вычерченная на фоне оранжевого вечернего неба, сейчас она казалась смазанной. Иван зажмурил глаза, открыл и вновь взглянул на Нандадеви. Она вибрировала.

И тут же вдруг разом заржали лошади, понеслись по улице овцы, куры и собаки. Земля вдруг застонала глухо и качнулась так, что Иван с трудом удержался в седле, даже выпустил поводья. И лошадь сама понесла его туда, куда бежала и летела со страшным шумом местная живность.

Ничего не понимая, красноармейцы откровенно запаниковали. Особенно худо было тем, кто уже спешился, потому что лошади ускакали без них.

Иван успел увидеть Наталью. Ничего не понимая, она испуганно взирала на безумеющих от страха мужчин. Раздирая лошадиный рот загубником, Иван остановился, подхватил Наталью, бросил ее, как вор, поперек лошадиной спины и отпустил поводья.

С гор скатывалась лавина снега и камней, плоские домики селения вдруг закачались и стали разваливаться. Люди все вместе кричали громче и страшнее, чем гудела, раскалываясь, земля, являя бездонную преисподнюю

⁸ Я есть Сияющий в небесах (то есть «я — Бог»)! (Одно из наречий малочисленной народности труштри)

СЕГОДНЯ, КОГДА МИСТИКА ПОДМЕНЯЕТ СОБОЙ НЕ ТОЛЬКО НАУКУ, НО И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, НАВЕРНЯКА НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО ПОПЫТАЕТСЯ СВЯЗАТЬ КАЗНЬ ГИМАЛАЙСКОГО БОГА С ПОСЛЕДОВАВШИМ ЗАТЕМ СТИХИЙНЫМ БЕДСТВОМ. МЫ ИМЕЕМ МНОЖЕСТВО ДОВОДОВ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИХ КАМНЯ НА КАМНЕ ОТ ПОДОБНЫХ УМОПОСТРОЕНИЙ, НО ПРИБЕГНЕМ ЛИШЬ К ОДНОМУ ИЗ НИХ. ГИМАЛАЙСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 1920 ГОДА БЫЛО ОТГОЛОСКОМ ЗНАМЕНИТОГО, ГОРАЗДО БОЛЕЕ СТРАШНОГО АНДСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. А ВЕДЬ В АНДАХ В ТО ВРЕМЯ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО КРАСНОАРМЕЙЦА...

4 августа 1920 года. Южное предгорье Гималаев.

Здесь было хорошо и понятно: высокое густое разнотравье, кустарники, перелески, отдельно стоящие разлапистые сосны. Страшные Гималаи остались позади, и только белеющая вершина Нандадеви напоминала...

Небольшими табунками паслись стреноженные лошади. Табунками отдыхали и красноармейцы. Сидели, лежали, курили, смеялись, разговаривали.

Посреди одного из таких табунков стоял комиссар Брускин. Красноармейцы весело, как дети, смеялись чему-то, только что рассказанному комиссаром, он же снисходительно смотрел на них и улыбался.

— Товарищ комиссар, а расскажите, как товарищ Ленин с идеалистами сражался, — предложил, улыбаясь, большеротый белообрый парень, видно, охочий до подобных рассказов.

Брускин не заставил себя уговаривать.

— Как вы знаете, товарищи, основной вопрос философии — это вопрос о первичности. Идеалисты говорят, что первично сознание. Мы же, материалисты, утверждаем, что первична материя. Идеалисты говорят, то, что я вижу, то и существует. Допустим, я сижу за столом. Я его, этот стол, вижу, он есть. А если я, идеалист, закрыл глаза, то для меня его уже нет.

— Как это?

— А вот так!

— Дураки они, что ли?

— Не дураки, а упрямые.

— Сломать бы им упрямку-то... — заспорили между собой красноармейцы.

— А товарищ Ленин, — продолжал Брускин, — им тогда и говорит: а вы закройте глаза да резко вниз наклонитесь, тогда и узнаете, что первично — материя или сознание!

Красноармейцы взорвались смехом.

— Вот черти, знай наших!

— Сопатки-то небось порасквасили?!

— А то!

— Ай да Владимир Ильич!

Все хохотали, но комиссар Брускин даже не улыбался. Он встревоженно наблюдал, как к сидящей одиноко в отдалении Наталье подходил Новик.

Иван неслышно подошел сзади плавной, танцующей походкой кота. Наталья обрывала с ромашки один за другим лепестки.

— Гадаешь? — спросил Иван низким грудным голосом.

Наталья вздрогнула и отбросила цветок в сторону.

— На кого гадаешь-то? — Иван присел рядом.

— Да уж не на тебя, — гордо ответила Наталья.

— А мне это как-то все равно...

— Ну вот и ладно...

Иван понял, что заехал совсем не туда, куда хотелось, и решил сменить тему. Брускин продолжал рассказывать что-то красноармейцам. Новик посмотрел на него с уважением.

— Уважаю я твоего начальника, Наталья Пална. Золотой язык у мужика!

Наталья тоже посмотрела на комиссара, но ничего не сказала.

— Не пристаёт? — поинтересовался Новик как бы между прочим.

Наталья усмехнулась.

— Ты, Иван Васильевич, по себе не равняй. Григорь Наумыч человек культурный. Я с ним женщиной стала.

— Это как — женщиной? — насторожился Иван. — А до того кем была?

— Бабой.

Иван успокоенно улыбнулся.

— Чего ж в том плохого — бабой быть?

— А вот вы бы, мужики, в нашей шкуре побыли, тогда б небось не спрашивали.

Иван пожал плечами, не понимая, о чем речь, покрутил усы, придвинулся к Наталье и громко зашептал:

— Слышь, Наталья, пошли-ка в лесок!

— Зачем? — удивилась Наталья.

— Шишки собирать. Я там был, их там ужас сколько, шишек этих!

Наталья засмеялась.

— Я шишек не грызу, Иван Васильич, зубы берегу...

— Ага, я и вижу, кусачая...

Иван раздосадованно посмотрел по сторонам, потом на небо. Там еле слышно стрекотал, приближаясь, аэроплан.

— Начштаба с воздушной разведки возвращается, — сообщил он важно.

— Так бегите, Иван Васильич, вы ж у нас командир эскадрона, — ехидно подсказала Наталья.

Иван поднялся, поправил португеек.

— А тебе командира эскадрона мало, тебе комиссара корпуса подавай?

— Да мне и его мало, — загадочно ответила Наталья. — Бегите, Иван Васильич, а то без вас не разберутся, не туда наступать станут...

Иван тяжело вздохнул и потрусил к большой штабной палатке, куда уже подруливал приземлившийся аэроплан.

Сидящий на заднем сиденье Артем Шведов выбрался из аэроплана и, бледный, направился, покачиваясь, к палатке Лапиньша. Летчик Курочкин зло посмотрел ему вслед и стал вытирать тряпкой матерчатый бок любимого аэроплана.

Шведов выпил залпом кружку воды, посмотрел на лежащего на походной кровати Лапиньша.

— Там пустыня.

— Где пустыня? — испуганно спросил Брускин.

— Везде.

— Не может быть! — воскликнул Брускин. — Посмотрите на карту.

Новик смотрел на комиссара, зло щуя глаза.

— Ты и сам говорил, что у тебя по биографии, или как там ее, черт, по феографии, отлично было? Говорил?

Брускин растерянно смотрел на карту и бормотал еле слышно:

— Ну да, конечно, вспомнил... Тогда у меня случилась ангина, и бабушка не пускала меня на занятия... Бабушка, бабушка...

— А я говорил — давайте штабистов из бывших возьмем! — возмущенно забасил Шведов. — Эх, если б мы морем шли... Там, на море, все ясно, а тут...

Лапиньш открыл глаза и неожиданно улыбнулся.

— Не нато ссориться, — попросил он. — Этим картам твести лет. За это время высокли реки, опмелели моря. Там, кте пыли леса, теперь пустыни, а кте пыли пустыни — коры. Не надо ссориться... Мы пойдем вперет терез пустыню...

— Каракорум, — подсказал Брускин.

— Как? — спросил Иван.

— Каракорум, — повторил Брускин.

Иван не решился произнести вслух это слово и плюнул с досады.

Комкор Лапиньш утомленно прикрыл глаза.

Пустыня Каракорум.

Сентябрь — октябрь 1920 года.

Новик и Ведмеденко соорудили что-то вроде тента из одеяла, привязанного концами к воткнутым в песок саблям и карабинам, и лежали распластанно и неподвижно, с закрытыми глазами, но не спали.

— У моему организму, Иван, немає ни капли воды, — поделился Ведмеденко.

— Это почему ты так решил? — спросил безразличный Новик.

— Та я вже три дни нэ пысаю, — признался Ведмеденко. — А коли иду, то шурую, як папир.

Иван с усилием повернул голову и даже приоткрыл один глаз.

— Що це такэ папир, Коль?

— Та то, що вы, кацапы, зовэте бумагою, — объяснил Ведмеденко.

Новик не обиделся и предложил:

— Ты б лучше спел, Коль...

Ведмеденко повернулся на бок и, печально глядя на слюдяное марево над бесконечными до горизонта песками, запел:

Реве та стогне Днипр широкий,
Сердитый витир завива..

Но сорвался, закашлялся, огорченно замолк.

Солнце поднималось на востоке, окрашивая пустыню в революционный цвет, но кавалеристам было не до красоты. Ехали рядом на худых, понурых лошадях Брускин и Новик.

— Лапиньш совсем плох, боюсь... — Брускин не стал договаривать.

— Да уж скорей бы Индия, — вздохнул Иван. — Там, я слышал, чудеса всякие, лекари, колдуны...

— Ну, во-первых, это и есть Индия. Пустыня Каракорум — это...

— Да какая это Индия? — взорвался Новик. — Зачем нам такую Индию освобождать?! От кого? Втыкай вон красный флаг, объявляй советскую власть — никто слова против не скажет! Нет, Григорь Наумыч... — Иван осекся и замер.

На фоне восходящего солнца им наперерез двигался длинный верблюжий караван. Иван пришпорил лошадь и первым поскакал к нему.

— Они не индусы, а персы, — перевел Брускин Шведову слова бородатого старика в халате. — Они возвращаются с товарами из Китая к себе в Персию.

— Спросите его, когда кончится эта проклятая пустыня, — попросил Шведов.

— Энд Каракорум... Энд... Вер из? — спросил Брускин.

— This is not Karakorum, your honour, this is Tar desert⁹, — вежливо поправил Брускина перс.

Глаза у комиссара стали круглыми.

— Что он сказал? — торопил с переводом начштаба.

Брускин молчал

— А ты что, не понял? — не выдержал Новик. — Перепутали все! Может, мы и не на Индию вовсе идем!

⁹ Это не Каракорум, уважаемый, это пустыня Тар (англ.).

Пустыня Тар.

Сентябрь — октябрь 1920 года.

Сидя на лошади и держа верблюда за длинную узду, Иван подвел его к сидящей на подводе Наталье. Перекинутые через спину, по бокам верблюда висели кожаные мешки. Наталья была измучена этой проклятой пустыней и стеснялась сейчас Ивана. Да и он старался не смотреть на нее.

— Это, Наталья Пална, — заговорил он смущенно, — тут вода... тебе... Попей, помойся... Ну и вообще...

Лежа в тачанке, умирал Лапиньш. Впрочем, кажется, умирали все. А если и не умирали, то сходили с ума точно.

Новик смотрел вперед и видел родную Волгу с дымящим пароходом посредине.

Ведмеденко видел тихий Днепр с белеными хатками на берегу.

Китаец Сунь видел желтую Янцзы.

Начштаба Шведов — хмурую, седую Балтику.

— Глядите, лес! Лес впереди, лес! — истерично закричал кто-то.

— Замолчи, дурак! — оборвали его. — Не понимаешь — это мираж.

Мы его, может, тоже видим, а молчим.

А комиссар Брускин о своем мираже никому не рассказывал. Он видел гигантский дом-башню, сверкающую стеклом и металлом, а на вершине ее — огромную скульптуру Ленина, указывающего туда, куда они сейчас шли. Это придавало Брускину сил и делало его счастливым. Брускин улыбался.

— Лес! Глядите, лес! — кричал все тот же дурак, но никто не обращал на него внимания, так он всем надоел.

Все видели приближающийся, стоящий плотной зеленой стеной тропический лес, но, измученные миражами, красноармейцы давно не верили глазам своим. И даже когда вошли в лес, обдираясь о ветки и сучья, и стали вдыхать полными легкими влажный и прохладный воздух — еще не верили, а поверили, только когда лошади сами вышли к широкой, спокойной реке, вошли в нее и уткнулись мордами в воду.

Глава третья

Индия. Штат Раджастхан.

22 октября 1920 года.

Луна была огромная и сияла, как хорошо начищенное самоварное золото. От ее света все вокруг — высокая трава, широкие пальмовые листья и спокойная река — казалось позлащенным. А над золотом реки плыл золотой голос Ведмеденки:

Дывлюсь я на ниво
Тай думку гадаю,
Чому я не сокил,
Чому ж не летаю.
Коли б мни, Боже, ты крыла бы дав,
Я б землю покинув тай в ниво взлитав.

Чистые, отдохнувшие, успокоенные тем, что дошли наконец до намеченной цели, красноармейцы лежали на берегу и слушали волшебной красоты украинскую песню.

Иван и Наталья стояли на опушке густого черного леса и тоже слушали. Наталья прислонилась спиной к пальме и легонько покачивалась. Она была в гимнастерке с «разговорами», в юбке и сапогах, но на плечи накинула неуставную красную косынку. Иван стоял метрах в трех от нее, курил.

— Прямо не верится, в Индии мы... — задумчиво проговорила Наталья.

— Чего не верится-то? — пожал плечами Иван. — Шли, шли и пришли. А намнем англичанке холку, поставим тут советскую власть — и дальше двинем.

— Дальше? — грустно спросила Наталья. Похоже, ей было здесь так хорошо, что совсем не хотелось идти куда-то дальше.

— Ясное дело — дальше! — уверенно продолжал Новик. — Мне вот Григорь Наумыч рассказывал, что есть одна страна, название забыл, так там все звери — с торбами! Еду в них носят, детеньшей, все носят в торбах этих. Тоже там люди живут, тоже небось от капитала маются... А Америка? Я как про эту гадину услышу, аж дышать не могу от злости! Доберемся и до нее...

— А дальше? — с еще большей грустью в голосе спросила Наталья.

— Что дальше? — На безмятежном Ивановом лбу возникла ниточка сомнения. — Дальше вон... — Он поднял глаза на луну. — Сделают аэроплан побольше, заведет летчик Курочкин мотор, и полетим... — Он махнул рукой. — Да на наш век и тут делов хватит.

— А вам бы не хотелось, Иван Васильевич, просто так пожить, тихо, мирно, с женой, с детишками, в домике своем?..

Иван снисходительно улыбнулся.

— Не, Наталь Пална, я человек военный. Драться стал сразу как пошел. Братишку старшего по башке горшком со сметаной огрел — еле откачали Ваську... А потом, если день какой не подерусь, аж не сплю, вороचाюсь... Суну кому из братьев зуботычину, он орет, а мне — спитися. Постарше, конечно, поспокойней стал, а все одно... Ныть рука начинает, как долго за шашку не берусь.

— Какой вы, Иван Васильевич... — Наталья в задумчивости покачала головой.

— Да ты не подумай, Наталь Пална, я ж не просто так, а за справедливость! Васька-то горшок упер — хотел сам сметану вылакать.

Наталья медленно пошла вдоль опушки. Иван с прищуром поглядел на нее и пошел следом.

— Ой! — сказала вдруг Наталья испуганно и остановилась.

Перед нею словно по волшебству выростала из травы змея. Она росла, покачиваясь, раздувая капюшон.

— Стоять! — шепотом приказал Иван, плавно вытаскивая из ножен шашку.

Змея вдруг зашипела, и Наталья инстинктивно выставила перед собой руку. В ответ кобра бросилась в атаку. Но между этими двумя действиями лежало действие Новика — он коротко и резко взмахнул шашкой. Голова змеи взлетела высоко и упала где-то невидимая, а обезглавленное туловище, скручиваясь и извиваясь, билось у ног Натальи. Испуганно и брезгливо она прижала ладонь ко рту и отвернулась. Иван вытер шашку пучком травы и опустил в ножны.

— Я этой заразе в Туркестане столько бошек посшибал... Как репейнику...

Он подошел к Наталье близко, взял ее правой рукой за талию и властно притянул к себе. Она покорно положила голову ему на плечо и спросила шепотом:

— Стало легче-то?..

— Маленько полегчало, — согласился Иван.

Кто-то бежал в их сторону.

— Григорь Наумыч, — подсказала Наталья и попыталась легко, не обидно высвободиться из объятия.

Брускин бежал челноком, то исчезая в черной тени леса, то возникая в лунном свете, но вдруг запнулся обо что-то и упал, исчез в высокой траве.

— Григорий Наумович! — испугавшись и сжалившись, подала голос Наталья.

Брускин торопливо поднялся, отряхнулся, подошел и быстро, деловито заговорил:

— Это вы, Иван Васильевич, добрый вечер. Наталья Павловна, вы провели ревизию портретов членов ЦИКа?

— Провела, — с готовностью ответила Наталья.

— Что у нас с Лениным?

— Плохо, Григорий Наумович, — нахмурилась Наталья. — Ни одного Владимира Ильича. Ни Троцкого, ни Бухарина, ни Каменева с Зиновьевым, один большой ящик со Сталиным...

— Что ж, Сталин так Сталин, — со вздохом проговорил Брускин. Он не мог оставить вдвоем Наталью и Новика.

ПОСЛЕ ИЗВЕСТНЫХ НАМ НЕПРИЯТНОСТЕЙ В ГИМАЛАЯХ И ПОТЕРЬ ЖИВОЙ СИЛЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ СОСТАВ ОСОБОГО КОРПУСА УМЕНЬШИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИСЛЕННО, НО И СОКРАТИЛСЯ ОРГАНИЗАЦИОННО — ТЕПЕРЬ В НЕМ БЫЛО ТОЛЬКО ТРИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КАВАЛЕРИЙСКИЕ ДИВИЗИИ. ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ КОМАНДИРЫ. В ПЕРВЫЙ НА СВОЕМ ПУТИ ИНДИЙСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ НОВИКОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТИ КОМДИВА.

Штат Раджастхан. Селение Курукшетр.

1 ноября 1920 года.

Курукшетр сплошь заповилили подводы, пушки, тачанки и снедаемые любовью к чужой жизни красноармейцы.

Индийцы ошалели от непрошенных гостей, которые щедро угощали их сухарями, сахаром, табаком, и в свою очередь давали пожевать бетель, одаривали кокосовым вином.

Заходили в хижины, похожие на украинские мазанки, но не беленые и нищие до боли в груди, выходили во двор, вздыхали, обсуждали.

— А ты говоришь — три урожая! У нас в деревне последняя гольтьба и та лучше живет. Вот тебе и три урожая!

— А ты разве не слышал, что Брускин говорил: у них свои попы, свои помещики, а сверху еще англичанка. И все с бедного индуса шкуру дерут.

— Да не нужны они, три урожая! У нас хоть в бедности, зато зимой на печке отоспишься, заодно бабе пузо намнешь.

— Да у них детишек, гляди, не меньше нашего.

— Когда только успевают?

— Это было б желание, а успеть всегда можно.

Особенно много собралось народу у слона. Двое жестоко спорили.

— А что? Валенки ему свалять, тулуп из овчин пошить — вот и переизмует!

— Это ж сколько овчин пойдет, ты посчитай!

— Ничего, собрать можно. А зато дров на нем навозишь! За один раз везов пятнадцать небось уволокет. Ух и сила! А навозу от него сколько — это ж страшно подумать. Не, назад пойдем, я одного возьму, точно!

— А все говорили: Индия — страна чудес, — недовольно ворчал комдив Колобков. — А где они, эти чудеса? Даже куры вон как у нас. — И он махнул рукой в сторону мирно копающихся в пыли трех хохлаток и одного кочета. Те испугались, видно, и, шумно захлопав крыльями, вдруг взлетели вверх свечкой и застыли, порхая, в зените. Колобков задрал голову и смотрел, открыв рот, придерживая рукой буденовку, чтобы не свалилась.

На выезде из села красноармейцы что-то весело и споро строили, там пели пилы, стучали топоры.

Брускин разговаривал со старым индийцем по-английски и переводил комдивам Новикову, Колобкову и Ведмеденко.

— Он говорит, что их селение несет на себе, как это... проклятие... Потому что здесь произошла однажды страшная битва. Во-он там, на том поле. Одно войско возглавлял бог Кришна, а другой лучший из людей... Арджуна...

— Это как же... бог с человеком? — не понял Новик.

— Да сказка это, — усмехнулся Колобков.

Скорбно глядя на то поле, индеец продолжал медленно говорить, а Брускин переводил, с трудом подбирая слова:

— И в одном войске и в другом были отцы, и дети, и родственники... И они убивали друг друга. С тех пор над селом лежит проклятие!

— Гражданская, значит, — сообразил Колобков. — Когда это было-то?

Брускин перевел. Индеец ответил. Брускин не поверил и переспросил. Индеец повторил. Брускин улыбнулся и перевел:

— Пять тысяч лет назад!

Все весело захохотали. Индеец смотрел удивленно.

— Памятливый вы народ, индусы, ох памятный! — прокричал ему сквозь смех Колобков.

— Нам нужен очень бедный человек, — вновь обратился Брускин к индийцу.

— У нас все бедные, — с достоинством ответил тот.

— Нам нужен самый бедный человек, — настаивал комиссар.

Старик задумался, посмотрел по сторонам и показал пальцем на бредущего в их сторону человека. Бедняга был так худ, что его покачивало при каждом шаге, а его обтянутый кожей скелет не был обременен и единой ниткой мануфактуры. Колобков присвистнул от удивления. Ведмеденко почесал стриженный затылок.

— Вот уж правда гол, как сокол, — высказался Новик.

На следующий день на выходе из села была устроена арка, украшенная кумачом и пальмовыми ветками. В центре наверху был водружен обрамленный цветами портрет Сталина. Рядом на небольшой кумачовой трибуне стояли комиссар Брускин и начштаба Шведов, а между ними, поддерживаемый плечами, тот самый бедный селянин. Впрочем, узнать его было непросто, потому что был он одет с головы до ног в новенькую красноармейскую форму.

Брускин выступал горячо и страстно, сжимая в руке кожаный картуз:

— Советская власть сделала свой первый шаг по полуострову Индостан! Пройдет совсем немного времени — и многострадальный индийский народ с нашей братской помощью сбросит со своей шеи тяжелое английское ярмо и вольется в ряды советских народов земного шара!

Иван сидел на лошади во главе своей дивизии.

— Наталья Пална! — окликнул он Наталью, проезжающую мимо шагом на своей белой кобыле.

Наталья улыбнулась и подъехала.

— А это кто такой? — Новик показал пальцем на портрет Сталина.

— Эх, комдив, комдив, — покачала головой Наталья. — Уж кто-кто, а ты должен знать. Это же товарищ Сталин, наш наркомнац.

— А индусы говорят — Ленин, — понизив голос, сообщил Новик.

— Так разве ты не понял: у нас весь ЦИК в Гималаях под землю провалился, остался один ящик со Сталиным. А наглядная агитация нужна? Нужна. Поэтому Григорь Наумыч решил вешать Сталина, а индусам говорить, что это Ленин. Во-первых, они его все равно не видели, а во-вторых, дело ведь не в отдельном человеке, правда? Сталин — это Ленин в Индии, так Григорь Наумыч сказал. Понятно?

— Понятно, — соврал Новик, чтобы не выглядеть совсем дураком.

Под звуки духового оркестра торжественным маршем уходили кавалеристы парадным строем из Курукшетра, отдавая честь стоящим на трибуне и устраивая толчею при входе под арку.

Когда простыл след последнего красного кавалериста и в Курукшетре вновь стало тихо, в одном из дворов пожилая женщина бросила на землю горсть земли, подняла голову кверху и позвала парящих в небе кур:

— Кери-кери-кери!

Они тут же послушно опустились на землю и стали по-куриному мирно кормиться.

Над крышей одной из хижин неохотно трепыхался красный флаг. Над дверью была прибита выкрашенная в красный цвет фанерка, на которой белым было написано — вверху на хинди, а ниже по-русски: «Курукшетрский сельский Совет».

Посреди хижины стояли стол и стул. На столе — чернильница с ручкой, бухгалтерская книга, счеты, наган и даже телефонный аппарат с обрезанным шнуром. У стены на полу лежали аккуратно сложенная гимнастерка и галифе, стояли ботинки с обмотками и буденовка.

Скрестив ноги, на стуле сидел прямо и неподвижно голый председатель.

*Штат Раджастхан.
7 ноября 1920 года.*

ТРЕТЬЮ ГОДОВЩИНУ РЕВОЛЮЦИИ НАШИ КАВАЛЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧЕЙ С АНГЛИЙСКИМИ КОЛОНИЗАТОРАМИ.

— Англичанка! Англичанка! — возбужденно сообщали друг другу кавалеристы и бросали нетерпеливые взгляды на Новика.

Тот смотрел в бинокль. По руслу небольшой, бегущей среди джунглей речушки двигались верховые, человек десять. Они были белые, в светло-песочных костюмах и пробковых шлемах, вооруженные.

— Ну, матушка, сподобилась, — проговорил Новик, опустив бинокль, и запел: — Эскадро-он! Шашки наголо! Пики к бою! Вперед — марш-марш!

Новиковцы скатились в глубокую пойму и понеслись по воде навстречу ненавистному врагу. Блестели на солнце поднимаемые копытами лошадей брызги, блестели клинки.

Иван скакал первым.

Англичане шурились на солнце, прикладывали ладони ко лбу, пожимали плечами, недоуменно переговаривались.

СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ, ЧТО СВЕРХСЕКРЕТНОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОХОДА ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛА СЕБЯ В БОЛЬШОМ И В МАЛОМ. АНГЛИЧАНЕ ГОВОРИЛИ: «I DON'T BELIEVE MY EYES» («Я НЕ ВЕРЮ ГЛАЗАМ СВОИМ»). И НЕ ВЕРИЛИ. А НАПРАСНО.

Они видели синие¹⁰ звезды на буденовках и «разговоры» на гимнастерках, красные флажки на пиках, и их все больше поражал столбняк.

— Red! Red! — закричал вдруг, придя в себя, один из англичан, стал стаскивать с плеча винтовку, и Новикун пришлось скинуть карабин и вы-

¹⁰ У современного читателя наверняка возник вопрос: почему звезды на буденовках красноармейцев синие? Наше мифологизированное сознание не допускает в данном случае иного цвета кроме красного. А между тем синий цвет был, так сказать, родовым цветом кавалерии. И звезды на буденовках бойцов Первого особого кавалерийского корпуса, естественно, были синими. Как у пехоты — малиновыми, в инженерных войсках — черными, а у авиации — голубыми. (Прим. авт.)

стрелить. Пуля попала неразумному англичанину между глаз, и он опрокинулся в седле и повис в стремях.

— Сподобилась, матушка! — воскликнул Новик, подскакивая и скидывая с седла одного, другого, одновременно разоружая их.

Остальные красноармейцы занялись тем же, весело переговариваясь и покрикивая на ничего не понимающих, отупевших англичан.

Иван подъехал к третьему, невысокому, рыжеватому, с усиками и бородкой клинышком, одетому в белый полотняный костюм, с белой же широкополой шляпой на голове. Он смотрел на Ивана во все глаза, от восхищения и восторга приоткрыв рот. Новик даже смутился.

— Что буркалы выставил, морда английская? — проворчал он недовольно. — Где оружие твое?

Винтовки за спиной этого англичанина не было. Он вдруг обхватил Ивана обеими руками за шею, притянул к себе и трижды крепко поцеловал в усы, после чего закричал на чистом русском языке с легкой веселой картавинкой:

— Родненькие вы мои! Братья православные! Сколько невидимых миру слез пролил я, сколько тяжелых дум передумал! Свершилось! — Незнакомец размашисто перекрестился. — Сбылась мечта самодержавцев российских: попирает священный русский сапог землю басурманскую! Хлеб да соль вам, витязи! Низкий вам поклон от многолетнего английского пленника Афанасия Шишкина!

И незнакомец поклонился низко, насколько это возможно было сделать, сидя в седле.

Шишкин сидел в штабной палатке, окруженный со всех сторон командирами корпуса. На полу в раскрытом кожаном саквояже лежали яркие украшения, старинные, диковинной формы кинжалы и почему-то несколько колод карт. Со счастливым восторгом Шишкин смотрел на всех и от счастья болтал в воздухе ногой. Похоже, он не понимал, что его допрашивают. Вел допрос Шведов.

— Имя?

— Афанасий.

— Полностью.

— Афанасий Шишкин. Тимофеев сын, хотя это еще как посмотреть.

— Где, когда родился?

— В Санкт-Петербурге. Мая месяца пятого числа одна тысяча восемьсот семидесятого года от Рождества Христова.

— Надо говорить — новой эры, — хмуро поправил Шведов.

— Новой, разумеется новой! — Шишкин оглядел всех с благодарным восторгом.

— Ты в Индии-то как оказался? — вмешался в ход вопроса Колобков.

— О, это ужасная история! Мой папаша, князь Долгорукий, поехал в Индию на охоту к своему приятелю, радже бомбейскому, будь он не ладен. Было это, дай Бог памяти, в одна тысяча восемьсот девяносто четвертом году. И меня взял с собой, оболтуса великовозрастного, чудес захотел. Не успели мы на охоту поехать, как вдруг известие — августейший император Александр Третий почил в бозе. И мой папаша, хотя покойный его и не жаловал, оставил меня у раджи с обещанием скорого возвращения — и тю-тю...

— Как, говоришь, папаши твоего фамилие было? — перебил его Шведов.

— Князь Долгорукий, — с готовностью напомнил Шишкин.

— Никто, братки, Долгорукого князя не расстреливал? — обратился Шведов к комдивам.

Те задумались.

— Сколько их было, разве всех упомнишь, — буднично отозвался Колобков.

Шишкин затих и попытался втянуть голову в плечи. Возникла пауза, в продолжение которой допрашиваемый явно страдал, а допрашивающие явно получали от этого удовольствие. Кроме, пожалуй, Новика. Он брал из саквояжа Шишкина то один кинжал, то другой, пробуя их в руке, и так был этим увлечен, что, кажется, ничего не слышал.

— Что... у нас действительно все так далеко зашло? — спросил Шишкин осторожно.

— А вам ничего не рассказывали ваши английские господа? — теряя терпение, спросил Брускин.

— Видите ли, — осторожно начал Шишкин, — Англия — исторический враг России. Врагам можно служить, но верить им — нельзя! Говорили кое-что, разумеется... Что в пятом году в Москве были беспорядки... И в семнадцатом, если я не ошибаюсь. Но они до того договорились, что, мол, государь император Николай Второй... Да у меня язык не поворачивается пересказать всю эту чушь!

— В одна тысяча девятьсот семнадцатом году новой эры в России совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция! — торжественно и раздельно, как при чтении приговора, говорил Брускин. — Царской России нет, а есть Россия новая, Советская, государство рабочих и крестьян!

— Ах во-от оно что, — удивленно протянул Шишкин. — А я смотрю — что-то... Господа!

— Громадяне! — зычно поправил его Ведмеденко.

— Господа громадяне, а ведь князь Долгорукий не мой отец, — с доверительной улыбкой сообщил Шишкин. — Он, может, и думал, что он мой отец, но я-то так никогда не считал. Мой бедный покойный отец был истопником в Мариинском театре. Мамаша же была там балериной. Говорят, что князь ухаживал за мамашей. Возможно. Но ума не приложу, кто сумел внушить князю, что он мой отец.

— Это как же его держать? — спросил вдруг Новик, вертя в руках большой кинжал со странной рукояткой.

— Вот так. — Шишкин вложил кинжал в руку Ивана. — Это кутгар, нож для пробивания кольчуги. Я выиграл его у одного раджи. — Шишкин был рад, что появилась возможность отвлечься от неприятного разговора. — Я вам его дарю, Иван Васильевич.

— Скажите, господин Шишкин, вы нарочно картавите? — выкрикнул вдруг Брускин.

Шишкин задумался над странным вопросом.

— Зачем же нарочно? С детства. Это, пожалуй, наследственное. Папаша картавил и я...

— Который папаша? — закричал Брускин.

— Оба, — нашелся Шишкин. — Князь от рождения, а истопник, он пил очень и однажды в драке откусил себе кончик языка...

— Снимите шляпу, Шишкин! — потребовал вдруг Брускин.

— Пожалуйста, — повиновался допрашиваемый.

Он снял шляпу. Шишкин был крупно лыс — рыжеватые волоски остались лишь с боков и сзади. Но дело было не в этом.

Дело было в том, что Шишкин как две капли воды походил на Ленина.

— Вылитый Владимир Ильич, вылитый! Как шляпу снял, меня ноги сами подняли — Ленин! — делился потрясенный Шведов.

Брускин нервно ходил по палатке.

— А может, была двойня? — высказал догадку Колобков.

— Кто? — спросил Шведов.

— Ну, Ленин и этот Шишкин. Детей разлучили, сколько таких историй было...

— Вы с ума сошли, товарищ Колобков! — закричал Брускин. — Вы понимаете, что вы говорите!

Новик оторвался от разглядывания куттара.

— Из-за чего сыр-бор, не пойму? — спросил он. — Ну похож и похож. У нас в деревне один мужик на царя Николашку был до ужаса похож, и ничего...

— Да, есть теория мистического толка, что у каждого человека на земле есть свой двойник. Но это же идеализм! Он же свой день рождения по старому стилю назвал. А по-новому получается — двадцать второго апреля тысяча восемьсот семидесятого года. Вы понимаете, день в день! — не находил себе места Брускин.

— Ну вот и я говорю, — пожал плечами Колобков.

— Двух Ленинов быть не может, — убежденно проговорил Шведов.

— Так и треба робити. Першого разстреляти, а другий хай живе, — предложил Ведмеденко.

Новик сунул куттар за голенище сапога.

— А он, между прочим, обещал Лапиньша вылечить... И расстреливать его я не дам. — Иван вышел из палатки.

Иван и Шишкин плыли в лодке вниз по течению широкой мутной реки.

— Нет, Иван Васильевич, это страна не для нормальных людей вроде нас с вами, — откинувшись назад, говорил Шишкин. — Если бы вы знали, как я устал от этих бесконечных чудес. Вот, к примеру, колдунья, к которой мы плывем. Она излечила меня от геморроя. Скверная болезнь, я вам скажу, ни самому посмотреть, ни людям показать. Я лечился в Баден-Бадене, в Карловых Варах у лучших профессоров. Ванны, клизмы, пилюли. Культурное лечение. А здесь? Пришел я к этой даме, а она не то что осматривать, она спрашивать не стала! Дала мне какой-то цветок. Я тут понюхал, а там — все прошло. Это ли не дикость, Иван Васильевич?

— Слышь, Шишкин, а ты как тут, с индусочками баловался? — поинтересовался Иван.

— Что скрывать, Иван Васильевич, было, — признался Шишкин смущенно.

— Ну и как они?

— Ах, Иван Васильевич, по праву старшего по возрасту я вам скажу: женщина должна быть белой. Если бы я был здесь ханом и имел огромный гарем, то, поверьте мне, без колебаний отдал бы его за один поцелуй русской женщины.

Иван недоверчиво покосился и вытянул шею, всматриваясь. Неподалеку в стремнине их догонял плывущий человек. Он то появлялся над поверхностью, то исчезал, то вдруг начинал крутиться. Шишкин снисходительно улыбнулся.

— Не волнуйтесь, Иван Васильевич. В этой варварской стране покойников не хоронят, а сжигают. А самых бедных — шудров всяких, парий — просто бросают в воду. Так что катать здесь барышню в лодке я бы вам не посоветовал...

— Да он живой! — закричал Новик, бросая руль и стягивая гимнастерку.

— Иван Васильевич, вы с ума!.. — завопил Шишкин, вскакивая и хватая за руку Ивана. — Посмотрите, там же черепахи!

Иван замер, всматриваясь. Плывущий труп сопровождала стая черепах, огромных, жирных, неуклюжих, кормящихся остатками мяса на костяке, они-то и заставляли его нырять, вздрагивать, переворачиваться.

— Ах вы твари! — закричал Иван, выхватил наган и стал выпускать в них пулю за пулей.

— Иван Васильевич, я вас умоляю! — взмолился Шишкин.

— Да пошел ты! — возмутился Иван, расстреляв все патроны. — Коров не тронь, обезьян не тронь, этих тварей не тронь! Кого же в твоей Индии трогать можно?

— Никого, — ответил Шишкин испуганно и кротко.

К обиталищу колдуньи — вырубленному в скале гроту — вела узкая тропка среди деревьев и густого кустарника. Шишкин шел первым.

— Кобра! — пискнул он вдруг, и не успел Новик глазом моргнуть, как Шишкин уже висел, держась за сук, и его поджатые ноги были на уровне головы Ивана.

Перед ним стояла в боевой стойке огромная королевская кобра. Она покачивалась из стороны в сторону и шипела, но не угрожающе, а скорее хозяйски-царственно. Не отрывая взгляда от ее круглых глаз, Новик плавно вытаскивал шашку из ножен.

— Ива-ан Васи-ильевич, — тоненько скулил сверху Шишкин.

Но Иван не слышал, он уже заносил саблю для удара.

— Не надо! — визгливо крикнул Шишкин в тот момент, когда сабля описывала мгновенный полукруг...

Кобры не было. Иван удивленно смотрел по сторонам и нигде ее не обнаруживал. Он в ярости кинул шашку в ножны, выхватил из-за голенища сапога нагайку и хлестанул по круглой заднице Шишкина.

— Ай! — закричал Шишкин и свалился на землю.

— Не говори под руку! Не говори! — Иван успел хлестануть Шишкина еще пару раз, пока тот не вскочил и не скрылся за изгибом тропки.

— Говорят, ей триста лет, — с выражением ужаса на лице прошептал Шишкин.

В темном и мрачном жилище с вырубленными из камня фигурами богов со звериными телами и человеческими головами и наоборот сидела у горящего очага женщина в темно-вишневом платье и венке из лотосов. Лицо ее закрывала густая черная кисея.

— Это одежда смерти, — шепнул Шишкин. Сложив ладони, он коснулся ими своего лба, груди и каменного пола и громко приветствовал: — Намасте!

Колдунья повела головой, нюхая воздух, и что-то ответила.

— Узнала! — обрадованно шепнул Шишкин и торопливо заговорил на хинди.

С настороженным недоверием Новик смотрел по сторонам.

— Она просит дать ей какую-нибудь вещь больного, — прошептал Шишкин.

Иван вытащил из-за пазухи буденовку Лапиныша. Держа ее перед собой, Шишкин побежал на цыпочках к колдунье.

Она щупала буденовку, мяла, нюхала и наконец сказала что-то. Шишкин удивленно переспросил. Она повторила.

— Она говорит, что может его вылечить, но лучше ему умереть своей смертью, потому что, если она его и вылечит, его все равно убьют на третий день.

— Кто? — удивился Новик.

— Его убьют айсуры. Это... злые духи. У него потом будут неприятности с перевоплощением.

Иван усмехнулся.

— Ты скажи ей — пусть лечит, а своего комкора мы защитим. Тем более от духов.

Колдунья опустила голову, и Шишкин на цыпочках же вернулся.

— Деньги давайте, — зашептал он.

Иван вытащил из кармана галифе горсть царских золотых червонцев, отдал Шишкину.

— Эх, червончики, с вами бы сейчас в первопрестольную, — успел прошептать Шишкин, прежде чем вновь побежать к колдунье.

Что-то заставило Ивана оглянуться. Кобра, та самая, стояла за его спиной, готовясь к прыжку. Иван выхватил шашку. Змея мгновенно упала и шмыгнула куда-то, пропав в темноте. Выставив перед собой оружие, Новик озирался по сторонам, отовсюду ожидая атаки.

А змея поднялась по руке колдуньи и обвила ее шею. Шишкин победил от страха, стоя рядом, но от того же страха не мог сдвинуться с места.

Колдунья что-то сказала.

— Кангалимм спрашивает, кто хотел убить ее маму, — блеющим голосом перевел Шишкин.

— Скажи ей, знаешь, где я ее маму видел? — зло ответил Иван.

Шишкин посмотрел на Ивана в ужасе.

Колдунья стала вдруг подниматься и пошла к Новику — прямо через пламя очага. Это была высокая статная женщина. Змея тут же заняла ее место, свернулась клубком на атласной подушке.

Колдунья подошла к Ивану близко, подняла свою черную, с длинными пальцами руку и стала расстегивать гимнастерку на его груди.

— Стойте, не шевелитесь! — умоляюще прошептал Шишкин, который оказался уже рядом.

— Щекотно, — пожаловался Новик, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

Колдунья нащупала три крупные родинки на груди Ивана и вдруг сложила перед ним ладони и поклонилась.

Шишкин торопливо переводил.

— Она говорит, что знала вас в ее прежней жизни... Это я вам потом объясню, Иван Васильевич... Э-э... между прочим, она называет вас маха саиб — великий господин... Значит, в той жизни вы были полководцем у одного царя, а она у него была наложницей... И вы, Иван Васильевич, ее полюбили, а она вас... Э-э... А царь вас обоих за это заживо замуровал в стену. Черт побери, прямо опера «Аида»...

Глава четвертая

Не капли, но потоки дождя изливались на джунгли с низкого беспросветного неба. Лошади вошли в лагерь понуро и устало, и так же понуро и устало сидели на них возвращавшиеся из разведки красноармейцы. Мокрый до нитки Иван сполз с лошади, вошел для доклада в палатку Лапиньша, скоро вышел и побрел к себе.

Сочувственно улыбаясь и покачивая головой, наблюдала за ним Наталья из большой женской палатки. Что-то взорвалось на небе громом, как всегда, неожиданно, Наталья вздрогнула и чуть не перекрестилась.

Покашливая, Иван прошел совсем рядом с открытым пологом палатки и не заметил ее, а Наталья увидела, как бьет его дрожь, и услышала, как стучат его зубы.

Наталья оглянулась. Все женщины спали. Она накрылась шинелью с головой и побежала к маленькой выцветшей Ивановой палатке.

Он уже спал, но скорее это был не сон, а забытье. Он скрючился на брезенте под шинелкой, и его по-прежнему била дрожь.

— Иванушка, — нежно прошептала Наталья, осторожно прилегла рядом и обняла его.

Иван блаженно улыбнулся в своем бреду, но тут же почувствовал, что это явь, и глаза его резко открылись.

— Наталь Пална! — пробасил Новик потрясенно и простуженно.

— Грейся об меня и спи, — улыбаясь, попросила Наталья.

Иван блаженно застонал.

Дождь прекратился к вечеру, и стало так тихо, что было слышно, как дышит благодарная парящая земля. Красноармейцы выбирались из палаток, потягиваясь, блаженствуя и не разговаривая, чтобы не нарушать эту благословенную тишину.

Теперь Наталью колотило, но уже иной, горячей дрожью. Она извивалась под Иваном, задыхаясь и умоляюще на него глядя, и шептала прерывисто:

— Я не смогу... Я закричу...

— А где Новик-то? — негромко спросил кто-то на другом конце лагерь, но здесь было слышно.

— Дрыхнет, — ответили там же.

— Ва-анечка... Закричу... — шептала Наталья.

Иван любил неожиданно строго и сосредоточенно.

— Кусай руку, — шепнул он. — Не эту, правую...

— Откушу... — предупредила Наталья, и в глазах ее были одновременно счастье и ужас.

— Хрен с ней, — без жалости сказал Иван.

Была ночь, на небе высыпали бесчисленные и огромные индийские звезды, и джунгли окрест наполнились звуками ночной звериной жизни.

Иван с Натальей отдыхали. Она лежала у него на плече и рассказывала женским счастливым шепотом:

— И мужа мне батюшка нашел из наших же, дьячка. Ой мамушки, противный! Щипался!

Иван удивленно покосился.

— Зачем?

— Не знаю. От злости, наверно... Спасибо Григорь Наумычу: когда мимо нашего села красные проходили, пожалел меня, в заместители взял, никому не сказал, что церковного сословия. Так бы и сидела сейчас там... В Индии б не побывала... Тебя б не встретила... Ванечка...

Наталье стало страшно от этой мысли, и она обхватила Ивана, обняла его так, что косточки захрустели. Глаза ее наполнились слезами прошлого страдания и нынешнего счастья. На глазах Ивана тоже выступили слезы, но совсем иного рода, он боролся, не пускал наружу смех, который прямо-таки разбирает его.

— Ты чего, Вань?.. — Наталья забыла о своих слезах, заулыбалась. — Ну чего? — не терпелось ей узнать.

Сдерживаясь из последних сил, Иван сцепил зубы.

— Ну Вань, ну чего? — пыталась Наталья.

— Да я все никак не понимал, про чего эта поговорка, — сдавленно объяснил Иван.

— Которая, Вань, которая? — торопила Наталья, ее тоже разбирает внутренний неудержимый смех.

— Кому поп, кому попадья, а кому... по-по-ва дочка, — пропел Иван, и они обнялись, уткнулись друг в дружку, заглушая хохот.

В разных местах спящего лагеря прохаживались часовые, а у палатки Лапиньша стояли двое. Из палатки доносился богатырский храп.

— Эх и дает Казис Янович! — одобрительно улыбнулся один. — А раньше, бывало, стоишь и слушаешь — жив еще или уже помер.

— В здоровом теле — здоровый дух, — объяснил другой, и они разом посмотрели вверх.

В густом ночном воздухе зашелестело что-то, и большая птица, похожая на самого крупного из голубей, витютня, села на вершинку шатровой палатки комкора. Она внимательно посмотрела на часовых и вдруг сказала отчетливо, почти человеческим голосом: «Кук-кук».

— Птица Гукук! — прошептал один из часовых.

Другой вскинул винтовку, но птица вдруг открыла клюв и исторгла из себя пламя. Небольшое, правда, и как бы не пламя, а голубой округлый свет. После чего снялась и улетела, шурша крыльями о воздух.

Голые по пояс, а то и вовсе голышом умывались на рассвете красноармейцы в шумной ледяной воде небольшого водопада. Крякали от удовольствия, играли мускулами, смеялись.

Комкор Лапиньш встал под падающую воду и стоял не двигаясь, блаженно закрыв глаза. На берегу сидел Брускин, в кожанке, с перевязанным горлом, и чистил белым порошком зубы.

— Это кто тебя так, Иван? — громко спросил Колобков, указывая на искусанную до локтя Иванову руку.

— Это?.. — Иван придумывал, что бы ответить, и придумал: — Обезьяна...

— Ну? Это как же?

— Да спал сегодня крепко после разведки, а она в палатку забралась... Да я и не чуял.

— Крупная?

Иван посмотрел на шрамы.

— Да вроде крупная.

— Белая?

— Чего?

— Обезьяна, говорю, белая была?

Красноармейцы вокруг с интересом слушали разговор. Серьезный тон давался Новику все труднее.

— Где же ты видел белых обезьян? — растерянно спросил он.

— А звали ее как? — прокричал сквозь смех Колобков.

Красноармейцы взорвались смехом, и Иван не выдержал, тоже захохотал.

Дорога была хотя и лесной, но широкой, и потому двигались быстро.

Лапinyш ехал верхом в середине колонны. Рядом с ним был Брускин с перевязанным горлом. Их окружала тройная цепь всадников, которые посматривали по сторонам настороженно и зорко. Лапinyш говорил что-то улыбающемуся Брускину и смеялся во весь рот. Комкор преобразился. Это был не смертельно больной и злой человек, а здоровяк — сильный, добродушный и веселый.

— Жить! Тертовски хочется жить! — громко и оптимистично закончил он какую-то свою мысль.

Это были последние слова комкора Лапinyша.

Из воздуха возник вдруг непонятный звук, свист. Многие завертели головами, не понимая, что же это такое. Свистела летящая над головами стрела. Она появилась ниоткуда, материализовалась из воздуха и с коротким деревянным стуком вошла глубоко в грудь Лапinyша.

Лапinyш умер мгновенно — стрела попала прямо в сердце, да, может, к тому же она была и отравлена. Стрела торчала рядом с двумя орденами Боевого Красного Знамени словно третий орден — цвета ее оперенья были такими же, как эмаль на ордене: красное, золотое, белое и чуточку черного.

— Комкора убили! — хрипло закричал Брускин, но и без него все поняли и почему-то очень испугались. В колонне началась вдруг паника, схожая с той, которая случилась при землетрясении.

Охрана Лапinyша крутила головами не в состоянии понять: откуда? кто?

— Я видел! Это обезьяна! — закричал один из них и указал на удаляющуюся по верхушкам деревьев стаю обезьян.

— Контра проклятая! — Словно обезумев, с криками и проклятиями охрана сорвалась и поскакала следом.

А в колонне продолжалась паника.

— Иван Васильевич! Я вас умоляю! — кричал Шишкин, пробиваясь к Новику. — Остановите их! Нельзя, нельзя в этой стране убивать обезьян!

— Далась тебе эти обезьяны! Мы в Гималаях бога повесили — и то ничего! — прокричал в ответ Новик, но Шишкин обнял его сапог и не прошил — умолял.

— А, черт! — разозлился Иван и хлестнул лошадь.

Обезьяны скопились в старом, полуразрушенном храме, напрасно посчитав его безопасным убежищем, и теперь ужасно вопили, скача по перемазанным свежей кровью головам каменных богов.

Красноармейцы палили беспрерывно — стоя, с колена и даже лежа.

— Что вы, сволочи, сдурели? — орал Иван и с лошади охаживал нагайкой стрелков по головам, плечам и спинам, но они, как безумные, не чувствовали боли и стреляли, стреляли, стреляли.

На холмике красной земли стоял дощатый конусообразный обелиск с красной жестяной звездой наверху. «Лапиньш Казис Янович. 1879 — 1921» — было написано на нем. Склонив обнаженные головы, стояли рядами вокруг могилы командира красноармейцы. Трижды прогремел прощальный салют. Стало тихо.

ГЕРОЙ ВЕЛИКОГО ПОХОДА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ КОМАНДИР КОРПУСА КАЗИС ЯНОВИЧ ЛАПИНЫШ БЫЛ ПОХОРОНЕН НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА ГИБЕЛИ — В ТРЕХСТАХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДА УДАЙПУР, ШТАТ РАДЖАСТХАН. ПОСЛЕ ЕГО ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ В ЦЕЛЯХ ЛУЧШЕЙ МАНЕВРЕННОСТИ И СКОРЕЙШЕГО ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ КОРПУС РАЗДЕЛИЛСЯ НА ТРИ РАВНЫЕ ЧАСТИ И СТАЛ ДВИГАТЬСЯ В ТРЕХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ДИВИЗИЯ, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ШВЕДОВЫМ, ПОШЛА НА АХМАДАБАД (ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ), КОЛОБКОВ СТАЛ НАСТУПАТЬ НА АГРУ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ), И ДИВИЗИЯ НОВИКОВА НАПРАВИЛАСЬ НА ВОСТОК — НА БЕНАРЕС.

*Штат Раджастхан. Точное место не установлено.
23 февраля 1921 года.*

Передовой эскадрон дивизии Новикова выбрался из джунглей на чистое пространство и остановился, изумленно взирая на маленький город-крепость. За его глинобитными стенами возвышались ажурные башенки дворца и башни минаретов.

— Как думаешь, Шишкин, за кого они? — спросил Иван, не отрывая изучающего взгляда от крепости.

— Ни за кого, — определенно ответил Шишкин, и Новик посмотрел на него как на идиота. — Иван Васильевич, — обиделся Шишкин, — я же вам объяснил: варварская страна, раннее средневековье! По-моему, это Ахмад Саид-хан, местный князь.

— И что делать будем? — с насмешкой во взгляде спросил Новик, для себя-то решив, что он будет делать.

— Ехать, Иван Васильевич, ехать от греха подальше.

И вдруг в воздухе возник какой-то мелкий, еле слышный множественный свист. Иван не увидел, но понял, что это, сжал лошадиные бока шенкелями, рванул изо всей силы на себя повод, и лошадь высоко вскинулась на дыбы. В то же мгновение в беззащитное лошадиное брюхо вонзился десяток стрел, и она тяжело завалилась набок.

Иван лежал за крупом убитой лошади как за бруствером и смотрел по сторонам. Красноармейцы в панике бежали к лесу, оставляя убитых. Шишкина рядом не было. Иван посмотрел на оперенье стрелы. Оно было точно таким же, как у той, которая убила комкора.

— А ты говоришь — от греха подальше. А за Лапиньша кто отомстит?

Артбатарея била и била по крепости. Оттуда поднимался черный дым, были слышны женские крики, взлетали в небо дикие птицы.

— Ты мне в стену бей! — кричал Новик командиру батареи и сам все прикладывал к глазам бинокль.

Когда брешь в стене сделалась, на взгляд Ивана, достаточной, он привстал в стременах и закричал:

— Отомстим за товарища Лапиньша! Шашки наголо! Вперед! Марш-марш! — и первым хлестанул своего нового, вороной масти коня.

— Отомстим! — поддержали кавалеристы командира и выскочили из зарослей на открытое пространство.

Какой-то молодой кавалерист на резвой кобыле вырвался вперед Ивана, но тот догнал его, перетянул нагайкой по спине и прокричал зло и ревниво:

— Куда вперед командира лезешь, сопляк!

Из-за стены ударил пулемет, но было поздно — первые уже ворвались в крепость.

На узеньких улочках было много защитников, но почти все они были пешими. Иван рубил шашкой налево и направо, а тех, кого шашка не доставала, он доставал из нагана.

У открытых ворот дворца он положил из нагана двух стражников, а третьего пришлось догонять и рубить, потому что патроны кончились.

Он ворвался в большой, роскошно убранный зал с пустым княжеским тронном.

— Ну где ты, князь? — закричал Иван в кураже. — Князюшка! Выходи, я тебе башку снесу!

И, повернув голову, увидел того, кого искал. Князь сидел на большой белой лошади и держал на руке мальчика лет семи. Без сомнения это был его сын, они были похожи — полноватые, крупнолицые, в одинаковых белых шелковых накидках и в чалмах-тюрбанах, украшенных драгоценными камнями. Мальчик смотрел на Ивана испуганно, князь — с ненавистью.

— Убери пацана, князь! — нетерпеливо закричал Новик в предвкушении поединка.

Тот как будто понял, опустил ребенка на пол и что-то сказал, и мальчик отбежал и остановился.

Они разбежались к противоположным стенам.

— Аллах акбар! — крикнул князь.

— Руби до седла, остальное само развалится! — крикнул в ответ Новик, и они поскакали друг на друга.

Иван на ходу перекинул шашку из правой руки в левую и ударил князя по плечу. Шашка срезала белый шелк одежды, обнажив сталь кольчуги.

— Ишь ты! — выкрикнул Иван, и они закрутились, стараясь выбить оружие из рук врага.

Иван был сильнее, глаза его смеялись в предвкушении близкой победы, как вдруг революционное его оружие сломалось у самого эфеса. Князь от неожиданности растерялся, Новик — нет. Он отбросил эфес с горящим на нем орденом Боевого Красного Знамени, развернул лошадь и направил ее в открытую дверь. Эфес упал к ногам княжеского сына. Мальчик смотрел на него, не решаясь поднять.

Проскакав по коридору, где Ивану пришлось прикинуть к лошадиной шее, он оказался в новом зале, посреди которого был устроен небольшой бассейн с фонтаном. Лошадь вдруг споткнулась о ступеньку и стала падать, а Иван перелетел через ее голову, нырнул в фонтан, спугнув ярких утиц, но тут же вскочил и кинулся в одну из дверей. Там была винтовая лестница, и Новик доверил ей свою судьбу, побежал, стуча сапогами, вверх.

Лестница кончилась дверью. Иван открыл ее ударом сапога и огляделся. Это была, вероятно, княжеская опочивальня, где он принимал наложниц: огромная кровать с витыми столбиками под балдахином и множество атласных подушек. Звучали шаги бегущего по лестнице князя. Новик обхватил руками столбик, пытаясь вырвать его, чтобы применить как оружие, но это оказалось не по силам. Тогда он схватил за угол подушку, побежал к двери, встал в боевой стойке, подняв ее как оружие.

— Ну, держись, Иван! — подбодрил он себя в веселом отчаянии. Похоже, он и сейчас не верил, что его могут убить. И вдруг взгляд его упал на торчащий из сапога куттар.

Князь распахнул дверь, держа над головой занесенную для удара саблю, и столкнулся лицом к лицу с Иваном.

— Н-на! — выдохнул Новик и с силой воткнул кинжал в живот князя. Куттар легко пробил кольчугу на животе и оттопырил ее на спине.

Хозяйски заложив руки за спину, Новик быстро шел по дворцу. Где-то кто-то еще кричал, и изредка стреляли.

— Куда это, Иван Васильевич? — спросил подбежавший красноармеец, показывая лежащие на подносе украшения.

— В казну, все в казну, — говорил Новик деловито. — Будем бедным по пути раздавать.

Взгляд его упал на украшения, и он остановился. Сверху лежало необыкновенно красивое ожерелье. Иван взял его, посмотрел оценивающе и сунул в карман галифе.

— Шишкин! — воскликнул он, увидев идущего навстречу со смущенной улыбкой приятеля. — Где ж ты прятался все время?

— В надежном месте, Иван Васильевич, — успокоил Шишкин.

— Ох и трусло же ты! — искренне восхитился Иван.

— Я не трус, Иван Васильевич, а заложник идеи, — терпеливо объяснил Шишкин.

— Это какой такой идеи? — насмешливо поинтересовался Иван.

— Вернуться на родину, водочки в «Яре» выпить и по снежку вечером под звездами — хруп-хруп, хруп-хруп...

Новик захохотал.

— Иван Васильевич... — подбежал еще один красноармеец.

— В казну, в казну! — отмахнулся Иван.

— Нельзя в казну, Иван Васильич!

— А что такое?

— Гарем!

Новик остановился и подмигнул Шишкину.

— Гарем, Шишкин.

Иван стоял по пояс в воде в том самом бассейне, в который он влетел, когда драпал от князя. На другом краю бассейна сгрудилась дюжина ханских наложниц. Чтобы вода скрывала тело, барышни сидели на корточках и испуганно смотрели на Ивана. Новик плескал себе воду под мышки и бросал на дам задорные взгляды. На краю бассейна сидел, скрестив ноги, Шишкин, прикрыв глаза, курил кальян и время от времени задавал вопросы.

— Вы природный левша, Иван Васильевич?

— Почему?

— Я видел — вы саблю в левой руке держали.

— Не саблю, а шашку, — поправил Новик. — Сломалась, зараза. И орден пропал. Вообще-то, Шишкин, я нормальный, ложку в правой руке держу и хрен, когда по нужде. А левой рубиться сподручнее, вот я и научился. Не любят в бою левшов.

Он говорил, не сводя упорного взгляда с наложниц, и в глазах его возникла досада.

— Значит, так, Шишкин. Там, наверху, есть комнатуха, я сейчас туда пойду, а ты их ко мне запускай. А то они уже посинели.

— По одной или всех сразу? — меланхолично поинтересовался Шишкин. Новик задумался.

— Не, по одной... Сразу — это, пожалуй, нехорошо будет...

Шишкин повернулся к двери и сказал почему-то:

— Гарем.

— Гарем, Шишкин, гарем, — подтвердил Новик и подмигнул барышням.

— Гарем, — почему-то повторил Шишкин.

— Я и говорю, гарем, — повторил Новик и только с третьего раза услышал, что тот сказал.

— Горим, — сказал Шишкин тихо.

Иван повернул голову и увидел Наталью.

— Наталь Пална, здоров! — глухо поприветствовал Новик, косясь на наложниц.

— Здорово, здорово, Иван Васильич, — качая головой, грустно отозвалась Наталья.

— Ты чего, вернулась, что ль? — живо поинтересовался Иван.

— В командировку Брускин послал, — ответила Наталья. — Эх, Иван, Иван...

— А я чего, Наталья, это у них бани такие, народные. Шишкин, скажи!

— Иван Васильевич абсолютно прав, Наталья Павловна, это общественные бани, — подтвердил Шишкин. — Я вот сейчас докурю и тоже пойду мыться.

— Ладно, Иван, прощаю и больше никогда не вспомню, — спокойно и устало заговорила Наталья. — Но если еще раз...

— Наталья... — подал голос Иван.

Наталья наклонилась, подхватила с пола Новиковы подштанники и, кинув их ему в лицо, крикнула:

— Одевайся!

Гаремные захихикали.

Был вечер. Они скакали рядом по лесной дороге — Иван на вороном коне, Наталья на белой кобыле.

— Заблудимся! — смеясь, крикнула Наталья.

— Да это рядом. Стой-ка! — вспомнил Иван.

Они остановили лошадей, и Новик достал из кармана ожерелье и надел его на шею Наталье прямо поверх гимнастерки. Наталья смутилась, не зная, что сказать. Иван прищпорил коня и крикнул:

— Не отставай!

Он остановился, соскочил на землю, подхватил Наталью с седла, перекинул ее, смеющуюся и вырывающуюся, через плечо и понес в джунгли.

Наконец он поставил ее на ноги.

— Гляди! Мои разведчики нынче обнаружили. Я им молчать приказал, а то наши узнают, рехнутся все.

Перед ними был храм, стоящий одиноко и таинственно посреди джунглей. Его стены были сложены из плотно стоящих друг к другу каменных фигур. Иван крутил ус и поглядывал на Наталью.

— О-о-ой! — испуганно выдохнула она.

Все эти каменные люди, женщины с пышными грудями и мужчины с огромными фаллосами, любили друг друга, ласкали, застыв в самых немислимых позах.

— Ой! — вскрикнула Наталья испуганно и отвернулась, закрыв лицо ладонями. — Стыд-то какой...

— Какой стыд, нету никого... Да погляди ты! — настаивал Иван, поворачивая ее к храму любви и отрывая ладони от лица.

Наталья сопротивлялась, но Иван был сильнее. И Наталья перестала сопротивляться и стала смотреть.

Пролетели вдруг низко и сели неподалеку, распушив хвосты, несколько павлинов.

Была ночь, безлунная, звездная. Наталья кричала пронзительно, свободно и счастливо, и после каждого ее крика ночные джунгли затихали и удивленно прислушивались.

И на привале прислушивались.

— Дед! Слышь, дед! — тряс за плечо, будил своего деда Государев-внук.

— Чего? — заполошно спрашивал Государев-дед со сна.

— Шешнадцать! — потрясенно сообщал внук.

Глава пятая

*Штат Утар-Прадеш. Джонс-Пойнт.
29 ноября 1922 года.*

Мисс Фрэнсис Роуз проснулась оттого, что где-то неподалеку несколько раз выстрелили. Она потянулась, выбралась из широкой постели и, как была в длинной ночной сорочке, вышла на балкон, где стоял маленький столик, стул и небольшой телескоп на высокой треноге.

Дом был чисто английский, газон вокруг дома был тоже чисто английский, и сухопарый седой слуга-англичанин подстригал его, даже рожица вдали имела неуловимо английский вид. Слуга поклонился.

— Доброе утро, мисс Роуз¹¹, — приветствовал он. — Уезжая на охоту, ваш жених передавал вам привет.

При слове «жених» юная мисс скорчила гримаску и взглянула на рожицу, потому что оттуда донесся звук еще одного выстрела. И сразу же из-за деревьев выскочил один наездник, за ним другой. Они нахлестывали скачущих диким галопом лошадей и неслись прямо к дому. На хорошеньком даже со сна личике мисс Роуз изобразилось удивление. Она перевела трубу телескопа в вертикальное положение и заглянула в окуляр.

Первым мчался с выпученными от ужаса глазами крупный, огненно-рыжий, пышноусый шотландец в юбочке. Это и был сэр Джонс, хозяин Джонс-Пойнта, жених девушки.

— Куда это ты так торопишься, милый? — спросила она, и в голосе ее определенно присутствовал сарказм.

Следом скакал слуга сэра Джонса с двумя карабинами за спиной. Шотландец что-то крикнул ему, оглянувшись, и слуга остановил свою лошадь и торопливо стащил карабин с плеча.

В следующее мгновение из рожицы выскочил еще один наездник. Лошаденка его была послабее английских, и он беспощадно хлестал ее по бокам. В руке его покачивалась наперевес пика с алым треугольничком ткани у поблескивающего стального острия.

От удивления часто моргая, забыв о телескопе, она смотрела, как слуга сэра Джонса, прицелившись, стал стрелять в этого человека. Преследователь с пикой приник к луке, и Фрэнсис торопливо приникла к окуляру телескопа. У него были веселые, полные азарта глаза, хищно раздувались ноздри, и, скалясь в улыбке, он что-то кричал. Он был в островерхом шлеме с большой голубой звездой.

— Centaur¹², — прошептала мисс Фрэнсис Роуз. Она еще не знала, что его зовут Иван Васильевич Новиков.

Когда патроны кончились, слуга предупреждающе поднял руку и закричал громко и торжественно:

— Мы — подданные ее величества королевы!

Это словно придало Новичу сил, и через два, максимум через три мгновения пика вошла в солнечное сплетение англичанина и вышла у позвоночника между предпоследним и последним ребрами. Иван попытался вырвать ее на ходу, но с легкостью спички пика сломалась, и Иван осадил лошадь, подняв ее на дыбы.

— Какую пику загубил, морда, — проворчал он, глянув на англичанина, но переведя взгляд на улепетывающего сэра Джонса, улыбнулся и прокомментировал с удовольствием:

— Эх и драпает англичанка!

¹¹ Сказано это было, разумеется, на чистейшем английском языке, но, чтобы избежать сложностей с переводом, автор берет на себя ответственность, заставляя иностранных героев говорить по-русски, оставить им их родную речь там, где это необходимо для истории, а также там, где автор испытывает затруднения с переводом.

¹² Кентавр.

Сэр Джонс перескочил через живую изгородь, проскакал рядом с опешившим слугой и буквально пролетая мимо дома, успел крикнуть девушке:

— Не беспокойся, дорогая! Я скоро вернусь!

Фрэнсис вновь прикинула к окуляру, чтобы посмотреть на незнакомца, но обнаружила, что он смотрит на нее в бинокль. Увеличенные системами линз, их взгляды на мгновение встретились. Фрэнсис смутилась, выпрямилась и ушла, гордо вскинув голову.

А из рожи выходило не торопясь, с сознанием собственной силы Новиково воинство.

Иван дернул висящий сбоку от двери витой шнур, послушал звонок колокольчика и взглянул на стоящего рядом Шишкина. Тот одобритительно кивнул. В доме никто не отозвался, и Иван толкнул дверь. Она оказалась запертой. Он дернул шнур во второй раз — по сильнее, и в третий — уже чересчур сильно, потому что шнур оборвался.

— Одну минуточку, Иван Васильевич, — попросил Шишкин и побежал к большим окнам дома, забранным толстыми решетками, пытаясь заглянуть внутрь.

— Что ты, как пацан, ей-богу! — недовольно сказал Новик, снял с пояса ручную бомбу, стукнул ручкой о каблук, положил бомбу под дверь и отбежал.

Шишкин присел, заткнул уши указательными пальцами и устало и привычно стал считать вслух:

— Один, два, три, четыре, пять...

Раздался взрыв.

В большой, пронизанной солнечным светом столовой за длинным столом сидела мисс Фрэнсис Роуз. Она ничем не выдала своего волнения, когда вошли Новик и Шишкин. Она словно не видела их, продолжая собирать маленькую ложечкой размазанную на тарелке овсянку. Новик внимательно рассматривал ее. Она была маленькая, худенькая, рыженькая, и бьющий из окна солнечный свет делал ее почти прозрачной. Иван впервые видел такую девушку и, кажется, робел.

Шишкин сделал шаг вперед, поклонился и громко объявил:

— My master, Russian general Ivan Novikov, is sorry for interrupting your breakfast¹³.

Мисс Фрэнсис вскинула головку и, глядя сквозь Шишкина и Ивана, ответила:

— We can go on with it together. My name is Francé Rose.

Она повернулась к слуге и отдала ему негромко распоряжение.

— Приглашает к столу. Ее зовут Фрэнсис Роуз, — перевел Шишкин.

Новик понимающе кивнул и, вытерев ладони сзади о гимнастерку, сел за стол.

— Иван, — назвал он свое имя, почему-то волнуясь.

Слуга принес кашу, тосты и чай с молоком и поставил перед Новиком.

— А ты чего же, Шишкин? — удивился Новик.

— Не надо, Иван Васильевич, я сыт, — отказался Шишкин, стоя сбоку от Новика с выправкой и достоинством хорошего слуги.

Фрэнсис открыла дверь.

— Your bedroom.

— Спальня, — перевел Шишкин.

— Годится, — одобрил Новик большую спальню с широкой кроватью под шелковым пологом.

— Your bathroom.

¹³ Мой господин, русский генерал Иван Новиков, приносит свои извинения за прерванный завтрак.

— Ванная комната.

— Чего? — Новик удивленно смотрел на ванную, умывальники, унитаз и биде.

— Баня, — упростил Шишкин.

— Попариться — хорошо! — обрадовался Новик.

Он намыливал голову, сидя в заполненной пеной ванне, прикрыл глаза, откинулся назад и тут же заснул, как ребенок, — мгновенно и сладко.

Большие напольные часы пробили полдень. Шишкин и Фрэнсис прямо и чинно сидели на разных концах огромного гостиного дивана.

— Он спит уже три часа, — неуверенно улыбнувшись, сказала Фрэнсис.

— Он не спал до этого пять ночей, — спокойно объяснил Шишкин.

— Но, может, тогда вы подольете ему горячей воды, он же может простудиться!

— Он не простудится.

— Почему вы так считаете?

— Потому что он не может простудиться.

— Но разве он не такой же человек, как все?

— Он не человек, мисс Фрэнсис, — уверенно и спокойно ответил Шишкин.

Она повернула удивленное лицо.

— А кто же он?

— Он — кентавр.

Фрэнсис опустила голову и покраснела вдруг, но Шишкин не заметил этого.

— Ой! Уй! Замерз! Задубел! — раздались из ванной вопли Новика. — Шишкин! Где тут горячая? Ой!

Теперь на том же диване посредине сидел один Иван. В одной руке он держал большую дымящуюся сигару, в другой сжимал широкий хрустальный стакан, в котором было виски с кубиками льда. Иван улыбался от полноты жизни и время от времени с уважением поглядывал на вертящийся под потолком вентилятор.

Фрэнсис стояла около большой американской радиолы и перебирала пластинки. Шишкин застыл за спиной своего господина.

— Слышь, Шишкин, как бы мне ее попроще называть? — спросил Новик, задрав голову. — А то не запомню никак.

Шишкин задал этот вопрос англичанке.

— Fanny, — ответила она.

— Фанни, — повторил Шишкин.

Иван нахмурился.

— Не, Фанни не пойдет. — Он опрокинул в рот содержимое стакана и громко захрустел льдом.

Англичанка поставила пластинку и опустила иглу. Громко запели трубы, зазвучал марш из «Аиды». И Новик вдруг востроился, вытянулся, напрягся, ноздри его раздулись, как в бою.

— Шишкин! Что это?.. — спросил он отрывисто.

— «Аида», Иван Васильевич, опера Верди, — довольно меланхолично ответил Шишкин.

Но Новик не слышал. Он вскочил и заходил быстрыми кругами по гостиной в необъяснимом волнении. Фрэнсис смотрела на него удивленно и радостно. Шишкин же выглядел привычно спокойным. Марш кончился, зазвучала партия Амнерис, и ее Новик слушать не стал. Он обессиленно плюхнулся на диван, обхватил голову руками и повторял, качаясь:

— Это что ж такое?! Что ж такое! Ох и Аида...

Шишкин выразительно посмотрел на Фрэнсис и пожал плечами.

— Centaur.

— Centaur... — шепотом повторила англичанка.

Ночью Иван проснулся, выскочил из-под полога голый по пояс, в белых подштанниках, похоже, хотел справить малую нужду, но увидел наборный паркет, китайскую вазу в углу и вспомнил, что спит не в своей стоящей в джунглях палатке. Он усмехнулся и, шлепя босыми ногами, пошел искать сортир.

Открыл первую дверь и увидел ее.

Она стояла под включенным душем, тоненькая, розовая, почти прозрачная. Иван смотрел на нее неотрывно с великим удивлением, смешанным наполовину с жалостью. Вода шумела, и глаза Фрэнсис были закрыты, она не слышала его и не видела.

— Бедная ты моя, бедная, — разговаривал Иван сам с собой, качая головой. — И какая же ты худая... Косточки так и светятся... И что же мы с тобой воюем-то, а? Англичанка ты моя, англичаночка...

Фрэнсис закрутила кран и открыла глаза. Увидела Ивана и ничуть не испугалась. Казалось, она ждала его.

Дивизия Новика расположилась на ночлег вокруг английского дома. Но спали не все, кому-то, разумеется, и не спалось.

— Эх, сейчас наш комдив англичанку... — с хорошей мужской завистью проговорил один, глядя на розовый свет в одном из окон дома, не сказав, впрочем, главного слова.

— Это у них, у англичан, знаешь как называется? Мне один пленный ихний как-то растолковывал, — решил поделиться знанием второй, которому тоже не спалось.

— Ну? — приготовился слушать первый.

— Секс! — нахмутив брови, выпалил второй.

Первый молчал, пытаясь понять услышанное слово, но, кажется, это ему не удалось. Он мотнул головой.

— Мудрено. У нас проще.

Иван лежал на спине. Англичанка уютно устроилась, свернувшись клубком, на его груди и животе. Иван говорил тихо, успокоенно и немного печально:

— Да мне Шишкин рассказал, что тот — твой жених. Таракан рыжий. Неужто по своей воле за рыжего пойдешь? У нас в деревне за рыжих парней отдавали девок убогих да порченных. Да и трусло он, юбочник твой. Встречусь я с ним в бою и что с ним делать буду, ума не приложу... Эх, Аида, Аида...

Напряженно и трепетно вслушивалась она в его слова и, разумеется, ничего не понимала. Иван замолчал... Она подождала и заговорила — тоненьким дрожащим голоском:

— I had no idea why J came to this country. What is this fiancé for? I don't love him at all. Why, why, all this? But today in the morning when I saw you I realised, no, I felt... I know now. I'll be with you everywhere and forever, my centaur, everywhere and forever...¹⁴

Иван вздохнул.

— Вот незадача. Хоть Шишкина зови...

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ПОПУЛЯРНАЯ ЕЩЕ НЕДАВНО НА ЗАПАДЕ ПОГОВОРКА «RED UNDER BED» («КРАСНЫЕ ПОД КРОВАТЬЮ») РОДИЛАСЬ В СРЕДЕ АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИСТОВ В ИНДИИ В ДВАДЦАТЫХ ГОДАХ. И УЖЕ НИКТО НЕ ПОМНИТ, ЧТО ТОГ-

¹⁴ Когда я поехала в эту страну, то совсем не понимала — зачем? Зачем мне этот жених, которого я совсем не люблю? Зачем, зачем все? А сегодня утром, когда я увидела тебя, я не то чтобы поняла, я почувствовала... А теперь поняла, теперь я знаю, я буду всегда и везде с тобой, мой кентавр, всегда и везде, всегда и везде...

ДА ОНА ЗВУЧАЛА ИНАЧЕ: «RED IN BED» — «КРАСНЫЕ В КРОВАТИ».

Англичанка сладко спала на Ивановом плече, а он лежал с открытыми глазами, не двигаясь, не находя в себе сил ее потревожить.

Дверь спальни приоткрылась, Шишкин всунул голову и, поняв, что можно, вошел, босой, на цыпочках. Мимикой и жестами Шишкин объяснил, что к нему хотят войти четверо. Иван глазами отказал во встрече четверым, но показал указательный палец. Шишкин кивнул, вышел, и следом вошел Иванов начштаба, тоже босой, на цыпочках. Мимикой же и жестами он стал объяснять, что сюда двигаются три полка английской кавалерии, и среди них один — шотландский. (Чтобы изобразить шотландцев, начштаба присел, сделав из гимнастерки юбку.) Иван нахмурил брови и поднял три пальца, не веря, что наступают три полка. На это начштаба сделал круглые глаза и постучал себя кулаком по скулам: мол, тогда набей мне морду, Иван Васильевич. Новик поверил.

Немного покумекав, он стал показывать на пальцах план предстоящего сражения. Следовало выдвигать навстречу англичанке три эскадрона и медленно сближаться. Потом надо было выпускать с флангов по четыре тачанки и расстреливать гадов в упор. В это время два эскадрона заходят с тыла и ждут. А три первых начинают рубить англичанку и гнать ее прямоком на наши пики. Начштаба хватал на лету.

Фанни открыла глаза с первым выстрелом боя. Не обнаружив рядом Новика, она вскочила и голая выбежала из спальни. И вдруг увидела робко стоящего мужчину в нижнем белье и пронзительно завизжала.

— Это я, мисс Фрэнсис, — грустно сказал ее слуга.

Фанни взглянула на него высокомерно-удивленно и спросила:

— Почему вы не одеты, Джон?

— Слуга генерала обыграл меня в карты, — грустно ответил Джон.

Шотландский полк шел посредине, чуть выдвинувшись вперед. Красивые, мощные, в клетчатых шотландках, на рыжих толстозадых лошадях, они слушали играющие волынки, громко переговаривались между собой, смеялись. Сэр Джонс был в первом ряду. Судя по выражению лица, он был настроен очень воинственно. Рядом с ним ехал молодой белокурый человек, похожий на поэта Шелли, и задумчиво-романтически декламировал:

I don't beleve,
I don't beleve,
I don't beleve my eyes...¹⁵

ВЕРОЯТНО, МНОГИЕ УЖЕ ЗАДАЛИ СЕБЕ ВОПРОС: КАК УДАЛОСЬ АНГЛИЧАНАМ УТАИТЬ ШИЛО ВЕЛИКОГО ПОХОДА В МЕШКЕ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ КОЛОНИИ? ОТВЕТ НЕ ПОКАЖЕТСЯ СЛОЖНЫМ, ЕСЛИ ЗНАТЬ ОБ ОТВРАТИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ТОГДАШНЕГО ВИЦЕ-КОРОЛЯ ИНДИИ ГЕОРГА С ГЛАВНЫМ, ТАК СКАЗАТЬ, КОРОЛЕВСКИМ ДВОРОМ. ВСЕ СЧИТАЛИ ГЕОРГА ИДИОТОМ, И ОН САМ ОБ ЭТОМ ДОГАДЫВАЛСЯ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЕГО СЧИТАЛИ ЗАКОНЧЕННЫМ ИДИОТОМ, И НЕ СООБЩАЛ В ЛОНДОН О БОЯХ С КРАСНЫМИ.

ИЗВЕСТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЛОРДА ПАЛЬМЕРСТОНА О ТОМ, ЧТО У АНГЛИЙ НЕТ ДРУЗЕЙ, НО ЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ, БЫЛО ПЕРЕНЕСЕНО И НА ВРАГОВ АНГЛИЙСКОЙ КОРОНЫ. СЕКРЕТНОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОХОДА ЛОНДОН РЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕБЕ ВО

¹⁵ Не верю,
Не верю,
Не верю глазам своим... (Перевод автора.)

БЛАГО, И, НАДО ПРИЗНАТЬ, ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ. АНГЛИЙСКИЕ ЭКСПЕДИЦИОНЕРЫ, ВОЕВАВШИЕ В ИНДИИ С НАМИ, ЗАЧАСТУЮ БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВОЮЮТ С ИНДУСАМИ. ИНДУСЫ ЖЕ, ГЛЯДЯ НА НАШИХ КАВАЛЕРИСТОВ, БЫЛИ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ПЕРЕД НИМИ АНГЛИЧАНЕ. КСТАТИ, ПЛОХУЮ СЛУЖБУ СОСЛУЖИЛИ НАМ СИНИЕ КАВАЛЕРИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА БУДЕНОВКАХ. ЕСЛИ БЫ ОНИ БЫЛИ КРАСНЫМИ, ВОЗМОЖНО, В ИНДИИ У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ БЫ ИНАЧЕ...

...Новиковцы жались к джунглям, то ли боясь, то ли не желая воевать, а английские квадраты полков уже стали рассыпаться, наступая.

Фанни смятенно смотрела с балкона, как наши остановились в нерешительности, наблюдая наплывавшую английскую лаву. Расстояние становилось минимальным, как вдруг с флангов вылетели наши тачанки, развернулись и непрерывным перекрестным огнем стали выкашивать ряды англичан. Фанни захлопала в ладоши, сбежала вниз в гостиную, включила радиолу, поставила на полную громкость любимую мелодию возлюбленного. Трубили трубы! Шли на бой египтяне!

Фанни взлетела наверх и приникла к окуляру телескопа. Наконец она нашла его. Иван первым ворвался в ряды смятенных шотландцев.

— Oh God!¹⁶ — воскликнула Фанни, чуть не заплакав от счастья.

Все развивалось по тому, постельному плану Новика. Он даже столкнулся лицом к лицу с сэром Джонсом, чего в плане не было, а было судьбой. Сэр Джонс слишком хотел зарубить Ивана, чересчур хотел, он побагровел от этого желания, глаза его налились кровью, поэтому Иван без особых усилий, одним лишь расчетом выбил палаш из руки шотландца, но рубить его не стал, а схватил ладонью за розовую бычью шею и стукнул своим лбом о лоб соперника и врага. Сэр Джонс свалился с лошади без чувств.

— Fuck off!¹⁷ — закричала Фанни в восторге и сделала неприличный жест рукой.

Англичане пытались бежать, но наши не очень-то позволяли им это сделать.

Стоя в колонне для дальнейшего марша, сидя на трофейных лошадях, ждали новиковцы своего командира, поглядывали на английский дом, а Иван все не шел.

Он и Фанни сидели за столом друг напротив друга, как в первый раз, только теперь вместо овсянки здесь стояли шампанское и фрукты. Фанни была нарядна и необычайно хороша, хотя глазки ее были заплаканы, а носик красен.

— Ну не могу, не могу я тебя взять, понимаешь? — глядя в стол, бубнил Иван.

— Why not?¹⁸ — воскликнула она.

Помощь Шишкина им уже не требовалась, и он стоял рядом со скучающим лицом.

— Да потому что ты — англичанка! — заорал Иван. — А я должен бить англичанку! А я тебя... Эх, Аида, Аида... — Иван вдруг часто заморгал и потрогал шишку на своем лбу.

Фанни вновь горячо заговорила, Иван поднял на Шишкина глаза.

— Все то же самое, Иван Васильевич, — объяснил Шишкин.

Да меня за тебя не то что с комдивов снимут — не расстреляли бы! Да и Наталья... — Иван потерянно махнул рукой.

— Natalia? — воскликнула Фанни.

— Это наш главнокомандующий, — быстро объяснил ей Шишкин.

¹⁶ О Боже!

¹⁷ Английское ругательство.

¹⁸ Почему нет?

Фанни вдруг что-то закричала, выбрасывая вперед указательный свой пальчик.

— Чего? — обессиленно спросил Иван.

— Она говорит, что, если вы не возьмете ее с собой, Иван Васильевич, она наложит на себя руки, — растолковал Шишкин.

— Ишь ты! — возмутился Иван. — А ты ей скажи, что тогда вернусь и эти руки ей повыврываю! Скажи, скажи!

Шишкин стал переводить, но англичанка вдруг выхватила из кармашка маленький блестящий браунинг, приставила его к своему виску и нажала на курок. Пистолетик щелкнул, но стрелять не стал. Иван засмеялся.

— Что? Выкусила? Патроны-то я повывбрасывал! Дура! Скажи ей, Шишкин! Только без дуры...

Фанни швырнула пистолетик на стол и забилась в истерике. Новик вздохнул, глядя на нее, и бросил Шишкину:

— Ладно! Скажи там, чтоб спешивались. Выступим ночью.

Была ночь. Утомленная и счастливая Фанни боялась заснуть и, засыпая, повторяла в полузабытии слова, которые Иван наверняка понимал иначе:

— I'll kill you, my centaur...¹⁹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ, К СЧАСТЬЮ, НЕ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ИСТОРИЕЙ ОТ ТОГО, ЧТО ПО ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ ПОТОМКИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ И ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ О ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ЕЕ СОБЫТИЯХ. ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ — ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ, МЫ ЭТО УТВЕРЖДАЕМ И ДОКАЗЫВАЕМ. ОДНО ИЗ МНОГИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЭТОГО ФАКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НИКТО НИКОГДА И НИГДЕ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛСЯ ДОКАЗЫВАТЬ ОБРАТНОЕ.

Глава первая

*Штат Утар-Прадеш.
25 декабря 1922 года.*

ИЗ ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОХОДА ЦЕНТРАЛЬНОЕ (КОМАНДИР ШВЕДОВ) ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ НЕУДАЧНЫМ — ДИВИЗИЮ РАЗБИЛ ОТРЯД ФАНАТИКОВ-СИКХОВ. ПОЭТОМУ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО СЛИЯНИЕ ОСТАТКОВ ДИВИЗИИ ШВЕДОВА С ДИВИЗИЕЙ НОВИКОВА. КОМАНДИРОМ СТАЛ ШВЕДОВ. О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ КОЛОБКОВА НА АГРУ (ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ), НИКАКИХ ДАННЫХ НЕ БЫЛО

На берегу безымянной реки, присев на перевернутую вверх дном старую, дырявую лодку, вели невеселую, но неизбежную беседу Брускин и Новиков.

— За что, я не понимаю, за что?! — взорвался Новик.

Брускин грустно улыбнулся, глядя на Новикова как на неразумного ребенка, и заговорил со вздохом:

— Эх, Иван Васильевич, Иван Васильевич... Связь с иностранкой для партии — не проступок, а преступление.

— Да я же беспартийный, Григорь Наумыч, — пробубнил отупевший от обиды Иван.

¹⁹ Я убью тебя, мой кентавр.

— В данной ситуации для партии это хорошо, а для вас плохо. Между прочим, кое-кто мне уже напоминал, что вы условно расстреляны... Надо ехать в Москву, Иван Васильевич, в Москву, в Москву! Воздушной эстафетой. Приведете подкрепление, а к этому времени страсти здесь поутихнут.

Вдоль берега скакала на белой кобыле Наталья во взбившейся почти до паха юбке. Мельком глянув на Ивана и Брускина, она обернулась, посмотрела на преследующих ее верховых и засмеялась нехорошим женским смехом.

От волнения и обиды у Брускина задрожали губы, но усилием воли он взял себя в руки. Новик скрипнул зубами.

Южное предгорье Гималаев.

15 января 1923 года.

Слева от Новика стоял Шишкин, справа — большой деревянный ящик с ручкой, в котором были любовно уложены экзотические индийские фрукты.

Летчик Курочкин переводил полный сомнения взгляд с ящика на Шишкина и обратно, подумал и решил прибегнуть к эмпирике: вначале поднял с видимой на лице натугой ящик, затем, обхватив, поднял Шишкина, после чего поставил Новiku условие:

— Или — это, или — это...

Шишкин улыбался, заправляя за пояс выбившуюся сорочку. Иван со-сал в раздумье ус.

— О чем задумался, Иван Васильевич? — поинтересовался Шишкин, но Новик не отвечал, продолжая пребывать в глубоком раздумье, и улыбка стала таять на благостной физиономии индийского пленника.

Новик цокнул языком и сожалеюще взглянул на Шишкина.

— Да... Прости, Шишкин, но я Григорь Наумычу обещал...

— Иван Васильевич, а разве же вы мне не обещали?! — с отчаянием в голосе воскликнул Шишкин, но Новик не слышал.

— Ты же знаешь, как он свою бабулю любит, на дню по десять раз ее поминает...

— Иван Васильевич... Двадцать пять лет на чужбине... Заложник идеи... — потерянно бормотал Шишкин, ходя вокруг Новика.

— А потом — он наш комиссар, мне с ним жить, родине служить, а с тобой...

Шишкин на мгновение замер, резко вдруг повернулся и медленно пошел прочь. Руки его безвольно висели вдоль туловища, голова упала на грудь, плечи вздрагивали. Новик поглядел ему вслед и улыбнулся.

— Шишкин! Слышь! Шишкин!

Шишкин уходил. Иван догнал его, схватил за плечи, повернул к себе. Лицо Шишкина было мокрым от слез. Новик смотрел виновато.

— Да ты чего? Правда, что ль, поверил? Пошутил же я!.. Пошутил, понимаешь? Да перебьется бабуля на картошечке! Шишкин! Ну хочешь, дай мне в морду, если я тебя обидел, дай, а?

Шишкин вздохнул со всхлипом, шмыгнул носом и поднял на Новика глаза.

— Знаешь что, Иван Васильевич... — заговорил он шепотом.

— Ну чего, скажи? — просил Иван, виновато улыбаясь.

— Знаешь что...

— Да говори же!

— Никогда не садись со мной играть в карты! — предупредил Шишкин.

Аэроплан разбежался и полетел, и как только он оторвался от земли, десятки бегущих рядом туземцев закричали что-то хором и упали ниц.

ИДЕЯ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ЭСТАФЕТЫ ПРИНАДЛЕЖАЛА НАРКОМВОЕННОМУ ТОВАРИЩУ ТРОЦКОМУ. СУТЬ ЕЕ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО НА СВОЕМ ПУТИ В ИНДИЮ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОГО ПОХОДА ОСТАВЛЯЛИ ЗАПАСЫ БЕНЗИНА, ЗАПЧАСТЕЙ, А В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ И ЗАПАСНЫЕ АЭРОПЛАНЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ХОТЯ И ОСТАВАЛОСЬ ОПАСНЫМ, НЕ ЗАНИМАЛО ТАК УЖ МНОГО ВРЕМЕНИ.

Москва. Кремль.

1 февраля 1923 года.

Под ногами противно хлюпала снежная юшка. Шмыгая носом, Новик открыл портсигар. Тот был пуст. Мимо проходил матрос в бушлате и клешах и дымил папиросиной.

— Браток, дай закурить, — обратился к нему Новик.

— Кури свои, кавалерия, — отозвался матрос на ходу.

— Мурга!²⁰ — кинул ему вслед Иван.

Матрос остановился, вернулся, протянул папироску.

— Так бы сразу и говорил, — сказал он понимающе.

Глядя ему вслед, Новик вытащил спичечный коробок и не обнаружил в нем ни одной спички.

— Товарищ, огоньку не найдется? — обратился он к невысокому сутуловатому человеку в сапогах, шинели без знаков отличия и форменной фуражке.

Незнакомец зажег спичку.

— Шашка у тебя хорошая, — сказал он, когда Новик прикуривал.

— Не шашка, а сабля, — поправил Иван и глянул удивленно на незнакомца.

Тот уже уходил. Иван догнал его, схватил за плечо.

— Постой! Ты же Ленин!

— Сталин, — ответил прохожий.

— Тьфу ты, — улыбнулся Новик, — я и хотел сказать. Это я потому перепутал, что в Индии ты у нас за Ленина идешь. Слушай, так ты же мне и нужен! Целый день по Кремлю вашему хожу как дурак. Ленин болеет, Троцкий в командировке, а ты вообще неизвестно где. Новиков моя фамилия, комдив Новиков. Из Индии я...

— Из Индии? — удивленно спросил Сталин.

— Из нее, матушки, — подтвердил со вздохом Иван.

Новик сидел за кухонным столом босой, с удовольствием шевелил пальцами ног и посматривал на стоящего у плиты Сталина.

— А я с утра еще на улицу Арбат ходил бабулю брускинскую проводить, — рассказывал он, заполняя паузу перед близкой выпивкой: на столе уже стояла бутылка коньяка. — Арбат, двенадцать, квартира сорок четыре, три звонка, мне Брускин прямо вдолбил в голову. Звоню три звонка... Выходит деваха кровь с молоком. Ну, думаю, ай да комиссар, шутник. «Здравствуй, говорю, Дора Соломоновна». А она говорит: «Я не Дора Соломоновна, я Катя Пирожкова, а Дора Соломоновна уже полтора года как...» — Новик свистнул. — Окочурилась бабуля. Оно бы ладно, но как я Брускину про это скажу? Он ее знаешь как любит... Так людей не любят, не... Лошадей так любят. Да собак еще иногда...

Сталин поставил на стол сковороду с жареной картошкой, налил по половинке стакана коньяка и, глянув на Новика с пытливым интересом, спросил:

— Слушай, а ты всех на ты называешь?

— Всех, — кивнул Новик. — Царя и того... Да я без зла, само так выходит...

²⁰ Индийское ругательство

— Царя? — не поверил Сталин.

Новик не обиделся.

— Третьего Георгия я в Галиции получал. И он туда приехал, вручать. Не мне одному, конечно, много нас было. И он каждому по Георгию вручил, по четвертному дал и трижды каждого в усы поцеловал. Подходит мой черед. Я на него зенки пялю. Он говорит: «Чего так смотришь, казак?» А я говорю: «Похож». Он говорит: «На кого?» Я говорю: «Живет у нас в деревне один мужик, все говорили — похож на тебя». А генералы рядом стоят — аж позеленели, как индийские лягухи! А царь спрашивает: «Ну и что, похож?» Я говорю: «Вылитый наш сапожник Матвей Фролов!»

— А он? — Сталина эта история очень заинтересовала.

— А он чего? Засмеялся, дал мне Георгия, ассигнацию, поцеловал и дальше двинул...

— Давай выпьем за Индию, — предложил Сталин.

— За Индию... — Новик подумал и согласился. — За Индию...

Они чокнулись, выпили, склонились над сковородой.

— Картошечка — хорошо... — одобрил Иван. — Там тоже есть, батат называется. Я не люблю — сладкая. Вроде как наша подмороженная.

— Ну а народ как там?

— Народ? Да теленок он, а не народ! Есть, правда, там сикхи, эти ребята боевые, по мне, а так — слишком добрые, слишком... И верующие до ужаса. Тридцать три миллиона богов, и каждому молятся.

— Тридцать три миллиона? — Сталин покачал головой.

— Тридцать три миллиона, — подтвердил Новик. — Вот и поговори с ним, с индусом... Ты ему про Будду, он тебе про Шиву, ты ему про Вишну, он тебе про Кришну!

— У нас легче... — задумчиво сказал Сталин.

— Намного, — согласился Иван.

— А англичане как? — с интересом спросил Сталин.

Новик мотнул головой.

— За жизнь свою трясутся! Чуть что: «Я подданный английской королевы!»

— А ты?

Иван улыбнулся.

— Тут уж рубишь и знаешь, кого рубишь.

Сталин засмеялся. Было видно, что Новик ему нравится.

— Но народ культурный, англичане, тут ничего не скажешь, — продолжил Новик про англичан.

Но Сталин не захотел больше про них слушать, налил по полному стакану коньяка.

— Слушай, у тебя кличка есть?

— Новик... — пожал плечами Иван.

— А я Коба. Зови меня так.

— Как? — нахмурился Новик, и рука его сама потянулась к сабле.

— Коба.

— А я подумал — кобра. А то я этих гадов... Давай, Коба.

— Давай, Новик.

Они чокнулись и выпили.

— Ну а Ленин как? — спросил Иван.

Сталин опустил голову и ответил глухо:

— Плохо Ленин. Все время без сознания. А когда в сознании — не узнает. Меня Троцким называет.

— А Троцкого — Сталиным?

— Нет, про него вообще Зиновьев говорит. Не будет Ленина, ничего не будет. Индия советской тоже не будет. Вот так, Новик.

— А врачи что говорят?

— Что они понимают...

Новик вдруг хлопнул себя по колену.

— Эх, к нам бы в Индию Ильича! Есть у меня одна знакомая колдунья, она не то что больного, она мертвого подымет! Ты мне не веришь, Коба! — нахмурился Иван.

— Верю, верю... — улыбнулся Сталин. — Давай лучше музыку послушаем, — предложил он, покрутил стоящую на подоконнике ручку граммофона, опустил иглу на пластинку.

Зазвучал марш из «Аиды». И с Иваном случилось вдруг то же, что случилось однажды в гостях у англичанки: он поднялся, вытянулся, набычился и пошел, пошел кругами по кухне. Несколько секунд Сталин смотрел на него, но вдруг тоже вскочил, встал впереди Ивана и, выбрасывая вперед царскую длань, повел его за собой. При этом они выкрикивали какие-то слова, может быть даже — древнеегипетские...

И вторая бутылка была пуста. Иван уперся локтем в стол, а лбом в ладонь и думал, думал... Сталин поставил на стол третью бутылку коньяка.

— Ты что, напился? — с удивлением спросил он.

Иван не отвечал.

— Новик!.. — позвал Сталин и покачал головой. — Не умеете вы в Индии пить.

Новик поднял на Сталина неожиданно трезвые глаза и тихо сообщил:

— Коба, я придумал...

Москва. Гостиница «Националь».

1 февраля 1923 года.

В огромной комнате с высокими потолками с лепниной и росписями стояли штук сорок железных коек. На одной из стен висел длинный кумач, на котором было заявлено: «Мы боремся за звание лучшего номера гостиницы». На койках спали, лежали, сидели, курили, сушили портянки, просматривали одежные швы гостиничные постельщицы.

У стены расположились Иван и Шишкин. Шишкин был простужен, он сидел на кровати скрестив ноги и накиннув на голову суконное одеяло, хлюпал носом, собирался чихать и говорил шепотом. Новик курил, щурил глаза, глядя испытующе на Шишкина.

— Вы не поверите, Иван Васильевич, мы в этом номере с папашей однажды останавливались. Он еще скандал устроил: не привык, говорит, жить в такой тесноте. А вы знаете, я спросил сегодня у метрдотеля, он теперь называется... начпопрож... Так вот я у него спросил, что будет, если наш номер станет лучшим в гостинице. Знаете, что он ответил? «Прибавят коек»!

Шишкин ждал реакции Новика, а Новик все курил и смотрел на Шишкина.

— Отправился я сегодня к «Яру», — продолжал Шишкин, — а там вывеска: «Центробум». Думаю: чем им «Яр» не нравился? Хорошее русское слово... Захожу... Едой не пахнет! Все сидят, на счетах считают. Подошел ко мне один, спрашивает: «Что нужно, товарищ?» Чарку водки, говорю, чистяковской и нежинский огурчик. Пошутил, Иван Васильевич, от обиды пошутил. Так меня чуть не арестовали!

Новик молчал.

— А эта погода? Я понимаю, если очень захотеть и постараться, можно все испортить. Но как им удалось испортить погоду?! Никогда в России не было таких зим! Иван Васильевич, давайте-ка собираться в обратный путь! В родную басурманию! — И Шишкин громко чихнул. — Вот! Правильно! — воскликнул он удовлетворенно.

— Шишкин, — Новик был как никогда серьезен, — скажи, ты мне друг?

Шишкин взволновался.

— Иван Васильевич, я бы считал за честь... Вы спасли мне жизнь! А что я должен сделать, Иван Васильевич?

Пристально и недоверчиво Сталин всматривался в лицо Шишкина так, что тот даже смутился и перестал хлюпать носом.

— Ну как, похож? — нетерпеливым шепотом спросил Новик.

Сталин опустил глаза, принимая решение, но так его и не принял.

— Пусть Троцкий смотрит, — буркнул он и повел Новика и Шишкина за собой по длинному коридору.

— Кто это? — на ходу спросил Шишкин.

— Сталин.

Шишкин скорчил недоуменную рожу.

Сталин открыл небольшую дверь и пропустил Новика и Шишкина вперед себя. Они оказались за кулисами какой-то сцены. На трибуне стоял Троцкий.

— Последствия нашего поражения в Польше не так страшны, — говорил он, как всегда, страстно и убедительно. — Последствия военные не означают последствий для Коммунистического Интернационала. Под шумок войны Коминтерн выковал оружие и отточил его так, что господа империалисты его не сломают...

Троцкий вдруг замолчал и повернул голову. Он увидел Шишкина, и глаза его за стеклышками пенсне просияли.

— Товарищи! — крикнул он в зал. — Владимир Ильич снова в строю! — И он побежал за кулисы.

Участники совещания — в основном военные — поднялись, наклонились, вытянули шеи, пытаясь заглянуть за кулисы.

— Владимир Ильич! — горячо проговорил Троцкий, от волнения не замечая Сталина, а тем более Новика.

Сталин что-то хотел сказать, остановить Троцкого, но тот уже вел Шишкина на сцену.

— Шени деда мобитхан!²¹ — сказал Сталин в пол.

Зал взорвался аплодисментами. Все встали, хлопали в ладоши и кричали:

— Ильич! Наш Ильич!

— Товарищ Ленин!

— А говорили — не встанет!

— Кто говорил — враги говорили!

— Ура товарищу Ленину!

— Ур-р-ра!!!

Троцкий успокаивающе поднял руки. Постепенно стало тихо и наступила мертвая тишина. Все ждали слова Ленина. Шишкина разбирал чих, но и сказать что-нибудь ему тоже хотелось. Он покосился за кулисы. Новик показывал ему здоровенный кулак. И тут Шишкин чихнул. Громко и весело.

— Будьте здоровы, Владимир Ильич! — дружным хором отозвался зал и вновь взорвался аплодисментами.

Мертвый город.

23 февраля 1923 года.

Властно порывивая, могучий бенгальский тигр шел к Мертвому городу. Трудно сказать, что влекло его туда — запахи праздничной пицци или незнакомая песня, дружно и весело исполняемая множеством голосов:

«Ох, когда помрешь ты,
Милый мой дедочек?
Ох, когда помрешь ты,
Сизый голубочек!»
«Во среду, бабка!

²¹ Грузинское ругательство.

Во среду, Любка!
Во среду, ты моя
Сизая голубка!»

Стол — один на всех, уставленный бутылками с рисовым самогоном и кокосовым вином, заваленный фруктами и жареным мясом, — змеился среди развалин. Во главе стола сидели Брускин и Наталья. Это был их праздник. Это была их свадьба. Как подобает жениху, Брускин был весел и задорен. Как подобает невесте, Наталья была рассеянна и грустна.

Комэск Ведмеденко поморщился, поднялся из-за стола и, покачиваясь от тяжести своего могучего тела, направился в джунгли.

— Та хйба ж це писня? Хйба ж так спивают? — ворчал он на ходу.

Брускин встал, поднял серебряный трофейный кубок и объявил свое выступление:

— Товарищи!

— Тихо! Жених товарищ Брускин говорить будет! — пронеслось над столом, и сразу утих пьяный гомон.

У Григория Наумовича был такой вид, что, казалось, он сейчас заплачет, запоет или взлетит — от счастья.

— Товарищи, — тихо заговорил Брускин, — вообще я очень счастливый человек, потому что нет большего счастья для большевика, чем счастье практической работы с массами. Но сегодня самый счастливый день в моей жизни! Мы установили советскую власть в России. Мы устанавливаем ее в Индии. И как бы нам ни было трудно, мы все равно установим ее здесь! Потому что нет тех вершин, которые не покорили бы большевики! А сейчас я спою вам песню... Вообще-то мне медведь на ухо наступил, и я твердо знаю только одну песню, «Интернационал», но сейчас... я... спою... Сейчас... Ее пела мне моя бабушка... Сейчас...

Брускин подался вперед и замер, глядя в небо, будто там были написаны ноты и слова. Все ждали. Пауза затягивалась. И стало ясно, что Брускин не споет. Да он и сам это понял. За столом зашумели, понимающе улыбаясь.

— Забыл, — признался Брускин шепотом.

— Горько! — крикнул кто-то, спасая ситуацию.

И все закричали:

— Горько! Горько!

Наталья поднялась, опустив глаза, и Брускин поцеловал ее — испуганно и неумело. Похоже, это был их первый поцелуй.

Тигр остановился и прислушался. Будто где-то рядом бушевал водный поток. Но он вдруг иссяк, и на поляну, где стоял тигр, вышел, застегивая мотню, Ведмеденко. Комэск, конечно, не испугался, но удивился:

— Ты що, бажаешь людям свято загубыты?

Тигр неуверенно рыкнул.

— А я казав — не дозволю! Я казав: кто про невесту погано кажет, того вбью!

Тигр зарычал угрожающе.

— Пугаешь? Мене, червоного командира Ведмеденку, — пугаешь? Та я ж тобі башку скручу! — и, подвернув рукава гимнастерки до локтей, Ведмеденко сделал первый шаг.

Тигр громогласно зарычал и бросился на него.

Ленин спал, лежа на спине, и был больше похож на покойного, чем на спящего. Сталин, Троцкий и Новик смотрели на него с горестным любопытством.

— А Шишкин наш больше похож, — сообщил шепотом Новик.

— На кого? — удивился Сталин.

— На Ленина.

— Так это и есть Ленин. — Сталин обиженно отвернулся, и Новик стукнул себя, дурака, кулаком по лбу.

ЭТО ПОЛНОЕ РИСКА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, СЕГОДНЯ КТО-ТО НАЗОВЕТ АВАНТЮРОЙ. НО ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ И ВЕЛИКИЙ ИНДИЙСКИЙ ПОХОД — ТОЖЕ АВАНТЮРА. НЕ ДЛЯ НИХ НАШ РАССКАЗ, А ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСКРЕННЕ И НЕПРЕДВЗЯТО ЖАЖДЕТ ЗНАТЬ, КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ.

Они лежали рядом: задушенный Ведмеденкой тигр и сам Ведмеденко с развороченной тигром грудной клеткой. Наталья положила ему на грудь белоснежную простыню, и та сразу напиталась кровью. Рядом стоял Брускин. Чуть поодаль — все остальные. В добрых маленьких глазах Ведмеденки появились слезы и скатились по вискам.

— Почему вы плачете? — тихо спросил Брускин.

— А я завжды плачу, колы вспомяну, що мене батько казав... — продолжая плакать, ответил Ведмеденко.

— Что же он вам сказал?

— Казав, що не зробити нам всемирну революцию...

— Это почему же? — удивился Брускин.

— Вин казав, що на всемирну революцию нам жидив не достане. Тому я и плачу.

— Ну почему же? — растерянно улыбнулся Брускин. — Посмотрите — все наши боевые товарищи — настоящие революционеры! — Комиссар повернулся и с гордостью указал на стоящих плотной толпой красноармейцев.

— Та яки кацапы революционеры!.. — Ведмеденко поднял руку, но она вдруг безжизненно упала. Умер Ведмеденко.

Горки.

23 февраля 1923 года.

Медсестра Верочка, молодая, рано начавшая полнеть блондинка с добрыми голубыми глазами, держа в руках аппарат для измерения артериального давления, остановилась перед дверью ленинской комнаты и спросила шепотом сидящего у двери пожилого усатого охранника в кожанке, с наганом в кобуре на боку:

— Никитич, ну как он?

Охранник расстроено нахмурился.

— Плохо. Чихал всю ночь.

Задремавший на посту номер один Никитич испуганно открыл глаза и прислушался. Из ленинской комнаты доносился какой-то шум. Никитич поднялся. В комнате что-то упало и разбилось. Никитич открыл кобурю. Но теперь было тихо. Тогда он неслышно подошел к двери и прислушался. Теперь из ленинской комнаты доносилось ритмичное позвякивание кроватной панцирной сетки. Никитич не поверил и прижался ухом к двери. Удары были сильными и ритм размеренным. В глазах Никитича загорелись веселые мужские огоньки, он покрутил ус, сел на стул и проговорил успокоенно и удовлетворенно:

— На поправку Ильич пошел.

ГОВОРЯТ, ЧТО ТРАГЕДИЯ НАШЕЙ ПАРТИИ НАЧАЛАСЬ ТОГДА, КОГДА НЕ СТАЛО ЛЕНИНА, НО ЭТО НЕ ТАК. ТРАГЕДИЯ НАЧАЛАСЬ ТОГДА, КОГДА ЛЕНИНЫМ СТАЛ ШИШКИН

*Москва. Кремль.
1 апреля 1923 года.*

В кабинет Троцкого ворвался взбешенный Сталин и кинул ему на стол какие-то листки.

— Лев, что это? — с трудом себя сдерживая, спросил Сталин.

Троцкий стал просматривать листки, пробегая глазами, прочитывая вслух:

— «Декрет. Сим высочайше повелеваю вернуть в русский язык букву «ять». Председатель ВЦИК Ульянов-Ленин». А как подписываться научился, каналья! «Об обязательном ношении корсетов для партийных и советских работников женского пола». — Троцкий поднял удивленные глаза. — Коба, откуда это?

— Отобрал в коридоре у Каменева с Зиновьевым! Хорошо, что удалось перехватить...

— Слушай, а если он им расскажет? — потерянно спросил Троцкий.

— Это не страшно. Все равно никто не поверит. Страшно то, что он раскалывает партию. И ты видишь, куда он клонит? Это же реставрация капитализма!

НО НЕКОТОРЫЕ ДЕКРЕТЫ ШИШКИНА НЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕХВАТИТЬ. ТАК РОДИЛСЯ НЭП.

— Теперь ты посмотри, — Троцкий вытащил из стола папку и раскрыл ее.

Там лежали фотографии. Сидя в кресле, Шишкин в кепке то таращил глаза, то не смотрел в объектив, явно издеваясь над фотографом.

— Мы собирались напечатать ко дню рождения его фотографию в «Правде» и «Известиях», чтобы подбодрить рабочих. Ему это сказали, и вот какой привет рабочим он передал. Он делает из Ленина идиота! Что скажут потомки?

— Это надо спрятать и никому никогда не показывать. — Сталин закрыл папку.

*Горки.
10 апреля 1923 года.*

Быстрым решительным шагом направлялись Сталин и Троцкий к стоящему на возвышении знаменитому дому в Горках.

— Лев, только не садись играть с ним в карты. Я вчера ему все свои партвзносы проиграл, — сообщил Сталин.

Держа носовой платочек у красных, заплаканных глаз, спускалась по ступенькам Крупская. Она посмотрела на Троцкого и Сталина и, всхлипнув, сказала:

— Что вы сделали с Лениным! — И побежала, плача, вниз.

Они ворвались, разъяренные, в комнату. Шишкин лежал на незастеленной кровати в костюме и ботинках и пускал в потолок толстые кольца дыма.

— Намасте²², — не вставая приветствовал он вошедших.

Сталин подскочил к кровати и, с трудом сдерживая себя, чтобы не вцепиться негодяю в горло, закричал:

— Ты зачем Надю обидел?!

— Какую Надю? — удивился Шишкин.

— Жену!.. Владимира Ильича! .

²² Индийское приветствие.

— Ах эта... Она лезет ко мне с интимностями, а я не могу, я все-таки вождь мирового пролетариата, а не какой-нибудь...

— Не ври! — закричал, подскакивая, Троцкий. — Надежда Константиновна не такая! Она само целомудрие нашей партии!

Шишкин сел и, пожав плечами, сказал:

— Поэтому я к ней и не притрагиваюсь. И вообще, господа, разве может быть у вождя такая жена? Я думаю, мне следует с ней развестись, и как можно скорее.

— Я тебе разведусь, гад! — Сталин сжимал кулаки.

Троцкий с трудом удерживал его.

Шишкин, однако, не испугался и продолжал развивать мысль:

— Да-с. А потом пошло по всей Руси гонцов. Пусть кликнут клич, и слетятся сюда красны девицы словно райские птицы. Встанут они передо мной, очи потупив, а я...

— Владимир Ильич! — закричал в истерике Троцкий.

Сталин посмотрел на него удивленно, Шишкин — одобряюще.

— Черт! — чуть не заплакав, закричал Троцкий, отвернулся, закрыл глаза и стал быстро-быстро повторять вслух, чтобы запомнить раз и навсегда: — Шишкин, Шишкин, Шишкин, Шишкин, Шишкин, Шишкин, Шишкин, Шишкин... — Повернулся, посмотрел на Шишкина и сказал, к вящему своему ужасу: — Владимир Ильич...

— Я вас слушаю, — откликнулся Шишкин. — Кстати, что это за фамилия у вас такая странная — Троцкий?

— Это мой революционный псевдоним! — закричал в истерике Троцкий. — А настоящая моя фамилия — Бронштейн!

— Да вы еврей? — удивился Шишкин. — А вы? — обратился он к Сталину.

— Я грузин, — испуганно ответил тот.

— Фамилия?

— Джугашвили.

Шишкин с сомнением посмотрел на Сталина.

— Господа, какое же вы имеете право Россией править? — удивленно улыбаясь, спросил он.

— Черносотенец! Охотнорядец! Реставратор капитализма! — закричал Троцкий и кинулся на Шишкина с кулаками, но его удержал Сталин.

Горки.

22 апреля 1923 года.

Оставив праздничный обеденный стол, Шишкин, Сталин и Троцкий сидели за столом ломберным. На нем лежали пенсне Троцкого и трубка Сталина. Шишкин был доволен своим днем рождения. Он был сыт, пьян и, безжалостно выигрывая, благодушно витийствовал:

— Нет, господа, если вы не видели Индии, значит, вы не видели ничего! Взять, к примеру, мавзолей Тадж-Махал в Агре! Это же белый сон, застывший над водою!

— Что значит слово «мавзолей»? — спросил Сталин, не отрывая взгляда от карт и нервно посасывая указательный палец. Вопрос был обращен к Шишкину, но Шишкин вопросительно и требовательно посмотрел на Троцкого.

— Был такой император, Мавзол, — заговорил Троцкий, подслеповато щурясь. — Кажется, персидский... Желая после своей смерти, так сказать, «тления убежать», он повелел построить подобающее его силе и славе сооружение, себя забальзамировать и выставить там для всеобщего обозрения. Чтобы все говорили: «Мавзол жив». Так вот, подобные культовые сооружения и стали называться мавзолеями.

Шишкин поморщился.

— Я слышу в вашем голосе иронию и совсем ее не разделяю. Ведь это же прекрасно — тления убежать! А знаете что? Пожалуй, я издам декрет о

посмертном бальзамировании вождя революции для последующего экспонирования их потомкам. Это чтобы вы не решили, что я думаю только о себе.

Сталин и Троцкий переглянулись. Похоже, они были на грани помешательства. Шишкин выиграл и на этот раз. Он вытащил из кармана часы, взглянул на них и покачал головой.

— Увы, господа, праздник окончен. Я больной человек, у меня режим. Сейчас придет сестра милосердия. Измерение кровяного давления, господа, требует уединения и сосредоточенности. Никитич! — крикнул он. — Зови Верочку! А это в честь своего дня рождения я вам дарю! — Шишкин указал на трубку и пенсне. — Забирайте!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА ДИВИЗИИ КОЛОБКОВА ОТМЕТИЛА ВЗЯТИЕМ АГРЫ.

Человек двадцать конников с развевающимся красным знаменем выскочили из-за поворота улицы и, пугая удивленных прохожих, понеслись к мавзолею Тадж-Махал. Но, глядя на него, красные конники перестали нахлестывать лошадей, и те замедлили бег и остановились. И знамя уже не развевалось, а поникло тряпицей. Колобковцы сползли с лошадей и, открыв рты, безотрывно смотрели на белоснежное чудо. А татары и башкиры, которыми как-то хвастался Колобков, упали на колени, приникли к земле руками, грудью и лицами.

— Мама моя... — прошептал Колобков.

ВОИСТИНУ БЕЗДОННАЯ ТЕМА «ЛЕНИН В ИНДИИ», БЕЗ СОМНЕНИЯ, БУДЕТ ЕЩЕ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАНА. МЫ ЖЕ ОГРАНИЧИМСЯ ПОКА ЛИШЬ НЕСКОЛЬКИМИ МИМОЛЕТНЫМИ ЭПИЗОДАМИ ПРЕБЫВАНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА НА ИНДИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ...

По широкой красноземной дороге, по которой шли в обе стороны странники, нищие, паломники, черные буйволы тащили арбы с огромными колесами, бежала пара добрых лошадей, запряженных в хорошую подрессоренную коляску.

Новик правил лошадьми, курил, посматривал рассеянно по сторонам. Похоже, Новичу было хорошо. Опустив соломенную шляпу на глаза, сзади дремал Ленин.

— Иван Васильевич! — подал он вдруг голос, и Новик вздрогнул от неожиданности, оглянулся. Ленин смотрел на него весело и дружелюбно.

— Ну ты совсем отживел, Владимир Ильич, — сказал Иван, улыбаясь. — Верно, воздух здесь такой, лечебный...

— Вот и колдунья ваша не понадобилась! — воскликнул Ленин и залиvisto засмеялся.

— Не, к Кангалим: мы все равно заедем... Это даже не приказ, Ильич, это... задание...

Ленин уселся поудобнее и, вертя головой, стал с интересом рассматривать текущую в разные стороны людскую массу.

— Идут, идут — и куда идут... — задумчиво проговорил он и вновь обратился к Новичу: — Послушайте, Иван Васильевич, как вы думаете, если они узнают... если им сейчас объявить, что здесь... Ленин... Как вы думаете — что будет?

Иван задумался, представляя, и, объехав лежащую посреди дороги корову, ответил:

— А ничего не будет... Индия... Мы вот бьемся-бьемся, а все как в песок... Ничего не будет!

Похоже, эта мысль поразила Ленина, он замер, задумавшись, и вдруг улыбнулся, махнул рукой и воскликнул:

— А ведь это прекрасно!

После чего вздохнул с облегчением, вытянулся, прикрыл лицо шляпой.

Один из ночных привалов устроили на пологом, заросшем кустарником берегу Ганга. Солнце опускалось, кровавая вода, на золотом с лазурью куполе неба вот-вот должны были проклонуться звезды.

Новик сидел на корточках у костра, кашеварил. Ленин вышагивал неподалеку взад-вперед, по привычке сунув большие пальцы рук в вырезы жилета, и вдруг остановился. Внимание его привлекли тысячи, да нет, пожалуй, миллионы мелких серых пичужек, облепивших прибрежный кустарник. Оглядываясь на ходу, он заторопился к Новичку.

— Иван Васильевич, что это за птицы? Мне кажется, я их где-то видел... — взволнованно сказал он.

— Соловьи, — буднично ответил Иван, помешивая в котелке похлебку.

— Как, — опешил Ленин, — наши соловьи?

— Наши, чьи же еще... Курские... — Новик попробовал похлебку и поморщился.

— Погодите, но ведь уже весна, почему же они не летят... на родину? — Ленин был очень взволнован.

Новик оторвался от своего занятия, поднялся, прогнулся в поясище, с хрустом расправил плечи.

— Да кто ж их знает, — сказал он равнодушно.

— Но ведь уже пора... пора домой! — воскликнул Владимир Ильич. Он попытался от костра, повернулся и вдруг побежал к Гангу.

— Ильич... — окликнул Новик удивленно и встревоженно. Но Ленин не слышал. Он бежал вдоль берега, взмахивая руками, и кричал:

— Эй! Летите домой! Слышите? Летите на родину! Э-эй!

Соловьи испуганно снимались, взмывая вверх, сбивались в огромные стаи, кружили в сереющем небе, а Ленин все бежал, взмахивая руками, и кричал:

— Э-эй! Летите домой! Летите, летите, летите домой!

Город Бенарес (Варанаси).

1 мая 1923 года.

Множество храмов и кумирен стояло на берегу Ганга, спускаясь к самой воде. Несмотря на ранний час — солнце только поднялось над горизонтом, — в воде у берега стояли тысячи пришедших со всей Индии паломников. Молодые, старые, красивые, уродливые, здоровые, больные — все совершали омовение, и на лицах всех была благодарность этому утру и новой, счастливой жизни, в которой еще предстояло родиться. И среди них был Ленин. Как и все, он совершал омовение в одежде, был в брюках, сорочке и жилетке, оставив на берегу пиджак и соломенную шляпу. Как ребенок, Ленин радостно подпрыгивал, хлопая ладонями по воде, смеялся и даже повизгивал от удовольствия. Новик сидел на берегу, курил и наблюдал, шурясь на солнце, за Ильичом — снисходительно и любовно, как мамаша за родным расшалившимся дитем.

Все было хорошо, одно плохо — не было у Новика третьего глаза в затылке, иначе бы он увидел крадущуюся вдоль стены храма и не сводящую с него полубезумного взгляда, одетую почему-то в форму солдата английской колониальной армии мисс Фрэнсис Роуз.

Ленин вышел на берег, отряхнулся, как собачка, и засмеялся, идя к Новичку. Иван встал, протянул полотенце.

— Словно заново родился! — удивленно и обрадованно воскликнул Ленин, и в глазах его вдруг мелькнула тревога, потому что он увидел выбегающую из-за угла с пистолетом в руке Фрэнсис.

— Иван Васильевич... — сказал Ленин удивленно и сделал шаг вперед — навстречу собственной смерти.

Грянул выстрел.

Новик резко обернулся и успел подставить руки, на которые упал вождь. На левой половине груди Ленина на мокрой от воды сорочке быстро расплывалось алое пятно. Ленин умер мгновенно.

Фрэнсис в ужасе смотрела на убитого ею человека. Иван поднял на нее полные растерянности глаза.

— I meant to kill you! You! You! You, damned centaur!²³ — закричала англичанка.

И, бросив пистолет, она упала на землю и забилась в истерике. К ним подходили удивленные и испуганные индийцы.

ТО, ЧТО НЕ СМОГЛА СДЕЛАТЬ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРКА ФАННИ КАПЛАН, СДЕЛАЛА АНГЛИЙСКАЯ АРИСТОКРАТКА ФАННИ РОУЗ. СУДЬБА ЕЕ СЛОЖИЛАСЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЕЧАЛЬНО. СРАЗУ ПОСЛЕ СВОЕГО РОКОВОГО ВЫСТРЕЛА ОНА СОШЛА С УМА, БЫЛА ОТПРАВЛЕНА В МЕТРОПОЛИЮ И ВСКОРЕ УМЕРЛА В ОДНОЙ ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ БЛИЗ ЛОНДОНА.

Иван сидел на берегу Ганга и, обхватив голову руками, пьяно раскачивался из стороны в сторону. Брахманы в белых одеждах суетились вокруг большого погребального костра.

Проходившая мимо группа англичан-туристов остановилась, заинтересованная происходящим.

— Это кто-то очень знатный, возможно даже махатма, — стал объяснять им толстяк-англичанин в пробковом шлеме. — Посмотрите, одно сандаловое дерево. А запах! Его поливают очень дорогими благовониями.

— А это кто? — спросила длинная дама с «лейкой» на плоской груди, глядя на Новика.

Толстяк пожал плечами.

— Думаю, что ученик.

Иван не слышал и, все так же сжимая бедную свою головушку руками, зажмурив до боли в мозгу глаза, раскачивался из стороны в сторону и мычал нутром.

Брахман что-то сказал, поднял факел, и погребальный костер ярко вспыхнул. Англичане испуганно отпрянули. Защелкали фотоаппараты.

— О-ох, и на кого ты-ы на-ас поки-ину-ул! — завыл Новик горько-горько.

— Это песня радости, — стал объяснять англичанин. — Он радуется тому, что душа его учителя поднимается к небу для последующего перевоплощения.

Ленин лежал наверху, прикрытый слоем сандаловых дров, и идущий снизу жар начал корезить его и поднимать.

— Идемте, господа, это уже не так интересно, — заторопил толстяк своих спутников, и те послушно и торопливо пошли за ним.

Но худая англичанка остановилась и повернулась, решив сделать последний снимок. Огонь и жар сжали сухожилия рук и ног, и Ленин вдруг сел и погрзил в объектив кулаком.

ИТАК, ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ТОЧНУЮ ДАТУ СМЕРТИ ВОЖДЯ: 1 МАЯ 1923 ГОДА. А МОЖЕТ, И ХОРОШО, ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ЕЕ РАНЬШЕ. ВЕДЬ ТОГДА КАЖДЫЙ ПЕРВОМАЙ НАМ ПРИШЛОСЬ БЫ ПРИСПУСКАТЬ ФЛАГИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ УКРАШАТЬ НЕ КУМАЧОМ, А ТРАУРНЫМ КРЕПОМ.

²³ Я хотела убить тебя! Тебя! Тебя! Тебя, проклятый кентавр!

Горки.

24 января 1924 года.

Ночью, когда Шишкин спал, в ленинскую комнату бесшумно вошли двое. Они подошли к кровати, выхватили из-под головы спящего подушку и, прижав ее к лицу, навалились сверху. Шишкин кричал и бился, но глухо и недолго. Когда все было кончено, один из неизвестных убрал подушку, посмотрел в мирное лицо Шишкина и пообещал с сильным кавказским акцентом:

— Будет тебе мавзолей.

ТЕПЕРЬ, КОГДА МЫ ЗНАЕМ ВСЁ, РАЗГОВОРЫ О ТОМ, УБИРАТЬ ЛИ ЛЕНИНА ИЗ МАВЗОЛЕЯ И УБИРАТЬ ЛИ САМ МАВЗОЛЕЙ, СТАНОВЯТСЯ ЛИШНИМИ И ДАЖЕ СМЕШНЫМИ. ПРАХ ЛЕНИНА ДАВНО РАСТВОРИЛСЯ В ВОДАХ ГАНГА. ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ШИШКИНА, ЧЕЛОВЕКА В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ЖАЛКОГО И НИКЧЕМНОГО, ТО, НАМ КАЖЕТСЯ, ЕГО НАДО ОСТАВИТЬ ТАМ, ГДЕ ОН ЛЕЖИТ. ОСТАВИТЬ КАК ПАРАДОКС ИСТОРИИ, А ПОТОМ, ЭТО БЫЛА ЕГО ИДЕЯ, И ОН ТАК ЭТОГО ЖЕЛАЛ! И МАВЗОЛЕЙ, КОНЕЧНО, СЛЕДУЕТ ОСТАВИТЬ КАК ПАМЯТНИК ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЛАБОСТЯМ И НАШЕМУ ВЕЛИКОДУШИЮ. НО, РАЗУМЕЕТСЯ, ФАМИЛИЮ НА ФРОНТОНЕ ПРИДЕТСЯ СМЕНИТЬ: «ШИШКИН».

Круглое лицо мальчика-индийца с глазами, полными страха и решимости этот страх преодолеть, было обращено к красной круглой луне. Во всем Мертвом городе, кроме них двоих, никого сейчас не было. Мальчик достал из-за пазухи что-то завернутое в тряпку, развернул, и страх и решимость в его взгляде сменились ненавистью. Это был эфес Новиковой шашки, сломанной в поединке с князем Ахмад Саид-ханом, отцом этого мальчика. Орден Боевого Красного Знамени кроваво расплывался в неверном лунном свете.

Мальчик бросил эфес в яму, зажег воткнутую в землю благовонную палочку, встал на колени, сложил ладони у подбородка и заговорил высоким и дрожащим детским голоском:

— О, айсуры! Приведите сюда того, кто убил моего отца! Я отрежу ему уши! Я выколю ему глаза! Я отрублю ему голову! Я вырву его сердце!

Глава вторая

Коромандельский берег.

Точная дата не установлена.

Только спустя несколько месяцев после смерти Владимира Ильича Иван нашел наших.

Красноармейский лагерь — палатки и шалаши — расположился частью прямо на берегу Бенгальского залива, частью в джунглях.

Лошадь шла шагом. Иван смотрел по сторонам удивленно и радостно, как бывает, когда возвращаешься к родным после долгой отлучки. Ивана не узнавали, но и он пока не мог никого узнать. На песчаном пляже красноармейцы играли в какую-то странную игру, пиная ногами резиновый шар и бегая за ним кучей.

— Овсай! — кричал один непонятное слово.

— А я говорю — корнер! — возражал другой еще более непонятно.

Иван привязал лошадь к пальме и направился к большой штабной палатке. Мимо шел красноармеец в буденовке, но босой, и вместо галифе на нем была длинная голубая шелковая юбка. Оттопырив мизинец, красноармеец кушал банан, покачивая при ходьбе бедрами. Иван узнал его и окликнул:

— Фомин!

Тот тоже узнал комдива.

— Чего, Иван Васильевич? — удивленно спросил он.

— Ты чего это вырядился?

— Обносились, Иван Васильевич, надо же в чем-то ходить, — обиженно ответил Фомин и пошел, вихля задницей, дальше.

Иван озадаченно смотрел ему вслед, решительно ничего не понимая. И вдруг кто-то чуть не сбил его с ног. Это был Брускин.

— Григорь Наумыч! — обрадованно воскликнул Новик и развел руки для крепкого мужского объятия.

— Добрый день, товарищ Новиков, — поприветствовал его Брускин так, будто они вчера расстались.

Руки у Ивана опустились.

— Пойдите, пойдите, Иван Васильевич... — Брускин наморщил лоб, вспоминая. — Ведь вы из Москвы?

— А откуда же? — обиженно и зло ответил Иван.

— Простите. Я тут совсем закрутился. — Брускин обнял Новика. — Ну как там бабушка?

— Бабушка?.. Да ничего бабушка... — Обида все еще не оставляла Ивана.

Глаза Брускина загорелись.

— Фрукты кушала?

— Еще как. Аж за ушами трещало.

— Ну какая она, расскажите! — спрашивал по-детски нетерпеливо комиссар.

— Да бабуля как бабуля, крупная такая, веселая, все сидит, семечки лузгает...

Глаза Брускина стали гаснуть. Новик заметил это и стал чесать затылок, размышляя.

— Это, может быть, соседка, тетя Дуся? — с надеждой спросил Брускин.

— Ну да, соседка! — обрадовался подсказке Иван. — А твоя... худенькая такая, седенькая... — Глянул повнимательней на Брускина и прибавил: — Носатенькая...

Брускин счастливо улыбнулся.

Да, я вылитый бабушка, это все говорили.

Новик облегченно вздохнул и спросил прямо, глядя на комиссара с сомнением:

— Григорь Наумович, вы тут что, бетеля обожрались?

Да нет, скорее климат... и вообще... как-то все не так... и не туда, — ответил Брускин, сам не зная ответа. — Идемте скорей! Товарищ Шведов совсем запутался.

В большой командирской палатке стоял индийский трофейный столик с гнутыми ножками, а на столике стоял или сидел Шведов. Понять это было невозможно, как невозможно было понять, где начинаются и где кончаются руки и ноги начштаба. Шведов действительно запутался и молча и страдальчески смотрел перед собой.

— Это ёха²⁴, — озабоченно объяснил Брускин. — У нас ею многие стали увлекаться...

— А зачем ты-то, Артем? — спросил Новик, закуривая.

— Курить хотел бросить, — объяснил Шведов.

— Сейчас я тебя распутаю, — пообещал Иван и с силой потянул руку Шведова.

— О-ой, Иван, не надо! — заорал начштаба. — Лучше дай затянуться.

Новик сунул Шведову в рот сигарку, и тот с наслаждением запыхал.

— А где Наталья? — спросил Новик.

²⁴ Йога. (Прим. автора.)

— Загорает Таличка, — ответил Брускин деловито и нежно.

— Чего? — тихо спросил Новик.

— Принимает солнечные ванны, — объяснил комиссар. — Да! Вы ведь не в курсе. Мы с ней теперь муж и жена!

Иван молчал, не двигался, каменел лицом, наливался изнутри неудержимой яростью не к кому-то конкретно, а вообще.

— Не горячись, Иван, — попросил запутавшийся Шведов и сплюнул потухшую сигарку.

Но Новик взревел, выхватил из ножен саблю и стал крушить все вокруг. Он исполосовал палаточную ткань в лапшу и вышел наружу. Вслед ему смотрели испуганный Брускин и распутавшийся Шведов.

Иван ломился сам не зная куда сквозь густой кустарник, рубил его налево и направо и вдруг остановился и прислушался. Наталья пела:

Мы красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

На песке у самой воды стояла Наталья, бесстыже голая, как маленькая девочка, для которой стыда еще нет. Уперев руки в бока и прогнувшись в спине, она подставила вечернему растущему солнцу свой беременный живот. Он был чудовищно огромен, определенно больше солнца, а сверху еще лежали две большущие ее груди, чего у солнца вообще не было. Иван потрясенно смотрел на эту новую красоту Натальи и долго не мог отвести взгляда. Но все же сделал усилие, отвернулся и прокричал срывающимся голосом:

— Наталья! Это я, Иван! Прикройся!

— Иванушка! — закричала Наталья и побежала навстречу, раскрыв объятия, и Иван зажмурился, чтобы не ослепнуть.

В платье, сшитом из трех или четырех старых гимнастеров, Наталья сидела у воды, сцепив руки и положив их на колени. Иван лежал рядом на боку, курил, смотрел на нее, новую, чистую, какую-то просветленно-красивую.

— Кого ждешь-то? — спросил он, стараясь быть спокойным.

— А кто родится. Мальчик — мальчик. Девочка — девочка. А лучше двое, — просто и радостно ответила Наталья.

— Да там небось трое сидят, — высказался Новик.

Наталья залилась звонким смехом и уткнулась лицом в ладони.

— Что же ты не дождалась меня, Наталья? — с укоризной в голосе спросил Новик.

— Обидел ты меня, Ваня, — тихо, покойно заговорила Наталья. — Я без тебя руки на себя накладывала, а потом... — Наталья молчала, подбирая слова и покраснев вдруг от смущения.

— Блядовала... — подсказал Иван.

— Почему блядовала, — не согласилась Наталья. — Любила. Всех любила, чтоб тебя одного забыть. А Гриша пожалел меня, и я ему по гроб жизни благодарна и никогда ему не изменю...

Иван опустил голову и вдруг вскинулся.

— Погоди, Наталья, по сроку он ведь может и мой быть!

— Может и твой, — согласилась Наталья. — Мне все равно чей. Я вот только родить одна боюсь. Нету больше женщин в корпусе. Кого убило, кто от болезней помер, а остальные к ханам в гаремы пошли.

Похоже, мысль о том, что это может быть его ребенок, очень обрадовала Ивана и успокоила.

— Не бойсь, Наталья! — заговорил он с воодушевлением. — Приходилось мне и этим заниматься, не бойсь, родим! Мой... Как пить дать — мой!

— Таличка!.. — донесся до них жалобный голос Брускина.

Наталья оглянулась. Вдалеке стоял Брускин и смотрел на них, не решаясь подходить. Наталья махнула рукой и ласково крикнула:

— Иди сюда, Гришуля!

Сидели отцы командиры, пригорюнясь, в кое-как зашитой палатке Шведова.

— Что ж, никакой помощи нам теперь не ждать? — мрачно спросил Колобков.

Иван помотал опущенной головой.

— Значит, надо назад идти, к своим пробиваться! — горячо подал идею Шведов.

Иван поднял на него глаза.

— Нельзя. Приказ был — держаться.

— Чей приказ? — спросили сразу несколько голосов.

— Ленина... Мировая революция через Европу пойдет... Потом на Америку... А уж потом к нам... А до тех пор мы держаться должны...

Стало тихо. Долго молчали.

— Но неужели они ничего, ничего нам не прислали? — с отчаянием в голосе спросил Брускин.

— Прислали... да я не довез, — глядя в землю, глухо ответил Иван.

— Началось, Иван Васильевич, началось! — испуганно, почти истерично кричал Брускин и тряс Ивана.

Новик открыл глаза и зажмурился от неожиданно яркого медно-красного лунного света. Луна была большая, как медный таз.

— Я проснулся, ее нет рядом, выскочил, слышу — кричит там, на берегу!

— Черт, где нитка-то у меня?.. — Иван натянул галифе и гимнастерку, а обуваться уже не стал.

Они побежали к берегу и остановились, прислушиваясь. Вдруг стало темно, совсем темно — невидимая черная туча закрыла луну.

Впереди закричала Наталья — уробно, протяжно, страшно. Они пошли на крик, спотыкаясь в темноте, почти на ощупь.

— Фонарь надо было приготовить, что же ты, Григорь Наумыч? — проворчал Иван.

— Так горючки же давно нет, Иван Васильевич, — оправдывался комиссар. — Я Ленина по ночам со светлячками читаю. На палочку прилеплю их и читаю. А вы говорите — фонарь...

Луна частично очистилась, и ночь стала мутно-желтой.

Они сразу увидели ее, лежащую у воды с раскоряченными ногами. Наталья закричала так, что Брускин остановился, попятился.

— Я не могу, — прошептал он, обернулся и зажал уши ладонями.

Иван встал перед Натальей на колени, заглянул ей в глаза. Она увидела его и отвернулась.

— Стыдно, Иванушка, стыд-но-о-о мне-е-е, о-о-о-ой! — Слова перешли в крик.

Огромный голый Натальин живот ходил изнутри ходуном, словно кто плясал там вприсядку и подпрыгивал, уперев в бока острые локти. Иван обнял его, прижался щекой, успокаивая и одновременно сдавливая ладонями с боков, стал уговаривать Наталью ласково:

— Тужься, Натальюшка, тужься...

Наталья закричала так, как кричат единственный раз в жизни. Это был не крик, а скорее взрыв. И тут же стало тихо. Даже океан затих.

И вновь стало темно, совсем темно.

— Наталья! — позвал Иван, но она не отзывалась. Иван пошупал ее лицо, холодное, безжизненное.

— Мальчик? Девочка? — прокричал издали Брускин.

— Иди скорей, Гриш! — крикнул Иван и сам пополз на четвереньках туда, где на подстеленном суконном одеяле лежал ребенок. Его не

было видно, но он был здесь. Иван слышал, как он побряхтывает в темноте.

— Темно, черт, — прошептал Иван, нашел пуповину, перекусил ее и крепко перевязал ниткой.

— Она умерла, Ваня, она умерла! — закричал вдруг Брускин. — Таличка!

И вновь сразу, вдруг очистилась луна, и Иван увидел ребенка. Он был очень большой и очень страшный. Большая круглая голова, черные птичьи глазки, плоский нос, широкий синегубый рот, а на тщедушном тельце шевелились, перебирая, цапая воздух черными коготками, несколько ручек, как у Шивы. От ужаса волосы поднялись на голове Ивана.

— Таличка, голубушка, ну скажи что-нибудь, что же ты молчишь? — бормотал, захлебываясь слезами, Брускин.

Иван протянул осторожно руку к лицу родившегося, и тот мгновенно среагировал — вцепился в указательный палец мелкими острыми зубками. Иван сморщился от боли, страха и отвращения и сдвинул изо всей силы его лицо и горло.

Человек пятьдесят красноармейцев сидели рядами на земле в тени баньяна, обращенные к стоящему Брускину. Григорий Наумович был серьезен. За его спиной было развернуто знамя корпуса и висел портрет Сталина из тех, уцелевших в землетрясении. «Ленин» — было написано под ним на русском, английском и хинди. Рядом сидел Иван и в волнении млял завязанный тряпкой указательный палец, видимо болевший.

— Товарищи! — заговорил Брускин. — Первый вопрос повестки дня — прием в партию. К нам поступило заявление от товарища Новикова. — Комиссар поднял листок, который держал в руке, и стал читать: — Заявление. Прошу принять меня в ряды ВКП(б). Комдив Новиков». Коротко, но содержательно. У кого есть вопросы к товарищу Новикову? Встаньте, пожалуйста, Иван Васильевич.

Новик деревянно поднялся. Было видно, что он тщательно готовился к этому событию: сапоги были начищены, обмундирование выстирано и даже каким-то образом выглажено. Ко всему он был тщательным образом выбрит и волосы зачесаны, волосок к волоску, назад. Иван кашлянул и заговорил глухим, чужим от волнения голосом:

— Родился я в Самарской губернии, в селе Новиково, в бедняцкой семье... Во-от... В семье у нас было двенадцать детей... С детских лет познал тяжелый крестьянский труд...

Сюда, к баньяновой рощице, шла Наталья. Она похудела после родов и лицом стала похожа на маленькую большеглазую девочку, да и шла она, осторожно ступая босыми ногами, как ребенок, боящийся упасть. Одетая она была в то же широкое, сшитое из старых гимнастерок платье, из которого перла огромная грудь. На многожды стиранной линялой ткани заметно выделялись два темных мокрых пятна на сосках. Брускин, косясь, наблюдал за ней, при этом в лице его появилось что-то страдальческое.

Наталья вошла под живой навес баньяна и, удивленно и укоризненно глядя то на Брускина, то на Ивана, пошла к ним. Иван тоже заметил ее и замолчал.

— Ну нельзя же так, товарищи! У нас все-таки закрытое партсобрание! — возмутился кто-то из старых партийцев.

— Что тебе, Таличка? — стараясь быть как можно более ласковым, обратился к ней Брускин.

Но она не ответила и остановилась.

— ...Потом пошел на империалистическую, а за что воевал — не понимал... — вновь забубнил Иван.

— Что же вы?! — заговорила вдруг Наталья, вскинув брови; детским голоском, с детской интонацией, укоризненной и капризной. — А причащаться кто будет? Я вас жду-жду, а вы не идете.

— Хорошо, Таличка, хорошо, — боясь расстроить ее, ласково пообещал Брускин. — Подожди немного — мы скоро...

Наталья шла впереди широким шагом, держа в опущенной руке гремящую цепь и помахивая ею, как кадиллом. Брускин и Иван шли сзади.

— Ну как, вы уже почувствовали? — негромко, но очень заинтересованно спросил Брускин.

Иван выглядел усталым и озабоченным.

— Чего? — не понял он.

— Уже почувствовали себя большевиком? — попытывался комиссар.

Иван прислушался к себе и кивнул. И тут же посмотрел на Наталью и нахмурился.

— Не могу я это выносить!

На лице Брускина вновь появилось страдальческое выражение.

— Что делать, Иван Васильевич, что делать... Вы знаете, с моей бабушкой было нечто подобное, когда папу отправили в пожизненную каторгу, а мама умерла... И ничего, прошло... Главное — терпеть и не расстраивать ее. И все образуется, я уверен!

Они часто спотыкались, потому что весь берег был в каких-то ямках. Наталья оглянулась и нахмурила бровки. Брускин и Иван прибавили шагу.

На ровном, разглаженном песке было нарисовано основание церкви: притвор, средняя, — а камнями были обозначены алтарь, солея, амвон. На защитном пулеметном щитке был устроен иконостас: иконками служили маленькие фотографии красноармейцев.

Наталья встала на камушек амвона и спросила нетерпеливо:

— Ну? Что же вы не заходите?

Брускин быстро перекрестился, поклонился и «вошел».

— А ты, Ваня?

Иван вздохнул и сделал то же самое, но на глазах Натальи мгновенно выступили слезы.

— Где же ты идешь, тут же стена! — воскликнула она дрожащим голосом.

Иван еще раз вздохнул, неумело перекрестился и «вошел» там, где был обозначен вход.

Они стояли перед Натальей опустив головы, как прихожане перед священником. Наталья улыбалась.

— Гриша! — воскликнула она удивленно. — А где же мой крест? Ты же обещал...

— Сейчас, Таличка, сейчас.

Брускин осторожно, чтобы не сломать, вытащил из-за пазухи осьмиконечный крест, сделанный из связанных нитками пластин пальмового листа. Наталья просияла от счастливого восторга.

— Ты хороший, Гриша, я тебя за это первого причащать стану. Целуй крест.

Брускин наклонился и поцеловал.

— И ручку! — неожиданно по-женски кокетливо-капризно потребовала Наталья.

Брускин чмокнул тыльную сторону ее ладони. Иван безмолвно повторил те же действия.

— Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Бо-оже! — звонко и весело пропела Наталья, наклонилась и взяла в одну руку кружку с морской водой, а в другую слепленную из мокрого песка «просфорку».

— Причащается раб Божий Гриша-анька! — объявила Наталья и дала Брускину откусить от «просфорки» и запить водой.

— Причащается раб Божий Ива-анушка!

На скулах Ивана катнулись желваки, но он сделал то же. Песок застрял в усах Новика, и он скрытно сплевывал его.

А детские глаза Натальи так и сияли счастьем интересной и удавшейся игры.

— А молитву Господню ты, Ваня, сегодня выучил?

Иван не слышал. Брускин толкнул его локтем.

— Молитву! — шепотом напомнил он. — «Отче наш, иже еси на небесех...»

— «Отче наш, иже еси на небесех...» — все больше мрачней, стал повторять Новик.

— «Да святится имя Твое», — подсказывал Брускин, умоляюще и смятенно глядя на Ивана.

Новик молчал.

— Ну что же вы, Иван Васильевич! — шептал Брускин. — Вместе ведь учили! «Да святится имя Твое...»

Наталья часто-часто моргала.

— «Да святится имя Твое», — глухо пробубнил Иван и вдруг заорал, не выдержав: — Не могу больше! — И быстро пошел прочь, наступив сапогом на «престол» и шагнув сквозь стену Натальино храма.

— А-а-а-а! — по-детски громко и звонко заревела она за его спиной.

— Ну что же вы, Иван Васильевич! — сам чуть не плача, воскликнул Брускин.

— Ты плохой, Ваня, плохой! — кричала, захлебываясь в рыданиях, Наталья. — Ты моего деточку в землю спрятал, а место не показываешь! А я вот его найду, он тебя побьет!

И, упав на колени, продолжая реветь, Наталья стала по-звериному рыть в песке ямку.

— Таличка! Та-а-личка! — кричал вдалеке Брускин, бегая по берегу.

Иван присел на камень, стал развязывать забинтованный палец.

— Таличка! — передразнил он. — Сидит твоя Таличка где-нибудь в кустах, смеется над нами.

Иван сплюнул в сторону и вдруг увидел торчащий из песка указательный палец руки, словно зовущий его к себе. Иван растерянно посмотрел на свой забинтованный палец и кинулся туда, упал на колени, стал разгребать песок.

Наталья закопала себя неглубоко. Ее открытые глаза и улыбающийся рот были забиты песком. На груди лежал брускинский крест.

— Та-аличка! Та-аличка! — кричал вдалеке Брускин.

Стянув с головы буденовку, Иван поднялся, скорбно и тупо глядя на Наталью. Но его голова стала инстинктивно втягиваться, когда в воздухе знакомо зазвучал вой приближающегося снаряда. Через мгновение донесся хлопок оружейного выстрела. А еще через мгновение снаряд мощно взорвался где-то посреди лагеря. Там заржали, заметались лошади, заметались, закричали люди.

Иван взглянул на море. Сюда двигался корабль, и из дула его носового орудия вырвался огонь нового выстрела. Иван перевел взгляд на Наталью.

— Прости, Наталья, если что не так... — тихо сказал он.

Новый взрыв взметнулся в лагере, а с другой стороны длинными слитными очередями стали бить английские скорострельные пулеметы.

Иван опустился на колени и стал торопливо закапывать Наталью.

В ТОТ ДЕНЬ АНГЛИЧАНЕ НАЧАЛИ ЖЕСТКУЮ КАРАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАШИХ В ИНДИИ.

Они забились в глубь тропических джунглей, восхитительно прекрасных, если смотреть на них снаружи, и темных, мрачных, тягостных внутри. Иван сидел на толстом стволе поваленного дерева. Он размотал свой указательный палец и внимательно его рассматривал. Палец не только словно распух, но и стал длиннее остальных, огрубел и почернел, на его

тыльной стороне торчали черные звериные щетинки, а вместо ногтя вырос длинный и острый черный коготь. Иван пошевелил своим новым пальцем и посмотрел по сторонам. Вблизи никого не было. Правда, к нему шел Брускин, разговаривающий сам с собой на ходу, но он был еще далеко. Иван вытащил саблю, положил на ствол ладонь с вытянутым новым пальцем и резко рубанул. Поморщившись и даже качнувшись от боли, Иван коротко взглянул на валяющийся обрубок, подошвой сапога вдавил его поглубже в мягкую, влажную землю и плюнул сверху.

Брускин приближался. Иван стянул с головы буденовку и обернул рану, из которой хлестала черная кровь.

Комиссар остановился рядом, внимательно и заботливо посмотрел в глаза Ивана и спросил скороговоркой:

— У вас что-нибудь случилось?

— Да ничего, палец вот отрубил, — объяснил Иван.

— Почему? — живо поинтересовался Брускин.

— Да не нравился он мне.

— Понятно, — удовлетворился ответом Брускин. — Товарищ Новиков, у меня к вам очень важный разговор. Мы должны установить красное знамя на вершине горы Нандадеви. Тогда-то они нас заметят. Мы уже начали отбор добровольцев.

Новик помотал головой.

— Нет, Григорь Наумыч, я по горам не ходок. Да я еще пока и комдив.

— Что вы, товарищ Новиков, пойдут представители наших горских народов, а к вам я...

— Это что же за знамя должно быть? — с сомнением спросил Иван.

— Натуральный шелк, сто пятьдесят на сто, я посчитал.

— Чего?

— Разумеется метров.

— А древко?

— А вы видели гигантские пальмы? Товарищ Новиков, я к вам совсем по другому вопросу. Дело в том, что, мне кажется, я оттуда уже не вернусь... — Брускин опустил голову, справляясь со своей секундной слабостью. — И я бы хотел, чтобы вы взяли мой дневник. Но чтобы никому! А если вдруг снова окажетесь в Москве, отдайте его моей бабушке...

— А если... я? — растерянно спросил Иван.

— Так вы же сто один год проживете! — засмеялся, блестя повлажневшими глазами, комиссар.

И Иван засмеялся. И они обнялись.

*Штат Хамагар-Прадеш. Город Химла.
5 января 1925 года.*

В большой магазин, где торговали тканями, заскочили несколько человек, одетых в индийское и европейское платье. Угрожая наганам перепуганным продавцам и покупателям, они торопливо искали нужную им ткань. Экспроприаторами были грузины, армяне, азербайджанцы, поэтому общались между собой они на русском.

— Смотри, Георгий, такой ткань берем? — спрашивал один, вытаскивая из-под прилавка штуку вишневого сукна.

Высокий красивый красноармеец пощупал ткань пальцами и вскинул руку с поднятым вверх наганом.

— Слушай, ара, ты не понял? Шелк надо, натуральный шелк.

А из подсобки уже тащили именно то, что было нужно, — свитки алого китайского шелка. Его концы ползли по полу, и все в магазине окрасилось в красное.

*Южное предгорье Гималаев.
12 февраля 1925 года.*

Под навесом из сосновых веток стоял аэроплан, и летчик Курочкин возился в моторе. Вокруг сидели местные жители и молитвенно смотрели на него.

— Товарищ Курочкин! — окликнул его Брускин.

Курочкин оглянулся и увидел наших. Они стояли, вытянувшись, в две длинные шеренги: одна держала на плечах скрученное и перевязанное знамя, другая — древко, ошкуренный ствол гигантской пальмы. Во главе шеренги стояли улыбающиеся Брускин и Шведов. Летчик вытер на ходу руки ветошью, приложил руку к виску и доложил:

— Произвожу текущий ремонт мотора.

Брускин указал взглядом на туземцев.

— Как вы думаете, они пойдут с нами?

— Конечно пойдут. Уж не знаю, за кого они меня принимают, но что ни попрошу...

— Понятно за кого, — пожал плечами Брускин. — Вы ведь летаете...

Курочкин бросил печальный взгляд на свой аэроплан.

— Да вот не заводится он...

ЗАБЕГАЯ ДАЛЕКО ВПЕРЕД СКАЖЕМ, ЧТО АЭРОПЛАН ВСЕТАКИ ЗАВЕЛСЯ, И В 1973 ГОДУ ЛЕТЧИК КУРОЧКИН ПОЛЕТЕЛ НА РОДИНУ. НО НА ГРАНИЦЕ, ПРИНЯВ ЗА НАРУШИТЕЛЯ, ЕГО ВСТРЕТИЛ НАШ «МИГ». САМОНАВОДЯЩИЕСЯ РАКЕТЫ НЕ НАВОДИЛИСЬ НА ОБТЯНУТУЮ ПЕРКАЛЕМ ФАНЕРУ, И ТОГДА БЫЛ ПРИМЕНЕН ТАРАН. ОБА САМОЛЕТА УПАЛИ, И ОБА ЛЕТЧИКА ПОГИБЛИ. СООБЩЕНИЯ ОБ ЭТОМ БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ ВО ВСЕХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТАХ, НО, РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ БЫЛИ НАЗВАНЫ ФАМИЛИИ ЛЕТЧИКОВ И СТРАНА, ИЗ КОТОРОЙ ЛЕТЕЛ НАРУШИТЕЛЬ...

— Выше! Выше! Выше! — как заклинание повторял Брускин, глядя на вершину Нандадеви.

Упорно поднималась в гору длинная вереница людей, неся на плечах великое знамя и великое древко к нему.

Высота — 4000 метров.

Была ночь. Горели на снегу костры. Сидели вокруг них восходители. Шведов мял ноющие ладони, всовывал их в огонь, морщился.

— Болят? — сочувственно спросил Брускин.

— Болят, будь они неладны, — смущенно отозвался Шведов. — Сколько ран на теле, и ничего, а они... Дело-то как было... Брали мы Зимний... Ворота закрыты, полезли мы их открывать, помните?

Брускин кивнул.

— И тут юнкера ударили... Тот, кто выше меня залез, так и встал, прямо на руках у меня топчется, испугался, видно. Я говорю: «Что же ты, товарищ?»...

Шведов вздохнул, махнул рукой. Брускин протянул ему варежки, связанные Натальей.

— Возьмите, Артем.

— Да нет, что вы!

— Возьмите, возьмите.

Высота 5000 метров.

— Хетти! Хетти! — испуганно и возбужденно говорили туземцы, указывая на разбросанные по снегу человеческие черепа и кости, а также на идущие от них следы босых ног.

— Что это значит, Григорий Наумович? — не понимал Шведов.

— Это значит, что мифы становятся реальностью, — задумчиво глядя на кости, ответил Брускин. — Только скверно, что они — людоеды.

— Они уходят, Григорь Наумьч! — оторвал его от размышлений Шведов.

Туземцы не шли, бежали вниз. Шведов вытащил из кобуры маузер.

— Может, остановить?

— Пусть уходят, — меланхолично произнес Брускин и вдруг сорвался, закричал убегающим в спины, размахивая кулаком: — Проклятая Вандея! Ренегаты! Иуды!

Высота 5500 метров.

Восходители окружили то место, где спал Брускин. От него осталась буденовка и раздавленные очки. На снегу хорошо были видны следы босых ног.

— Хетти комисал слопал, — убежденно сказал китаец Сунь и прибавил: — Сунь знает.

— Что делать будем, товарищ Шведов? — жалобно спросил один из восходителей.

— Как что? — удивился Шведов. — Выше пойдем!

Высота 6000 метров.

Впереди стояло что-то вроде сложенного из плоских камней крохотного домика, и в сгущающихся сумерках из его щелей сочился золотисто-розовый свет.

В домике в позе лотос сидел индеец в одной набедренной повязке, и тело его, а особенно голова, излучало тот самый свет. Вблизи он был таким ярким, что было больно смотреть глазам, и настолько теплым, что восходители снаружи грели о камни замерзшие ладони. Под сидящим зеленела изумрудная травка.

— Браток! — окликнул его Шведов.

Он произнес это слово не так уж и громко, но, вероятно, для привыкшего к абсолютной тишине йога звук его был подобен взрыву.

Йог упал вдруг набок как сидел — со скрещенными ногами и лежащими на коленях ладонями, — и излучаемый им свет стал меркнуть на глазах. Скоро это был просто скрюченный синий труп индийца, лежащего на побитой инеем траве.

Высота 6001 метр.

— Я ничего не вижу... — удивленно произнес Шведов, шупая перед собой воздух руками и не решаясь сделать хотя бы шаг. Но он не стал жаловаться, жаловаться было некому, потому что ослепли все.

— Ме вераперс вхедав!²⁵ — кричали одни.

— Ес вочинч чем теснум!²⁶ — кричали другие.

— Мэн хэч бир шей кёрмюрям!²⁷ — кричали третьи.

И остальные кричали что-то на своих языках. Они забыли вдруг русский или, ослепнув, не желали или не могли больше на нем разговаривать.

Шведов обессиленно сел в снег, вытащил кисет и попытался свернуть самокрутку, но табак высыпался, а кисет упал в снег. Шведов не стал его искать и заплакал. Он не видел, как, шупая перед собой руками воздух, столкнулись двое.

²⁵ Я ничего не вижу! (Груз.)

²⁶ Я ничего не вижу! (Арм.)

²⁷ Я ничего не вижу! (Азерб.)

— Сэн ким сэн?²⁸ — спрашивал, падая, один.

— Иск ду овесс?²⁹ — падая, спрашивал другой.

Они упали в снег и, сцепившись, стали кататься по нему и бить один другого по лицу и невидящим глазам, пока не раздался выстрел и один перестал бить другого.

И в других местах раздались выстрелы.

Шведов сидел не двигаясь, слушал незнакомые крики, чужие слова проклятий. Стрельба разгоралась. Слепые стреляли в слепых не очень метко, но часто — до последнего патрона. Пули свистели рядом, и одна, пролетая, коснулась щеки Шведова. Он не испугался, даже не вздрогнул, а зачерпнул пригоршню снега и приложил к окровавленной щеке.

— Дземебо, модит чемтан, ме тхвэн гихснит!³⁰ — кричал высокий красивый красноармеец с непокрытой головой, и те, кто понимал его язык, шли к нему.

Взявшись за руки, они образовали цепочку и пошли за ним. Он не обманывал их, просто ему, наверное, казалось, что он видит, он верил в это. Но он был слеп, как все, он повел их к глубокой, голубеющей льдом пропасти и первым беззвучно полетел в нее, увлекая за собой остальных...

Стрельба затихала, слышались только крики раненых и стоны умирающих.

Шведов в задумчивости откусывал и жевал напитанный собственной кровью снег.

Не ослеп только китаец Сунь. Он шурил узенькие глазки, смотрел на сияющую вершину Нандадеви и иступленно повторял:

— Высэ! Высэ! Высэ!

Высота 6111 метров.

На ровном белом склоне алел огромный красный прямоугольник знамени. С неба сыпала снежная крупа, и потому он на глазах бледнел, становился розовым и скоро слился с окружающей белизной.

В огромной пещере горел один большой костер, и около него сидели хетти женского пола, а также дети и смотрели на ритуальное действо.

Брускин стоял у ритуальной стены, залитой старой кровью. На уровне головы комиссара на камне засохли остатки почерневшего мозга с прилипшими волосами.

Страшные и агрессивные хетти-мужчины наступали на Брускина. У передних в руках были копья с каменными наконечниками, у остальных — просто остроугольные камни.

— Хга! — скомандовал вождь, самый крупный и самый сильный, и дикари приблизились еще на один шаг.

Брускин был измучен и возбужден. Щеки его горели лихорадочным румянцем. Он был без буденовки, без очков, без штанов, но не терял надежды. И он выбросил вперед руку и заговорил скороговорно, как на митинге:

— «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно!»³¹

— Хга!

Еще на шаг Брускин приблизил себя к мученической смерти.

— «Агностик говорит: не знаю, есть ли объективная реальность, отраженная, отображенная нашими ощущениями, объявляю невозможным знать это»³².

²⁸ Ты кто? (Азерб.)

²⁹ А ты кто? (Арм.)

³⁰ Братя, идите ко мне, я вас спасу! (Груз.)

³¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 23, стр. 21.

³² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 129.

— Хга!

Кремневые наконечники на копьях нетерпеливо подрагивали у его груди. Румянец исчез с растерянного лица Брускина, и из глаз побежали слезы. Дикари ждали последнего его слова.

— Эйнцике либе бобэн, хэлф мир...³³ — прошептал он вдруг и улыбнулся, и надежда, но иная надежда возникла в его глазах.

Вождь не давал свою страшную команду, и Брускин вдруг запел то-ненько, тихо, нежно:

Их дер молзих ин дэм фрайтих авдернахт.
 Ой вос фар а ширэ дер татэ мит ди киндер занбэахт!
 Флэг зинген эмирес флэг дер татэ дих авекэзин цу бомки мит а лэфэлэ!
 Гебн митн фингерл а кнак.
 Флэг ди бобэ мит гойдэрл — шокли митн кэпэлэ.
 Ой вэй виншмак!³⁴

НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРАНИЦ БЫЛО ВПИСАНО НАШИМИ КАВАЛЕРИСТАМИ В СЕКРЕТНУЮ КНИГУ ВЕЛИКОГО ПОХОДА, НО В РЯДУ ПОБЕД БОЛЬШИХ И МАЛЫХ БИТВА БЛИЗ КУРУКШЕТРА ВСЕ ЖЕ СТОИТ ОСОБНЯКОМ.

*Штат Раджастхан. Близ Курукшетра.
 1 апреля 1929 года.*

Бывшая Иванова дивизия, уменьшившаяся за годы непрерывных боев и походов до размеров сотни, томилась в ожидании командирского слова.

Были сумерки, и Новик то опускал бинокль, то вновь прикладывал его к глазам не в состоянии определить — кто же находится на другом краю огромного поля, на котором пять тысяч лет назад сражались между собой боги и люди?

Дивизия — сотня Новикова — скрывалась в кустарнике, и противник, тоже примерно сотня, их не замечая, двигался неторопливым шагом.

— Да англичанка это, Иван Васильевич! — подсказывал нетерпеливо ординарец Государев-внук.

Новик оскалился в улыбке:

— Сперва врежем, потом разберемся. — И, привстав в стременах, повернулся к своим, закричал: — Шашки наголо! Пики к бою! За мной в атаку! Марш-марш!

И, как всегда, поскакал первым, а его дивизия-сотня рассыпалась на просторе лавой.

Противник их наконец заметил, занервничал, кто-то там, кажется, пытался отступить, кто-то спешиться и залечь, чтобы встретить огнем. И все-таки те решили принять бой и тоже рассыпались лавой и понеслись навстречу.

Иван обернулся к своим и крикнул весело:

— Руби до седла, остальное само развалится!

Вечерний густой воздух ответил эхом, и с той стороны донеслось:

— Руби до седла, остальное само развалится!

Лавы катились навстречу друг другу — лоб в лоб. Иван выбрал скачущего у противника первым и, направив на него коня, перекинул трофейную ханскую саблю из правой руки в левую.

Лавы смешались, зазвенела сталь о сталь, Новик привстал в стременах и вдруг услышал испуганное и радостное:

³³ Единственная любимая моя бабушка, помоги мне... (Идиш.)

³⁴ Я вспоминаю вечер в пятницу.

Ах, как мы пели,
 Отец и нас восемь детей, молитвенные песнопения!
 Отец стучал ложечкой и шелкал в такт пальчиком,
 А бабушка улыбалась и покачивала головкой.
 Ах, какое это было счастье! (Идиш.)

— Иван!

И по всей линии боя звон металла стал стихать, а вместо него слышались удивленные восклицания:

— Федька, ты, что ль? Тю!

— Николай! Чертяка!

— Дедушка! — Это кричал Государев-внук.

Перед Новиком сидел в седле Колобок и улыбался.

И Иван плюнул от досады — он уже настроил себя на бой.

Вокруг огромного костра, на котором зажаривалась целая лесная свинья, лежали кольцом кавалеристы, гомонили, смеялись. То и дело хлопал по плечу смущенного внука Государев-дед.

Командиры лежали чуть в отдаленье и даже на отдыхе выглядели озабоченными.

— Применяем партизанскую тактику... — рассказывал Новик.

— И мы применяем... — кивнул Колобок.

— Поэтому у нас теперь не дивизия, не эскадрон, а партизанский отряд...

— И у нас партизанский...

Иван взглянул на Колобка исподлобья и продолжал со значением:

— У нас... отряд... имени... Афанасия... Никитина...

— И у нас то же самое! — воскликнул Колобок.

Новик смотрел на бывшего соратника изучающе-внимательно. Тот улыбнулся.

— Честное партийное, Иван!

Иван усмехнулся, мотнул головой, поднял кружку.

— Раз так — давай выпьем для продолжения разговора.

Они чокнулись, выпили, поморщились.

— Оно даже лучше, — подытожил Иван. — Спору будет меньше при объединении.

— При каком объединении? — осторожно спросил Колобок.

— Как при каком? — удивился Новик. — Неужто мы встретились — и разведемся?... У нас вместе, считай, эскадрон будет...

— А командовать им кто станет? — испытующе глядя, спросил Колобок.

— Да уж выбрали б командира... — ушел от ответа Новик.

— Уж не тебя ли?

— А хоть бы и меня... — ответил Иван, глядя в сторону.

— Во-он оно что... — протянул Колобок. — Между прочим, когда я дивизией командовал, тебя с эскадрона гнали как сраного кота! Ишь чего захотел — объединяться!

Иван напрягся, но сумел подавить в себе приступ ярости.

— Колобок, — заговорил он тихо, — мне тут индусы жаловались — банда какая-то непонятная появилась в округе, грабит кого ни попадя... Уж не ты ли это партизанишь?

Колобок не решался взглянуть в глаза Новика, но все же защитился:

— А ты небось божьим духом питаешься? Я такой же красный партизан, как и ты!

— Если ты красный партизан, то покажи мне свое красное знамя! — зло и требовательно заговорил Новик, поднимаясь, и вместе с ним стал подниматься Колобок. Они вставали, опираясь грудью о грудь.

Разговоры за столом стихли, круг распался, колобковцы стягивались за спину Колобкова, новиковцы подбирались к Ивану.

— А твое?... — нашелся Колобков.

— Я-то покажу, а вот ты сперва покажи...

— Ну вот и покажи!..

— Так я же первый сказал.

— Ну раз сказал, вот и покажи! — брал верх Колобков.

— Колобок, — процедил сквозь зубы Новик, — если у тебя знамени нет, я...

— Ну покажи, покажи, — словно подначивал Колобков.

— Козленков! — заорал Новик.

Вмиг рядом оказался красноармеец, вмиг он скинул гимнастерку. Знамя было намотано на тело, и его размотали, развернули. Это было знамя корпуса, то самое, которое вышивала Наталья.

Молча и неподвижно смотрели на него красноармейцы.

— Теперь ты свое показывай, — тихо попросил Новик.

Колобок глянул в ответ коротко и воровато и отвел глаза. И тут же страшной силы удар Иванова кулака кинул Колобка прочь. Он полетел в костер, обрушив в огонь свинью, вскочил и кинулся к своей лошади.

— Наших бьют! — крикнул кто-то и бандитски засвистел.

И зазвенели клинки, закружились в поединках кавалеристы. И полетела на землю голова Государева-внука, срубленная Государевым-дедом. И падали с лошадей колобковцы и, не выдержав, подставили спины, и, преследуя, новиковцы стреляли им вслед.

Глава третья

В ТОЙ, ВТОРОЙ БИТВЕ БЛИЗ КУРУКШЕТРА, КОТОРАЯ В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРВОЙ ОСТАЛАСЬ ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ И ПОТОМКОВ, НОВИКОВ НАГОЛОВУ РАЗБИЛ КОЛОБКОВА. НО ГЛАВНЫМ ИТОГОМ ВТОРОЙ БИТВЫ БЛИЗ КУРУКШЕТРА СТАЛО ТО, ЧТО ПОСЛЕ НЕЕ ПЕРВЫЙ ОСОБЫЙ КАК БОЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕСТАЛ СУЩЕСТВОВАТЬ. ПРИДЕТ ВРЕМЯ, И СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТАТ НА ВОПРОС, КАК ТРИДЦАТИТЫСЯЧНЫЙ, ХОРОШО ВООРУЖЕННЫЙ КОРПУС, ВЕДОМЫЙ ВЕЛИКОЙ ИДЕЕЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДА ОТ МНГОВЕКОВОГО РАБСТВА, МОГ ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТНО И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ РАССОСАТЬСЯ НА СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛУОСТРОВА ИНДОСТАН, ПРИДЕТ ВРЕМЯ... А МЫ ПРОДОЛЖИМ НАШ РАССКАЗ.

Индия. Город Аллахабад.

6 мая 1931 года.

Аллахабадский базар гудел и шевелился. Медленно и бесцельно брел Иван вдоль длинного ряда, где сидели на земле торговцы драгоценными камнями и украшениями. Он совсем не был похож на бывшего комэска Ивана Новикова, это был индеец, обычный нищий индеец, непонятно, правда, к какой касте принадлежащий.

— А вот золото, настоящее русское золото! — прокричал ему на урду продавец, протягивая большой медный крест.

Иван усмехнулся на ходу, не глянув на продавца, но то, что он услышал за своей спиной, заставило его остановиться.

— Чурка индусская, — сказано было в его адрес на чистом русском языке

«Колобок?» — удивленно спросил себя Иван.

Они сидели в теплой пыли рядом с шумным загоном, где торговали овцами, поэтому приходилось говорить громко, почти кричать.

— Выпить бы за встречу, — поделился Колобков идеей. — Если у тебя деньги есть, так я мигом рисовой водки приволоку!

Иван махнул рукой, и жест этот означал, что пить ему совсем не хочется, да и денег, кстати, ни шиша.

— Ты как живешь, расскажи, — заглядывая Колобку в глаза, попросил Иван.

— Да начинаю жить, Иван Васильич, торговлишка вот... Деньжат под-коплю, поеду в Вадодару, жену куплю, там жены дешевые.

Иван смотрел на бывшего соратника удивленно и непонимающе. Колобок усмехнулся.

— Да я ж в мусульманы записался, Иван... Раньше надо было, сейчас бы уж...

— Так ты чего, в Аллаха поверил?

— Поверил не поверил, а жить надо. В Индии, Иван, без веры не жизнь. Мои татары да башкиры давно освоились, так теперь и живут Одни мы, дураки...

Иван ничего не сказал.

— А чего? — продолжал настаивать на своем Колобок. — Делов-то. Чикнули там ножиком, жалко, что ль? Небось в гражданскую с меня больше мяса порезали. Ну что ты головой крутишь? Давай к нам, Иван, я посодействую...

— Нет, — Иван помотал головой, улыбаясь. — Я свининки жареной страсть как люблю пожарать.

— Свинину нельзя, это верно, — со вздохом согласился Колобок. — А чего тогда делать собираешься?

Иван внимательно посмотрел на бывшего сослуживца, помолчал, как бы размышляя, говорить или не говорить, и признался:

— Возвращаться.

— Возвращаться? — Колобок засмеялся. — Это мы пробовали.

— Когда?! — Иван жадно подался к Колобку.

— Когда-когда... — Колобок отвернулся и продолжил, глядя в сторону: — Сразу после того как мы с тобой под Курукшетром схлестнулись... Тридцать душ нас тогда осталось. Сели думать да гадать, как дальше жить. Государев-дед говорит: в Турцию пойду к некрасовцам, староверы это ихние, как уж они там оказались, не знаю. Ну хрен с тобой, иди. Жорка Нашев, болгар, помнишь? С Киселем, дружкой своим, до Америки решил добираться. Только я слышал потом, Кисель Жорку кокнул из-за чего-то еще здесь, в Индии, а теперь в ашраме, ёхом заделался...

— Ты мне про... — торопил Иван.

— Ну вот... Десятеро нас, я одиннадцатый, почапали... Дошли вдевтером, двое в дороге очоурились. Ну, дошли. Подошли к заставе нашей. Я говорю: «Давайте одного пошлем, а остальные поглядим, что будет». Они говорят: «Мы пойдем, а ты смотри, а если что, расскажешь всем нашим что и как». Я согласился. Залег, гляжу, что будет... Подходят наши к нашим. Челнок говорит: «Из Индии мы, вертаемся». Они хватъ их всех и бить... Боем смертным били всю ночь, а наутро расстреляли, сам видал.

Иван сидел не двигаясь, молчал.

— Нет, Иван, назад нам ходу нет. Верно, чего-то такое мы знаем, чего знать нам не положено. Да разве б мы стали болтать, подписку все-таки давали...

Колобок хотел продолжить, но осекся, почувствовав, а потом увидев неожиданно злой взгляд Новика.

— Ты чего? — спросил он испуганно.

— В бинокль глядел али так, с-под руки, когда ребят расстреливали?

Иван стал медленно и угрожающе подниматься, и Колобок стал подниматься тоже, но явно труся.

— А я чего, я говорил, давай одного пошлем, а сами поглядим, а они все поперлись...

— Пошлем... — цедил сквозь зубы Иван. — Сам бы пошел, комдив... А то они там лежат, а ты здесь ворованной казной торгуешь!

— Только вдарь попробуй, — предупредил Колобок, пятясь, чувствуя, что это вот-вот случится. — За меня наши мусульманы знаешь что тебе сделают? Секир-башка!

Но Иван не хотел бить и не стал бить, а просто плюнул сильно и смачно в рожу бывшего комдива Колобкова, повернулся и пошел прочь

Город Бенарес (Варанаси).

1 мая 1933 года.

Ночью в один из больших белых шатров, где спали паломники-сикхи, прорвав когтями и непомерно большим, усеянным мелкими зубками ртом противомоскитную сетку, влетела большая летучая мышь, нетопырь. Сделав несколько бесшумных кругов под куполом шатра, выбирая среди лежащих вповалку одинаковых людей в одинаковых белых одеждах единственного, нетопырь резко снизился, опустился спящему на плечо и принялся его изучать. Это был Новик, только узнать его было трудно: длинная борода, длинные, завязанные в пучок на макушке волосы, серьга в одном ухе и железный браслет на запястье руки, все, как положено быть у сикха.

Видно, снился Ивану плохой сон: лицо его было покрыто крупными каплями пота, рот приоткрылся, и мелко-мелко дрожал подбородок, а на шее часто билась вздувшаяся сонная артерия.

Нетопырь зевнул, широко открыв рот с отвратительно розовой пастью, и принялся щипать зубками артерию.

Иван начал чувствовать боль, но никак не мог проснуться. Он мотал как в бреду головой, однако вампир спешно продолжал свою работу. Наконец Иван резко открыл глаза. Нетопырь замер и, склонив голову, смотрел в глаза Ивана своими черными бусинками любопытно и как будто даже приветливо. От ужаса зрачок Ивана расширился так, что вся радужная оболочка глаза стала черной, и он заорал, как не орал ни разу в жизни. Паломники мгновенно проснулись, закричали, вскакивая со своих мест и хватаясь за сабли и кинжалы. По шее Ивана текла струйка крови.

Высокая посвистывая, нетопырь пометался под куполом шатра и вылетел в то же отверстие, в которое влетел.

Очередь паломников в Золотой храм кончалась там, где самого храма, его золотых куполов еще не было видно. Глаза паломников были устремлены вперед. Было очень много больных: прокаженных, слепых, безумцев. Один из них шел сразу за Иваном, что-то вопил непрерывно в самое ухо и цапал грязной, изъязвленной рукой за плечо.

Хотя Иван внешне и не отличался от других паломников, внутренне, судя по лицу и глазам, он не переживал ни малейшего религиозного чувства, но отбывал тяжкую повинность. Когда терпение кончилось, Иван обернулся, сделав зверское лицо, и пообещал безумцу на незнакомом для того языке:

— Шас дам по кумполу, морда!

Безумства безумца прекратились и возобновились только у входа во двор храма, но вопли были на несколько тонов ниже, а дотрагиваться до Ивана он вообще больше не решался.

Во дворе толпа накапливалась так, что было трудно вздохнуть. Под палящим прямо в темя солнцем можно было потерять сознание, но упасть было нельзя.

Храм впускал паломников неохотно, они вдавливались по одному в его узкие ворота.

Иван на мгновение ослеп от темноты и остановился, но поток чужой веры повлек его в известном ей, этой вере, направлении. По углам полутемных и душных комнат, в которые вливались и выливались под напором человеческие тела, стояли фигуры Шивы, и, обращаясь к ним, паломники молились, иные шепотом, иные криком кричали.

Иван уже не сопротивлялся и не пытался что-либо понять. Его вдруг вынесло на солнечную веранду, и он вновь на мгновение ослеп. Посреди сплошь усыпанной цветами веранды стояли на возвышении три лоснящихся, откормленных белых быка, а с ними трое лоснящихся, в белых шелковых одеждах брахманов. Все падали перед быками ниц, целовали их позлащенные копыта, и Ивану пришлось сделать то же самое. Неожиданно один из быков стал обильно испражняться, и с криками радости паломники стали ловить на лету бычачье дерьмо и в восторге вымазывать им

свои руки, головы и лица. Иван дернулся назад, выпрямляясь, но тут же кто-то навалился сверху и со стуком опустил его на колени...

Дальше пришлось идти на коленях, потом ползти на четвереньках, приближаясь к священному алтарю. Он скрывался за занавесями, подсвеченными множеством ритуальных светильников. Занавеси колыхались, и алтарь казался таинственным и зловещим. Подползая к нему, каждый на мгновение заглядывал внутрь, и когда дошла очередь Ивана, он сделал то же самое. Посреди алтаря стоял Шива. В дыму удушающе-благовонных курений, в колеблющемся пламени светильников он казался живым, и на мгновение Иван увидел того, кого родила Наталья...

Когда толпа вынесла Ивана на свет и отпустила, он вздохнул наконец полной грудью, поднял лицо к небу и грохнулся плашмя на спину в глубокий черный обморок. Никого вокруг это не удивило. Двое паломников взяли его за ноги и оттащили под навес, где лежали еще несколько таких же бедолаг.

Вечером, сидя в роще под деревом, Иван курил, скрывая огонек в кулаке. Был он совсем невесел и, похоже, не знал, что делать и как жить дальше. Высокий и короткий писк вверху заставил его поднять голову. Непонятно как будто радовался, что нашел Ивана, и, то взлетая высоко вверх, то падая и задевая перепончатым крылом голову, пел свою песню радости — словно водил ножом по тарелке. У Ивана даже не было сил отмахнуться. Он только поднял глаза и спросил устало и обреченно:

— Ну чего тебе от меня надо?

Их разделял очаг, только теперь пламени не было, остывающие угли мерцали в сумраке пещерного храма. Кангалимм сидела на своем месте. Она была в той же одежде, с черной кисеей на лице, с венком из лотосов на голове.

— У тебя есть с собой какая-нибудь вещь, оставшаяся от того человека? — спросила колдунья.

Иван помедлил и, обойдя вокруг очага, вытащил из кармана портсигар, присел, осторожно раскрыл его и протянул.

— Это он...

Кангалимм приблизила портсигар к лицу, нюхая серую пыль.

— Он что, так много курит? — удивленно спросила она.

— Нет, там раньше был мой табак, — торопливо объяснил Иван.

— Ты хорошо выгучил наш язык, великий господин, — похвалила колдунья и вновь стала нюхать.

Иван напряженно всматривался, пытаясь разглядеть что-либо за кисеей, но это не получалось.

Колдунья взяла щепотку пепла, бросила его в очаг и положила портсигар на каменный пол.

— Не бойся того, кто прилетает к тебе ночами. Это и есть тот человек. Его дух воплотился в маленького летающего дракона.

— Ле-нин? — потрясенно прошептал Иван.

— Я не знаю его имени. Но это был великий человек. Он пришел в мир, чтобы изменить его, но мир не принял его.

— Ленин... — шепотом повторил Иван.

— Дух великого человека сам выбрал тебя, — продолжала вещать колдунья. — И ты должен оберегать его.

— А... а потом, что будет потом? — растерянно спросил Иван.

— Потом его дух вселится в козла, потом в собаку, потом в слона, потом в черепаху, — спокойно и убежденно проговорила старуха и замолкла.

— А потом? — спросил Иван встревоженно.

— Потом он снова придет в мир, чтобы его переделать.

— А когда, когда это будет?! — закричал Иван в нетерпении.

— Считай сам, великий господин. Маленький летающий дракон живет пять лет. Козел живет десять лет. Собака живет пятнадцать лет. Слон живет сто лет. Черепаха живет триста лет. Считай сам.

— Не доживу, — прошептал Иван.

Вытащив золотой, царской чеканки рубль, он вложил его в длинную ладонь старухи, но монета упала, звякнув, на каменный пол и покатилась.

— В той жизни, когда ты любил меня, ты был щедрее, — сказала Кангалимм.

— Но у меня больше нет, клянусь, Кангалимм! — искренне воскликнул Иван.

И вдруг мгновенно и мертво колдунья ухватила его костяной рукой за причинное мужское место. От боли и ужаса у Новика полезли на лоб глаза.

— Ты любил меня в той жизни, полюби в этой, великий господин! — В голосе Кангалимм была насмешка.

— Рехнулась, старая карга?! — заорал Иван по-русски. — Пусти! Пусти, я тебе сказал! — И коротко и резко Иван двинул колдунью кулаком в лоб.

Она опрокинулась на спину, кисея рассыпалась, и Иван увидел ее лицо. Это было лицо еще молодой женщины с очень светлой для индианки кожей. Вместо глаз у нее были две страшные черные ямки, будто кто выжег их горячей головешкой.

Нечаянно толкнув ногой раскрытый портсигар и рассыпав ленинский пепел, Иван кинулся к двери напрямую через очаг, наступив на угли босой ногой. Но остановился у входа и, трясая обожженной ногой, прокричал:

— Пропади ты пропадом, ведьма!

Кангалимм стояла у разгорающегося очага.

— Ничего, ты еще позовешь меня, великий господин, — тихо и спокойно сказала она и пообещала: — И я приду.

Была ночь. Иван сидел в лачужке за грязным столом, пьяно упираясь потным лбом в ладонь, пил из глиняной чашки мутный рисовый самогон. Вцепившись в край стола острыми коготками, напротив сидел, раскрялившись, нетопырь. Перед ним стояла глиняная плошка с молоком. Иван икнул, тяжело вздохнул и доверительно пожаловался:

— Тошно мне, ох тошно... Как будто тот бык мне прямо в душу навалил... — Новик внимательно глянул в маленькие круглые нетопырьки глазки. — Ну ты хоть понимаешь, что я говорю? Ты бы знак подал какой. Пискнул бы или крыльями махнул — понимаю, мол...

Нетопырь безмолвствовал и не шевелился, продолжая немигающе смотреть на Ивана.

Иван вновь громко и протяжно вздохнул.

— Эх, Владимир Ильич, Владимир Ильич...

Штат Карнатака. Селение Мульджи.

29 апреля 1935 года.

Крокодил был распято подвешен за передние лапы на специально для этого дела сооруженной перекладине. Орудия острейшим самодельным ножом, Иван сноровисто обдирал его, насвистывая жизнерадостно марш из «Аиды».

— Раджпут-синг! — услышал он за спиной женский голос и обернулся.

Пожилая худая женщина, сложив ладони, приветствовала его. Иван воткнул нож в густо-красное с желтизной крокодилье мясо, обтер ладони о передник и приветствовал женщину ответно. На ладонь женщины был намотан конец веревки, за которую был привязан большой серый козел.

— Купи козла, Раджпут-синг, — просила женщина, ласково глядя Ивану в глаза.

Новик насмешливо посмотрел в зеленые, с искрой козлиные глаза и спросил:

— Зачем он мне?

— Ты будешь ловить на него крокодилов, Раджпут-синг, — с готовностью ответила женщина.

— Я ловлю крокодилов на куриц, — объяснил Иван.

— Я знаю. И хорошо ловишь. Но он такой жирный. Ты будешь ловить на него самых жирных крокодилов.

— А почему ты его продаешь?

— Коз у нас забрали по налогам, Раджпут-синг, и теперь он бодается и лезет на всех женщин. Мы не можем работать в огороде.

Иван улыбнулся.

— Неужели на всех, Бимала?

Женщина смущенно улыбнулась, прикрывая ладонью беззубый рот.

— Даже на меня, старую. А ты мужчина, Раджпут-синг, на тебя он не полезет.

— Он бодается, я боюсь, — пошутил Иван.

Женщина была серьезна.

— Нет, Раджпут-синг, ты смелый мужчина, это все знают.

— Мне не нужен твой козел, Бимала.

— Я возьму за него самую маленькую монетку, всего лишь одну ану.

Ивану, похоже, надоел этот разговор.

— Я дам тебе целую рупию, Бимала, но твой козел мне не нужен. — Он повернулся к крокодилу и продолжил свое дело...

Когда он встряхнул свежеснятую крокодилью шкуру и повернулся, то увидел привязанного у двери его хижины козла, который смотрел на Ивана нагло и вопросительно.

Ночью Иван скрытно лежал за кустом и наблюдал за привязанным у самого берега козлом. Тот метался на привязи и орал так, что окрестные джунгли испуганно притихли. Иван досадливо сплюнул, поднялся и проговорил в сердцах:

— Если ты так будешь орать, крокодилы вообще уйдут из нашей реки.

Иван сидел на крыльце своей хижины, курил трубку гергери и посматривал на луну. Козел обгладывал растущий рядом куст.

— Что-то не летит Владимир Ильич, — встревоженно произнес Иван. — Третью ночь уже. Не было еще такого...

Козел заблеял вдруг басом. Иван раздраженно глянул в его сторону, и лицо его осенила догадка. Теперь он смотрел на козла пристально и удивленно.

— Так это ты? — прошептал Иван, и ноги сами подняли его. — Ну, здравствуй...

*Штат Карнатака. Селение Мульджи.
22 июня 1941 года.*

Лил и лил дождь, жидкая красная грязь плыла по пустынной сельской улице. Иван сидел у открытой двери на чурбачке и читал старую, ветхую на сгибах «Хинду патриот». Сначала он по слогам прочитывал слова на хинди, потом, тараща от усердия глаза и обильно потея, переводил на русский.

— «Германская авиация бомбила Варшаву и другие польские города, и в течение одной недели немцы заняли всю территорию этой страны». Не мы, так германцы ляхов двинули. Поделом им, поделом шепелявым, — прокомментировал Иван.

Он выставил наружу ладонь, хлебнул с нее дождевой воды и посмотрел на прохаживающегося по лачуге взад-вперед козла.

— Так это когда было, считай, год назад. А сейчас там чего? Пройдут дожди — поеду в город, новую газету куплю.

Козлу это почему-то не понравилось, он склонил голову и ткнул Ивана рогами в бок.

— Ну, черт! — заворчал Иван. — Сейчас вот звездану промеж рогов, так на задницу и сядешь! Слухай политинформацию дальше.

Там же.

3 июля 1941 года.

Последним Иван надел буденовский шлем, отдал козлу честь и улыбнулся.

— Гожусь еще?.. Без тебя знаю, что гожусь!

Иван был в полной кавалерийской амуниции, в шинели, в сапогах со шпорами, с саблей Ахмада Саид-хана на одном боку, с наганом в кобуре на другом, с кавалерийским карабином за спиной.

— А ты без меня не тоскуй. Бимала тебя кормить будет, я ей денег дал. Ты только не лезь на старую, ладно? Ну, не кручинься, не кручинься, сам понимаешь — надо. — Иван потрепал козла по загривку и поморщился. — Ох и вонюч ты, Володька...

Город Вадодар.

3 августа 1941 года.

Иван расплатился с рикшей, вытащил из коляски большой, перетянутой ремнями сверток. Посреди глухого мусульманского дворика под большой шелковицей играли дети. Увидев чужого, к тому же — сикха, они звонко закричали и побежали в дом. Тотчас на открытую веранду вышел Колобок, босой, бритый наголо, в распахнутом халате. Пристально и безмолвно он смотрел на Ивана.

Они сидели на полу за низеньким столиком и молча смотрели друг на друга. Бесшумно вошла женщина в парандже и поставила на стол поднос с чайником, пустыми пиалами и одну пиалу с изюмом и так же бесшумно удалилась.

— Не женился? — спросил Колобок.

Иван молча мотнул головой, не желая разговаривать на эту тему.

— Против Натальи, конечно, они... А у меня теперь две, эта вторая...

— Петр, — перебил его Иван, — ты слышал, что у нас?

— Слыхал, война... — кивнул Петр и усмехнулся. — Как услышал, так и подумал: не утерпит Новик, прискочит.

Иван с надеждой посмотрел на Колобкова. Тот усмехнулся снова и отвернулся.

— Пойдем? — тихо спросил Иван.

— Куда? Зачем?! — возвысил голос Колобков. — Добровольно под расстрел идти?!

— А может, на войну спишут, а?

— Спишут! Я видел, как списывали...

— Я все рассчитал, Петь! Отсюда до Бомбея поездом, там на пароход кочегарами, а там через Черное море в Крым переправимся, лошадей купим и...

— Теперь другая война, Иван! — оборвал Новика Колобок. — Да и, пока дойдем, германец уже Москву возьмет, это и дураку ясно.

— Так тогда мы и пригодимся! — воскликнул Иван. — Погуляем по тылам! Неужто мы колбасникам этим, душам гороховым, на своей земле сопатку кирпичом не натрем?! — Иван замолк, успокаиваясь, и прибавил тихо с надеждой: — А нас за то, может, обратно пустят...

Колобок молчал, опустив голову.

— Я ж все-таки со Сталиным выпивал, я б его попросил за всех наших...

Колобок поднял голову.

— Ты Ленина просил один раз подмогу нам прислать!

— Ленина не трожь, — нахмурившись, предупредил Иван. — Чего ты про Ленина знаешь?..

— Знаю... Ты с какого года в партии? — спросил Колобок с напором.

— С двадцать третьего, а что?

— А я с восемнадцатого! Поболе твоего знаю! У меня три ранения, четыре контузии, две почетные грамоты от товарища Троцкого! — орал Колобок.

— Ну и засунь их себе в задницу! — тоже заорал Новик.

Стало вдруг тихо.

— Ты, Иван, не груби, — тихо попросил Колобок. — Хоть ты и сикх, в своем дому я тебе грубить не позволю... Сколько я горбил, наживая все это? Шестеро детишков, две жены, почет кругом, уважение — и теперь все брось?

— Петр...

— И не Петр я, а Сулейман.

— Не поедешь?

— Нет.

Иван громко и даже как будто облегченно вздохнул.

— Ну, на нет и суда нет.

Он потянулся к своей поклаже, сунул в нее руку, вытащил бутылку рисовой водки и, ничего не говоря, стал деловито выбивать пробку. Колобок поднялся, вышел и тут же вернулся и поставил на стол блюдо с холодным, нарезанным кусками мясом.

— Убери, я конину не ем. — Иван наливал водку в свою пиалу.

— Да это не конина, баранина.

— Все равно убери.

Иван осторожно подносил ко рту наполненную до самых краев пиалу, а Колобок, страдальчески сморщив лоб, наблюдал.

— Иван! — остановил он Новика.

— Чего? — осторожно, чтобы не расплескать, спросил Иван.

— Мне чего же не налил? Или гребуешь с мусульманином?

— Почему гребую? — Иван не отводил взгляда от водки. — Тебе Аллах не велит.

— Он вино не велит! Про водку он ни слова!

Колобок торопливо налил себе. Они молча чокнулись и медленно, с чувством выпили.

Хмельной и деловитый, Иван вошел в низкое и душное здание вокзала. У окошек билетных касс плотно и неразъемно сбилась толпа. Иван попытался втиснуться в толпу с одной стороны, с другой, с третьей, но сделать это оказалось невозможно. И Новик взъярился вдруг, схватил за шкирку и выкинул из толпы одного, оторвал другого, свалил под ноги третьего, но четвертый оказался парнем крепким. К тому же он тоже был сикх.

— Мне нужно уехать в Бомбей! — закричал Новик и вытащил до половины саблю из ножен.

Сикх мгновенно выхватил из-за пояса большой кинжал. Мгновенно же вокруг них образовалось пустое пространство. Иван понял, что переборщил, бросил саблю в ножи, повернулся и пошел прочь.

— Черти нерусские, — пробормотал он в усы, выходя на улицу.

Иван долго не замечал, что за ним идет полный, хорошо одетый молодой человек и смотрит то на Иванову саблю, то заглядывает через плечо в лицо, в самые глаза. Иван повернулся и зло посмотрел в ответ. Молодой человек поприветствовал его и сказал дрожащим от волнения голосом:

— У меня дома есть билет до Бомбея.

Иван сидел на краю кресла в большой красивой гостиной и с почтением разглядывал развешанные по стенам фотографии знатных господ в дорогих рамках. Взгляд его задержался на самом большом, центральном

портрете. Иван поднялся и подошел ближе. Удивленно и пристально он вглядывался в полное и властное лицо мужчины в халате, чалме-тюрбане, с саблей на боку. Иван узнал его. Это был Ахмад Саид-хан, которого он убил почти двадцать лет назад тремя ударами куттара в живот.

Иван был так удивлен, что не слышал, как молодой человек подошел сзади, и сильно вздрогнул, когда тот тронул его за плечо. Молодой человек улыбался, но в глазах его стояли слезы. Коротко и резко двинув вниз рукой, он воткнул куттар в живот Ивана. Новик глубоко вздохнул и, задержав дыхание, не двигался, улыбаясь и глядя виновато.

Молодой человек вытащил кинжал. Иван облегченно выдохнул, и кровь густо окрасила его живот и ноги.

— Я хотел... — сказал Иван по-русски, но молодой человек воткнул кинжал во второй раз.

После третьего удара Иван упал.

Молодой человек стоял на коленях перед портретом отца и, захлебываясь слезами, обращался к нему:

— Отец, дело моей жизни исполнилось! Я убил его, отец, убил, посмотри, вот он лежит у твоих ног!

Молодой человек оглянулся и не обнаружил Новика. Кровавая дорожка тянулась к двери. Молодой человек кинулся туда и увидел Ивана. Тот полз на четвереньках к выходу, и черная кровь хлестала из его живота, как из дырявого ведра.

Молодой человек толкал перед собой тележку. В ней лежало что-то, укрытое циновкой, сквозь которую просачивалась кровь. Здесь был Мертвый город — полуразрушенные пустынные остатки древнего города.

Молодой человек остановился у одной из невысоких стен, вывалил тяжкую ношу на землю, а сам стал собирать камни, чтобы забросать ими убитого. Молодой человек старался не смотреть на окровавленный труп, но что-то заставило его сделать это.

Иван смотрел на него и нахально подмигивал.

Молодой человек закричал в истерике, выхватил нож, подскочил и выковырнул один глаз, потом другой и бросил их в пыль в разные стороны, отсек уши и воткнул нож в шею, чтобы отрезать голову, но вдруг услышал детский голосок, чистый и безмятежный. Это была девочка-индианка, тоненькая и очень смуглая. Напевая детскую песенку, она не испугалась и даже, кажется, не удивилась. Глядя на молодого человека доверчиво и спокойно, она попросила:

— Не убивай его. Он мой муж.

Она выкопала в земле ямку, приподняв намотанный вокруг узеньких бедер шелк, помочилась в нее и стала месить руками красную землю, как месят хозяйки тесто, продолжая напевать.

Подобрав с земли Ивановы уши, она стала пристраивать их к голове, но перепутала и смущенно засмеялась. Исправив ошибку, она прикрепила уши, приклеив их липкой грязью на свое место. Откинувшись назад, любовалась своей работой, подобрала один лежащий рядом Иванов глаз и встревоженно посмотрела по сторонам в поисках другого. Сумерки опускались на Мертвый город...

Камбейский залив.

1961 год.

По голубым счастливым водам Камбейского залива летела лодка под большим треугольным парусом. На носу лодки сидел неподвижно и смотрел вперед большой черный пес. На корме стоял на одном колене старый, худой, высушенный солнцем и просоленный морем индеец. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка да еще повязка, сделанная из полос-

ки змеиной кожи, прикрывающая пустую левую глазницу, если можно, конечно, назвать это одеждой. Рядом с лодкой, привязанная шелковым шнуром за хвост, плыла рыба-прилипала.

Оглянувшись назад, индеец увидел поднывающую к поверхности воды, чтобы глотнуть воздуха, морскую черепаху и, торопливо разворачивая лодку, ругнул себя по-русски:

— Падла кривая!

Почуввав опасность, черепаха пошла вглубь, но рыба-охотница заметила ее и метнулась следом. Иван еле успевал стравливать шнурок в воду. Единственный глаз его возбужденно горел.

— Марш-марш, Аида, марш-марш! — отдавал он рыбе старую кавалерийскую команду.

Пес возбужденно скулил. Иван ждал. Шнур в его руке наконец натянулся.

— Живем, Ильич! — крикнул он собаке и стал плавно вытягивать добычу наверх.

Когда черепаха лениво шевелила плавниками у борта лодки, Иван тихо опустился в воду, осторожно отлепил прилипалу от панциря и, держась одной рукой за борт, другой перебросил добычу в лодку. Пес скакал вокруг черепахи и беспрерывно лаял.

Иван сидел за столом, с жадностью ел из большой миски рис, обильно политый соусом карри, и слушал заодно радионовости на хинди, слабо доносившиеся из старого детекторного приемника. Шестеро разновозрастных ребятишек устроили на земляном полу шумную возню. Дом внутри был мал и скромн, но чист и уютен.

Иван вдруг замер с полным ртом, вытянул шею, оттопырил ладонью ухо, вслушиваясь. Из динамика доносилась русская речь:

— Наша совместная археологическая экспедиция Академии наук СССР и Московского государственного университета прибыла в дружественную Индию по просьбе индийского правительства...

В этом месте дети зашумели так, что не стало слышно голоса членка-ра Ямина, и Иван грохнул кулаком по столу. Наступила мгновенная тишина. Но русской речи уже не было, шел перевод на хинди.

Дверь дома открылась, и на пороге возникла худая, маленькая женщина-индианка с ведром в руке. Встревоженно она смотрела на мужа.

Дети спали. Иван лежал на спине с открытым глазом. Жена пристроилась у него на плече.

— Я хочу поехать в Мертвый город, — сказал он как о решенном, но ожидая ее реакции.

Она молчала.

— Ты меня слышишь? — спросил он.

— Мертвый город — плохое место. Там живут айсуры.

— Зато, говорят, там в заливе много черепах. Нам что, не нужны деньги?

Жена молчала.

— А заодно поищу там мой второй глаз! — громко и угрожающе добавил Иван.

Она посмотрела на него виновато и погладила по щеке.

— Тише, детей разбудишь.

Мертвый город.

23 октября 1961 года.

Пятясь, Иван вытащил лодку на берег, с трудом вывалил на песок черепаху и, переводя дух и держась за поясицу, посмотрел по сторонам. Вдалеке шли по берегу двое белых мужчин и о чем-то спорили, а может, даже ссорились, но голосов их слышно не было. Один вытащил из карма-

на что-то и показал второму, а тот вдруг выхватил показанное и, размахнувшись, швырнул далеко в воду. Иван проводил взглядом блеснувший в вечернем солнце предмет и, когда тот исчез в воде, вздохнул, напрягся, ухватил черепаху за плавники и поволок ее, лежащую панцирем на песке, к скалам. Рядом скакал, пытаясь помочь, пес.

От большого, с высокими языками пламени и весело разлетающимися искрами костра, вокруг которого плотно, плечо к плечу сидели люди, сюда, в развалины Мертвого города, доносилась песня, которая, похоже, Ивану очень нравилась. Вытянув располосованную шрамом шею, выставив одно ухо, оттопыренное больше, чем другое, боясь пропустить что-либо и не зная ни единого слова, он пытался подпевать.

Пели девушки голосами высокими и чистыми:

Не слышны в саду даже шорохи...

— Хи, — успевал подпевать Иван и тут же напрягался, боясь опоздать к следующей фразе.

Все здесь замерло до утра.

— Ра...

Если б знали вы...

— Ливы...

...как мне дороги

— Роги...

Подмосковные вечера.

— Вечера...

К костру подошел какой-то человек, что-то сказал, и песня оборвалась. Иван нахмурился.

— Подмосковные вечера, — прошептал он, чтобы запомнить.

— Му-ром-цев! — закричали у костра хором.

Прямо на Ивана шел Шурка Муромцев, белообрый, в очках, клетчатой ковбойке и брюках «техасах». Он так был занят своими мыслями, что ничего не слышал и ничего не видел. Чуть не наступив на ногу Ивана, Шурка не заметил его.

— Му! Ром! Цев!

— Господи, как вы мне надоели, — проворчал Шурка и скрылся в темноте.

Иван поднялся, растерянно поглядел ему вслед, но был вновь вынужден спрятаться за невысокой каменной кладкой, потому что прямо на него шла девушка, светловолосая, в светлом платье.

— Шурка! Ну что за шутки? Не прячься, бессовестный! Олег Януариевич очень сердится, — укоряюще говорила она, неминуемо приближаясь к Ивану.

Она могла наступить на Ивана и страшно испугаться, поэтому он торопливо поднялся, хотел что-то сказать, но, забыв вдруг русские слова, ткнул себя пальцем в костлявую грудь и помотал отрицательно головой, а потом показал пальцем туда, куда ушел Шурка, и утвердительно кивнул. Потом он попытался улыбнуться, а вот этого, вероятно, нельзя было делать. Онемевшая и окаменевшая Эра вдруг обхватила голову руками и завизжала так, что у костра все повскакали.

Иван кинулся бежать.

Сидя на каменном, укрытом сухими водорослями ложе, Иван осторожно развернул скомканный газетный лист и бережно разгладил его на ка-

менной столешнице. Раздул ноздри, наклонился, понюхал и проговорил со спокойным, даже важным удовлетворением:

— Колбаса.

Это была первая страница «Комсомольской правды».

— «Ле-нин жил, Ле-нин жив, Ле-нин бу-дет жить!» — по слогам прочитал Иван заголовок-шапку и стал внимательно рассматривать большую фотографию Мавзолея. — «Ле-нин», — прочитал Иван, усмехнулся, мотнул головой, взял со стола огрызок химического карандаша, послюнил его и исправил надпись, диктуя себе: — «Шиш-кин».

Потом вырезал ножом фотографию и, любуясь на свою работу, стал шарить свободной рукой в изголовье лежанки. Но того, что искал, там не было. Иван замер, перевернул все водоросли и выскочил из пещеры.

Пес лежал рядом, охраняя трех перевернутых на спину, лениво шевелящихся плавниками черепах. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на хозяина.

— Ильич, без меня сюда кто приходил? — испуганно спросил Иван. — В пещеру кто приходил, я спрашиваю?

Пес опустил глаза и прижал уши.

— Ах ты сволочь! — закричал Иван. — Ты знаешь, что там Григория Наумыча дневник был? Там же всё! Ты понимаешь, что теперь будет?! — И в ярости Иван схватил одной рукой палку, другой за холку пса и стал охаживать его, визжащего, по хребтине и по бокам.

*Штат Сахьядри. Город Колханур.
20 марта 1979 года.*

На большой людной площади старый седой индеец кормил слона сдобными лепешками. Он купил их целую корзину и теперь всовывал по одной в улыбающуюся разверстую пасть.

Вокруг собралось много праздного люда, они смеялись и, указывая на старика, крутили пальцем у виска. Но тот не обращал на них внимания, он счастливо улыбался, открыв рот с торчащим впереди единственным зубом, и заговорщицки-негромко говорил слону по-русски:

— Ешь, ешь, товарищ Ленин, кушай... Скоро наши придут!

*Город Вадодар.
29 декабря 1979 года.*

Внутри закрытого мусульманского дворика под старой шелковицей сидели на корточках вокруг стереошарпа четверо курносых светловолосых парней в мусульманских одеждах и слушали, отдыхая и наслаждаясь, сладкую и тягучую восточную музыку.

Иван торопливо приветствовал их на ходу и побежал мелкой стариковской трусцой в дом. Они проводили его удивленным взглядом.

Колобок сидел посреди комнаты на подвернутых ногах, держа на коленях раскрытый Коран. Он не так постарел, как Иван, но растолстел и заматерел, глаза его сузились и потемнели.

— Ты слышал, наши в Афганистане? — закричал Иван с порога.

Колобок закрыл Коран, пробормотал что-то и поднял на Ивана неподвижное бесстрастное лицо.

— Слышал? — Новик аж притоптывал на месте от нетерпеливого восторга. — Кундуз взяли! Кабул взяли! Амина ихнего к ногтю! На Джелалабад идут, слышал?! А Джелалабад — он же с Пакистаном на самой границе! Уж мы-то знаем, что такое Пакистан, — та же Индия. Слышь, Колобок, наши скоро придут!

Иван все ждал реакции Колобка, но реакции как раз и не было. Оставался неподвижен и бесстрастен.

— Не зря, не зря мы кровь свою здесь проливали!.. Да ты чего, Колобок, не рад? — спросил Иван растерянно

Бывший соратник проговорил что-то хрипло и неразборчиво.

— Чего? — не понял Иван.

— Бисми-ллахи р-рахмаин р-рахим...

Новик не понимал.

— Аллах покарает неверных! — густо наливаясь кровью, страшно закричал Колобок. — Шайтан!

Били Ивана четверо колобковских сынов по-русски размашисто и просто — сначала свалили кулаками, потом ногами катили его по пыльной дороге перед собой, как легкое от старости, трухлявое бревно, пока не упал Новик в грязный гнилостный арык. Он лежал там на спине, смотрел в небо и улыбался...

*Город Чаман (Пакистано-Афганская граница).
1 января 1980 года.*

Иван стоял неподвижно, не моргая единственным, слезящимся от напряжения глазом. Он был в полусотне метров от контрольно-пропускного пункта, где за шлагбаумом стояли советские боевые машины пехоты и штабные «уазики».

На передней БМП сидел паренек-водитель в пыльном, промасленном комбинезоне и сдвинутом на затылок шлеме и, внимательно и заботливо наблюдая, кормил с ладони хлебным мякишем обезьянку.

Иван смотрел на него так пристально, что паренек почувствовал его взгляд, поднял голову, улыбнулся древнему одноглазому индийцу, подмигнул и вновь занялся обезьянкой.

Помахивая бамбуковой палкой, к Ивану направился пакистанский полицейский. Иван заметил его, повернулся и пошел прочь.

Иван Васильевич прожил в Пакистане несколько месяцев, но, поняв, что наши дальше не пойдут, вернулся в Индию. В город Колханур в штате Сахьядри, где жил и развлекал детей его любимый слон, Иван Васильевич больше не приехал. Жена и дети искали его, но не нашли. Он же искал бывших соратников по Первому особому, но никого не нашел. В конце концов Иван Васильевич осел на городской свалке в Бенаресе и стал ждать смерти, но она все не шла и не шла.

*Город Бенарес (Варанаси).
24 января 1995 года.*

В белом высоко над обширной пустынной свалкой парили грифы-стервятники. На краю свалки, ближе к Гангу, была сооружена крохотная лачужка из жести и ящиков. Вокруг нее неподвижно сидели на корточках худые, оборванные нищие.

На маленьком колченогом, замусоренном табаком и пеплом столе стояла кружка с водой, лежали нож, раскрытый кисет, трубка гергери, спички. Кроме самодельного топчана, почти все свободное пространство в лачужке занимали стоящий на попа гроб, грубо сбитый из неструганных досок, и сооруженный из кусков жести конусообразный обелиск с красной звездой на вершущке.

На топчане лежал, сложив на груди руки, Иван. Он был в полотняной рубахе и штанах, довольно чистых для свалки. Длинные седые волосы и борода свисали с топчана. Единственный глаз его был закрыт.

— Четыре путешественника... Четыре стены... Ни окон, ни дверей... Кто... — хрипло бормотал Иван.

Он заворочался и, кряхтя, медленно, осторожно поднялся и сел. Взял со стола ножик и попробовал воткнуть его себе в живот, но ничего не получилось: то ли руки так ослабели, то ли кожа на животе так задубела. Тогда он попробовал резать на запястьях вены, но не смог добраться до

крови. Иван скривился, готовый даже заплакать, но слез не было, и он закричал глухо и хрипло:

— Ну где ты, старая карга?! Мне сулили сто один, а уже небось сто семь! Почему не идешь? Забыла?! Так я напомню, я тебе ребра пересчитаю, как придешь, падла костлявая! У, ять твою мать!

Он поднял бесполезный нож, чтобы швырнуть его, но замер. Прикрывающая низкий вход циновка вдруг качнулась, и, согнувшись, в лачугу почти вползла старуха в темно-красном платье с венком из давно увядших лотосов на голове.

— Пришла? — спросил Новик неожиданно высоким, испуганным голосом, положил торопливо нож на стол, схватил трубку, дрожащими руками стал набивать ее табаком. — Чего так сразу-то... Покурить-то дай... — забормотал он.

— Говори по-нашему, великий господин, — попросила старуха и подняла голову. Лицо ее было закрыто черной кисеей.

— А, это ты, старая, — перейдя на хинди, прохрипел Иван не без некоторого облегчения и положил трубку на стол.

— А ты ждал молодую? — спросила Кангалимм, усаживаясь рядом.

— Я ждал смерть, — важно ответил Иван.

— А эти люди, которые сидят там, они тоже ее ждут?

— Тоже. Понимаешь, Кангалимм, как только я умру, они положат меня в этот ящик, он называется — гроб. Отнесут туда. Там я выкопал яму, они опустят в нее гроб, это называется — могила. Они закопают меня, а сверху поставят эту штуку, забыл, как она называется. Они будут меня хоронить! Это не то, что у вас, индусов, — в огонь и в воду.

— Они обещали тебе сделать это задаром? — удивленно спросила старуха.

— Здесь лежат деньги. — Иван похлопал ладонью по плоской подушке. — Они возьмут их потом.

Старуха покивала, ничего не говоря.

— Только я никак не умираю, — пожаловался Иван. — Послушай, Кангалимм, ты же колдунья, сделай чудо, сделай так, чтобы я умер.

— Я уже ничего не умею, великий господин, — грустно ответила она. — Когда у меня болит голова, я пью американский аспирин.

— Почему?

— Потому что после вас в Индии больше нет чудес.

— Тогда, может, ты ответишь мне на один вопрос? Я тут лежу, и он почему-то не дает мне покоя. Нам с Брускиным один ваш махатма рассказывал, но недорассказал, не успел... И вот засело как заноза, лежу и думаю, лежу и думаю... Слушай! Четыре путешественника наткнулись в джунглях на высокую стену. Она была с четырех сторон очень высокая, и не было ни дверей, ни окон...

Колдунья слушала.

— Один из них полез наверх и, представляешь, залез! Посмотрел, что внутри, обрадовался, закричал и прыгнул туда. Потом второй, потом третий, потом четвертый. И все сделали то же самое. Ты меня слышишь, Кангалимм?

Колдунья кивнула.

— Что там было, внутри?

— Атман, — ответила старуха.

— Что? — не понял Иван.

— Бхагаван.

— Не понимаю.

— Ну, тогда Аллах. Это ты понимаешь, великий господин.

Иван понял.

— Бог, — сказал он по-русски.

— Бог, — повторила Кангалимм.

— Бо-ог... — Иван понимающе кивал. — И никакой не Аллах и не Атман ваш! Бог, наш Бог Отче наш... И не за стенами он в джунглях, пони-

маешь, что говоришь, а на небе, еси на небесех, я помню, я все помню! Не веришь, Наталья? Не веришь? Ну, слушай! «Отче наш... Отче наш, иже еси на небесех...» Что это значит? — обратился он к Кангалимм по-русски. — Это значит, что на небе Он... «Да святится имя Твое...» Бисми-ллахи р-рахмани р-рахим, тьфу ты, это не оттуда, Колобок проклятый! Как там дальше-то, Натальюшка?.. «Да будет царствие Твое...» С царем я целовался, было, со Сталиным выпивал, тоже было... С Лениным... Эх, Владимир Ильич, Владимир Ильич... «Да будет воля Твоя, яко на небесех и на земли...» И на земли! — воскликнул Иван требовательно и стукнул четырехпалой своей ладонью по столу.

— Я не понимаю тебя, великий господин, говори по-нашему, — встревоженно попросила Кангалимм.

— Нельзя по-вашему! Потому что это наша молитва! — Иван задумался. — Как там дальше-то? Сбила, ведьма... «Хлеб наш насущный!» — обрадованно воскликнул он. — Хле-еб... Хлебушко... Знаешь, что это? Роти!

— Роти? — спросила притихшая Кангалимм.

— Да, роти, только у нас он такой... Один запах чего стоит! Хоть бы корочку сейчас пососать, хоть бы понюхать. — Он сладко почмокал губами, раздув ноздри, втянул воздух и нахмурился. — Чем это пахнет? — спросил он себя. — Ладаном, что ль?.. Откуда здесь ладан-то? «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Ну я-то никому не должен, я подписку давал — я никому, ну а мне — ладно... Оставляю, оставляю, всем прощаю, всем, одной англичанке не прощаю. Не тебе, Аида, а вообще. А ты чего, Наталья, сразу-то? Как там дальше: «И не введи нас во искушение». А ты чего? «Но избави нас от лукавого». Поняла теперь, Наталья? Это ты, что ль? Ты поешь, Наталья... — Иван вытянул шею, завертел головой. — Да не, мужики вроде. Ну пойте, пойте, только потише. — Иван махнул рукой. — А дальше-то что там? А дальше — все... — Иван съежился, замер. — Перекреститься надо дальше... Да тише вы! А как креститься мне, не понимаю.левой рукой нельзя, а на правой у меня — четыре пальца. Видишь, Кангалимм, — протянул он ей правую ладонь, — помоги... А то не гнущся...

Кангалимм поняла, хотя говорил он это по-русски, и с трудом свела три его пальца воедино.

— Вот и аминь, — облегченно сказал Иван, ткнул себя перстами в лоб, грудь, в правое плечо, и едва успел коснуться плеча левого, как рука его ослабла и опустилась. Иван замер, удивленно глядя перед собой широко раскрытым глазом, будто увидел Того, Кого увидеть никак не ожидал, откинулся назад и костяно стукнулся о жель стены.

Кангалимм нащупала ладонью его лицо и опустила веко на остеклевший глаз.

24 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА В ВОЗРАСТЕ СТА ОДНОГО ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОГО ПОХОДА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ НОВИКОВ. ДА БУДЕТ НАША ПАМЯТЬ О НЕМ — ВЕЧНОЙ.

Снаружи раздался шум. Крича и толкаясь, в лачугу ворвались нищие, схватили с топчана подушку и, вырывая ее друг у друга, выкатились на улицу.

Вновь стало тихо. Кангалимм гладила ладонью успокоенное лицо Ивана.

— Прости, великий господин, но ты жил как индус и уйдешь как индус, — тихо сказала она.

Там, где кончалась свалка и начинался Ганг, медленно, как улитка, старуха тащила к воде свою мертвую ношу...

По мутной воде Ганга плыл в какую-то свою новую жизнь Иван Васильевич Новиков. Он лежал на воде то лицом вниз, то переворачивался на спину, то вдруг начинал крутиться — это черные жирные черепахи подталкивали его к новой жизни...

Не чаще одного раза в год в первой половине мая в Гималаи приходит с востока мощный поток теплого воздуха, ненадолго освобождая от снега самый крутой путь к вершине Нандадеви, по которому никогда не ходят альпинисты. И утром в лучах красного восходящего солнца можно увидеть героев Великого похода... Под толстым слоем прозрачного льда, увеличенные гигантской природной линзой, они — великие и счастливые: мужественный Артем Шведов, восторженный китаец Сунь с выброшенной вперед рукой и те, чьи имена остались для нас неизвестны. Они застыли в движении, стремясь к желанной сияющей вершине. И все они радостно улыбаются. Впрочем, возможно, это обычная улыбка слепцов, так как веки у всех — смежены.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ НАШ РАССКАЗ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИИ И ЕГО ГЕРОЯХ. НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ, МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ. НАСТОЯЩЕЕ ГОСУДАРСТВО ТО, КОТОРОЕ УМЕЕТ ХРАНИТЬ СВОИ ТАЙНЫ. МЫ ЖИЛИ В НАСТОЯЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ. ТАЙНА ВЕЛИКОГО ПОХОДА, ВОЗМОЖНО, И НЕ БЫЛА БЫ ТАКОЙ ТАЙНОЙ, ЕСЛИ БЫ ОНА НЕ ТЯНУЛА ЗА СОБОЙ ТАЙНУ ЛЕНИНА-ШИШКИНА. ОЧЕВИДНО, ЧТО, ЕСЛИ БЫ ЭТА ТАЙНА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ТАЙНОЙ, СУЩЕСТВОВАНИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНОВИЛОСЬ БЫ НЕВОЗМОЖНЫМ. ЗНАНИЕ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ ПЕРЕДАВАЛОСЬ ПЕРВЫМИ ЛЮДЬМИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВМЕСТЕ С КЛЮЧАМИ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ. ПРАВДА, В КОНЦЕ ЖИЗНИ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА ЕЕ УЗНАЛ ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ БЕРИЯ, И НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ ПРОСТО БЫЛ ОБЯЗАН УБРАТЬ ВТОРОГО. ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ ХРАНИЛ ТАЙНУ БЕРЕЖНО И СВЯТО, РАВНО КАК, ХОТЯ И НЕДОЛГО, ЕЕ ОБЕРЕГАЛ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ. КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕНКО НЕ УСПЕЛ ЕЕ УЗНАТЬ, ТОЧНЕЕ УСПЕЛ, НО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.

ПОСЛЕДНИМ ХРАНИТЕЛЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ. КОГДА НА СВОЕЙ ЗАМЕНИТОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ БРОСИЛ В ЗАЛ: «ВЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕТЕ ВСЕЙ ПРАВДЫ», ОН ИМЕЛ В ВИДУ ТАЙНУ ВЕЛИКОГО ПОХОДА.

ЧТО КАСАЕТСЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ТАЙНЫ, ТО ЕЕ ЗНАЮТ И ПРОДОЛЖАЮТ ЗНАТЬ В ДВУХ СТРАНАХ: В ИНДИИ И АНГЛИИ. НЕ СЛУЧАЙНО ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВИЗИТ ХРУЩЕВА БЫЛ ИМЕННО В ИНДИЮ. ЗНАНИЕ ТАЙНЫ БЫЛО ТЕМ КЛЮЧОМ, КОТОРЫМ ИНДИЙЦЫ ОТКРЫВАЛИ СЕРДЦА СОВЕТСКИХ ЛИДЕРОВ. ИНДИЯ ПЕРЕДАВАЛА НАМ ПО ЧАСТЯМ ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕЛИКИМ ПОХОДОМ, ПОЛУЧАЯ ВЗАМЕН МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ КРЕДИТЫ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ, НОВЕЙШЕЕ ВООРУЖЕНИЕ. ВПРОЧЕМ, ИНДИЯ ЗНАЛА ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПРАВДЫ, НО ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМЫЙ СТРАХ ТОГО, ЧТО, ЗНАЯ ЧАСТЬ, ОНИ УЗНАЮТ ВСЁ, ЗАСТАВИЛ НАС СТРОИТЬ С ИНДИЕЙ «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ».

ВСЮ ПРАВДУ ЗНАЛА АНГЛИЯ. НА ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛИН ПОТРЕБОВАЛ У ЧЕРЧИЛЛЯ ОТДАТЬ НАМ ВСЕ ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТАЙНЕ ДОКУМЕНТЫ. ЧЕРЧИЛЛЬ ОТКАЗАЛ. ТОГДА СТАЛИН ПООБЕЩАЛ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН ДОКУМЕНТ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ УВИДИТ СВЕТ. КСТАТИ, ПОДЛИННАЯ ПРИЧИНА ТАК

НАЗЫВАЕМОГО КАРИБСКОГО КРИЗИСА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО АНГЛИЧАНЕ, РЕШИВ ПРОВЕРИТЬ, ТАК ЛИ ЭТО, ПОДКИНУЛИ НАМ ДЕЗИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО АМЕРИКАНЦЫ ЯКОБЫ ЗАВЛАДЕЛИ ЭТИМИ ДОКУМЕНТАМИ. ТОГДА АНГЛИЧАНЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО МЫ НЕ ШУТИМ...

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ РЕШИЛ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО СПАСТИ ТАЙНУ, НО ПРИ ЭТОМ ОТВЕСТИ ОТ МИРА ДАМОКЛОВ МЕЧ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. ОН КУПИЛ У ТЭТЧЕР ВСЕ ДОКУМЕНТЫ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ, КАКИМИ РАСПОЛАГАЛА АНГЛИЯ, ЗАПЛАТИВ ЗА НИХ ПЕРЕСТРОЙКОЙ.

Эпиллог

Россия. Белые Столбы.

В тот же день... (24 января 1995 года)

Пациенты первого хронического отделения сидели в уютном холле в креслах и на стульях и досматривали программу «Вести». Они совсем не были похожи на психов, но и на нормальных, так сказать, сегодняшних людей с улицы они тоже мало походили. Были они спокойнее, добрее, чище. И среди них — Шурка Муромцев. Точнее — Александр Викторович Муромцев, сухонький старичок с редкими седыми волосенками и бледной пергаментной кожей лица от постоянного пребывания в закрытом помещении. Но глаза его под толстыми стеклами очков прежние — искренние и пытливые.

«Вести» подходили к концу. Сдержанно-страстный телерепортер говорил о годовщине смерти Ленина. На экране появились фотографии вождя. Муромцев напрягся, подался вперед, вперился в экран.

— Последние фотографии Ленина... — звучал за кадром голос журналиста. — Как известно, они хранились в партийном архиве за семью печатями. Вглядываясь в безумные глаза этого полурбенка-полустарца, сегодня в день его смерти мы спрашиваем: кто ты? почему ты? зачем ты?

— Это Шишкин! — воскликнул вдруг Муромцев.

Соседи слева и справа обратили к нему удивленные и вопрошающие взоры.

— Это же Шишкин! — объяснил им Муромцев. — Он в Мавзолее лежит.

— Шишкин, — согласились одни.

— Шишкин! — воскликнули другие.

— Шишкин! Шишкин! Шишкин! — закричали, застонали, завизжали все.

Испуганная молоденькая медсестра вбежала в холл. Здесь уже кто бился головой о стену, кто бил о стену чужой головой, кто-то кинулся к телеэкрану и плевал в лицо телеведущей, кто-то снимал перед медсестрой штаны.

Один Муромцев не участвовал в этом коллективном безобразии.

— Господи, как вы мне все надоели, — тихо и устало прошептал он.

— Павел Петрович! — закричала медсестра в панике.

В полуночной ординаторской умиротворяюще тикали большие настенные часы. Павел Петрович, дежурный врач, отхлебывая чай из стакана в подстаканнике, делал короткие записи в историях болезней и краем глаза поглядывал в телевизор, где шли ночные новости Би-би-си с переводом. Павел Петрович взял из стопки толстую историю болезни, на которой было написано крупно «Муромцев Александр Викторович», раскрыл ее на чистой странице, вздохнул, потер лоб, подумал, снял телефонную трубку и не торопясь набрал номер.

— Верунчик, — заговорил он голосом, каким мужья разговаривают с женами, когда делать нечего и не с кем, а поговорить хочется, — ребят

уложила?.. Телевизор смотришь?.. Я тоже. Устал что-то сегодня. Да тут у нас один сегодня такое устроил... Муромцев, помнишь, я тебе о нем рассказывал? Случай редкий, но от этого не легче... Да нет, все живы. Погоди, тут интересно...

Внимание Павла Петровича переключилось на экран. Английский журналист говорил быстро, и наш переводчик с трудом поспевал за ним:

— Наша вдоль и поперек исхоженная маленькая планета все еще умудряется преподносить нам сюрпризы. Американская этнографическая экспедиция под руководством профессора Джима Смита обнаружила в Индии, в Южных Гималаях, мифическое племя хетти, живущее в каменном веке.

На экране появился профессор Джим Смит, белобрысый очкарик, похожий на Муромцева в молодости.

— В их жизни практически все для нас представляет загадку. Например, фольклор. Вот один из их ритуальных танцев...

Профессора сменили дикари. В большой пещере, в свете костров, на фоне стены, расписанной сценами охоты, положив друг другу руки на плечи, они танцевали и гортанно пели песню, очень похожую на «Хава нагелу»...

— Смотришь, Верунчик? — спросил Павел Петрович. — Чего только не бывает... Ну ладно, спи...

Павел Петрович устало вздохнул и положил трубку.

Три степени защиты предохраняли Шурку Муромцева от опасностей и неправды этого мира, не считая крепких больничных стен, решеток на окнах и особого юридического статуса.

Первая степень — высокая железная кровать с толстыми ремнями из мягкой кожи, полностью исключаящими внезапное падение и, соответственно, ушибы.

Вторая степень — длинная, до пят, полотняная рубаха с длинными же боярскими рукавами, связанными впереди крепчайшим узлом; в этой одежде Шурка напоминал ребенка-грудничка, первенца молодой заботливой мамы, которая глаз с дитяти не спускает и пеленает крепко-крепко, чтобы были у маленького, когда вырастет, прямые ножки и стройный стан.

И третья степень защиты, наконец, это лекарственные препараты, следы от их применения остались на рукаве рубахи — маленькие пятнышки засохшей крови с крохотными дырочками посреди.

Шурка спал. Его дыхание было ровным и глубоким, а на лице блуждала едва заметная безмятежная улыбка. Шурка был счастлив.



**Читайте в следующем номере
роман Анатолия Кима
«Онлирия»**

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН

*

В ФОРМЕ ЯБЛОКА

Женщина, смотрящая вверх

Когда женщина смотрит, подняв лицо,
на мужчину, который рядом,
в ее лице отражается белое ровное небо,
и она кажется любящей,
даже если не любит.

* *
*

По вторникам в семь часов вечера.
Из переулка возле Никитских ворот уходит автобус в Афины.
Двухпалубная галера с дымчатым верхом стеклянным, туалетом
и душем.
Испорченным, впрочем.
Собственность маленькой фирмы, чья контора ютится в обувной
мастерской за перегородкой.
А другая в одной из афинских кофеен.

Греки толкуются перед дорогой.
Гекзаметры свои порастеряв, насовсем уезжают.
От крымской кефали, солоноватой узбекской лозы, тбилисских
лепешек.
Медея, в белом хитоне, в наушниках с музыкой и с резинкой во рту,
тянет за руку мальчишку.
Толстые черные старухи, привезенные девочками на триремах
Ясона, переводят русоволосым невесткам.
Зеленые доллары завязаны в носовые платки и упрятаны в юбках
глубоко.
Провинциальный бухгалтер Зенон в полосатых штанах сам с собой
рассуждает об автобусе и черепахе.
Ахилл, на голову выше других, с героическим подбородком
и скошенным лбом, разузнает о таможене.
Чернофигурный флейтист с консерваторским дипломом прижимает
к груди инструмент в новом футляре с никелированными
замочками.

Автобус, греки, их скарб узкую улицу заполонили.
Чемоданы, коробки грузят в розовый трюм.
Расталкивая толпу, пробирается благородный автомобиль
с флажком на капоте.
На заднем сиденье посол с вечным пером золотым, занесенным
над большим черно-белым кроссвордом в журнале.

«В пятницу будем в Афинах».
 «Не ставь туда сумку».
 «Мама, я мячик забыл».
 Легкий шар полосатый катит ветер где-то там по кобулетскому
 берегу вдоль складчатой синевы.
 Кошка пойманной мышью хрустит под опустевшим столом.
 Обнимаются,
 Входят на борт.
 Греческий, русский, грузинский.
 «Возьми ее на руки».
 Юный плечистый Харон, похожий на футболиста, занял место свое
 за рулем.
 Стюардесса идет между кресел и раздает, улыбаясь, стопку ярких
 буклетов, как билеты в рай.
 С тротуара машут руками.
 Поворотив полосатой кормой, ковчег грузно вырывает из переуллка.

 Пенелопа уходит последней.
 Раньше встречала она корабли, теперь провожает.
 Каждый вторник приходит к отплытию.
 Присев на чугунной цепи, наблюдая погрузку.
 Молча курит.
 С бледным лицом в завитках эгейских волос.
 Со светлой ущербинкой лака, облупившегося на мизинце.

Песни на черепках

1

Кто пасет стада твои?
 Кто срывает плоды твои?
 Кто охраняет дом твой?
 Кто в тепле у очага твоего?
 Кто вкушает из рук твоих?
 Кто пьет из горстей твоих?
 Кто мнет груди твои?
 Кто гладит волосы твои?
 Кто целует глаза твои?
 Кто трогает бедра твои?
 Кто слышит сладкий крик твой?
 Кто осязает сладкую дрожь твою?
 Кто оглядывается на тебя утром уходя?
 Кого встречаешь ты на пороге дома на закате?

2

Кому сильные руки твои?
 Кому широкие плечи твои?
 Кому мудрый лоб твой?
 Кому пристальный взгляд твой?
 Кому беречь очаг твой?
 Кому принимать плоды трудов твоих?

Кому печь хлеб твой?
 Кому готовить пищу твою?
 Кому наливать вино твое?

Кому смотреть на тебя?

Кому ласки твои?
 Кому объятья рук твоих?
 Кому прикосновения ног твоих?
 Кому тонуть в губах твоих?

Кому тяжесть тела твоего?
 Кому удары тела твоего?
 Кому пот тела твоего?

Кому легкий сон твой?
 Кому твой тяжелый сон?

Кому умножать род твой?

Кому взгляд твой утром, когда ты оборачиваешься уходя?
 Кто встречает тебя на пороге на закате?

Из первых рук

разве
 это не швейные машинки настрочили весну?

земля вновь обрела форму яблока
 все небо изъезжено белыми самолетными следами
 и молодняк
 уже выводит из узких и ржавых сараев
 свои сверкающие мотоциклы

Урок лингвистики

Старый профессор,
 знаток пятидесяти двух языков,
 сказал мне за чашкой кофе
 (а я был молод):
 «Вам не надо так много
 и долго
 учить.
 Есть три слова,
 я их напишу».

И он написал мне
 простой ручкой,
 какой пользовался неизменно,
 на пятидесяти двух языках

«здравствуй»,
 «люблю»,
 «навсегда».



МАРК КОСТРОВ

*

ДУЛЬНЫЕ ТОРМОЗА

Рассказы об НСА — Независимой северной армии

Жизнь сегодня сложная, но сложная она была во все времена, так что не стоит очень уж сокрушаться по ушедшим в прошлое дням. О них я и хочу рассказать читателю — о том, как одна армейская группировка (мы себя называли НСА), сразу после войны посланная на крайний северо-восток нашей родины, чтобы противостоять американским войскам на Аляске, и отрезанная от центра девять месяцев в году льдами и метелями, жила, выживала и оставалась боеспособной.

Ну а «Дульные тормоза» почему — об этом в главе о смерти Сталина. Вся страна, чтоб дать холостые залпы по такому случаю, эти тормоза с пушек по техническим причинам свинчивала, а мы вот — нет, так как указаниями сверху пренебрегали, потому что были Независимой северной армией.

1. КАК Я НА ЧУКОТКУ ПОПАЛ

После окончания железнодорожного техникума и года работы в паровозном депо ТЧ-7 в Ленинграде я был призван в армию, где поступил в артиллерийское техническое училище. Нас, окончивших техникумы, чтоб сократить трехгодичное обучение до двух, собрали в специальный взвод. Хотя совсем недавно кончилась война, но начиналась новая, холодная, и стране вновь нужны были молодые, розовощекие лейтенанты. Ну а для того чтобы улучшить качество обучения, организовали соцсоревнование. Для этого наш командир Розов, конечно, под покровительством замполитов, решил весь взвод, состоявший из сорока курсантов, разделить на три доски.

На первой поместили двух имеющих в наличии членов партии, на второй — комсомольцев, на третьей — беспартийных. Предполагалось, что первые будут подавать пример успеваемости вторым, вторые третьим, и дело пойдет на лад.

Розов был симпатичный и честолобивый человек, только что получивший звание старлея за прошлый выпуск и мечтавший, как и положено офицеру, годика через два стать капитаном. Увы, с нашим взводом, зараженным какой-то технической крамолой, приключилось нечто иное. На первой доске оказался Лилитин, корифей слесарного дела, инструментальщик пятого разряда, но на политподготовках он упорно называл певца Поля Робсона негропоэтом, за что со временем получил прозвище Негропоэт Ли-Ли Кориф. Вторым на стенд попал Калинин. Николай был старше нас и имел медали за войну, но не кончал техникума; к тому же его назначили старшиной взвода, что требовало много сил и нервов.

Словом, средний балл маяков застыл после первого месяца учебы на двойке, двойке с половиною. У комсомольцев он перешагнул за тройку, и, что опечалило руководство, беспартийные со своей стабильной четверочкой вышли вперед и как бы тянули идейное одеяло на себя. Тогда замполиты и Розов сказали: мы пойдем по другому пути, — и двум членам партии и остальным комсомольцам дано было задание агитировать несознательных в сознательные. Особенно старался корифей и вообще-то преуспел в своих

стараниях, помогая отстающим на занятиях по слесарному делу зашлифовывать металлические болванки под угол и притирать плитки Йогансона. А для усиления агитации замполиты и наш взводный стали периодически вызывать на беседы беспартийный контингент, и к концу первого года в оппозиции осталось только трое парней. Первый — Сашка Бабин, гигант под два метра, по представлению врача получавший двойную порцию каши, очень способный к учебе, но пьяница, так как дружил с медсестричкой нашей санчасти. Вторым неподдающимся был Александр Прокофьев, крестьянский сын, Раззявушка. Он мог посреди самых ответственных занятий, даже на омете (основы марксизма-ленинизма), начать беспрестанно зевать и тут же за партией крепко уснуть. Но что удивительно, он спал как-то по-особенному, казалось, какая-то часть его мозга не только бодрствовала, но и думала, анализировала, решала какие-то задачи, и самые хитроумные преподаватели не могли разоблачить его. Старейший из них, полковник Мосягин, в таких случаях подмигивал нам и начинал нести чушь (к примеру, по поводу ложбинок у штыка «для стека крови»), а потом спрашивал, разбудив Прокофьева, о чем он говорил. Курсант, приоткрыв один глаз, лениво поднимался и сообщал замершему, следящему за поединком классу, что ребра жесткости на клиновом штыке служат для того, чтобы последний не погнулся, входя в органическую ткань англо-американских империалистов. Какие-то защитительные извинения образовались в его крестьянском мозгу за тысячи лет эксплуатации деревни сильными мира сего. Может, начиная от рэкетира князя Игоря и до гайдаровских времен, когда они только и жить начали нормально, по-человечески. Прокофьеву же все опротивело, надоело, все было до лампочки, и он пошел в училище, чтоб не работать за палочки. Александр, как и Калинин, воевал, но имел на одну медаль больше, и от него вскоре тоже отстали.

Третьим несознательным был я. До сих пор не могу понять себя толком: я же жил в соборном государстве, начиная с подсечной коллективной обработки земли и городищ, где отруба не поощрялись, но в последние мгновения что-то щелкало в моей головке, и я поступал как последний индивидуалист. Все во мне восставало, когда добровольно-принудительно меня то посылали в колхоз, то предлагали подписаться на заем или нести на демонстрации портрет очередного вождя. Помню, подростком не мог курить и матюгаться, чтоб соответствовать общей массе. На Чукотке всех новичков крестили стаканом спирта: пей! И лейтенантик тут же валился с ног, а я отказался, и все потом на меня указывали пальцем. Даже совсем недавно, исключая меня из Союза писателей за девять неявок на собрания, Борис Романов, секретарь, укоризненно качая головой, сказал: «Вы, Марк Леонидович, удивительно необдуманно умеете наживать врагов!»

Укоризненно качал головой в те далекие времена и майор Жулёв. Он тоже ко мне благоволил, периодически вызывал к себе по-разному: то ласково — «Маркуша», то средне — «эх ты, рак-отшельник», то совсем сурово (окна его кабинета на Литейном-3, где располагалась ЛАТУ, выходили через улицу на Литейный-4, на Серый дом, до верхних этажей набитый органами, тогда он чуть ли не кричал: «Ты что, хочешь в нижние полуподвалы загреть?!»). Жулёв дружил с подполковником Костровым, преподавателем в училище связи, каким-то моим дальним родственником, но главное, ему очень нравилось, когда я придумал работать у него загонщиком. Он был председателем еще одного союза — охотников, а мы, курсанты, те, кто в этот союз вступил (тут нажима не требовалось), в порядке кандидатской адаптации должны были первоначально выгонять зайцев и лис на основных его членов. И я, чтоб даром времени не терять в бессмысленных криках «о! а!», воображал себе, что осины — будущие мои подчиненные, и отрабатывал на них команды «смирно — равняйся!». Зверье не хотело подчиняться — разбегалось в страхе во все стороны.

Во мне эта способность — совмещение работ — сохранилась до сих пор, будь то чтение книг за обедом, на собраниях, в туалетах или изготовление на «Просто Марии» петелек к мормышкам. Я, чтобы иметь возмож-

ность существовать безгонорарно, в месяц сдаю на 20—30 тысяч рублей их в рыболовные магазины¹. И еще ценил меня майор за то, что я напечатал в «Суворовском натиске», газете ЛЕНВО (Ленинградского военного округа) за 1949 год стихи: «Сегодня строим мы основы коммунизма, но это нелегко дается нам, и если фальшь в твоих словах «вперед-ура-отчизна» — пошел ко всем чертям!»

Но основная причина, по которой Федор Павлович так настойчиво уговаривал меня перебраться в передовики, заключалась в том, что наше ЛАТУ вот-вот должно было превратиться из среднего в высшее и при нем согласно штатному расписанию должна была открыться лаборатория по проектированию новой военной техники. А я только что — после практики в снегах Карелии — предложил сани для пушек, что не вязли в сугробах, и уплотнительные воротники к уравнивающему механизму «восьмидесятипятюк» (в морозы типовая конструкция пропускала воздух). Позже в мастерских сам сделал редукторную лебедку для протаскивания пыжей при чистке канала ствола 152-миллиметровой гаубицы — пробивать банником-жердиной буквально часами деревянный кляп уже не приходилось. Правда, командир дивизиона полковник Гозюра вскоре повелел сдать это приспособление в металлолом, сердито объяснив мне, что у солдата не должно быть свободного времени, а библия его (тогда еще Бога в армии не было) — только один строевой устав: «Приказ командира — закон для подчиненного».

Но в конце концов и Гозюра — он был веселый, незлопамятный человек — перестал относиться ко мне с предубеждением (я в составе нашего отделения как-то отказался пилить и колоть ему дрова). Дело в том, что ему по душе пришлось другая моя придумка — «тренировочная стрельба из стрелкового оружия резиновыми пулями»². Конечно, нам тогда и в голову не приходило, что моим изобретением коварно воспользуются американцы для борьбы с негробеспорядками, как любил на митингах говорить Лилитин.

Словом, майор Жулёв желал мне только добра. Он жил одиноко в коммуналке на Войнова и иногда приглашал нескольких из нас, состоящих в охотничьей группе, на чаек. Однажды даже выдвинул тезис «через комсомолию к свадьбе»: я как-то рассказал ему о своей Лидии, девушке-филологичке из ЛГУ, которую любил чуть ли не с додетсадовских времен. На что я ему гордо отвечал: я добьюсь невыезда из Ленинграда через первый разряд! Наша упорная тройца последние дни каждого месяца демонстративно торчала у доски, где средний бал б/п (беспартийных) к концу учебы замер окончательно и бесповоротно на круглой пятерке. А нам еще при поступлении в ЛАТУ сказали, что окончившие его на отлично будут иметь право выбора — хоть тебе на Украину, хоть в Прибалтику или какой-то Капустин Яр. Но обещания обещаниями, вся наша жизнь прошла под знаком невыполненных обетов, — погоны с двумя звездочками нам нацепили и, не вызывая на собеседование, вручили предписание: на Чукотку, в НСА. «Вот там и будешь свои сани внедрять», — только и сказал мне на прощание Виктор Розов.

Так вся наша тройца (да ведь интересно было узнать, что это такое — эпликатет и копалька³) очутилась в бухте Провидения. И нам еще, считаю, повезло: здесь согласно новым обещаниям полагалось служить без отпусков три года, после чего ты мог выбирать снова любой округ, а трем на-

¹ См. мои новомирские очерки «Как выжить в наше смутное время» (1993, № 9) и «Вариации переходного периода» (1994, № 10).

² Об этом в моем очерке «Полковник Гозюра». Судьба снова свела нас на Чукотке, а конструкцию патронов можно увидеть в газете «Провинциал» за июль 1993 года. Там же помещена и фотография моих стрельб, подаренная когда-то мне газетой «Суворовский натиск».

³ Эпликатет — деревянная, со вбитыми в нее крючьями болванка на длинном ремешке, с помощью которой извлекают из воды убитого тюленя. У нас в Новгороде нечто подобное, но на свинцовой основе, служит браконьерам зимою, чтоб когтить налимов. Копалька — одно из лакомых блюд эскимосов: закапывается в землю убитый тюлень, который несколько месяцев квасится-протухает, после чего его едят. У эскимосов Аляски подобное делают с птичками апариясу, и все это называется кибякку.

шим товарищам, дружной стайке еврейчиков из Витебска — Яшке Соломонову и двум Маркам, Бёрлину и Основскому (о шутках Гозюры: «Взвод Сашкóв и Маркóв, строиться!» — несколько позже), — несмотря на то, что они вступили и в комсомол и в партию, был предложен описанный когда-то Чеховым бесприветный остров Сахалин. Там никаких квот-льгот не полагалось, так как широта не соответствовала вечной мерзлоте и полярной ночи.

Где-то они сегодня, все мои друзья-однополчане, в том числе Калинин, выбравший Закавказье, Лилитин, оставшийся вместо меня в лаборатории, Борис Иевлев, отличник, внешне и внутренне похожий на Павку Корчагина и резко повысивший балл первого стенда? Где они, сокурсники мои, коротают теперь свои пенсионные будни? Откликнитесь, друзья, по адресу Хутынская, 6—45 и телефону 3-30-14. Перехожу на прием.

2. ТОРТ

На Чукотку я привез чемодан лука-чеснока и кремовые выжималки. У меня в те времена было хобби — изготовление тортов. Отец у нас погиб на фронте, и моя мать после войны, чтоб нам, двоим сыновьям, продолжать учиться после школы, по заказам сначала из маргарина, потом (жизнь стала получше) из масла создавала чудесные пирожные и торты. Не хуже даже крошечных птифуров, что продавались в магазине Елисеева на Невском. В дополнение к основной работе, конечно. Тогда строго запрещалась индивидуальная трудовая деятельность, молодежи сегодня все это в диковинку, но мои дядя, фрезеровщики и расточники, вечерами, к примеру, сапожничали; соседка в нашей коммуналке гнала самогон (и никто на нее не доносил — после войны некоторое время люди жили дружно), а ее муж в специальной тонкостенной канистре, сделанной по спине, под ватником развозил его по деревням, ну и так далее...

И постепенно я у себя в воинской части сделался главным кондитером полка. Сырья (сахара, печенья, сгущенки и того же масла) на допнаек давалось с избытком, было бы желание, а его в занесенных по коньки крыш казармах, семейных полупалаточных шанхаях, бараках имелось достаточно: ведь в НСА возраст старослужащих не превышал тридцати лет. И я развернулся вовсю, теперь уже выполняя бескорыстные заказы страждущих. Тем более наша пехота — в ней я начал службу с артмастерской — отстояла от Провидения, от центральных магазинов и складов на целых пятнадцать километров и была, в свою очередь, отрезана снегами и метелями от штаба в поселке Урелики, где расположилось наше командование.

Апофеозом стал торт, созданный под новый, 1952 год. Как сейчас помню, дюжина холостяков-лейтенантов, живущих временно-постоянно в ленкомнате при казарме, сопит, свесив ноги с двухэтажных коек, и растирает, растирает с различными красителями каждый своего колера крем. А замполит капитан Ив́анов — он все время поправляет ударение в своей фамилии, и у него койка согласно положению одноэтажная — не погнушался по собственным эскизам резать мелкой пилкой шоколад на строительные блоки. И кажется, Саша Пейсахес (он прославился тем, что уже в сентябре отморозил свои оттопыренные уши) около плиты окунает квадратное печенье в горячее молоко и тщательно выкладывает на пергаменте основу будущего сооружения.

Скоро слух о нашем новом творении — до этого была возложена на пьедестал кустодиевская розовая красавица (вишневое варенье и немного сажи) — разнесся по всему Гнилому углу. Да-да, я не выдумал это название, так согласно военным картам назывался распадок между двумя сопками, где обосновалась наша воинская часть 10204⁴. И уже 1 января потянулись в наши барачные пенаты любопытные.

⁴ Можете справиться у Серафимы Ильиничны Грувман, жены покойного поэта Михаила Грувмана, он был у нас замполитом полка, а она до сих пор работает в книжном магазине Новгорода на улице опального на сегодня Горького.

Огромный, во весь стол, возносил угловые башни (круглое печенье) с реющим леденцовым знаменем (три капли соответствующих чернил) над Советом Министров (стены — яичный порошок, крыша — зеленка) кирпичный (сироп шиповника) Кремль. Ординарец только успевал подбрасывать пыльный снег в стоящий на раскаленной плите ведерный чайник. И постепенно вся брусчатка Красной площади (какао) и даже крикливый с нынешних позиций Васильевский спуск исчезли в желудках гостей. Но что удивительно: никто не посмел прикоснуться к самому Кремлю и, конечно, к Мавзолею. Правда, кто-то из нас уже ночью не вытерпел и подрыл фундамент под Лениным, но дальше этого не пошло, так и стояла день за днем, постепенно оплывая, наша северная фантазия.

И потянулось томительное время, тем более что к нам, как обычно, заходил смерш полка, печально смотрел на клонящуюся с каждым днем все больше и больше, как Пизанская, Спасскую башню, качал укоризненно головой. Я поскорее подпер ее щепочками, но вот, заразы, кто-то успел сососать с нее рубиновую звезду... В конце концов нервы наши не выдержали — 12 января вечером мы закрылись на все задвижки и крючки и сожрали Совет Министров, и Кремлевскую стену, и три оставшиеся елочки (тоже зеленка). И когда согласно графику посещений к нам вновь зашел бдительный майор, то на пергаменте лежали только рожки да крошки. «А где же все это?» — спросил он тихо. «Вчера Кострову был день рождения», — ответили мы как можно беспечнее. Смерш достал записную книжечку, полистал ее. «Да, правильно, примите мои поздравления. Но почему мне ничего не оставили?» Пришлось лезть в тумбочку и на тарелочке поднести главному человеку Гнилого угла — даже наш батя, полковник Логвиненко, старался с ним не конфликтовать — нетронутое произведение Иванова. «Ленин жил, Ленин жив...» — доедая Мавзолей, только и сказал этот внешне незаметный человек. «Ленин будет жить!» — ответили мы ему дружным хором да на том и разошлись без последствий, потому что, не устану повторять, мы были отдельная, автономная от всех территорий территория и уповать нам приходилось, как протестантам, создавшим ту же Аляску, напротив которой и немного наискосок мы стояли и куда они провели прекрасное шоссе, только лишь на самих себя. Увы, Бога тогда еще среди нас не было.

3. РЫБА

Консервов на Севере, яблок-персиков, мяса-рыбы, сушеной картошки в виде огромных прессованных кругов, которые рубились топорами, бочек с селедкой иваси и соленой кетой, стоявших открытыми под навесом склада (бери сколько хочешь, замачивай, а потом копти), про масло и шоколад я уже писал, — всего этого было в 1951 году в избытке. Ну а о том, что на другом плече огромного российского коромысла — в Курске или Новгороде у крестьян отбиралось все это задаром, мы, отдаленные от них песней «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», знать не знали, ведать не ведали. Словом, жили как бы в консервном коммунизме, но, несмотря на это, свежатинки все же хотелось. Чукчи, правда, иногда привозили оленину, чтобы обменять ее на спирт, но семейные быстро перехватывали добычу. Раз как-то в первое лето мне удалось подстрелить глупого, на полтора пуда тюлененка, мы его отмочили в уксусе и зажарили тут же на противне, а шкурой с салом топили печь, и тяга была отличная. Еще у нас на счету числилась пара уток, а кто жил в Провидении, могли летом поймать поддегущками огуречника (корюшку) с пирса, а весной (в конце июня), как только расходились льды, в трещину опускался крючок с красной тряпчочкой, и на нее, как разъяренные быки, со всех сторон бросались, сияя всеми цветами радуги, крупные бычки. Их зажаренная печень ценилась значительно выше консервированной снатки (крабов). Но все это была капля в море на дюжину уставших от консервного коммунизма ртов.

Поэтому как-то на второй год службы в февральский день я решил, вспомнив свои зимние походы на Карельский перешеек, заняться и здесь рыбной ловлей. Взял лом и пошел в бухту Ткачен (наша часть стояла на ее берегу, в восемнадцати километрах и ближе к Полярному кругу от Провидения, почти напротив американского острова Святого Лаврентия, и должна была первой принять на себя удар империалистов, чтоб потом сбросить их в море). Если позволяла погода, мы снова пели на вечерних прогулках: «Не хотим чужого мы ни кусочка малого, но своей Чукотки (Таджикии и Прибалтики) вершка не отдадим!»

Казалось, ничегошеньки в нашем сознании не меняется, мы снова стали мыслить категориями предвоенных ценностей. Ну кому бы тогда пришло в голову, что все эти всегда послушные доминионы-автономии, разные там Курилы, перешейки, Калининграды, даже Вологодчина, то ли по закону бумеранга или Ньютона, то ли просто так захотят стать на миг или самостоятельными государствами, или кинутся, поглядев на экономику за границ и скинув с себя патриотические одежды, в объятия недавно поверженных врагов-фениксов? Хотя, впрочем, что-то и тогда менялось в моем сознании: командировка на погранзаставу в селение Чаплино заставит меня задуматься. Как же это так: тысячи лет жить на этом мысе родовым строем, охотиться на моржей, иметь за спиной на косе огромное Эльгыгыт-озеро, до краев набитое гольцами и нельмой, и вдруг в одночасье оно уже Комсомольское, а немного позже — пожалуй на укрупнение в Уэлен и Анадырь, там для вас готовы щитовые домики и работа кочегарами и сторожами, а также круглосуточно открыта забегаловка «Зеленый змий». И обойдетесь без вонючей копальки — это вдруг кто-то лишил бы меня кислых щей из моей любимой хряпы. Но главное, какие-то пришельцы и с запада и с востока разрезали их — их! — землю на две части. Только что, вчера, сын садился в каяк и мог, преодолев семь километров моря между Большим и Малым Диомидами в Беринговом проливе, увидеть свою мать — и вдруг, став ни с того ни с сего каким-то советским гражданином, забыть навечно о своем роде?

И вот я долблю и долблю лед в бухте Ткачен, она своими открытыми воротами выходит на пролив, а если глянуть в стереотрубу, наверное, и Аляска там видна, приложу руку козырьком к глазам и снова долблю, и ничего не выходит у меня под руководством короткого лома. Пришлось идти в мастерские и удлинять и сбалчивать его с таким же собратом (сварка к нам приезжала из Уреликов только летом). И уже на другой день я снова в работе, и кажется, нет ледяной толще конца и края, словно вся бухта промерзла до дна, и только к вечеру, держа конструкцию за кончик, удастся мне пробить тошенькую, в диаметр железяки «дирочку», с надеждой наблюдать, как слабенький фонтанчик начинает постепенно, не спеша раскручивать снежное крошево.

Но моя самодельная блесенка — пуля с тремя загнутыми английскими булавками (тогда это название тоже было отменено) — не пролезает в отверстие. Однако все равно же есть, есть против короткого лома прием — лом длинный, лишь бы обеспечить себя свежатинкой, а там уж придумаем какие-нибудь более технологичные дыропробиватели.

Только на третий день, вооружась доской, обитой на конце жостью — в мире не все сразу делается, господа, — удастся мне просверлить нормальную, почти трехметровую дыру внутрь Тихого океана. Но сколько ни подергиваю через толстый кордовый шнур свою медяшку, никто не хочет клевать на такой примитив. А может, леска коротка, у меня ее всего тридцать—сорок метров. Или груба, слишком заметна? Рыба не человек — царь природы, инстинкт самосохранения у нее развит значительно выше. Но где тут, на Чукотке, достанешь пластмассовую жилку? К счастью, столько понаделано человеком нужных и ненужных вещей, что всегда прогресс к его услугам: из моих шинельных отворотов торчит для их строевого вида какая-то белесая шетинка — вытягиваю ее, она оборачивается самой настоящей двадцатисантиметровой леской! И скоро блесна на неви-

димой нити снова заиграла в глубинах морских, правда шинельные отвороты повисли спаниелевыми ушами — наплевать.

И сразу же последовал резкий удар в руку, в сердце, словно к тебе приплыла из метрополии на теплоходе «Молотов» твоя первая любовь. Мотаю лесу в узлах, как пряду, на руки, и вдруг сорокапятимиллиметровым снарядиком вылетает на свет божий полярная тресочка. Серебристая, глазастая, головастая, ну Лидия да и только, двухсотграммовая рыбинка. Удар блесенкой о снег (руки-то заняты), и вот уже сайка — такое ее второе название, — закутавшись в песцовую шубку, постепенно затихает на морозе. Стоило убрать приметное вервие, как она сразу же, поглупев от синтетики, полезла в прозрачную петлю. Инстинкт самосохранения не устоял против свалившейся в темные глубины новейшей технологии... И пошло и поехало, к вечеру до полусотни «лидий» смерзлись у меня в познавшем впервые рыбий запах рюкзаке.

До полуночи жарили мы на противне тресочку, запивали ее кто чем пожелает, и вскоре она стала, как витамины в супах, обязательной добавкой в полковом меню. Бывало, спускаешься с горы к бухте и вместо нетронутого сияния снегов, как сотни блох на шкуре белого медведя, машут в азарте руками военные рыболовы. И чем ближе к весне, тем уловы богаче. Помню одного ненасытного: столько сайки наловил, что пришлось его не только заплечный мешок загрузить, а еще снять гимнастерку и набитые рукава перебрести через одно плечо, а галифе через другое — на материке зампотеха Башилова в кальсонах тотчас же бы сцапал патруль, у нас же в армии другие порядки, а в чем-то, может быть, и не другие. Посреди залива, как и положено всюду, сидит на самой уловистой яме в папахе и чапаевской бурке бывший кавалерист из партизанского отряда Ковпака, а теперь батя в/ч 10204 полковник Логвиненко, по правую руку его, ближе к полюсу (субординацию все же надо для видимости соблюдать), — смерш полка, по левую — начальник штаба Сахарьяш, румын по национальности, а далее по кругу расположились подполковники разных служб: артиллерии — Казимир Веритюг, воевал с фашистами в польской дивизии Костюшко; Башилов, вы уже догадываетесь, за какие-то там жадности пострадал, кажется, дважды отказывался подписываться на заем; строевик Шляфштейн за то, что он Шляфштейн; а мой преподаватель по училищу Гозюра (здесь мы с ним снова охотимся на птичьих базарах) за то, что он антишляфштейн. И все они, словно на очередном митинге осуждения, защищаясь, яростно машут руками. Подойдут к столу со свеженажаренной тут же на паяльной лампе сайкой, нальют себе из самовара чего-то и снова еще яростнее выбрасывают на лед глазастую рыбешку. Позже руководство научится строить стенки и прикрывать свое имущество снежными кирпичами.

Ну а мы, завтрашнее начальство, сидим вокруг них разнозвездными кольцами, и чем ближе к центру, тем уловы удачливее. Батя однажды поймал — у него откуда-то безузловая жилка на катушке появилась — настоящую треску на четыре килограмма, мы все сбежались смотреть, фотографироваться на фоне ее разинутой пасти, из которой торчал хвост трески помельче, а уж потом от ординарца узнаем, что в ней была сайка, а в сайке несколько мальков... Что там дальше в мальках было, ординарец не знал, остается предположить, что дафнии и циклопы, которых по приборным лужам кишело видимо-невидимо и которые питались уже малоподвижным планктоном, а последний — солнцем. И казалось, завявись на лед дивизия, армия, весь земной шар (мы же интернационалисты) — ловить эту полярную тресочку нам не переловить, конца-краю ей не будет, как и селедочке иваси⁵.

⁵ «В феврале — марте 1969 года участники дрейфа на «СП-16» за полтора месяца выловили простыми удочками 12 700 штук полярной трески», — сообщает в своей книге «Один на один с Севером» Н. Уэмура (М. «Мысль». 1983, стр. 43). В пересчете на вес — 2,5 тонны. Куда они потом эту рыбу дели? Сгнила, наверно?

И, бывало, Борей, бог ветров, терпит, терпит этот разврат (мы же порой хуже волков в овчарнях), да как захлопают, словно выстрелы, снеговые заряды, замутится от свирепого норда свет божий, только подковки засверкают у сопливых наружных колец, у всего среднего скопа, а уж последние, штатными единицами ползут, теряя папаху и матюгаясь, после «чаепития» в Ткаченых наши грозные верховники.

А нам-то какое дело?

4. ЖИЛЬЕ

«Надейся на Бога, а сам не плошай» — протестанты создали свободный рынок, мы, так уж сложилось, проголосовали за православие, и дело не только во Владимире Крестителе, а еще, наверное, в земельных просторах, подсечном земледелии, когда славянин постоянно мог менять пахоту, и в минусовой изотерме января⁶: лежишь себе на печи, незаметно для себя, для нации деградируешь, мечтаешь, как сказочный Емеля, — все-то тебе шука на блюдецке с какой-то там каемочкой поднесет. Главное, слушаться во всем Всевышнего, а на земле князя, императора, Жириновского, в случае чего помещики-аграрии о тебе побеспокоятся, или снова через коммунистов вернемся к равенству в нищете.

И когда после Чукотки я вместо ЛЕНВО попал в ДАВО (Дальневосточный военный округ), на границу с Кореей, в прекрасные, но так и не достроенные с 30-х годов коттеджи (то есть теперь уже не только нас троих, но и всю армию обманули), то первоначально, воспитанный «протестантизмом» Севера, пытался подключить хотя бы ну не канализацию к домам, а водопровод: река Суйфун текла невдалеке, а государственного тока было в поселке Чернятино завались. Но мне сказали: не лезь, Костров, в чужие дела, на этот счет имеется план, стройбаты, все будет создано в свое время.

Я давно уже покинул Вооруженные Силы, но вчера (1993 год) пришла оттуда весточка: как возили с тех пор воду в гарнизон автобочкой, так и сегодня возят. Сколько же истрачено денег налогоплательщиков бесконтрольно на оплату водовозам, истрачено гекалитров бензина за полвека в одном только крошечном военном поселении в ожидании трехсотметровой плановой траншейки? И не смей проявить инициативу, нарушить указивки центра, смешно вспомнить: даже совсем недавно те самые морышки, которые я уже внедрял по линии товаров народного потребления в Новгороде, ездил бесконечно утверждать на улицу Ямского поля в Москву в огромное конструкторское бюро по крючкам и блеснам! Но хватит о дремоте под мудрым руководством столицы, спешу обратно спрятаться в свою любимую НСА.

«И приказал Тамерлан, отправляясь в поход, бросить каждому воину в определенное место камень»; но мы еще до него знали, сколько у нас солдат в полку — утром три тысячи человек и вечером две девятьсот. Целая рота после обеда, вооружившись самодельными спиннингами из лыжных палок и жестяных, спаянных из консервных донышек катушек — жилку каким-то образом научились тянуть армейские химики, — отправлялась летом на заготовку огуречника и потому освобождалась от вечерней прогулки. Чтобы разрядить жилищный кризис, сделать ночной воздух в казармах уставным, заменить двухэтажные нары на одноэтажные, приказано было солдатам вместо зарядки подбирать по одной килограммовой гальке, которой видимо-невидимо всюду гремело под ногами, и складывать ее в отведенные строителями места.

Песок мы сами развели на берегу океана, а цемент нам прислало правительство. И скоро стали вырастать в Гнилом углу толстостенные сто-

⁶ Но в то же время хочется напомнить нам всем, что за тысячелетие изменился не только климат (потепление), но и оружие стало другим.

ловая и туалет под стать обильному питанию (может быть, о нем напишу отдельную главку), клуб, склады, недостроили только баню, чему мы, холостяки, втихую радовались (о ней тоже позже скомбинирую пус), а освободившийся от плановых сооружений лес, нам же видней, пустили на казармы и даже построили трехподъездный барак для офицеров, куда поселили в том числе и нас. Но как мы ни заделывали после пурги стены, как ни оклеивали их бумажным лоскутьем, как ни конопатили окна, все равно каждое утро на полу лежал сантиметровой слой снега. Поэтому многие папанинцы отказывались переезжать из шанхая имени Ивана Дмитриевича в благоустроенное, но холодное жилье, предпочитая жить в привычных палатках. И наверное, дело было не только в этом, нас чохом тянуло к соборности, к коммуналкам, но кто-то же должен был быть, сейчас бы мы сказали, стольшинцем. Для этого такой тип людей (в основном от командира роты и выше) старался заполучить в ОВС (отдел вещевого снабжения) пятнадцатиметровый шатер. Потом эту армейскую палатку растянуть в ложбинке имени Папанина, которую уже в сентябре заносило снегом. Конечно, снаружи чаще всего собственное жилье обивалось подсобным материалом: фанерой из полковой лавочки, картоном, жостью (лишь бы создать прослойку воздуха), — а изнутри, выпросив у замполитов подшивку газет, оклеивалось ими, но так, чтоб товарищ Сталин всегда располагался лицом к стенке. На остальных вождей не обращали внимания. И дело тут было не в страхе, большинство искренне чтило вождя. Дело в том, что проклятые крысы, заявившись на полуостров вместе с нами, расплодились на Чукотке в огромных количествах (о бесконечной борьбе с ними у меня уже напечатан рассказ), и главная их колония, конечно, обосновалась при столовой, для души же они облюбовали газетный шанхай, проделав ходы меж стенками. Пещерные жихари от этого раздражались: и тут четвероногие смерши не дают им покоя, — начиналась пистолетная пальба. Крысы хотя и имели своих крысиных королей, но ни во что не ставили человеческих и могли проделывать дыры без уважения к нашим вождям. Представляете себе, стрелять в Иосифа Виссарионовича — докажи потом, даже собственной совестью, что ты не верблюд. Поэтому до разоблачения Берии кто был половчей, доставал у замполитов белой писчей бумаги: прекрасная мишень на ее фоне — сверкающие в свете настольной лампы имени Селедцова любопытные глазки усатой мордочки.

Ну а печи в палатках ставили из бочек с поддувалом, так как топили их анадырским безбастовочным угольком (попробовал бы тогда кто-то из шахтеров vykнуть!), выпуская вязанные проволокой из консервных банок трубы на растяжках как можно выше. Для тяги. Странное и фантастическое зрелище предстало бы новичку зимой: на ровной белизне снегов частокол какого-то непонятного, вкривь и вкось засыхающего, словно после Тунгусского метеорита, леса, обрубки которого на фоне выкатывающегося после пурги солнца начинали вдруг враз яростно дымить клубами черного дыма. А чуть позже там-сям взбухали бугорки сугробов, из них, как чертики из шкатулок, выскакивали офицеры, чтоб, провожаемые своими женами и детьми, в зависимости от погоды идти или брести спиной вперед на службу.

О шанхае имени Папанина можно было б написать целый роман, снять недорогой подземный фильм, так как жители его жили отдельной от полка, как полк от армии, а армия от округа, жизнью.

Рылись, как у мышей, ходы друг к другу, рождались дети, умирали старики, какие-то там драмы и комедии происходили при абсолютно ровной глади равнины снаружи, и нашему милому смершу оставалось, рискуя быть простреленным вместо крысы, только скользить на лыжах по крышам, вздыхая, прикладывать, как стетоскоп, таз к насту, ухо к тазу — избретенные тоже местных умельцев, — им как-то надо же было оправдывать получаемые полярные надбавки.

Если же пурга была особенно свирепой, к каждому «дыму» прикреплялся конкретный солдат, чтобы утром отрывать своего командира. И не

было ни одного ЧП, за исключением капитана танкового батальона, сгоревшего от опрокинутой свечки. Вечная память капитану — фамилию его забыл. И все потому, что их танковая мастерская соперничала с нашей артиллерийской и они отвергли устойчивые лампы рядового Селедцова. В НСА, не в пример метрополии, очень ценили изобретателей, на нас держалась и бытовая и любая другая жизнь, и нам, техникам, разрешалось выбирать из любых рот наиболее способных ребят. А пока Иван Дмитриевич (не путать его с Папаниным) пусть поможет мне рыть пещеру в вечном, не тающем даже летом сугробе за мастерской — это было мое запасное жилище, куда я, устав иногда от двухэтажных коек, уходил вкусить одиночества, написать письмо Лидии, почитать моего любимого «Матвея Кожемякина» забытого нынче писателя по фамилии, кажется, Пешков. Гудела паяльная лампа, по настоянию мастера выбрасывая свои смертельные газы в выхлопную трубу, тысячами огоньков сверкали снега стен, хорошо было иногда одному отдохнуть от цивилизации, тогда-то и зародилась у меня мечта убежать из армии на Северный полюс, которую я позже заменил «житием на Рдейских болотах».

А на льду бухты Ткачен Иван Дмитриевич Селедцов, родом из Брянска, вдруг безо всяких подсказок, словно он генетически был из чукчей и эскимосов, построил прочную, надежную иглу и снабжал через пробитую в ней прорубь всю мастерскую рыбой. У меня она разваливалась, а у него стояла под ветрами прочно — позже он объяснит мне, в чем дело. Во-первых, надо было выбирать особой прочности спрессованный в наст снег, а во-вторых, кирпичи должны были быть размером со средней величины чемодан (50 × 30 × 10 сантиметров), ну и помнить про лаз — он должен быть ниже уровня пола жилища. Случись что во вселенском масштабе — такое порой возникает впечатление, что нас, человечество, как кролика в пасть удава, тянет в атомную беду, — выживут подобные Селедцову изобретатели.

5. КОМАНДИРОВКА

Посредине солнечного мая начальник штаба Сахарьяш приказал мне идти до мыса Чаплино по телеграфной линии, а там, где столбы занесло снегом, — над ними с помощью азимута. В поселке на берегу Берингова пролива стоял наш пост передового наблюдения, сокращенно, кажется, ВНОС. Там я должен был проинспектировать состояние вооружения, боеприпасов, и если они загнили, списать. Да-да, лимонка Ф-1, точнее, ее взрывчатка так же могла зазеленеть, как и плохо законсервированные помидоры.

Вышел я под вечер, так как днем наст не держал, и с каждым разом мне все легче и легче становилось выдирать ноги из снега. Часа в три белой ночи шагал словно уже по асфальту. Но когда вновь выкатилось солнце и стало пригревать, пришлось опять трудиться. И тут, спускаясь по ущелью, увидел среди сверкающих снегов оазис — зеленую траву, дымящиеся ключи, текущую от них куда-то в сторону солнца живую воду и перелетающих с места на место пуночек.

При источнике, грубо выложенном плитами, кипели углубления. Я бросил в них остывшую флягу с кофе, в другую ванну, похолоднее, улегся сам. Представляете себе: всю ночь брести, обливаясь потом, и вдруг тебя ждут ненормированные водные процедуры. Я тут же уснул и спал до тех пор, пока каменная подушка не натерла мне шею. А потомпил горячий кофе и смотрел на восстановившийся после моего вторжения хрупкий мир: выскакивали из нор и снова ныряли в землю юркие лемминги, в соседнюю лужу плюхнулись неуклюже два влюбленных красноносых топорика, и летал надо мною кругами пожилой журавль. В звенящей тишине слышно было, как у него под мышками хрустели старенькие несмазанные косточки. И вокруг меня зеленела, словно после трехсотлетней шведской стрижки, ровная трава. Придет время, и она вспыхнет разноцветьем по-

лярных маков, до которых никогда не дотянется рука милиционера. А может, уже дотянулась? Может, уже цивилизация пришла в те края? Обернулась уродливым многоязычным курортом, и ничего более там, кроме нелепых построек, нет?

К вечеру запурило, чему я был несказанно рад, отсиживаясь под зимней шапкой в ванне, и вдруг — о печаль, так не хотелось из нее вылезать, — из метели вынырнули две фигуры. Сахарьяш позвонил на пост, и ко мне на помощь пришло подкрепление с самодельными запасными лыжами. Снабженцы забыли про этот способ передвижения на Севере, и теперь люди делали их из досок с жестяными на конце консервными носками.

Да что там лыжи, на других концах сверкала абсурдность посмешнее: лозунги «Да здравствует 1 Мая» и другие. Завод резиновой продукции вместо так нужных, особенно семейным людям, изделий по ошибке заслал на Чукотку воздушные шарики, и мужикам часами приходилось кипятить их для размягчения.

Встретили меня, инспектора, в защитительном передовом отряде хорошо, поили-кормили до отвала. Знаете ли вы, что такое марципаны, птифуры, эстампе, шантеклеры, корнишоны и так далее? Оказывается, все эти коробки, банки, пакеты с заморскими названиями, чтобы не заражать центр низкопоклонством перед Западом, идейные борцы с космополитизмом отправляли на дальние окраины страны, и в те времена всю эту роскошь можно было встретить только там. Но не буду подробно раскрывать эти наименования, смотрите словари, скажу только о рольмопсе. Раньше он продавался в Елисеевском магазине на Невском, а теперь вот возник здесь. Это такая молоденькая селедочка, конечно, бескостная, свернутая в колечки, залитая вкуснейшим винным маринадом и запечатанная в прямоугольные низковысотные хромированные баночки.

Но все равно, как я ни старался закрывать глаза на безалаберность, долг есть долг, пришлось списывать и 82-миллиметровые мины, зелень из них прямо-таки сочилась через взрыватели, ржавую «сорокапятку» смело можно было сдавать в металлолом, да и карабины были непрезентабельны, зато огромное количество круглоглазых детишек бегало по поселку.

И тут я столкнулся с непонятным по тем временам явлением, когда каждый отдельный мир, отрезанный от остальных миров снегами ли, болотами, горами... изотермой января, китайской стеной, вопреки единой идеологии развивается каждый своим путем, будь то наш Гнилой угол или та же магаданская Территория. Здесь же все зависело от Муси. Мне, чтобы утопить ящики забракованных боеприпасов в Тихом океане (подорвать их было невозможно из-за отсутствия запалов), надо было идти за разрешением на вельбот не к начальнику погранзаставы — на мысе стояли не только мы, армейцы, но и они, чтобы после разделения эскимосского этноса не выпускать их на Аляску к своим родным, — а к этой непонятной женщине.

Да и вообще, какие бы действия я ни предпринимал: покупал ли мелкашку в магазине, просил местных жителей продать тапочки-рукавички, вышитые бисером, или моржовые гравированные клыки, ту же очень уловистую снасточку на коромысле из китового уса для ловли сайки, — на все это нужно было получить санкцию начальника радиостанции и одновременно метеопоста Марии Львовны Марголис. Марголис... Марголис...

И вот я сижу в ее радиоогоньках, а она что-то там, не поднимая головы, строчит на своем «зингере». Скусит нитку, глянет на меня и снова строчит — средней пышности женщина, третья ее работа была обшивать чаплинцев. Наконец я не выдержал и говорю: «Муся, а как здоровье Льва Герасимовича?»

Вот такие бывают встречи — мы обнялись: жили в Ленинграде в одном подъезде на Троицком поле, а теперь сошлись на другом плече шестидесятых параллелей. Прямо хоть рассказ пиши, ибо на другой день избушка повернулась ко мне передом: нашу мелкокалиберку мне заменили на

«монтекристо» с коробочкой патронов в придачу, старшина подарил на обратный путь фабричные лыжи, а Муся, уже от ее имени, велела идти к Тануте, но без каких-либо «студебекеров» — так называли в нашем регионе «0,75» спирта-ректификата.

Танута, один из лучших граверов Чукотки (не путать его с резчиками по кости Уэлена), голый до пояса, сидел в совершенно пустой комнате на полу и читал «Огонек». Как сейчас помню, с первой страницы обложки глядели на меня сидящие рядом два курсанта: внук Чапаева и праправнук Кутузова. И кто мог предвидеть при этом новую обратную связь: что я спустя три года, сойдясь и разведясь с Лидией, буду некоторое время в Ленинграде влюблен в Инну, бывшую жену праправнука Кутузова из Старой Руссы, и уже Инна покажет снова мне этот «Огонек».

Но продолжаю о Тануте. Слева на стене, оклеенной желтенькими обоями, висел писатель Рыгхэу с косою дарственной надписью, напротив него Муся с ребеночком на руках (она еще была и бабкой-повитухой в округе), а меж ними без надписей, печатно — товарищ Калинин. Танута поморщился, он хотел выпить за всесоюзного старосту, но тот был далеко, а Муся близко, к тому же жена гравера вот-вот должна была снова родить, и Танута безо всякого бартера уступил мне два великолепных моржовых клыка по 200 рублей каждый (1953 год). Позже, когда я повезу на родину «охоту на китов и ловлю рыбы», в моем большом чемодане они поместятся только по диагонали.

Муся, мама Муся, была старше меня всего на пять лет, а умела все и завоевывала авторитет аборигенов не угрозами, не силой, как происходит сегодня, а своей незаменимостью, нужностью, но и она не смогла победить продолжающееся всеобщее спаивание национальных меньшинств. Егору Лигачеву посоветоваться бы с ней перед своей неудавшейся кампанией...

А в 1990 году я получил письмо от некоей Климан. Она писала, что, работая в библиотеке, однажды увидела в газете «Голос Родины» фото корреспондента ТАСС Овчинникова, и спрашивала меня: не бывал ли когда-то в Чаплине молоденький лейтенантик, что тянет на снимке руки из землянки к солнцу? а если бывал, то не сообщил ли он «Гринпису» (ведь разрешение на ее совести) координаты сброса с вельбота ящиков с боеприпасами?

Милая, неугомонная Мария Львовна, честно сознаюсь вам, что нет, не сообщал, но, пользуясь случаем, печатаю их градусы: 64 северной широты и 172 западной долготы. Ну а фамилия ее потому изменилась, узнал я из письма, что после расформирования поселка через хрущевские укрупнения ей пришлось уехать в Таллинн, где она вышла замуж и родила сына, он и сейчас находится в Эстонии, а она же теперь проживает к востоку от Чукотки. Одна. Точнее, с овчаркой. И часто вспоминает тот украденный мир. Перерисовываю для сына ее адрес: 52 Porter Hill Rd, 2 Ithaca, № 4 14850 USA.

Поистине земной шарик — совсем крохотное существо, берегите его, великаны!

6. СКВАЖИНА

Не хлебом единым жив человек. Иногда такая тоска наваливалась, ведь три года мне моей ленинградочки Лидии не видать. За что? Выйдешь на улицу, Млечный Путь, полярное сияние кругом, а уж запах, если дело к весне и внутренности накануне пойманного огуречника (корюшки) не успели сожрать собаки, прямо с ума сводит. Вспомнишь снова свою Лидию — нет, не пойду к Розе и Азе, полковым прачкам, которые после основной работы еще и подрабатывали. И ведь так, дорогие читатели, и не пошел, хотя цена-то была не в пример нынешним, копейки.

Ну ладно, мы молодежь, не нюхавшие пороху, а фронтовикам-то почему такая напасть? Капитан Большаков прошел всю войну, партизанил в Югославии. Другой капитан, Владимиров: вспомнишь, как он бежал од-

нажды рядом с нартами в пургу восемнадцать километров, вез свою Эльзу в бухту Провидения рожать, — врагу своему такого не пожелаешь. А сотни жен-недекабристок чем виноваты? Строить свою жизнь с детьми и мужем на одной натаянной на буржуйке снеговой воде? В шанхаях? При свечах можно единожды Новый год встретить, в ресторане посидеть, но не три же года подряд зачитывать до дыр «Всадника без головы» из полковой библиотечки, да еще и с повестью Павленко «Счастье» в нагрузку! Так и ослепнуть можно.

И порою стрессы на нас наваливались. Конечно, и в НСА в какой-то мере идея, мысль о том, что стоим на страже северных рубежей нашей родины, перед которой мы все в долгу, нас выручала, но почему-то ненадолго. Стрессы все равно наваливались. Хотя и крутили в клубе бесконечно два фильма: «Светлый путь» и «Свинарку и пастуха». Немного выручала «Девушка моей мечты», но постепенно розовая Марика Рокк по просьбе женсовета перестала выскакивать из бочки, где она мылась... Еще были всевозможные состязания по стрельбе, шахматам, лыжам по очереди, на весь полк их имелось всего десять пар. В картах ведущим был преферанс, но обыграть нашего майора Гершковича, чемпиона армии, никто не мог, и я, собравшись с силой, перестал ночи напролет раздумывать над мизерáми. В основном меня выручали и там и в жизни далее рыбалка, туризм, охота. Но я влет так и не научился стрелять гусей из карабина. Селедцов мог, а я нет, хотя пристрелял за свою армейскую жизнь огромное количество оружия.

Главное же, что нас выводило из оцепенения, — нелепые на первый взгляд пари. Прогуливаешься перед сном на лыжах, по бокам сопки одна строже другой, чернеют, как яблоки белый налив, сыплются на землю огромные звезды, и вдруг тебе дышать нечем — воздуха, простора сколько хочешь, а дышать нечем, словно ты вместе с Мирзояном в камере предварительного заключения находишься, если говорить сегодняшним языком. Скорее начинаешь вспоминать что-нибудь веселое, шуточное. Помню, не с Ивановым, с другим замполитом, забыл его фамилию, только большая бородавка шевелилась у него на скуле, когда он на спор активно поедал пять банок снатки, съел их — победа! — но тут противоположная сторона заявляет: «А сок-то из банок, голубчик, не выпил?» Ух как мчался замполит на улицу... а потом согласно уговору забрался на куб из снежных кирпичей, их выпиливали ножовками из снега для производства воды, и тридцать раз кукарекал, размахивая рукавами белой рубахи.

Юмор, розыгрыши, сатира выводили нас неоднократно из мрачного настроения. У входа в палату Розы и Азы, например, висело такое объявление: «Вход героям, инвалидам и прочим пионерам вне очереди». Или любили с помощью грузика, иголки, вставленной в раму, и нитки стучать в окна слабонервным; вкпе с «кукареку», да еще в метель, поползли слухи о неких белых привидениях из почти одноименной бухты. Но самый главный слух (о нем я даже слышал, служа уже на Дальнем Востоке) — это легенда о скважине. Но сначала предыстория розыгрыша.

Дело в том, что самый страшный удар с НСА (сейчас бы некоторые сказали «шоковая терапия», хотя ее, считаю, не было, с нею все еще у нас впереди) случился, когда последний октябрьский пароход вместо утвержденных наркомовских бочек со спиртом привез только ящики с замороженным шампанским, и сразу же на другой день пошла гулять по полкам и дивизиям бумага: мол, обязательная выдача обедешной стопочки отменяется. Мы, конечно, народ привычный ко всяким неожиданностям, будь то «враги народа», обмен денег, борьба с космополитизмом и так далее, но этот удар, свалившийся, как недавний цунами на недалекий остров Парамушир, очень и очень болезненно отозвался на нас. Да так и получалось: три года пьешь, пьешь для настроения и, выпив, начинаешь мечтать о завстрашной рюмочке, она тебе в этих условиях все заменяет, ты же за годы законченным спиртоманом сделался. А старослужащим, которые не только с неразлучным своим автоматом прошагали по войне, но и с флягой, —

каково фронтовикам было? Им словно под дых дали. А замполитам, когда выпьешь, ведь легче внушать что-то солдату. А смершу? Писать и писать в воздух доносы, на которые никто не реагировал, — совестно же северные надбавки получать ни за что.

И начались эксцессы. Были и самоубийства, и самострелы через буханку хлеба в ладонь. Их не отправляли за Полярный круг, на соседнюю Колыму — мальчишки ведь; их лечили в полковом лазарете. Логвиненко у Ковпака выучился партизанить и продолжал быть и здесь мудрым батей. Даже приказал на выкрики в адрес не поймешь кого замполитам не реагировать. Он заперся и думал всю ночь, а на другой день собрал на совещание всех: офицеров, старшин, рядовых, даже представителей женсовета, хотя в те времена домостроевские женщины человеком считалась только 8 Марта.

Начал он с того — в нашем мрачном, прокопченном клубе часто отказывал движок, и зажигали керосиновые лампы, — что поставил на трибуну бутылку, стакан, молча выпил положенные пятьдесят грамм, еще постоял немного, он был не мастак говорить, за что его любили в полку, а только и сказал: «Братцы и сестры, приказ сверху обсуждать не будем, верный приказ, но все они далеко, — он куда-то неопределенно махнул рукой, то ли в сторону стенда с Политбюро, то ли на нашу веселую стенгазету «Из жизни Гнилого угла», где в редакторах состояли ваш покорный слуга, — мы же должны выходить из тупика своими силами. Бороться, как борются, — тут он уж четко глянул на газету, — постепенно, уменьшением дозы, а потому нам надо любой ценой создать резерв». Он допил остатки, а мы стали выступать с предложениями.

Снабженцы пообещали добыть несколько тысяч бутылок одеколona — тогда зубную пасту и сапожный крем еще не принято было употреблять, — кто-то выступил с советами, как «тройной» закусывать. Помню только один совет — сахарным песком. Врачиха обещала свой неприкосновенный запас в сто литров отдать, шанхайские женщины делились опытом изготовления бездрожжевой бражки на хлебных корках и сахаре, но для этого требовалось три недели, а тут счет шел на часы, полк на глазах приходил в небоеспособное состояние. Ну с офицерами было полегче, офицерам выделялись все собачьи упряжки, и пусть на них мчат по чукотторгам хоть до Уэлена, на свои денежки покупают «студебекеры» — а как быть с копеечными солдатами? Тогда выскочили на трибуну сразу вдвоем сердобольные Роза и Аза, затараторили, что они готовы принять новые, повышенные сообразительности, согласиться на кредит, и пусть к ним приходят все невыпившими. Словом, сообщая миром навалились на проблему.

И тут снова забарахлил движок, и пока зажигали лампы Селедцова, начались в темноте нервные выкрики, кто-то несколько раз свистнул, а потом на нас некоторые стали указывать пальцами — пусть и изобретатели из артмастерской что-то предложат. Тогда мы с Карпекиным переглянулись, был у меня такой очень важный рационализатор, он все чертил яйцеподобный танк, и это его идея была создать скважину. Он встал и от имени рядовых, обученных (его за что-то исключили из Военмеха в Ленинграде), сказал, что коллектив сапожной мастерской — мы еще и обувь ремонтировали в полку — берет на себя, как и «Роза с Мимозой» (Аза любила поиграть в недотрогу), тоже повышенные обязанности: добурить недобуренный когда-то и заброшенный геологами колодец. Мол, из него все лето сочилась некая жидкость, которою причащалась чуть не половина гарнизона. Милости просим через пару дней на испытание.

И вы знаете, ведь в наш бредовый розыгрыш поверили. Наверное, всегда так бывает с человеком, обществом: готовы в трудные минуты ухватиться за что угодно, хоть за соломинку. К нам через два дня в самом деле пришла приемная комиссия, я для эффекта взял в руки приготовленную для этого случая шайку, отвернул кран, и сильной струей, как в бане, распространяя желанный аромат, полилась в нее обещанная жидкость. Хоть я и недолюбливал ее, пришлось мне первому сделать глоток, за мною при-

ложились к тазику Карпекин, Сорокин, Селедцов. Комиссия посмотрела на нас и тоже приложилась. Врачиха спиртометром смерила градусы, кивнула, чтобы и батя отведал «родничка», так мы позже решили назвать его.

И начался поспешный выход полка из пике, в котором нас загноили необдуманные распоряжения центра. Полная норма в пятьдесят грамм — неделя, потом сорок грамм, потом еще чуть поменьше и так далее⁷. К весне выдавали солдатам только какие-то крохотульки, а около палатки, разбитой над скважиной, чтоб не было воровства, всегда стоял часовой. Но вскоре пост ликвидировали — жидкость вдруг замедлила свой бег, а позже и совсем истощилась, отдавала какие-то капли — долг медсанчасти

Сегодняшний опытный читатель, конечно, догадался, в чем дело, ну а для непосвященных секрет раскрою. Раз в год нам положено было перекрашивать нитрокраской пушки, но ацетона не хватало, и я решил найти ему заменитель. С японской войны боролся полк здесь со снегами, и на складе скопилось чуть ли не сорок двухсотлитровых бочек с бракованным стеолом-М — жидкостью, которая заливалась в тормоза и в уравнивающие механизмы артсистем, и периодически, если лакмусовая бумажка не синела, не давала щелочной реакции, ее заменяли на свежую. Списанный же стеол по инструкциям надо было собирать и отправлять на перегонные заводы, но это же Чукотка, и вот он скопился в солидных количествах в полку. Жидкость состояла на 10 процентов из глицерина, остальная ее часть был чистейший спирт-ректификат. И мы в том самом не тающем летом сугробе, точнее, уже в глетчере (леднике), где у меня была выбита комната, на верхушке его выдолбили яму, поставили туда на железном листе бочку, разожгли под ней примус, а медную трубку-змеевик пропустили ко мне в нижнюю пещеру. Но, увы, спирт краску не растворял, и дело — тогда еще все было нормально с наркомовской стопкой — само собой затухло. Но чтобы его возродить в создавшихся экстремальных условиях, да еще проложить ради шутки через снега пятьдесят метров труб к законсервированной скважине, понадобилась всего пара дней...

Капитан Утепов, мой шеф и начальник артвооружения, получит за «операцию „Ы”» майора, мне же Логвиненко обещал старлея; про рядового Карпекина, автора идеи, мы незаметно забыли, и я уже воображал, как, приехав в отпуск в Ленинград, приду в училище к Виктору Розову, распахну купленное под разведчика Кадочникова кожаное, до пят, пальто. Розов всегда твердил, что незаменимых людей у нас нет, и он, увидев третью звездочку, поймет, что дело не в партбилетах, а в голове. Но вышло все наоборот: уже в Дальневосточном военном округе меня судили судом офицерской чести и постановили разжаловать в другую сторону, до одной звездочки. Но об этом, если пожелает читатель, во второй части «Дульных тормозов». Пока же предлагаю еще шесть рассказов из чукотского эпоса. До встречи.

7. КОНКУРС

Не улыбайтесь брезгливо или иронично — этот конкурс был нам необходим. Когда я прибыл в полк и спросил, а где тут так нужное нам всем несколько раз в день место, мне ответили, что если снежную стенку не занесло, то там, а если ее сровняло с поверхностью Чукотки, выбирай любой недоостроенный барак. Что делать — пришлось приспособливаться...

Несколько позже, когда я стану главным редактором юмористической стенгазеты «В Гнилом углу», то в ней перво-наперво помешу привезенные из Питера в списках четверостишия. Почему-то они назывались «Детские стихи Симонова»: «Он, возвращаясь из кино, случайно вляпался... в историю, ему нельзя ходить в «Асторию», пока там сыро и темно» — и второе:

⁷ Очень похожий способ лечения отдельных алкоголиков мне довелось встретить уже в наши времена в Рдейском крае местными знахарями (см. мой очерк «Два похода с Юрием Казаковым» — книга «Большие Свороты», «Советский писатель», 1990).

«Один влиятельный вассал кругом весь замок... обошел, нигде уборной не нашел и в книгу жалоб записал...»⁸ Нам же жаловаться на кого-то было некому, мы, предоставленные сами себе, просто объявили конкурс на лучшее отхожее место.

Но предварительно несколько слов о Мае, переводчице с китайского, которого заслали к нам в бухту Провидения. Май был упорен в достижении намеченной цели и одновременно верил, что песня «Сталин и Мао слушают нас» отменена ненадолго, и потому все стены в нашем общежитии завесил иероглифами. И я еще лет двадцать спустя помнил их скороговорку: «дружба», «союз». В шахматы он тоже превзошел всех. До него лучшим игроком в части считался я, но он брал противника на измор, а иногда в сложной ситуации просил отложить партию и анализировал ее, как какой-нибудь гроссмейстер, всю ночь. Упорный был лейтенант, но в штабе китаеведу было делать совершенно нечего, и его то посылали во главе команды отрывать весною, когда кончался уголь в полку, дорогу к складу в бухте Провидения, то стройбат поручал ему чертить планы будущих сберкассы и магазина; до этого монополистом в черчении был я и любил, чтоб меня упрасивали. И вот однажды был объявлен конкурс на вышеозначенный проект, ибо будки ранее строились только по типовым, без отступлений, централизованным эскизам. Но здесь, на Севере, где со строительным материалом для наглядной агитации было плохо, замполиты начали по ночам разворовывать фанеру и доски где только можно для своих стендов, и полковник очень гневался — ведь ветер не разбирает, под кого поддувать, — приказывал возвращать щиты обратно. И странно было, сидя в задумчивости с ремнем на шее, видеть вокруг себя обрывки перекошенных здравниц или детали лиц членов Политбюро.

Но вскоре снова все повторялось, и чтобы в конце концов покончить с этим перпетуум-мобиле, и был объявлен этот конкурс. Первое место авторитетная комиссия присвоила, однако, не мне, лучшему рационализатору полка, к чему я с некоторых пор стал привыкать, а какому-то китаеведу. «Москва — Пекин» опять обскакал меня. Было от чего честлюбивому лейтенанту прийти в уныние.

И работа под руководством победителя закипела. Солдатики в азарте крушили Чукотку — всем поскорее хотелось уюта... Но время шло, шахта все углублялась и углублялась. Уже прошли вечную мерзлоту, ведрами поднимали скальный грунт, опускались вниз по веревочной лестнице. Подойдешь, бывало, к горам земли, глянешь вглубь, словно в «Гиперболоиде...» инженер Гарин пробивается к оливинному поясу: где-то далеко-далеко внизу при свете коптилок копошатся крошечные человечки. В конце концов, и наш главный партизан пришел проконтролировать работу: «В чем дело — лето кончается, а яме конца-краю не видать. Уж не собирается ли конкурсант выводить штольню в Австралию?» На что Май спокойно пригласил Логвиненко в разбитую рядом строительную палатку. «Вот смотрите, товарищ полковник. — Май раскатал по свежевыструганной столешнице тяжелый рулон ватмана. — При помощи углубления — вы же утверждали проект на год — восемь на два метра, при среднем весе от одного едока и при таком питании около двух килограмм жидких фекалий, я проводил эксперименты, глубина на три тысячи человек должна быть сто метров». «Сто метров! — Логвиненко выхватил у Мая чертеж, одним махом зачеркнул нолик. — Все, лейтенант, кончайте рытье, возводите каменные стены!» (Около стройки уже громоздились Тамерлановы пирамиды гальки.) «Слушаюсь, товарищ полковник! — Май вытянулся в струнку. — Только вот инструкция, вам надо поставить букву «а», обвести ее кружочком и ниже на полях написать: «Исправленному верить. Командир в/ч 10204». И как быть с женским туалетом, товарищ полковник? Он

⁸ По просьбам трудящихся и если какие-нибудь редакции согласятся, готов в дальнейшем опубликовать все

у нас по плану на сто двадцать четыре души запланирован — может, эту яму на них перепрофилировать? А может, сделать двусторонние таблички? На заре и на закате пусть солдаты строения посещают, а днем повернули фанерку на «Ж» — физиологическими функциями женщины могли бы заняться. Что такого, товарищ полковник, баня-то у нас тоже двуполая». «Отставить! — взревел окончательно взбешенный Логвиненко. — Пусть как сидели, так и сидят со своими функциями по домам на ведрах! Выдать им только для мягкости по паре списанных валенок на Восьмое марта!»

Законопослушный китаец — побольше бы сегодня таких трудяг — ответил снова «слушаюсь!», и скоро его каменный корабль, дымя трубой (Май предусмотрел даже тепло в нем), поплыл через снега вперед. Но плыл он по застругам и сугробам, как и рассчитал изобретатель, только до ноябрьских праздников: после его наполнения наступил час моего торжества.

Я предлагал в списанных артиллерийских санях — я всегда любил все делать из отходов производства и позже на гражданке очень подойду для косыгинских идей по ширпотребу — на настилах делать не деревянные стены, а выложить их, чтобы не разворовывали, из ледяных кирпичей, а чтоб не было холодно сидящим, дыры набить как можно теснее друг к другу. И как только из отверстий навстречу нам вырастали бы сталагмиты, передергивать трактором по снегу сани на их длину. Верно ведь, дорогой читатель, гениально?

И вскоре мой метод в полку привился, потом разошелся по всей НСА, благо пустующих долин и углов вокруг гарнизонов хватало: засевайте на здоровье обширные территории с плотностью населения 0,2 человека квадратно-гнездовыми пирамидками.

Я иногда думаю, господа: вот едешь из Петербурга в Новгород, в Чудове остановка, и всегда там, как на Севере, в «сооружение» не войти. Но почему бы здесь не поставить передвижной вагончик Кострова, ведь на этом добре луковицы, которых опять в магазинах не стало, в кулак вырастают. Я раньше писал об этом в их горсовет — в ответ получал сердитые отказы. Теперь вся надежда на фермеров.

И еще хочется не видеть бесконечные передачи ТВ о нищете и бесправии, стоит лишь глянуть на такие вот домики неподвижные, где вокруг них столько наворочено! (Ничего себе голод и безработица?!) А потому, коли химия дорожает, закрываются разные «азоты» и «апатиты» (вообще-то туда им и дорога), почему бы вновь не перейти на натуральность, не выставить при асфальтах мои передвижки: не проезжайте мимо нас, люди!

И последнее. После смерти Сталина Жуков приказал армии из-за до-рогостоящего и бессмысленного противостояния покинуть отрезанный от всех полуостров, и помню, вслед уходящим пароходам какой-то подвыпивший чукча кричал с дебаркадера: «Засрали, гады, всю Чукотку, а теперь покидаете нас на растерзание империалистам!» Но я с ним не согласен, постепенно все снова пришло в норму: в «Новой газете» от 23 февраля 1994 года, посвященной Дню армии, сообщалось, что чуть «южнее города Анадырь госпитализировано 68 военнослужащих, причиной заболевания явилось антисанитарное состояние пищеблока». А недавно печать рассказала о вдруг вспыхнувших в районе бухты Провидения необычайной величины и красоты цветах, хоть вези их на продажу на материк. Ученые объяснили это явление: одни — НЛО, другие — мутациями-радиациями, третьи тем, что алитетам снова разрешили шаманить и они вновь спустились с гор, и что ботаники ищут спонсоров, чтобы отправиться в те края в экспедицию. Я же, со своей стороны, посоветовал бы банкам и миллионерам повременить радовать их расчетный счет, мы-то, чукотские аборигены тех времен, знаем, в чем дело.

Благодарю за терпение, и будьте снисходительны ко вседозволенности.

8. ЖЕНЩИНЫ

Жизнь на Чукотке — дело тонкое. И трагедии у нас случались. Как-то я сидел на гауптвахте в Уреликах, вдруг к нам под конвоем привезли лейтенанта Юдина. Он пригласил к себе невесту из России, но пока она десять дней ехала из Москвы, на полчасовой остановке в Слюдянке купалась в Байкале, разглядывала, прижавшись к окну, между двумя темными тоннелями за Читою горельеф Сталина, выбитый на скале, по легенде, сбежавшим зеком, затем ждала в гостинице «Вторая речка» во Владивостоке полмесяца морской оказии, да и пароход плыл сквозь бури Японского, Охотского и Берингова морей почти две недели, дрянная девчонка успела полюбить другого. Юдин выпил, взял два только что отремонтированных пистолета «ТТ» в артмастерской, но когда соперники стрелялись в крохотной клетушке, где поселились новоиспеченные молодожены, то встали друг против друга неправильно: во-первых, вдоль оси барака, а во-вторых, боком к двери. В этот миг вбежала она, и с одной пули досталось и ей в плечо, и сердцу недолгого победителя.

Дуэли в НСА старались от центра скрывать, своими силами решая эти проблемы, но стволы в «ТТ» были поставлены новенькие, и пуля, вращаясь с огромной скоростью, пробил еще и фанерную стену в тот миг, когда проверяющий из Министерства обороны — летом они частенько навещались за кетовой икрой и песцовыми шкурками — в соседнем боксе подносил чашку с коньяком к губам: на излете пуля разбила и ее. Такое редкое совпадение случилось.

И теперь вот убийца, отгороженный от нас, суточников, колючей проволокой, сидел, подперев голову руками, тоскливо смотрел через бухту Провидения на госпиталь, где лечилась бесконечно далекая теперь любовь, ждал разжалования, приговора и, хотя вокруг была Колыма, другой Колымы. Потом, немного успокоившись, стал читать «Войну и мир» Толстого.

Был и у меня крошечный полуроманчик, в котором я чуть не изменил своей Лидии. Меня пыталась совратить супруга одного армейского казначея. Нет детей, нет работы, а готовить одни обеды на консервах много времени не займет — некоторые жены на Чукотке любили охотиться на новеньких. В полковых женсоветах морально устойчивые тетки ставили таким в протоколах товарищеских судов странный диагноз «бешенство матки» и требовали перевязывать им трубы.

Ох, сколько мы дров наломали от безграмотности, с кондачка — взяты те же «бамы», целину, попытку переброски вод, а если послушались бы безграмотных баб и по просьбе трудящихся выполнили бы их указания, не пришлось бы потом, как китайцам воробьев, импортировать женщин из-за границы. На хлеб-то валюты всегда не хватало...

Я познакомился с Генриеттой Викторовной, так же как и девушка Юдина с его соперником, в той самой злосчастной «Второй речке», где койки семейных и холостых для соблюдения нравственности раздельно рядами уходили в темные дали кирпичных казарм. Мы с ней, пока муж Генриетты играл где-то в углу в преферанс, лежа каждый на своем животике, разговаривали через прутья кроватей о литературе. Я все больше восторгался Аксаковым, мы с Лидией только месяц назад ходили в Публичку в Ленинграде: она, студентка ЛГУ, по своим филологическим вопросам, я, свыкаясь с «ятами» (тогда Аксакова не переиздавали), читал «Записки об ужении рыбы». А у супруги финансиста не сходило с языка Мопассан. Я упрямо сворачивал на «Ружейного охотника Оренбургской губернии», она спрашивала мое мнение о «Пышке» и о «В постели». «Сбору грибов» и «Коллекционированию бабочек» противопоставляла «Декамерона»... Психологически ее победа была близка к цели, когда она дала мне почитать затасканную машинопись о крепостнике-помещике, забавляющемся с тремя девушками в бане, и о поручике, едущем в одном купе с блистательной дамой. Но тут раздался гудок парохода, и нас начало болтать на просторах

Тихого океана. Корабль был огромная многоэтажка, бывший «Геббельс», а ныне «Молотов», — с рестораном, библиотекой, кино и танцзалами; но я, к счастью или несчастью, увлекся шахматами и у ее мужа все выигрывал и выигрывал коробки «Красных маков» фабрики Крупской. Конечно, все это (но получалось — на их денежки) преподносилось Генриетте, возвращалось, как в быту и в политике, на круги своя. «Молотов» ведь тоже через какое-то время превратился, кажется, в «Жукова», потом, после фильма «Наш дорогой Никита Сергеевич», будет называться соответственно. А сегодня он... не стал бы вновь тем, что было отлито тогда на его чугунных люках? Уж не хроническая ли болезнь человечества — «обыкновенный фашизм»?

Потом я с ней встречаюсь в Уреликах, и она пригласит меня к себе. Хотя ее муж был важный казначей, но где напасть на Севере коттеджей, свет в конце барачного тоннеля в отличие от Моуди, зайти с обеих сторон, светился одинаково тускло, и снова я повел разговор о литературе. В конце концов ей все это страшно надоело, сколько же можно... Она попросила, чтоб я отвернулся, она будет переодеваться. В моей правой руке оказался маскировочный стакан с компотом, в левой — блюдечко. Век буду помнить, как надо было целоваться и все время прислушиваться, целоваться и прислушиваться: вдруг заскрипят расшатанные половицы в коридоре под сапогами ее ревнивого мужа, к счастью, офицерам при штабе приказано было ходить не в валенках, а в хромобах. Откройся неожиданно дверь — я должен был отдернуться от Генриеточки и как ни в чем не бывало сплевывать в блюдечко абрикосовые косточки. Ну а далее пришел на обед ее муж, и после вторичного компота, от которого я не посмел отказаться, мы сели играть в шахматы, и тут он взял реванш.

Потом начались бесконечные пурги, разъединявшие нас, смерть Сталина и приказ снова возвысившегося после его смерти Жукова покинуть Чукотку. Но это не конец рассказа о любовных перипетиях людей в НСА, это его середина, появился у нас еще один соблазн для любящих своих далеких орловых—ладыниных и верных им солдат, сержантов и офицеров. Экологам это было в горе, а нам, не всем, а кой-кому, конечно, в радость: в Охотском и Японском морях крутились и докрутились пять селедочных стад, вскоре их стало на ивасевое скопище меньше, и пришлось один рыбконсервный завод ликвидировать. Романтики разбежались по домам, тогда еще забастовок не было, а «рублевые глазки» ринулись в глубины северов. Нашему полку достались две прачки, Роза и Аза, сразу же создалась инициативная хозяйственная группа, и они построили им, но не в шанхае, против этого восстал женсовет, а несколько в стороне, около продсклада, надежную палатку. Зимой повесили на шесте над тем местом, чтобы в метели не блуждать, фонарь «летучая мышь», правда без кумачовой накидки, как бы «Полярную звезду», вокруг которой крутятся всю известную и извилистую историю не только небесные «Девы» и «Лиры», но и вся земная протоплазма. Расписали график посещений, благо тогда еще не было свободных цен и понятия о монополизме: при нашей зарплате в две тысячи рублей девушки брали всего сотню с посетителя, то есть заработок Розы, медлительной, вальняжной, тянул до полуторы за ночь, Аза же, яростная, маленькая, чернявая, выработывала вдвое большую сумму. В дневную смену трудолюбивые девушки должны были еще и отстирывать наши кальсонны.

У меня сохранилась величавая медаль: Роза — руки в боки, широко расставлены мощные ноги, по ободку надпись «Достойному». Матрицу для медали создал солдат-гравер по фамилии, очень соответствующей тому климату, кажется, Морозко. Раз в квартал медаль шуточно присуждалась победителю, в основном Паше Василенко, красавцу мужчине с глазами-сливами, с бровями, еще более сросшимися, чем у Киркорова. Он и одарил меня одной из своей коллекции в момент отплытия нашей Независимой армии от северо-восточных рубежей нашей родины.

Иногда зимними вечерами, когда за окнами бьется редкая метель, я рассматриваю его фотографию, другие снимки, бережно дотрагиваюсь до

розовой Розы, вот бы, думаю, собраться нам, всем северянам, вместе, вспоминать прошлое, узнать сегодняшние расценки в воинских частях. Например, в Новгороде в XIII веке, при настоящих рыночных отношениях, согласно берестяной грамоте № 112, «поял мою исполовницу — расплатись телицей»: цены кусались.

Роза, Генриетта (вылитая Наталья Гундарева) — эти образы спустя столько лет сливаются в моем сознании в одну роскошную женщину: может, нам с Ваней Креевым не стоило тогда так долго сохраняться? Он заводил патефон и почему-то только под «Валенки, валенки» Руслановой рассматривал свою гляцевую Зину, я же для Лидии просил ставить сладкоголосого Петра Лещенко: «Жить без тебя мне невозможно». Бунин с его чувственными «Темными аллеями» был под запретом, видиков и книжных развалов тогда, конечно, не существовало, ну а про победу идейного женсовета, когда Марика Рокк перестала выскакивать из бочки, я уже писал в «Скважине». Правда, иногда Иванов давал нам рассматривать знойных красавиц: он партизанил в Италии и привез оттуда целый чемодан их.

И вот как-то вечером мой единомышленник поманил меня на улицу. Идти пришлось недолго — на Чукотке строения, как и люди, чтоб выжить, жались друг к другу, соединялись тросами, тоннелями, существовал как бы некий симбиоз индивидуальности с соборностью, — и скоро мы стояли у мерцающей дырочкой большой госпитальной палатки и смотрели, как в какой-то гигантский калейдоскоп, внутрь ее.

По углам под сенью развевающихся лохмотьев сажи чадила полудюжина факелов, две огромные бочки, пламенея боками и источая недалекий жар, шипели под капелью закопченных сосулк на потолке, и в этой круговерти метались, переплетались, изгибались черными тенями синие, в пупырышках, как когда-то цыплята за рубль пять, военные женщины. Кто в списанных валенках (подарок Логвиненко к 8 Марта), кто в резиновых мужниных сапогах, не обращая внимания на крыс, шмыгавших под ногами, подсев поближе к печкам, торопливо скребли головы, остервенело терли друг другу спины или, резво вскочив, бежали к крану. Около него на табурете, как на троне, восседал в засаленном ватнике хилый Буратино с завязанными глазами, острым крысиным носиком вынюхивая странные запахи духов и селедки (печи топились клепкой из-под соответствующей бочкотары), и, приговаривая как попугай одну и ту же фразу: «Только на честность, бабочки, только без обмана!» — отпускал на ощупь по штампованным номеркам в/ч 10204 по шайке снеговой полутеплой водицы в одни руки. Так решил женсовет: три номерка — три бадейки воды на одни, независимо от размеров, помывочные бедра. И еще при этом многие, преданные мужьям чукотские женщины ухитрились, отжав волосы в тазики, устроить своим супругам малые постирушки — потереть разные там платки-подворотнички.

Роза и Аза работали только на холостяков.

9. ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ

О летних учениях, когда кругом колокольчиков и таких же микронезабудок полно и шубу можно заменить на ватник, да и июльский луч солнца, умытый и упрямый, нет-нет да и пробьется сквозь тучи, не стоит писать, послушайте лучше о зимних «боях».

Декабрь, 1952 год. Полк выступил в тренировочный поход в сторону островов Ратманова, где между нашим клочком суши (Большим Диомидом) и их скалой (Малым Диомидом) было всего семь километров Берингова пролива. Поход по плану предполагался игровой, но то ли от обычной нашей беспечности, то ли кто-то решил вновь испытывать на прочность, как и перед войной, советского солдата, палаток с собой мы не взяли. Гремели на уширенных гусеницах самоходки, рычали натужно трактора марки «ЧТЗ», волоча за собою на деревянных санях пушки, а мы — лыж,

напоминаю, в армию не завезли — шли пешком, колыхаясь штыками. Шли и ночью и днем, рядом весело бежало несколько штабных собачьих упряжек с документацией: «поть-поть» («вперед-вперед»), дорогие собачки. Но самой желанной для нас была команда «сасс-сасс!» («стой, привал!»). Пехота тут же валилась на наст, мгновенно засыпая, чтобы через десять минут вновь брести в сторону англо-американских империалистов.

Я со своими артмастерами отвечал за тройку саней с боеприпасами, причем они были так загружены ящиками, что встать на какие-то там приступочки, чтоб не идти, а ехать, было невозможно, а мы, в свою очередь, тоже не сообразили захватить железных листов или нарубить двухсотлитровых бочек. Кроме Селедцова — он по пути позаимствовал у шанхайских женщин корыто. Естественно, предложил вперед для приличия в сесте мне, но я гордо отказался — хорош был бы начальник, сидящий в корыте. К тому же полковник Логвиненко, как и было принято в войну у партизан, шел пешком. И мы вскоре посадили в корыто выбившегося из сил студентика Карпекина — пусть думает над своим яйцеобразным танком в пути⁹, — но он тут же уснул.

Потом, через полсотни километров, построившись в боевые порядки и изобразив стрельбу в сторону врага, пошли обратно. Ну и, как положено в очерках, за семь верст до дома началась пурга. Нам-то, артмастерам, еще хорошо было — мы шли за прикрывающими нас от ветра санями и сквозь несущуюся навстречу темень видели то слева, то справа от себя бредущих гурью на метель или спиной к ней солдат, падающих, снова встающих упрямо. Ватные брюки им выдали, а вот полушубков на всех не хватило... Помню три силуэта: двое вели под руки третьего. Селедцов спихнул с корыта Карпекина, усадил вместо него того парня, и вдруг санный поезд остановился. Из тьмы вынырнула папаха Логвиненко: «Сбросить боеприпасы, к чертовой матери! Сажать на сани отстающих!»

И скоро снова взревели трактора, и то мы обгоняли пушки и самоходки, облепленные, как муравьями, борющейся за выживание серой пехотой, то они нас — вся надежда была на трактористов. Но кабин на «ЧТЗ» не было, и наш водитель до того доотворачивался от лобовой вьюги, что сани поползли куда-то вниз, вбок, трактор забуксовал и скоро, пробив наст, опустился до твердого грунта. Откуда-то сверху кричал Утепов: мол, сохраняйте технику, помощь пришьем! А нам так уютно было в яме, но смотрю — «обессиленные», когда они лезли, толкаясь, на помост, вдруг забеспокоились, ожили, один за другим стали исчезать. Только и остались в экипаже мои верные мастера и четверо настоящих дохлятиков.

Конечно, никакой помощи ниоткуда ждать не приходилось, — обстоятельство бросило нас в снега, выплывайте кто как может, тем более Утепову вот-вот должны были присвоить майора, а мне был обещан после «операции „Ы”» «Ленинградский округ», то есть Лидия, а потому пожить нам с капитаном хотелось. Я обмотал санную веревку вокруг пояса, велел «великолепной семерке» держаться за нее, и мы, как слепцы Питера Брейгеля, побрели в неизвестность. То ли к ближайшей пропасти, то ли к равнине бухты Ткачен с ее спасительными рыбачьими иглу.

Был бы я настоящий писатель, я бы, продлив пургу на месяц, нафантазировал, как мы отжили в снежном домике, питаясь сырой рыбой и стойко охраняя от диверсантов, пока не подойдет обещанная помощь Утепова, увязшие в снегу никому не нужные железяки, но, увы, в действительности через бесконечно растянувшееся время кто-то вдруг закричал: «Кладбище! Кладбище!» Наша дружная команда, проклиная всех, кто послал нас сюда, на Чукотку, выползла на танковый парк. Тяжелые «Т-34» ходить зимою по насту не могли, и им девять месяцев в году разрешалось отдыхать под снегом. А чтобы танковому батальону не потерять место их

⁹ Недавно по ТВ показали подобный танк — уж не Карпекина ли конструкция? Теперь вот надо думать, как их снова превращать в металл. Может, зимой согнать на середину озера Ильмень, чтоб летом сам собой образовался так нужный нам при бурях остров?

расположения — тот же «ЧТЗ» с боеприпасами мы отыщем только весною, — над машинами ставили столбики с табличками и фамилией их командиров. Ну а от этого места до казарм было рукой подать. И что примечательно (спасибо полковнику Логвиненко и его приказу о разоружении) — никто не погиб, не замерз в этом ледовом походе. Партизанские командиры с их неуставной самостоятельностью всегда умели находить выход из сложных ситуаций, за что их потом ненавидели в верхах. И уже в следующих трудных ситуациях (помните историю на рыбной ловле?) нам было на них не наплевать, ибо коллектив постепенно «спаивался» (см. очерк «Скважина»).

Через два месяца, в феврале, начались новые учения: красные ленточки на шапках воевали против синих полосок. Но если кумача на Чукотку было завезено достаточно, то нашему полку, дивизии приходилось рвать на полосы драгоценные простыни (никто не хотел ходить в беляках) и окунать их в синьку. И вдруг часть старослужащих заявила протест: из таза выползала не синяя, а голубая лента. Не подумайте чего-нибудь плохого, тогда и разговоров о «педерасах» не было, мы в этих вопросах, как и товарищ Хрущев, были зелеными неофитами. Цвет этот отрицали те, кто воевал с голубой испанской дивизией фашистов.

Видите, как сильно влияли даже мельчайшие оттенки на наши поступки, как они прочно укоренились с древнейших времен в нашем сознании, поэтому, может, стоит попытаться быть снисходительнее, терпеливее в сегодняшние переходные дни друг к другу. Ну а палатки в этот раз, кроме нашей мастерской, а почему — не помню, роты получили, и только нам, изобретателям, к ночи пришлось рыть прямоугольное до земли углубление и, прикрывшись чехлами от пушек, сидеть под ними, дрожать. Да еще капитан Утепов приказал, передавая нам бутылку синих чернил, организовать в яме полковой пункт перекраски. «Надо, солдаты, — сказал он, стоя над нами, — обеспечить к утру наше соединение опознавательностью!»

И вот мы начали запихивать в какие-то банки это голубое тряпье, потом палочками, как китайцы, но не рис, а эти лоскуты извлекать наружу и передавать наверх самому морозостойкому человеку в нашей мастерской, чукче Сорокину. А он уж, по-русски чертыхаясь, весь перемазанный чернилами, развешивал их по самодельным, натянутым меж пушками веревочкам.

«Идет охота на волков, идет охота!» Коптилка, как и положено ей, коптила, холод — Нансену не пожелаешь — стоял собачий, к тому же меня еще с того учения мучила в подветренной правой щеке, что тогда без компаса и помогло нам выбраться к казармам, зубная боль. И я, хотя к тому времени уже и получил прозвище железного лейтенанта, не выдержал: предложил советским солдатам пойти на предательство — сдаться в плен. «Мы же к красным, к красным перебежим», — втолковывал я своим упрямым мастерам, но они (ведь у большинства из нас гремели тогда в рюкзаках, бронзовея, «молодые гвардии») отмалчивались. Хорошо хоть не связали меня и не передали смершу, когда я, вылезая из норы и окунув, не отцепляя синей полосы, всю шапку в теплый украинский борщ в полковой кухне, удалялся в сторону «врага».

После учений на их разборке начальник штаба Сахарьяш будет меня клеймить, назовет влосовцем. Клеймить? Клеймить! В ответном покаянном слове я, конечно, признаю свои ошибки и предложу в будущих войнах, чтоб невозможно было изменить присвоенный полкам цвет, красным ставить на лоб красную печать, синим соответственно синюю: «В/ч 10204, Гнилой угол, Чукотка».

Смех смехом, а вот пишу эти строки и думаю: а сегодня как бы они поступили? Как бы я поступил? — китайцам бы не сдался, это точно, а вот англо-американским империалистам, честно говоря, не знаю. И скорее всего не потому, что там не побывал ни разу, а потому, что я где-то в глубинах своего сознания националист. Хочется с ними и дружить, и в то же время от них обороняться, какая-то раздвоенность сидит во мне. Наполе-

он шел к нам дать волю, прокламации против рабства разбрасывал, а мы его приняли в штыки и вилы. Свободу нам даровал Александр II, позже Столыпин ее стал развивать — и их уничтожили. Подавай нам равенство в нищете, такие уж мы за тысячелетия сформировались: «приходите к нам править и владеть нами» и «слушайтесь на небе Бога, а на земле князя».

10. ВЕСЕННИЕ СТРЕЛЬБЫ

Это — загар, рыба сайка, сросшиеся с ногами лыжи и совсем немного пурги. К тому же учения происходили в моей родной бухте Ткачен, а палатки в этот раз имели все, и они стояли правильными рядами вокруг небольшого озера со вкуснейшей, пропитанной всеми минералами чукотских сопок водой.

К тому же при пушках из других дивизий приехали и мои товарищи Сашки: Бабин и Прокофьев. Я был счастлив их видеть, а они были счастливы отдохнуть от своих жен, ибо все на свете должно быть в движении. К Бабину та ленинградская медсестричка даже не приплыла, а прилетела редким самолетом, что прыгал, как кузнечик, через снега и метели по северной окраине страны. Через Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, Тикси и так далее. А Прокофьев женился на чукчанке, очень трудолюбивой и послушной женщине. У меня сохранилась фотография его супруги, где она разделывает тушу тюленя.

И еще мне радостно было потому, что с тем же аэропланом пришло и тридцать писем от Лидии, в них она сравнивала меня с каким-то тарзаном в кубе, и, главное, рыболовная жилка, свитер и шерстяные носки в посылке матери. Да и вообще я заметил: в солнечные дни резко повышается изобретательская активность в человеке. Во-первых, мне разрешили жить не в палатке, а в чуме-вигваме собственной конструкции. Померзнуть пришлось, но тут уж я в плен к «красным» не сдавался, так как испытывал собственное просторное детище. Потом мне удалось приобрести надежные лыжи, к которым я приспособил вместо ременных креплений оконные петли. Одну прибавил к лыже, другую намертво — к кирзовому сапогу и, соединив их осью, прекрасно лавировал с гор. Правда, однажды после неоднократных испытаний крутой лыжни по ней поперек прошелся трактор, и меня бросило грудью о наст, но крепления не пострадали.

Стоит только не поддаваться унынию, шевелить мозгами, быть поглазастее — и «рояли в кустах» всегда к вашим услугам. Оправдали себя в те дни и мои усовершенствованные уплотнения из обычной автомобильной резины к тормозам отката пушек — теперь и капли так нужного нам стеола не растворялось при стрельбах в снегах. И Карпекин наконец прославился, но не чертежами танка, а кривым РПГ. Он, недоучившийся студент (и зачем их в армию берут, этих интеллигентов-пацифистов, не желающих быть пушечным мясом), приспособил к ручному противотанковому гранатомету перископ, и спецзвод на этих учениях, не высываясь из вечной мерзлоты, отлично отстрелялся по ползущим на тресах за тракторами вражеским фанерам. Независимая северная армия, не имея пополнений из центра, старалась бережно относиться к своей живой силе. И даже начальник артиллерии полка Веритюг, которого после службы в дивизии Костюшко партийная линия заслала еще далее, чем царь Николай польских повстанцев 1831 года, и тот, сбросив с себя печаль, в те апрельские дни принялся за рационализацию. Создал — и это название привилось на Чукотке, хотя он и был подполковник, — «папаху Веритюга». Казимир Сигизмундович разрезал фанерный цилиндр из-под сухого молока поперек, наверху, как петушиный гребень, загнул две трубочки для тяги, чтоб стекла не потели, и ходил преспокойно против студеных ветров вволю уже здесь, за Сибирью. А оклемавшись, еще и требовал отдавать себе, инопланетянину, честь.

Или вот «рояли» неугомонного Селеедцова. Ванюша стал известен у нас в основном двумя изобретениями: очень уловистыми капканами на крыс¹⁰ и металлическими терками-галошами из консервных банок, чтобы эта самая живая сила весной, когда все кругом неопределенно, то течет, то замерзает, не ломала себе ноги.

Поперву проверяющие из Москвы хмурились. Вообразите себе на минутку такую картину: назначается смотр, все чистятся-блистятся, и вдруг начинается ветер, снегопад. «Может, отменить прохождение полка?» — спрашивает тревожно приехавший. «Нет, не надо», — отвечают ему, и перед изумленным генералом начинает ветру навстречу в железных начищенных галошах, в солнцезащитных очках-консервантах, с кривыми РПГ на плечах, во главе с командирами в «папахх Веритюга» вышагивать рота за ротой. В обморок контролеры, конечно, не падали, но изумлялись, и их тут же, не опомнившись, отводили к Азам-Розам, а оттуда они, ошалевшие от дивных приемов опытных див, снабженные фотографиями на память (в НСА не принято было, как бы мы сегодня сказали, нарушать девятую заповедь — «не доноси в органы»; негативы им тоже отдавались), лихо, под духовой оркестр, на собачьих упряжках безропотно отправлялись в путь к причалу или в аэропорт.

Было, правда, два случая с неподдающимися. Однажды технарь-полковник в замасленной шинели явился по наши души ревизовать артиллерийскую службу полка. Во все вникал, всюду лазал, ознакомился даже со скважиной (к счастью, тогда она не работала), а потом, собрав нас в мастерской, начал читать мораль, но, что удивительно, без крепких выражений. Укажет на недостаток, и тут же слышишь: «Вы, турки!» Снова мелочь какая-то попалась ему на глаза, и опять с присказкой: «Вы, турки!.. Турки... Турки!» Хитромудрый капитан Утепов — ему все не присваивали майора — поминутно вскакивал, прикладывал руку к шапке, отвечал четко: «Так точно! Так точно! Так точно!» Мы, столько сделавшие во славу своего полка, подавленно молчали. И вдруг вскочил — кто бы вы думали? — маленький, кривоногий, с изъеденными зубами человек, о котором старший брат до сих пор сочиняет высокомерные анекдоты, чукча Сорокин: «Никак нет! Никак нет! Никак нет!» Узенькие щелочки глаз сверкают, подбежал к тумбочке, там стоял старый патефон, бросил на него пластинку, крутанул ручку, и полилась всем знакомая и бесконечно близкая всечеловеческая мелодия — Чарли Чаплин, переваливаясь уточкой, покидал нас. Все затихли, затихла наконец мелодия, полковник, не сказав ни слова, встал и ушел прочь из нашего дома.

Со вторым проверяющим все было иначе. После закрытия еще нескольких консервных заводов «полярные звезды» стали возникать по всей армии, только назывались они по-разному: небо на Чукотке было в огромных созвездиях, и все кому не лень срывали с него то «Волосы Вероники» (так славно на минуту можно было в них зарыться), то «Туманность Андромеды» (там можно было услышать и полузапрещенный стих Есенина), в «Большие медведицы» (чтоб блудить в них неделями) ходили партиями; так вот об этих отдушинах, что обрушились на наши грешные полки целым небосводом, прознали в центре и прислали для проверки нашего здоровья крутых теток.

Навечно останется в памяти плац, нестроевая команда «шаровары при-спу-стить!» и дородная полковник медицинской службы, шествующая со своей свитой в поисках криминала по бесконечным рядам нашего полка. Иным солдатикам перед нею было не устоять, и тогда там и сям — денек на редкость выдался солнечным — вспыхивали зайчики, слепили жмурящих глазки, хихикающих длинноногих капитанш. Но иногда Екатерина Великая удивленно останавливалась, следовал приказ «крючок для крючка!», в правой руке у нее оказывалась лупа, в левой блестящий, похожий

¹⁰ См. мою книгу «Большие Свороты», рассказ «Капканы» («Советский писатель», 1990 стр. 356).

на вилку, но с загогулиной на конце жезл¹¹, и она, приподняв им осматриваемый предмет, шла до следующего субъекта.

Бедные мальчишки не знали, куда деваться от стыда, хотя вина их была только в том, что система приговорила их без суда и следствия по три года «свободы не видать», да еще эти проклятые антисексуальные, но порой бесполезные таблетки в супах, что сыпались нашей медчастью в котлы горстями.

Наш батя по мере продвижения комиссии хмурился все больше и больше, накалялся все сильнее и сильнее и вдруг сдавленным от ярости голосом подал новую команду: «Полк, оде-вайсь! — И, повернувшись к свите, уже спокойнее сказал: — Все! Осмотр окончен! Сами своими силами разберемся с трипперами». «Да как вы смеете! — взорвалась ответно великанша (порода под стать Логвиненко). — Это приказ Министерства обороны мы никуда не уедем, пока не проверим всех!» Но уже гремели по камням тракторные сани, и ловкие, военных лет, старшины, как бревна, стали бросать крутых теток в волокуши. Те кусались, визжали, царапались, но их уже перетягивали веревками, руки-ноги-голова, чтоб, как раки из плетенки, не распозались, и вот взревели моторы, и шевелящаяся куча-мала поползла прочь из Гнилого угла, чтобы всем нам в нем легче дышалось.

Пусть меня извинит читатель, в последней сцене я не удержался, немного нафантазировал, на самом деле их вежливо усадили в сани и в целости и сохранности доставили до бухты Провидения, а потом, как нам стало известно, и дальше. Независимая северная армия как бы слала вызов метрополии, и Москва проглотила эту пилюлю. До поры Об этом в последней моей новелле «Путь в отечество».

Но хватит о провсряющей, контролирующей, надзирающей саранче, каждый из нас не единожды за свою жизнь знакомился с нею, возвращаясь снова к весенним дням. По вечерам, отстрелявшись по «танкам» противника, ко мне на огонек в вигвам собирались лейтенанты. Селедцов жарил наловленную за день сайку, кипел чайник с озерной водой, извлекалась и заветная фляга: скважина иногда могла и заработать ненадолго, все зависело от нас. Потом велись разные разговоры. Помню, Бабин все повторял, все надеялся, что придет скоро время, и мы не будем отрезаны по девять месяцев в году от всей страны, может быть, даже возвращаться домой придется иным транспортом, да-да, скоростным экспрессом. Когда его жена скакала кузнечиком по северным окраинам СССР, то видела от Воркуты до Певека мириады марширующих, словно скопище муравьев, человечков, мол, по велению товарища Сталина к нам на Чукотку в скором времени будет проложена железная дорога.

Иногда встречал в разговоры со своей новой идеей рядовой Карпекин. Он, отправив чертежи танка в штаб армии, переключился на более грандиозную идею — строительство моста через Берингов пролив. Он мечтал после окончания строительства северной дороги для виду помириться с Америкой, построить сообща по его проекту мост, а уж потом, когда подойдет окончание девяностодевятилетней аренды Аляски, под этим предлогом на его танках — он рассчитывает сооружение на их вес — ринуться на США.

Возражал ему Сорокин. Он был призван в армию с Уэлена, где испокон веку весь род кормился моржами и тюленями, и его волновала такая перспектива. «Ты бывал на островах Диомида? — горячился Сорокин. —

¹¹ В прошлом, девяносто третьем году я как-то зашел за градусником в магазин медтехники, что расположен на Первомайской улице в Новгороде, смотрю — на витрине лежат эти самые «крючки для крючков». Притворившись незнайкой, спросил у продавца, для чего они. В ответ она пожала плечами, сказав только, что этот никель у нее покупает один пенсионер, режет его на три части: из одной делает морышки и блесны, другую, разогнув, продает как вилку, а третью, с ручкой, затачивает под отвертки. Я не удержался и тоже купил несколько крючков: если когда-нибудь буду выступать перед публикой (гонорары-то невелики нынче), устрой попутно распродажу раритетов, даже несколько медалей скопирую с «Розы»... Говорят, тот гравер сегодня проживает в Новгороде, если он появится, то, естественно, передам выручку ему.

Меж ними семь километров пролива и такие заторы бывают, что земля дрожит, а пак опускается до самого дна, а ты еще и быки понаставишь — холодное Курильское течение вместе с Аляскинским повернут не в Ледовитый океан, а обратно, столкнутся с теплым Куро-Сиво, все вокруг изменится, уже моржи не поплывут мимо нас на льдинах, а мы не будем их для себя, как природа повелела, тысячи лет добывать!»

Карпекин в отличие от других проектантов был к оппонентам внимателен, он тут же отказывался от опор, предлагал брать пример с Крымского вантового моста в Москве: мол, ко времени окончания аренды Аляски технические возможности в мостостроении резко возрастут (1966 год), и тогда пролив сможет перекрыть навесной мост. А Диомиды взорвем, чтоб не путались под ногами! Это особенно волновало чукчу Сорокина, так как на них у него и в СССР и в Америке жили бабки и деды. Споры в основном возникали после «родничка», обычно же мы любили посидеть молча, каждый со своими мыслями ближнего «боя», смотреть в проем палатки, как катится и не может закатиться за горизонт, несмотря на все наши проекты, красное солнце, а иногда и песню могли запеть: «Широка страна моя родная, много в ней снегов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

А где же еще как не в дальних уголках нашей родины вольно дышалось в те времена: на Колыме, острове Сахалин, Курилах...

11. ДУЛЬНЫЕ ТОРМОЗА

Смерть Сталина. Тот миг от школьников до стариков помнят, наверное, до мельчайших деталей многие из нас. Правда, до Гнилого угла — у нас в полку радиоприемников не было — эту весть довели на собаках на день позже, 6 марта. Я еще лежал на своем втором этаже, когда кто-то вошел и сообщил о постигшем всю страну страшном горе. Я сделал вид, что сплю, так как боялся, что, соскочив с койки, не смогу сделать лицо скорбным. Наверное, немного было таких бесчувственных, большинство переживало случившееся до слез, даже в НСА. И не только переживало, а потерялось, так как не знало, как жить без его руководящей и направляющей силы. Люди, сотни лет привыкшие к тому, чтобы кто-то указывал им путь, были в шоке. Если глянуть в дарвинское прошлое со времен обезьян, в мифы Древней Греции, в Библию, в шумерский эпос о Гильгамеше, всюду во главе ли стада, скопища людей, нации тысячелетиями стоял кто-то, сумевший подняться на вершину пирамиды и оттуда или единолично, или через свои политбюро, апостолов, церковных иерархов указывавший остальным гомо вульгарисам — гомо сапиенсам пути к светлому будущему. Не устану повторять письмо новгородцев к Рюрику-скандинаву: «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет, приходи к нам править и володеть нами».

На днях заезжал ко мне пастух из рдейских краев и опять переживал: он с колхозных нетелей, где было все просто и без борьбы, перешел несколько лет назад на пастьбу частных коров, говорил, что опять у них поперву бодание до кровей начнется, кому идти во главе стада. Жихари с него спрашивают, а он создан, клонился Миша над бутылочкой, не для руководства.

Тогда же, в 1953 году, поднял меня с койки, сморкаясь в платок, капитан Утепов, велел срочно готовить 85-миллиметровые пушки к холостым залпам, чтоб почтить память вождя. Он сменил платок (совсем недавно в бане я видел, как ему их старательно стирала его пухленькая супруга), строго глянул на меня, как бы приглашая к совместному плаканию. Пришлось срочно опустить ресницы, так как чемодан лука, что я когда-то привез на Север, был давно съеден, а потом перейти в атаку. В том чемодане еще плыли у меня на полуостров различные учебники по устройству разнокалиберных пушек, я был в училище книгоношей, и каким-то образом среди усвоенных мною артсистем оказалась и строгой секретности

«восьмидесятипятка». И я вскоре, не думая о последствиях, начал рисовать с них цветные плакаты, наглядную агитацию, так сказать, чтоб через эти плакаты-огоньки повышать боеспособность своего полка. Но когда дошел до засекреченных стволов, в меня был произведен кем-то доносный выстрел. Но он оказался почти холостым: майор-смерш только и велел передать ему на хранение эту секретную книгу. Теперь я требовал ее на законных основаниях обратно, так как только в ней можно было узнать, свинчивать или нет во время холостых залпов дульные тормоза.

Утепову ничего не оставалось как снова идти к майору-смершу, книга оказалась единственной на Чукотке, да и вообще можно было организовать летучий семинар на всю армию. Утепов все еще был капитаном, и они с майором извлекли ее из несгораемого шкафа в секретной части полка. К ним по долгу службы присоединился начальник штаба Сахарьяш, и мне под доглядом тройки было разрешено не сходя с места читать в конце учебника инструкции «БИС-А», какой-то там номер, по работе с этими самыми злосчастными тормозами. И вдруг, о горе, я посмотрел на майора, тот ласково улыбнулся мне: почти вся нужная нам страница, кроме абзаца, где сообщалось, что дульные тормоза изобретены умельцами чуть ли не при Петре Первом, была, как в энциклопедиях тридцать седьмого года «враги народа», тщательно залита черной тушью. Если мне память не изменяет, там и написано-то было, в каких случаях их свинчивать: во время разных торжеств, при похоронах генералов и маршалов, — но ничего не говорилось о генералиссимусе, так как в представлениях миллионов людей он не мог умереть, ибо был б о г!

Утепов-капитан — повторяю, он еще не получил звание майора — страшно побледнел, так как уже поспешил позвонить в Урелики, где находился штаб армии, чтоб сообщить, что у нас есть соответствующая инструкция к действию. Мы, чтоб выйти из трудного положения, сообща и поодиночке пытались прочесть текст на свет, но залито было умело, профессионально.

Дело в том, что без этих руководящих страниц — их же составляли мастера высокого класса, специалисты — получалась некая раздвоенность. С одной стороны, насадка на конце ствола в виде набалдашника при вылете вслед за снарядом пороховых газов получала в свои скошенные лопасти реактивный удар и уже этим помогала тормозу отката, работающему на моем любимом стеоле-М, а с другой стороны, при холостом выстреле, то есть без снаряда, все газы ударялись бы в дульный тормоз — и не уравновешенный отдачей ствол, сорвавшись с лафета, теоретически мог бы полететь вперед. Если же свинтить насадку, опять было бы неясно: не получивший поддержки спиртовой тормоз отката может не выдюжить и ствол отбросит назад, уже в сторону траурного митинга.

Да простит меня читатель за эти технические подробности, но получалось с этим прощальным залпом, если следовать указанию центра, куда ни кинь — везде клин. И тогда решение принимает наш мудрый батя, вождь, так сказать, полкового масштаба. Он никогда не вмешивался в то, в чем был непрофессионален, и просто посоветовал нам, техникам орудийным, оружейным, изобретателям, Веритюгу, собраться на совет и сообща подумать без инструкции, как быть, свинчивать или не свинчивать набалдашник для дачи залпа в честь смерти товарища Сталина. «А кстати, почему холостого?» — промолвил он и ушел с заседания, чтобы не давить на наши взгляды своим авторитетом.

И верно, почему? Главное — дать толчок извилинам. Недавно, например (апрель 1994-го), показывали по ТВ фильм «Русская рулетка», посвященный столетию со дня рождения Никиты Сергеевича, и там Сталин говорит ему: «Товарищ Хрущев, у нас в Москве маловато туалетов». И сразу же у тогдашнего главы города энергично заработала мысль, и где их только не понаделали, вплоть до разрушающихся церквушек, что позволило их вперед загадить, а потом сохранить. Очередная мудрость? — может, и так, смотря с какой позиции к этому подходить.

Ну и, конечно, первым выскочил я, предложил как можно выше задраить стволы и дать залп в сторону Берингова пролива. Сначала сгоряча со мною согласилось большинство, потом одумалось, и мой проект был отклонен, так как среди обычных снарядов иногда попадались непредсказуемые, и они-то могли вдруг перелететь морскую границу и разорваться где-то на американских землях — островах Крузенштерна или Святого Лаврентия. То есть спасибо умеренным — мог бы еще до карибского кризиса возникнуть костровский.

Сегодня, когда и по старости не спится, и за окном грохочут встающие на прикол в соседнем гараже автобусы, я часто вспоминаю прошлое и все больше и больше прихожу к убеждению, что не только у меня, а и у многих других было достаточно хрущевского шапкозакидательства, актерских срывов, да и до сих пор они в нас гнездятся...

Выдвигались на той летучке — уповать приходилось лишь на себя — и другие идеи. Кто-то предложил отметить траур взрывпакетами или толовыми шашками, полковой дирижер — ударами литавр, чукча Сорокин мечтал закатить по всей Чукотке тысячи бочек на крутые берега Тихого океана, ударить в их днища кто чем может — палкой ли, сапогом — враз (то-то прогремят по всей земле северной залпы), а потом сплунуть бочки в воду, чтобы железо растворилось в морях. Чуть было не приняли прагматическое предложение моего вечного оппонента китайца Мая, он считал, что стволы надо не задирать, а опустить как можно ниже и пальнуть фугасными снарядами в соседнюю сопку. Но тут выступил майор Сергеев, он внес другое, но тоже, как и у Мая, деловое предложение. Сергеев был командиром роты и предложил своими 120-миллиметровыми «минометиками» навесным огнем в шахматном порядке накрыть бухту Ткачен — чтоб потом не долбить рыболовных лунок. «Рыба фосфором богата, от нее ума палата! — внушал нам майор. — А щебенки уже заготовлено на сто сральников вперед!» Все знали мечту Мая, читали и обсуждали его статью в армейской газете о том, что культурная жизнь в стране должна начинаться с теплых туалетов. Май тогда еще ничего не знал о сталинской заботе по этому вопросу, иначе наверняка бы всюду развесил вышеозначенную директиву. А пока как глянешь в окно — Тамерлановы кучи гальки, которые и зима полностью не смогла укрыть, и укрепленные на них траурные флаги и портреты уходили лучами за горизонт во все стороны. Словом, мы память вождю отдали по-сергеевски. У Сашки Бабина, потом я узнал, залп давали из «прощай, родина» — «сорокапятков», они не имели дульных тормозов, Прокофьев на свою шею присоветовал командиру залпировать момент погребения секретными тогда автоматами Калашникова. В результате гильзы сверхстройной отчетности искал в снегах несколько дней весь их стрелковый полк. Хочу попутно похвастаться: мы бы их не искали, у нас Саша Пейсахес с матерью (помните лейтенанта во второй новелле, что отморозил в сентябре уши? к нему единственному на Чукотке приехала позже его мать) настрочили до тысячи мешочков, которые крепились на автомат и таким образом улавливали гильзы. Вот бы разным рэкетирам и преступникам усвоить этот опыт — постреляли друг в друга, а медь потом сдали бы в ларек. Были, конечно, еще воинские части в армии, где ничем не стреляли, а просто в час погребения играла музыка. У нас он пришелся из-за поясного времени, когда загудели пароходы и паровоз, на блеклую, близкую к белым ночам ночь.

То есть если б можно было глянуть с каких-то высот на полуостров, картина была бы самая плюралистическая: брошенная в снега армия, полки — каждый поступал по своему разумению. Помню еще, как мы клялись перед приспущенным знаменем: «Клянемся тебе, товарищ Сталин...»; потом были минометные залпы, а потом мы молча разбрелись по баракам и шанхаям, которых благодаря стараниям Мая становилось все меньше и меньше. Помню и тревогу замполитов, они после преподавания «Биографии вождя» стали срочно искать биографию Маленкова. Считалось, что раз он стал Предсовнаркома, то теперь его и надо изучать. Но так и не на-

шли даже малой биографии Георгия Максимилиановича, а БСЭ в бухте Провидения отсутствовала. После разоблачения Берии помню и слова Утепова — наконец-то он получил майора, — что он давно подозревал в этом пенсне, в этой одутловатой физиономии англо-американского шпиона, все хотел написать куда следует, да все было как-то недосуг. Много чего помню... Где-то они все, мои однополчане? Майор Сергеев, у него во время команды «выстрел!» (команда «огонь!» — киношные выдумки) распахнулась шинель, и весь полк ахнул — орденов на кителе у майора было поболее, наверное, чем у вчерашнего Брежнева. И вообще в НСА не принято было нацеплять на грудь награды, в данном случае было исключение, приказ, и ведь только после похорон Сталина нам, зеленым, стало известно, что у нас в полку служили три Героя, и среди них ярый картежник Гершкович. А капитан Владимиров, зам Утепова, оказался полным кавалером ордена Славы, то есть начал воевать рядовым. А о Веритюге только тогда и узнал, что кроме двух орденов Богдана Хмельницкого имел он еще множество польских «орлов». Май бряцал двумя медалями, даже у чукчи Сорокина покачивался на цепочке «Ворошиловский стрелок». Сорокин легко бил влет пульей из карабина, как и Селедцов, стремительных бакланов.

Внук как-то недавно после фильма о Жукове спросил меня: «Дедушка, а у тебя есть ордена?» — «Нет». — «А почему?» Я молчал, не зная, что сказать. Может, и это тоже неплохо — прожить всю жизнь без единой награды?

12. ПУТЬ В ОТЕЧЕСТВО

Умер Сталин. Умер Берия. Вчера (22 апреля 1994 года) радио сообщило, что выходят воспоминания Серго Берии «Мой отец — Лаврентий Берия». Жуков после прозябания в заштатном Уральском округе и нелюбимом Одесском вновь стал подниматься по служебной лестнице, был назначен замом министра обороны. А летом 1953 года мы узнаём о его приказе, что вся наша 14-я Независимая северная армия вскоре, за малым исключением, будет отправлена на материк. Готовьтесь к отъезду, товарищи.

И тут началось разное. Мне начальник отдельного склада боеприпасов в самой бухте Провидения (он когда-то кончал наше училище, и мы иногда собирались, чтоб вспомнить общих наших знакомых) предложил с повышением по службе остаться в его части. На что я ему ответил: не могу этого сделать, потому что не могу более быть без Лидии. Он сказал: «Ну и дурак! Потерпи еще годочек, и ты заявишься к капитану Розову в кожаном пальто, распахнешь его, а там уже третья звездочка, я тебе ее гарантирую». Подполковник Бандюг знал мою мечту: доказать Розову, что и беспартийный может через честный труд быть уважаем родиной. И еще бухта Провидения с рестораном «Зеленый змей», магазинами, кинотеатром, а летом с приезжающими артистами была для нас, как для провинциалов — Москва, живи я в метрополии.

Вот такой я, дорогие читатели, и в самом деле был дурак. А вообще у милейшего Григория Никифоровича самое грубое слово по линии обзывания (таких людей немного среди военных — помните историю с «турками»?) было слово «дурак». Первый раз я его услышал от Бандюга в зиму первого года своей службы, когда он приехал ревизовать наш полковой склад боеприпасов и велел мне вызвать капитана Владимирова, ответственного за наши снаряды. Владимиров уже несколько дней не являлся на службу, и когда я пришел к нему домой, то он, как всегда, был подшофе, то есть в запое. И он приказал мне выпить с ним на каком-то там доньшке спирту, а потом доложить «ревизионисту», что он, капитан Владимиров, болен.

И я начал, с непривычки пошатываясь и приложив руку к задом наперед надетой шапке, выполнять согласно уставу последний приказ послед-

него начальника. «Оба вы дураки!» — сказал, увидя меня в новом состоянии, подполковник. На что я обиделся и вызвал его на дуэль, получив в ответ вместо согласия трое суток зимней губы. Эти полстакана разбавленного и еще опробование по долгу службы «родничка» — вот и все выпитое мною в те времена, и, конечно, начальник склада знал об этом — мы же, выпускники ЛАТУ, у него неоднократно собирались. Подполковник — из интеллигентов, до этого преподававший у нас в училище и по каким-то причинам оказавшийся на севере, — вознамерился и здесь, теперь уже вдали от Серого дома на Литейном, создать команду непьющих, безматюжных изобретателей. Как бы поставил перед собою задачу, но, увы, не заглядывая в прошлое («На Руси есть веселие пити») и через него в настоящее, — осуществить в конце концов несбыточную мечту всех жен и некоторых царей и генсеков.

Кое-кто, прослышав о моем отказе, смотрел на меня удивленно — подумаешь, любовь, — тот же оружейный техник Полубес ходил к Бандюгу и предлагал себя. Ведь после двух лет службы офицер не имел права выбирать географическую точку в остальном СССР. Моя же мечта была жить рядом с Лидией, на Карельском перешейке, защищать эти сосновые боры, болота и озера, недавно вошедшие согласно новгородским летописям в состав братских республик, от очередных посягательств белофиннов.

Другие перед отъездом, как помпотех Башилов, еще активнее включились в собирание неиспользованных консервов (нашего доппайка) по холостяцким общежитиям. Тогда я иронически усмехался, а теперь-то понимаю, почему такие офицеры (из бывших крестьян и про себя не верящие в колхозный строй) сняли шапки перед бушевавшим огнем и слушали, как рвутся, словно бомбы, накопленные за годы и промасленные соляжкой богатства. Их, этих тушенок, хватило бы им до сегодняшних дней. Но увы: барак, где они жили, вдруг загорелся перед самым расставанием «единичников» с Чукоткой.

Паша Василенко стал раздаривать свои сувениры — памятные медали. Он был бессребреник, увлеченный только женщинами. А один майор, оставшийся ради повышения по службе еще на один срок добровольно, как бы отрекшись на шесть лет от жены и сынишки на Большой земле (это сейчас можно по почте послать сперму, и жена нарожает тебе хоть двенадцать негрятят), чуть не застрелился, узнав с досрочным выводе НСА с полуострова, настолько велико было развито в нем честолюбие. Мало того что он был истейший русак, состоял в партии, как мог, пересиливая себя, лакействовал перед системой, но еще и должен был бесконечно барахтаться в снегах. Тяжелы же шапки советских мономахов.

Лишь один старлей не унывал. Когда из Тамерлановых куч гальки построили образцовую столовую, то на ее базе для всей армии решено было создать курсы поваров, и руководить ими прислали мобилизованного выпускника кулинарного техникума, но не Хазанова, а Игоря Соскина, который в духовном плане был знаменит не только тем, что нам, военнослужащим, зачем-то объяснял, в какой руке надо держать вилку и как обращаться с дамой, сидящей слева от тебя, но главным образом виртуозной игрой на балалайке. Мог играть все от Бетховена до Прокофьева и в дополнение — с подкидыванием до потолка инструмента — «камаринского мужика» в полном тексте. Он вел балалаечный кружок, думал, подзаработав копеек, создать струнный оркестр и мечтал после трех лет непрерывных тренировок поразить Москву.

Музыкант не мог, как и большинство из нас, под влиянием эйфории отъезда предположить простую истину. Все дело было в процедуре перевода, когда через два года жития на холоде полагалось писать рапорт о желании служить в том или ином округе и даже городе. Потом сия реляция уходила в Министерство обороны и далее после ее утверждения в конкретное место. Там начинали подыскивать равную кандидатуру, но бывали случаи, что тех, кто родился евреем, или других запятнанных не находи-

лось; тогда начиналась переписка, торг, в конце концов стороны договаривались. В основном честность соблюдалась, но только до 1953 года, и кадровики тут были ни при чем. Ибо коли не стало военной Чукотки, не стало и мест обмена «военнопленными», то есть всех нас по прибытии в метрополию должны были расписать по вакантным местам, уже без нашего согласия, по всей стране. И куда попал Соскин со своей балалайкой, чем отличился на новом месте службы кулинарист, мне неизвестно — мне ведомо, куда попаду я.

И может быть, вам интересно узнать, как повели себя Роза и Аза в преддверии отплытия, ведь они проработали в полку всего год. Сейчас бы я сказал плюралистически: Роза мечтала найти где-нибудь в горах Памира, подальше от ее славы, таджика-многоженца, чтобы отдохнуть от любви и заниматься только воспитанием детишек; Аза наоборот — хотя тоже мечтала, как и многие офицеры, о жизни на югах, — думала о работе по своей профессии в своем собственном коттедже, со своей прислугой-прачкой и почему-то только в Сухуми. Каково им всем там сегодня живется, если они во времена оны зацепились за Черное море?

Несколько позже Аза все же решила остаться в бухте Провидения, поработать на доверчивых туземцев еще год. После кинофильма «Девушка моей мечты» она любила себя воображать Марикой Рокк в мехах на обнаженных плечах. И еще ей казалось, что она имеет маловато сбережений — 80 тысяч, Роза имела половину этой суммы, а у меня на книжке было 15 тысяч рубликов. «От каждого по его способностям, каждому по его труду» — гласила одна из заповедей социализма, поэтому девушкам у нас в основном никто не завидовал, кроме немногих чукотских жен, среди которых была и моя старая знакомая, а нынче заведующая сберкассой в Уреликах Генриетта Викторовна. Муж-казначей, чтоб поменьше его супруге скучать, устроил ее на эту престижную работу. Уж почему она, отделенная от наших девушек пургой, недолюбливала профи, не знаю. Знаю только, что пополнить свои сбережения в центральной сберкассе бухты было очень и очень сложно — приходилось стоять неделями: ведь тысячи вкладчиков по причине неожиданной ликвидации армии ринулись снимать свои накопления. А потому Аза вообразила себе, что ненавистница такое ей может устроить при оформлении аккредитива, что потом на Большой земле намучаешься с получением денег.

Мне же стоять за моими кровными, несмотря на то, что я с ней тогда в бараке поступил непоследовательно, не пришлось. Она шепнула мне, чтоб я приходил к кассе в обед. Приоткрыв дверь, быстро втянула меня внутрь, но я в ожидании Лидии был стоек. Только подарил Генриетте флакон духов «Красная Москва» и букетик полевых крошечных цветочков из Гнилого угла. Она только вздохнула: «Мне никто еще здесь не дарил букета», быстро оформила документы, как покойника, поцеловала в лоб и, махнув рукой на прощание, открыла на все четыре стороны дверь.

А потом мы уплывали с Чукотки. Семейные на комфортабельном, с горячей — сколько хочешь — водой теплоходе-громадине под стать его прежнему владельцу Герингу, а мы на разных неустойчивых «либерти» — сварных, военной скороспелой постройки американских грузовозах. Нам, трим техникам, Сашкам и мне, досталась «Десна» водоизмещением в 18 тысяч тонн и с четырьмя трюмами. В центральном на нарах, оставшихся от перевозки недавних зеков, размещались мы и полк «катюш» (но я не помню, чтоб мы нахватили вшей), в трех остальных — боеприпасы. Я отвечал за патроны, Бабин — за реактивные снаряды, а Прокофьев — за минометные мины... И начало нашу консервную банку болтать, я поминутно выскакивал на корму и под завывание и вибрацию обнажавшегося на огромных волнах винта расставался и расставался с «коммунистическими» деликатесами Чукотки и все время твердил себе в передыхах, что как только у нас с Лидией будет сын, то приложу все силы, чтоб он не был моряком.

Так мы и ползли черепахой через непогоду и бури Тихого океана без остановок (Петропавловск-Камчатский из-за боеприпасов побоялся нас принять) двадцать дней. Через Берингово, Охотское и Японское моря, через пролив Лаперуза меж Сахалином и Хоккайдо, под шутиливый, но в то же время леденящий рев и вой пикирующих самолетов с американских баз в Японии, мы как раз расчленили стоящие на палубе «катуши», чтобы они малость обсохли в сравнительном затишье, в стереотрубу с насадкой видели их мыс Соя, весь застроенный уже тогда домами, и наши пустынные мысы Анива и Крильон, а потом встали на рейде бухты Золотой Рог во Владивостоке. И как ни пичкали нас всю сознательную жизнь шпионами-диверсантами, все бросились в город на водных трамвайчиках и тут же перепились. Мы, помню, купили помидоров, сколько могли унести, тазик кетовой икры, соответственно к закуске — диковинной «московской», поглазели на необычных женщин в легких платяцах (стоял ласковый дальневосточный сентябрь), на зеленые, до небес деревья, чтобы к вечеру стать как все на нашей отдыхающей посудине.

Несколько дней гомонил никем не охраняемый корабль, и ничего — обошлось. Потом высадился на борт комендантский взвод, личный состав «катушиного» полка отправили в промежуточные казармы на Второй речке, в машинном отделении что-то заклокотало, и мы трое под водительством капитана парохода поплыли-пошли куда-то далее. Оказалось, что у нас есть еще одна прекрасная орехово-виноградная бухта на крайнем юге Дальнего Востока под названием Посъет

Тут мы и стали сдавать наши боеприпасы представителям материковых складов. Распечатали мой трюм и ахнули: ящики от качки развалились и все бронебойные, трассирующие, зажигательные и прочие патроны перемешались. Как ничего не воспламенилось, не проткнуло бронебойными головками пласти ржавчины в обшивке суденышка, не взорвалось (у Сашков со снарядами случилось то же самое) — уму непостижимо! И скоро складская команда осторожно, специально затупленными совковыми лопатами стала ссыпать адскую смесь в картофельные мешки и легонечко выволакивать на свет божий. К счастью, сверхсекретные тогда патроны к автоматам Калашникова в особой прочности опечатанных ящиках сохранились в целости, а то плыть бы мне на этих нарах обратно.

Вот, пожалуй, и все о дульных тормозах. Если же читатель захочет узнать о моей дальнейшей службе за Ворошиловом-Уссурийским на границе с Китаем, о встрече с Лидией, о том, как мы под приглядом снова осмелевших смершев и Москвы вновь стали как один нерентабельными, об оригинальной ловле огромных сазанов на реке Суйфун и о моем братании с природой, которая в трудные минуты всегда меня спасала, о том, как после нескольких выпусков самиздатской газеты «Холостяк» меня судили судом офицерской чести, расжаловали до младшего лейтенанта, а потом демобилизовали и так далее, агитируйте редакцию «Нового мира».

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...

Вместо эпилога

На Чукотке мы не только пили чай с птифурами, закусывали «родничок» корнишонами — хотелось еще, особенно когда ты был сыт, духовности. Однажды — не догадаетесь ни за что — для стенгазеты «Гнилой угол», где я был, напомним, редактором, принес слова песенки и просил об инкогнито депутат, член военного совета нашей армии, Герой Советского Союза, наш батя полковник Логвиненко. Сейчас бы я не удивился, за последние годы стало известно, что и Сталин, и Брежнев, и Лукьянов писали и пишут стихи, а тогда — живая партизанская легенда, стальной человек и вдруг: «Жарят, жарят корюшку северные корешки...» — а мелодию к тексту подобрал на гитаре Саша Сацкий. Опять скажете «Сашки», но куда от них де-

нешься, если он позже окончит ВГИК и по его сценарию будет поставлен фильм «В бой идут одни старики». Несли и еще в стенгазету стихи и рассказы, очерки и карикатуры, запомнилась песня Сережи Минутина «Ахоевое кружево» про снег. Как-то на меня Веритюг потопал валенками — я на весенних учениях помог Прокофьеву в момент стрельб по фанерным танкам исправить «сорокапятку», и они в соцсоревновании полков обогнали нас; тут же в газете появился по этому поводу рисунок — смеялись все, в том числе и Казимир. Удивительная терпимость, которой позже на материке никогда я не встречу, господствовала на северах. Тащит, к примеру, военнослужащий чукчу за угол барака, а тот кричит: «Я сáмец, я сáмец!» — и солдат, приглядевшись к нему, его тут же отпускает. Или наоборот, абориген тянет замызанную, вылезшую из шанхайской норы женку, и она уже кричит подобное, и тот ее тоже отпускает. То есть первые анекдоты о туземцах рождались у нас в Гнилом углу.

Любили очень слушать пластинки лирические, начиная от Вертинского, Шульженко, Бернеса и кончая опальными тогда Руслановой и Козиным. Любили, подвыпив, сбиваться в хоры, особенно по душе были украинские песни: «Ой ты доля-доля, скоро ль мы поедем по домам?» Однажды слух прошел, что к нам прибывает сам Геловани. Конечно, ему было не до дальних окраин, вместо него приплыл сахалинский театр с «Ревизором», но сколько волнений и ожиданий было в преддверии явления человека, который в фильмах играет самого Сталина и, наверное, не раз видел великого вождя.

Если читательская конференция по книге Бубеннова «Белая береза» про лакированного солдата военных лет провалилась, на нее просто никто не пришел, то опальную повесть Зоценко «Перед восходом солнца» обсуждали активно. Разные высказывались мнения, но это и была в отличие от Большой земли наша многообразная жизнь. Шевелили только мозгами, к чему служба в НСА и располагала. Стояли на полках полковой библиотеки — умей ориентироваться — северные повести Джека Лондона, Толстой и Горький, их разные «Детства», а вот Маяковский мне по душе пришелся не сразу. Свесив ноги с нар, я сначала выучил четыре главы «Евгения Онегина», а потом постепенно, выборочно полюбил и Владимира Владимировича.

Позже, уже в Дальневосточном военном округе, за строчку «Шаблон про колхоз, про Донбасс, про войну — ставим писателям это в вину» меня призовут в другой самиздатской газете, «Холостяк», к ответственности (а я вообразил, что и в метрополи все дозволено). Спорили, и очень даже горячо, разбившись на две группы, о приоритетах в самолето- и паровозостроении (Можайский — Райты, Черепановы — Стефенсон), в тракторах и парашютах (Блинов и Котельников, не помню уже иноземных изобретателей), но все это делалось не как позже на материке, да и сегодня тоже, чуть ли не через автоматные очереди, а доброжелательно, спокойно. Западники вдруг могли перейти в лагерь противный и наоборот, но не было тогда кличек типа «патриот», «красно-коричневый», «демократ», хотя стихов, будто готовящих нас к нынешним дням («а сало русское едят» или «кого вдохновляют не наши поэты, а лишь зарубежные авторитеты, перед которыми и лебезит вышешоженный космополит»), хватало.

И как-то само собою спор о том, кто открыл полюс, Папанин со товарищи или какие-то там Пири — Куки, превратился постепенно то ли в мечту, то ли в некое соревнование.

Забросив на время игральные карты и шахматы, в полку увлеклись проектами достижения северной оси, она была так близка от нас. Одни собирались достичь ее на собаках, другие на лыжах, третьи хотели тянуть нарты сами. Кто-то рисовал парусные буера. Все эти идеи сегодня воплощены в жизнь интернационалистами земного шара от японца-одиночки Уэмуры до русской группы Шпаро. Но один проект Саши Пейсахеса мне долго не давал покоя и на материке. Позже он воплотился в более реальную мечту: Северный полюс я заменяю Русским озером в центре огромно-

го, 30 на 40 километров, труднопроходимого Рдейского болота на стыке трех областей в Нечерноземье. Ну а тогда, признав Сашин проект лучшим, мы все принялись его разрабатывать. Саша, ну тот самый лейтенантик, что отморозил уши в сентябре, предложил достигнуть желанной точки через терпение и в чем-то отталкиваясь от вмерзшего в лед и дрейфующего в нужную сторону нансенского «Фрама» (перевод с норвежского на чукотский язык «поть-поть» — «вперед-вперед»). Он развернул перед нами карту течений в Ледовитом океане и убедительно доказал (тогда еще про «СП-2» и «СП-3» мы ничего не знали, так как они были засекречены), что если на подходящей льдине против мыса Чаплина или Дежнева построить селедцовское иглу (Селедцов к тому времени научился делать их двойными: чтоб не капало с потолка, как в бане, ставил внутри снежного дома палатку) и питаться в ней рыбой и моржами-тюленями, а на топливо пойдет их жир, то можно в конце концов без особых трудностей достичь годиков через сколько-то Северного полюса. А если кончатся патроны, пусть Сорокин научит нас, как когда-то его деды охотились, добывать протеин гарпунами. Словом, плыть-дрейфовать автономно и ни от кого не зависеть, хотя бы на первых порах, до острова Врангеля. Там отдохнуть, может, наши любимые к нам присоединятся, и, когда адаптируются, можно будет тронуться и дальше. Главное, во всем терпение — такова была доктрина Пейсахеса. Где он, председатель этого Ноева ковчега современности, сегодня? Я знаю, что после холодов он поселился в городе Пушкино под Ленинградом, в таком случае привет ему от новгородца, и может быть, кто-то в наши тревожные дни воспользуется его советами. Ведь надо же в преддверии новых чернобыльских апокалипсисов на всякий случай создавать генетический банк человечества. На севере у нас — по-пейсаховски, на югах, в горах Гималаях, — по Рериху с его Шамбалой, в пустынях Сахарах — через кочевников-арабов. К тому времени как стронций распадется в безвредные элементы таблицы Менделеева, этак веков через двести — триста, глядишь, туземцев опять вынесет на Чукотку, и мы снова, укрепленные тихим Севером, начнем размножаться, чтоб потом обогнавшие в развитии купцы снова и снова начали спаивать нас, ну и так далее.

Мечты, мечты... дальние, а вот послушайте про ближние проекты, более конкретные — как обойтись без ковчегов и грядущих атомных катаклизмов по нашей новгородской линии, а уж другие пусть думают в своих регионах. Я уже упоминал про Рдейскую пустынь, на ней расположены многочисленные острова — недоработка ледникового периода; на островах до войны струились дымами деревни, деревеньки и даже крупные, как Ратча, села на 400 дворов. Но после того как через Рдейскую чисть прошел колхозный строй, она и в самом деле стала соответствовать своему наименованию.

Зеленая молодежь, которая вряд ли воспримет нижеизложенное, как и мы когда-то, сначала должна обжечься, а потом уже сделать выводы, но, может, хоть капелька моего стариковского опыта застрянет в их головах, иначе и движения в мире не будет. Так вот она должна знать мое мнение, что всегда побеждал не просто народ, а организаторы и вдохновители племени, скопа, толпы, массы. Они, македонские, рюрики, наполеоны, сталины, если появлялись вовремя и семена их падали в созревшую почву, то взаимный симбиоз вел к очередным «победам» — катаклизмам. Вспомним хотя бы в первую мировую войну противостояние Николая II и Государственной думы, государь не сумел ее распустить, как позже сделали большевики с Учредительным собранием («Караул устал!»), то есть в трудные для страны моменты — или, как сегодня, в переходный период — отсутствие единоначалия приводит к тяжким последствиям. А может, и не так? Может, я не прав? Может, президент не хочет неизбежных при тоталитаризме репрессий? Новой крови? Просто частое повторение на одном веку побоищ приведет к исчезновению нации, ее распаду, растворению, хотя бы под натиском молота и наковальни (Япония — Корея, Китай — Запад). Да еще должны помнить о прогрессирующих вооружениях. Тогда кто же сегодня наш вождь и вдохновитель? Часть публики, как всегда, как тыся-

чу лет назад при том же Рюрике, проголосовала за Жириновского, не понимая, что традиционная постановка вопроса неприемлема в век атома, что нынче — не без помощи Ельцина и его команды — мне думается, вырчит нас другой симбиоз: свободный рынок — народ.

Но продолжаю дальше. О болоте. Как с остальными жихарями России быть? Может, читатель, рассматривая карту Рдейщины, поможет мне это сделать? Для себя лично я уже выбрал Межник, там у меня выкопана землянка¹², а вот остальных властителей дум, собравшись в селении Тройка, мы давайте распределять сообща (не поленись только глянуть на карту, она напечатана в «Юности»/1991, № 3/). Кого бы вы приговорили к Потаковнику, островку, что расположен недалеко от Гривы? На ней когда-то срубил себе изобку Васильюшко, так сказать, Сергей Радонежский районного масштаба. К нему, переплыв озерный переузок, ходили за исповедальной беседой паломники Рдейской обители, и, вероятно, были среди них не только те из иерархов, кто печаловался за обиженных сильными мира сего, но и оправдывавшие их действия, потакавшие им. И может быть, кто-то из последних, раскаявшись, в отличие от недавних властителей, селился на этой безлесной, продуваемой ветрами сопке. Но говорят, все же большинство скоро сбегало оттуда на соседний березово-сосновый, с родничком у подножия островок Радостный, а то и на Явлинку, окруженную белопенным цветением морошки весной и янтарным ее сверканием летом, лучшим средством от запоев или мешков под глазами, то есть болезней печени и почек.

А вот на севере края, между Хрущевиком и Андроновом, пустует на сегодня группа островов под названием Марксистский архипелаг. Там в 20-х годах пыталась организоваться коммуна, отсюда и название пошло, ну а кем бы его заселить сегодня, подсказки не требуется. А если все же у них возникнут трения, то земель на Моховщине пустующих достаточно. Хотя бы на берегу Роговского озера — холмик Две Титьки, да и других сексуально озабоченных, я думаю, он может привлечь. Или Красный Бор. Кстати, Боров Малых и Больших, Боровиков, Боровичей в крае тоже очень много, есть даже очень рыбное озеро Боровское, то есть не только в деревне Рыбкино, но и на его грибных берегах могли бы селиться некоторые руководители нашего переходного периода. А кто еще силен, владеет топором (ведь согласно биографиям большинство из нас рабоче-крестьянские дети), для них есть острова с сохранившимися фундаментами: Луковцы, Лукьяново, Рыжково, Язвы, Андроновое, Ионовое, Павлово, Пузаниха. Вглядитесь сами в названия и пофантазируйте: если бы вы были волшебниками, кого бы вы назвали, кроме себя, естественно, на перевоспитание в Рдейскую чисть? В деревню Никулино? В две деревеньки Шилово и одну Глазуниху? В Михалково Моховище? В Серки, Серяки, Есино, Суслово Первое, Тугино, Малые Старики, Подсобляево, в Фелистово, Соколово, Рябово, Махново, Паству, Козьи Горбы и так далее и тому подобное? Не полнитесь, возьмите в библиотеке журнал. Вот есть, к примеру, остров Дуб, крошечный и сырой, на нем и в самом деле растет огромный дуб (у меня есть фотографии этих островов), и я как-то коротал в его развилках ночь. Пусть на нем теперь селится какой-нибудь бородатый Соловей-разбойник, пугает свистом только наивных лягушат, или пусть лютует на безлюдной речке Лютой. И в конце концов, не только надо надеяться на полярные льды, а в разных точках планеты (тем более болото с его мхами-сфагнумами очень быстро поглощает рентгены) стоило бы создавать резервные банки лучших человечков. Ну а если ты холостяк, выдающийся холостяк, на Межнике остались ледники, где когда-то хранилось топленое русское масло, — почему бы их не заполнить трехлитровыми банками со спермой?

Есть еще на болоте симпатичная, вся в яблонях деревенька Яковлево и тихое, какое-то таинственное, но плотно сбитое староверское сельцо Гро-

¹² «Большие Свороты» очерки «Житие на острове Межник» (Советский писатель» 1991).

мово, в него я не люблю заходить. А вот уже забытые, но вчера гремевшие названия, от них остались только развалины: Нишаново, Медыново, Вороново, Щелоки. На очереди — как все быстро течет и изменяется — Власово, Кузмичи, Макарово, и потому вся надежда на переселенцев. К сожалению, в уже упоминавшемся номере «Юности» с картой Рдейского края вычеркнули (оставив остров Горбач в неприкосновенности, там у меня вырыта вторая землянка и стоит на Хлавице закол на окуньков) мою любимую дернину Крючок, плавающий островок на озере Островистом (куда ветер дует, к тому берегу он и прислоняется, с него очень удобно ставить на шук жерлицы). Но и журнал, нацеленный на выживание, понять можно, карта печаталась еще до первого путча. Да и сегодня я не обижусь на редакцию, если она процензурирует известную арию, мало ли кто завтра будет на вершине государственной пирамиды: «Не счесть жемчужин в море голубом, в далекой Индии — стране чудес». Ну а сейчас бы я — не знаю, как вы, — посоветовал «богатому гостю», невесть откуда свалившемуся на наш весь в сурепках суглинок, вместо того чтобы засеять его семенами вражды, заняться добычей речного перламутра на речке Редье при поселении Жемчугово.

Помню, как от этой деревни мы с лучшим новеллистом страны, к сожалению, рано умершим, Юрием Павловичем Казаковым пробирались к заброшенному Рдейскому монастырю, места его ночевки у меня отмечены на карте, готов желающим шестидесятиникам показать их, может, даже какую-то памятную доску закрепим мы в той избушке при озере Страчино, где ночевал писатель. К сожалению, его мало помнят у нас в России. Его полные собрания сочинений издавались только за границей, да и золотую медаль Данте он получил в Италии.

А чтобы нам, отягощенным грузом прошлых лет, легче было добираться до озер и островов, предлагаю прокопать от Наволока до обители прямую водную канаву или, если ничего не получится у нас с шахрайскими субботниками, скинуться на болотный экскаватор с уширенными гусеницами, чтоб потом пустить по ней юркие «казанки-прогрессы», а когда с бензином станет совсем плохо, парусные ладьи. Или еще проще — попросить бобров сделать на речке Редье две-три плотины с волоками по десятиметровым каткам и от Лопастина, чтоб не вязнуть в трясинах, кому на байдарке, кому вплавь (я видел по ТВ, руководящие москвичи даже проруби прекрасно освоили) добираться вперед до рдейских озер, где постоять кто сколько пожелает перед иконостасом монастыря, а там недалеко и наш «Северный полюс» — Русское озеро. И когда мы все от шестнадцати и старше, а не только вышестоящий скоп, омоем ноги в его водах, а не в каких-то там океанах, тогда и можно будет говорить о настоящем согласии.

Прошу извинить, читатель, что меня занесло куда-то вбок от «Дульных тормозов», а может, и не совсем вбок: я встретил в деревне Бабино — кого бы вы думали? Конечно, угадали — Сашку Бабина, он все такой же, хоть и пенсионный, но кряж, все так же не чурается чарочки, его после службы в НСА и в ДальВО, как и меня, демобилизовала хрущевская оттепель. Какой же крошечный наш земной шарик, если всюду встречаются знакомые, ну а Сашок вернулся в свою Рдейскую чисть — она же из ряда верховых болот моховой шапкой вздымается над окружающей местностью, и отсюда текут на все четыре стороны света (см. карту) реки — да и осел тут навечно. А посему прошу, как говорил Спиноза, «не плакать, не смеяться, а понимать».



ЭЛЬМИРА КОТЛЯР

*

ПРОСТЫЕ ПЕСНИ

* *
*

Я нынешний день
прожила в такой тишине,
что казалось, Божий голос
слышится мне.
Я обращалась к Богу
и чувствовала,
что, ухо преклоня,
Он слушает меня.
Казалось, в Божьем присутствии
я жила.
Мыла посуду,
собирала крошки со стола...
А Он был рядом со мной,
как свет дневной!

* *
*

Мне сегодня в церкви
была дана такая благодать
и Божия милость,
как будто душа моя
с Небом соединилась!
Иконы вокруг воссияли
и в воздухе стояли.
Как будто с горы Фавора
доносилось пение хора.
Священник в белой ризе —
с ангелом схожий
посланец Божий —
держал Евангелие над головой...
И в храме был Бог живой!

* *
*

Пресвятая Богородица Покрова!
Я запомнила с утра,
что нынче день Твоего торжества,
праздник святой,
и занялась суетой!

Скарб свой перебирала,
чинила старое одеяло,
возилась у плиты
до темноты.
Стряпала да шила,
а праздник-то Твой святой
и проворонила за суетой!

* *
*

Боже!
Душа моя, как ребенок,
потерявший мать,
не перестает к Тебе взывать!
Как стоящий над пропастью
на скале,
в ночной непроглядной мгле.
Душа моя —
как алчущий, голодный
в пустыне безводной!
Душа моя ищет Тебя,
как слепец убогий,
бредущий с палкою
по краю дороги!
Господи!
Неужели Тебя нет?
Верни мне свет!

* *
*

Мамы нет!
Затмился белый свет.
Нет моей милой спутницы,
нет моей заступницы.
Нет моей жалельщицы,
нет моей болельщицы.
Нет моей советчицы,
за меня перед Богом ответчицы.
Нет моей печальницы,
нет моей начальницы!

* *
*

Все вокруг безмолвно
мамой полно!
Вот она на кухне моет посуду.
Она повсюду.
Как будто вчера его надевала,
висит халат.
Сколько на нем
ею нашитых заплат!
Вот она медленно на костылях
ходит за стеной.
Мне спокойно, она со мной!
Вот она пишет что-то
в заветной тетради
воспоминаний ради.

Или со мной перемолвится словом,
ласковым, несуровым.
Вот она по утрам
расчесывает волосы,
которые были когда-то так густы...
И вот я на могильной грядке
сажаю цветы!

* *
*

Вчера я была
на грани бытия,
а сегодня — исцеленье!
Все возможно по Божьему соизволенью.
Вчера Ангел смерти витал надо мной,
а сегодня я вернулась в мир земной.
Вчера я хрипела, как старая шарманка,
и была совсем слаба,
а сегодня встала на ноги, Божья раба.
Вчера из своего угла
я на мир глядеть не могла.
А сегодня надо всею суетой
мир сияет снежной красотой!

* *
*

Так вот она какая,
радость Господня!
Я испытала ее сегодня!
От радости засияло
скудное больничное одеяло.
Боже мой!
Все мое тело
от радости пело!
Я сидела в пустой палате,
улыбаясь Божьей благодати.
Боялась пошевелиться,
чтобы радость моя продолжала длиться!

* *
*

Я воскресла!
Прощай, больничное кресло!
Прощай, больничная кровать,
буду тебя забывать!
За окном февраль.
Солнце чуть пригревает,
но тепло уже прибывает.
А я и не чаяла,
что выберусь из беды,
напьюсь весенней живой воды!



Ю. КАГРАМАНОВ

*

ИМПЕРИЯ И ОЙКУМЕНА

С развалом страны, известной под псевдонимом СССР (и распадом «новой исторической общности», как она именовалась на новоязе — «советского народа»), бывших советских людей от этих искусственных, хоть и ставших привычными терминов потянуло к каким-то другим — общепонятным, «человеческим». Так само собою всплыло слово «империя». Хотя французы говорят, что название не делает вещи, это не совсем так; и уж во всяком случае, оно (слово) помогает объяснить вещь, указывая на связь ее с другими вещами. Назвавшись груздем, надо лезть в кузов. Называя Россию империей, мы обнаружили в этом понятии сложное плетение смысловых нитей, обязывающее нас рассмотреть его в контексте мировой истории, равно как и мировой культуры. Это позволит избежать, с одной стороны, поверхностных оценочных суждений типа «империя — тюрьма народов», а с другой — чисто прагматического понимания империи как «нормального» политического образования, основанного на простом «расчете сил».

Одновременно со словом «империя» в наш обиход вошло другое, вроде бы нейтральное слово — «Евразия». СССР был Евразией, но и Россия остается Евразией — это просто констатация из области географии. Не забудем, однако, что термин «Евразия» взят из рук евразийцев 20 — 30-х годов, для которых он был не просто термином географическим, но насыщенно идеологическим. В нем аккумулирован «азиатский соблазн», принесший России и связанным с нею странам немало зла и до сих пор еще окончательно не изжитый. Для всеобщего употребления он годен только в чисто географическом, очищенном от идеологических значений смысле. Что же касается евразийства как идеологии, то от него сейчас как раз надо избавляться, преодолевая остаточную силу его воздействия на умы и души.

На кострище

Казалось бы, что тут преодолевать, если самих евразийцев, насколько я знаю, у нас никогда последовательно и полно не печатали? Правда, мы сейчас столкнулись с фактом позднего и довольно обильного плодоношения евразийского древа: я имею в виду труды Л. Н. Гумилева. Но сколько-нибудь сильных соратников у него вроде бы нет, а один, как известно, в поле не воин, даже если это Гумилев.

Преодолевать надо тот уклон или выверт мироощущения, по отношению к которому теоретическое евразийство было скорее вторичным явлением, эпифеноменом, говоря по-научному. Этот уклон, еще прежде евразийства, нашел отражение в «Скифах» Блока, гениально угадвшего смысл, или, по крайней мере, один из смыслов, надвигающейся катастрофы, скрытой за политико-экономическими контрверсами, европейски пристойными на вид: назревал исторический «реванш» азиатского, «степного» начала в составе русского духа, некогда оттесненного и обузданного. Но Блок не просто угадал, куда дует ветер, но и приветствовал «свободную стихию». Что, в общем, соответствовало его установке по отношению к истории, переданной в известных строках: «И темный времени полет / Следить». Следить, а не судить! И в этом аспекте тоже он предвосхитил евразийцев, замороженных течением событий в России начиная с семнадцатого года.

Однажды я уже попытался показать (в «Дружбе народов», № 9 за 1992 год), что идеал евразийства есть, по сути, респектабельный двойник того режима, который установавился в России при Сталине. Как всякий идеал, он достаточно далек от «свинцовых» (зачастую без кавычек) реальностей. Но в то же время он более адекватно отражает реальности, чем официальная идеология режима, связанная преемством с революционной эпохой. Евразийство выговаривает то, что режим лишь невнятно бормочет, и то, что он держит в области «задних мыслей», и то, чему следует бессознательно, а именно: что имперское государственничество должно быть поставлено во главу угла, что внешнее могущество стоит многих жертв, что внутри страны власть должна быть сильной, что племенное единодушие, а не парламентское вотирование есть истинное выражение демократии, что модель орды, наконец, ближе русским людям, чем западные институты.

Если понятие «империя» генетически восходит к Риму, то термин «евразийство» обозначает явление, которое на общепонятном языке называется варварством (евразийцы были на свой лад имперцами, но ведь и варвары сначала боролись с Римом, а разрушив его, приняли его за образец для подражания). Русская революция, знаменовавшая собою мощные выплески внутренне-го варварства, не была в этом отношении столь уж оригинальной.

Другая «великая» революция, послужившая ей образцом, французская, во многих аспектах тоже означала «регрессию к варварству» (Ф. Фюре) — этот факт французская историческая наука долгое время пыталась замолчать (за отдельными, но зато блестящими исключениями вроде Токвиля и Тэна), и лишь в последний десяток-другой лет он стал широко признан. Своеобразие нашей «регрессии к варварству» придает географический вектор: Россия открыта в сторону Азии, поэтому варварство внутреннее сопрягается у нас с внешним, с незапамятных времен исходившим из глубин азиатских степей.

Символично двойное назначение Белогорской крепости в «Капитанской дочке» Пушкина: призванная защищать империю от кочевников (впрочем, также служить и базой для дальнейшего продвижения в глубь степей), она должна выполнить ту же функцию и по отношению к плавно сменившим их и отчасти смешавшимся с ними пугачевцам.

В корчах революции отозвалось буйство Дикой степи, в пореволюционном устройстве — ее вечное убожество. Вдали от Большого театра жизнь сведена к ее элементарным составляющим, к «простому, как мычание»; согнанные с места, как во времена великого переселения народов, утратившие привычные ориентиры массы людей — те же «пески, мучимые ветром» (если воспользоваться образом А. Платонова), неведомо откуда взявшимся. Евразийцы не просто мирились с таким положением вещей, но и приветствовали его «звонном щита» (что было бы естественно, если бы сами они выросли в юртах и саклях; а так как в действительности все они принадлежали по рождению и воспитанию к культурной верхушке, то остается предположить, что источником их энтузиазма был ницшеанский *amor fati*, «любовь к судьбе», поддержанная инерцией старого интеллигентского народолюбия).

Рисую «серым по серому», евразийство представило сдвиг в сторону Азии как возвращение в «родной дом», в естественные будто бы для России условия существования. В этом оно резко разошлось с дореволюционной традицией, которую за редким исключением разделяли все культурные русские люди, — считать Россию частью Европы, пусть и очень своеобразной (примечательно, что уже в наше время Гумилев, выстраивая свою концепцию, опирался не на дореволюционных историков, а почти исключительно на советских). В самом деле, смотреть ли на русский народ «снизу», с точки зрения расовой, этнической, или «сверху», с точки зрения религиозной и культурной, — по всем основным признакам он должен быть отнесен к европейским народам. Конечно, нельзя не учитывать того, что русский народ и его азиатские соседи веками «терлись» друг о друга, чем-то, естественно, друг друга заражая. Еще важнее, наверное, последствия татаро-монгольского ига: Орда, как теперь ясно, отбросила тень на всю российскую историю; это мы сейчас, на исходе XX века, ощущаем особенно остро: семь долгих десятилетий ночевала она в русской душе, оставив после себя сплошное черное кострище. И все-таки азиатские влияния не были и не могут быть определяющими. Выросшее в борьбе с Ор-

дой Московское государство идеологически оформилось как «третий Рим», тем самым четко обозначив свое родословие. Еще больше Московия подалась в сторону Запада, прорубив «окно в Европу» и вернув земли, некогда входившие в состав Киевской Руси (и прихватив кое-что сверх того). В споре за русскую душу между Римом и Сараем явный перевес был на стороне Рима. И если нужны были дополнительные тому подтверждения, то их дал пышный расцвет в XIX — начале XX века высокой отечественной культуры, чьи ветви тесно переплелись с ветвями культуры европейской.

Попятное движение «в сторону Орды» было подготовлено расшатанностью духовной вертикали, силою которой, худо-бедно, держалась Российская империя. Евразийцы попытались осмыслить этот процесс с тем, чтобы его оправдать и по возможности «облегчить». Так, они попытались снизить православие до уровня бытовой религии. Они объявили исторической ошибкой чрезмерную якобы податливость русских церковных кругов в отношении «экзотерического императива идей», что вело к «схоластической интеллектуализации» и отрыву от быта. На самом-то деле все было как раз наоборот: именно интеллектуализации недоставало православию, чересчур привязанному к быту. Слишком «экзотерической», на взгляд евразийцев, была и русская культура. И в этом плане они ставили задачей творческое усвоение «примитивов русского бытия», что означало, если обойтись без эвфемизмов, сползание к варварству.

Призрак Чингисхана явился, когда религиозное было подменено «религиозно-эмпирическим», за что ратовал (развивая общую для евразийцев точку зрения) П. П. Сувчинский. Тогда пригодилась и политическая «культура» Дикой степи с ее изначальным выбором между военной демократией и деспотизмом (и чем была наша пореволюционная история как не движением от военной демократии к деспотизму?).

Линия крайнего «восточничества» в рамках евразийства была продолжена Гумилевым, для которого православие — «символ этнического самоутверждения», «явление культуры», не более того. Духовную жизнь Гумилев подменил изобретенной им пассионарностью: она определяет уровень страстности, энтузиазма, но ничего не говорит ни об их качестве, ни о предметах, на которые они направлены. Источник пассионарности — этнос, который периодически излучает некую энергию биохимического происхождения, отчего возникают «толчки пассионарности». Это чисто сциентистский и грубоматериалистический взгляд на вещи. Этнос есть почва, которая нуждается в осеменении ее духом; в противном случае она зарастает бурьяном. Разумеется, качество почвы чрезвычайно важно (на каменистой почве не вырастает ничего, какими бы ни были семена). И все-таки первичен — дух. Конкретно на Руси семена христианства и средиземноморской культуры нашли благодатную почву, давшую всходы (в части культуры — с некоторым запозданием), поставившие русский народ в число великих народов земли; но что значила бы почва без семян?

История в изображении Гумилева наводит тоску: это дурная бесконечность событий, замкнутых в одном и том же кругу природных пульсаций. В ней нет «последнего смысла» и потому нет творческого приращения, преобразующего движения вверх. Напротив, легко совершаются откаты назад и вниз — к натуральному порядку вещей, к «тому же самому», о котором вечно шепчут ветры, дующие из азиатских глубин.

Евразийство объективно отразило исторический факт: Россия «отяжелела» психологически, материя, во всех ее модальностях, утверждала себя за счет духа, дав тем самым толчок распространению разного рода детерминизмов — экономического, географического, этнического, — утверждавших первенство голода, или «этнической энергии», или каких-то иных «законов». Разумеется, процесс этот начался задолго до революции. Катастрофа семнадцатого года резко ускорила его и направила в русло государственничества «нового типа» — прогрессивного по форме (не заключаю слово «прогрессивного» в кавычки, потому что в некоторых областях, особенно в области военно-технического строительства, прогресс действительно имел место) и глубоко регрессивного по содержанию.

Что такое «круги своя»

Преодоление евразийства есть выход из «замкнутого круга» (формула одного из лидеров евразийства, П. Н. Савицкого) западно-восточного, довлеющего себе варварства и возвращение «на круги своя», то есть в Европу. Пусть выражение «круги своя» в данном случае означает некую открытую конфигурацию, переплетение кривых линий, местами напоминающих круги, но в целом вытянутых в определенном направлении, — графический образ истории, которая подвигается вперед кружа и кружит, продвигаясь вперед.

Что история питает неистребимую склонность к круговращениям, а следовательно, к попятным движениям, люди знали или чувствовали давным-давно. Но это старое знание не было «затребовано» в Европе нового времени, уверовавшей в однолинейное поступательное восхождение — ко все более разумной и материально устроенной цивилизации. Понадобился гений Освальда Шпенглера, чтобы «хорошо забытая» теория циклов была восстановлена в своих правах. И понадобилась первая мировая война со всеми ее неисчислимыми последствиями (включая сюда и русскую революцию), чтобы голос Шпенглера был услышан. «Закат Европы» произвел огромное впечатление на современников: мысль о том, что европейская цивилизация подобно любой другой, пройдя стадии рождения и созревания, вступила в стадию старения и что впереди ее ждет смерть, потрясала самые основы европейского мироощущения.

Выводы Шпенглера были не только скорбными — они были оскорбительными для всего того комплекса умонастроений, который зовется прогрессизмом. Но отвергая плоский, рациональный оптимизм, выразившийся в теории прогресса, Шпенглер отверг самую идею общечеловеческого — линейного, ведущего от начала истории к ее концу, — пути, которую вызывало к жизни христианство и которую по-своему претворила, сильно ее исказив, теория прогресса. У Шпенглера было преимущественно культурологическое понимание исторического процесса; ему не хватало интуиции единства истории, устремленной к сверхвременному смыслу.

Этот недостаток сумел преодолеть второй крупнейший западный историософ XX века — Арнолд Тойнби. Он тоже начинал как «циклист», отчасти под влиянием Шпенглера: в его интерпретации мировая история представила собою череду «локальных» цивилизаций (отождествленных им с культурой), сменяющих друг друга во времени или сосуществующих параллельно. Но в свой зрелый период (примерно со второй половины 30-х годов) Тойнби открывает другую сторону медали: мировая история есть также единый процесс. Таковую она выглядит прежде всего с религиозной точки зрения. Тойнби находит замечательно точный образ: по своей глубинной, религиозной сути история есть колесница, восходящая к Небу, колесами которой служат цивилизации. «Дело представляется таким образом, — пишет Тойнби, — что цивилизации могут совершать круговые и возвратные движения, а в то же время колесница продолжает свое линейное восхождение»¹.

Но есть и сила земного порядка, которая согласно Тойнби хотя и не может воспрепятствовать возвратным движениям, тем не менее в значительной мере смягчает их негативные последствия, — это «универсальное государство» (империя). Оно облегчает сохранение хотя бы некоторых культурных традиций, кумулятивное развитие науки и техники и т. д. «Универсальное государство» противостоит варварству; последнее есть, в свою очередь, явление, повторяющееся в истории, а отнюдь не только феномен греко-римского мира. Поэтому и «варварство XX века» для Тойнби не метафора, но достаточно точное типологическое обозначение. (О возвращении варварства писал и Шпенглер в поздней книге «Годы решений»: скованное на протяжении столетий формами высоких культур, варварство, ничем не лучше доисторического, вновь вырывается на свободу.)

В ареале Средиземноморья, «родины культов и культур», «универсальное государство» — это, конечно, Римская империя. В ее лоне зародилась и распространилась христианская религия, сначала как гонимая, а потом как официально признанная; уже по этой причине Тойнби считает ее уникальным явлением в истории.

¹ Toynbee A. Christianity and Civilization. London. 1940, p. 24

Тойнби, на мой взгляд, — вершина западной историософии в XX веке; в частности, потому, что он сумел уравновесить два равно необходимых взгляда на историю — линейный и циклический (другое дело, что в деталях к нему могут быть предъявлены претензии самого разного рода). Никакая цивилизация не приговорена заранее к «повторению пройденного». Менее других — европейская цивилизация: возделанная христианством свобода открыла перед нею пути, никем никогда не хоженные; «звёзды с путей своих» (Суд., 5, 20) не в силах лишить ее этого дара (бремени) свободы. Но и принцип «вечного возвращения» тоже не сдается: он мощно напоминает о себе в нашем столетии, казалось бы резко отличным от всех предыдущих столетий; напоминает зачастую именно там, где его меньше всего ждали.

Наша история в этом отношении особенно красноречива. Трудно даже определить, как далеко у нас совершился откат в прошлое: в некоторых, притом наиболее существенных, чертах «самого передового в мире» государства явно угадывается звероподобная Ассирия или какая-нибудь другая древневосточная деспотия (это не произвольный образ: исследователями указано на значительное структурное сходство между советским режимом и древневосточными деспотиями).

Европа не пережила таких катастроф, тем не менее и в Европе сильно убывло «просвещенческой» заносчивости и, наоборот, усилилось ощущение зависимости от прошлого, всегда имеющее две стороны, негативную и позитивную. Объединенная Европа, над строительством которой сейчас трудятся европейцы, есть не что иное, как «универсальное государство», хотя бы и в очень «легкой» его разновидности (впрочем, «жесткая», с склонностью к автаркии, разновидность ныне вряд ли вообще возможна), чьей целью является обеспечение стабильности, столь необходимой в наше смутное время, и, в частности, предотвращение откатов в прошлое типа того, что не так уж давно затеяли новоявленные германские лангобарды. В то же время само это «универсальное государство» некоторыми своими существенными чертами напоминает Римскую империю. Неудивительно, что европейцы все чаще задумываются сейчас о своем «римском» происхождении. О котором, впрочем, они никогда и не забывали.

Ab urbe condita

Парадокс Борхеса: была и есть только одна империя — Римская.

Как и многие другие парадоксы, этот парадокс имеет под собою определенные основания. Действительно, все европейские империи за минувшие полторы тысячи лет так или иначе «продолжают» дело Римской империи. Если бы те, кто присутствовал при низложении в 476 году последнего императора Ромула Августула, могли предвидеть дальнейший ход событий, они, наверное, воскликнули бы на манер позднейших франкузов: «Империя погибла. Да здравствует империя!» Менее других готовы были смириться с ее гибелью те самые варвары, которые ее погубили. Они тотчас же принялись «играть» «в Рим», восстанавливая в меру своих сил внешние признаки низверженного величия; где-нибудь в британских или придунайских лесах какой-нибудь князек, облаченный в медвежью шкуру, прямо объявлял себя «римским императором», назначал из числа своих соплеменников «сенаторов» и «консулов», создавал «преторианскую гвардию» и т. д.

Едва Европа начала выходить из состояния дикости и разрухи, как была предпринята попытка восстановить Римскую империю. Это сделал Карл Великий в 800 году. Спустя всего сорок три года новая империя развалилась. Вторую попытку предпринял Оттон I в 962 году, чья держава, однако, изначально объединила только три королевства (Германию, Италию и Бургундию). Карл Ясперс заметил, что хотя германские племена в основном оставались за пределами римских границ, никто так упорно не пытался восстановить Римскую империю, как германцы. В продолжение четырех столетий (считая от Оттона I), до Фридриха II Гогенштауфена включительно, императоры германской национальности добивались, чтобы их Римская по названию империя стала бы таковою на деле. Лишь в XIV веке они смирились с тем фактом, что их империя является германской по преимуществу. Она так и стала называться — Священной Римской империей германской нации, — сохранившись еще на

несколько веков в виде слабого, едва ли не номинального государственного образования, державшегося, по сути, на одной лишь идее. Что, однако, тоже есть свидетельство силы и живучести идеи. Примечательно, что понятия «империя», «император» оставались в Европе единичными; лишь тот смел называться императором, кто однажды сумел «ногою твердой стать» в городе Рима и там короноваться. Только в 1804 году Наполеон покончил с призраком «Священной Римской», одновременно став основателем первой в Европе национальной империи, Французской. Но и Наполеон принял корону из рук папы и включил Рим в состав своей империи для большей ее легитимности.

Чем объяснить такую живучесть римской идеи? Отчего никогда не прекращался счет *ab urbe condita* (от основания Рима)? И другой вопрос: почему империя в Европе все-таки не была восстановлена?

Отвечая на первый вопрос, надо, конечно, учитывать то, что действовало на воображение: мистику величия, размах и внешнюю красоту власти, монументальное великолепие самого города Рима. Но обратимся к вещам, рационально объяснимым. Необычайная прочность римской власти в известной мере была предопределена характером римского завоевания: покоряя силою оружия какое-нибудь очередное племя, римляне стремились не унижить его, а, напротив, сделать своим «другом», что обычно закреплялось юридически: покоренная территория вступала с Римом в отношения, именуемые федеративными. Практически повсюду в пределах империи сохранялось местное самоуправление, так же как и местные культы, обычаи и т. д. Римляне хорошо знали, что *small is beautiful* (малое — это прекрасно), и не изводили провинции излишней регламентацией; в то же время хорошо сплетенная сеть коммуникаций позволяла и провинциям жить «мировой жизнью», которую центр не столько направлял, сколько старался ей не мешать. Мудрая осторожность (*prudentia*) была основным принципом римской системы управления (чему в период империи не могли существенно повредить даже отдельные взбалмошные цезари). А римское право явило собою наиболее совершенный от сотворения мира инструмент в этом роде и послужило основой для всех последующих законодательств.

Хорошо известный историкам факт: множество неримлян — греки, испанцы, галлы и другие, — независимо от того, проживали они в Риме или далеко от него, считали себя римскими патриотами нисколько не меньше, чем сами римляне. Одним из них был грек Клавдиан, писавший в конце IV века, что Римская империя «приняла в свое лоно всех побежденных и всем воздала по праву — не как победительница, но как мать»².

Особое значение имел для средневековой Европы опыт взаимоотношений двух градов, по терминологии Блаженного Августина — земного и Божьего, завещанный поздней империей потомству.

Официальное признание христианства в 313 году (несколько позднее ставшего государственной религией) для самих христиан явилось большим сюрпризом. Они настолько привыкли быть гонимыми, что резкая перемена статуса была воспринята ими как нечаянная радость. Трудно было представить: римский император, властелин полумира, «божественный Август» склонил твердо поставленную выю перед христианским «пастырем добрым!» Соответственно резко переменялось отношение христиан к Риму, в котором они прежде видели «зверя» и «вавилонскую блудницу» (впрочем, Тертуллиан еще в разгар гонений признавал, что империя по-своему нужна, ибо ставит злу определенные пределы). Теперь, напротив, появилось убеждение в его провиденциальном назначении: империя была создана (кстати, почти в самый канун рождения Христа), чтобы «вместить» христианство; не случайно теми самыми дорогами, что были проложены для римских легионов, прошли апостолы. По крайней мере, среди части христиан распространилась некоторая чрезмерная усвоенность, что выразилось в затухании апокалиптической темы, мощно звучавшей в период гонений.

Знаменем нового поворота судьбы явилось вторжение варваров и особенно взятие самого Рима Аларихом в 410 году — предвестие скорого его окончательного падения. Уверенность, что империя пребудет до конца времен, раз-

² Цит. по: Paschoud F. *Roma Aeterna*. Roma. 1967, p. 153.

вевалась как дым. Божий перст указывал на необходимость новой «переоценки ценностей». Христианские пастыри и прежде не устали обличать развратную римскую толпу, лишь поверхностно христианизированную; теперь они обвинили ее в том, что она губит Рим, губит империю. Наоборот, в отношении к варварам вновь зазвучали «тацитовские» нотки (в христианском преломлении): так, священник из Массилии (Марселя) Сальвиан писал около 440 года, что «целомудренные варвары очистили от римлян земли, которые те запятнали своим непотребством»³. Подобная оценка тем более была допустима, что империю оккупировали варвары, если воспользоваться терминологией К. Леви-Строса, уже не «сырые», а «вареные», то есть слегка латинизированные и в большинстве своем обращенные в христианство, хотя бы и в еретических его версиях.

Глубже других продумал вопрос о Риме Блаженный Августин в своем учении о «двух градах». Бербер по происхождению, хотя и пропитанный латинской культурой, Августин нисколько не пленен земным великолепием Рима, его мифологией и т. д. Он признает за римлянами многочисленные достоинства и не отрицает того, что империя сыграла провиденциальную роль, на время дав христианству «кров» и многое сделав для его дальнейшего распространения. В то же время Августин четко разделяет «град земной» и «град Божий»; последний есть Невидимая Церковь, не вполне совпадающая с эмпирической церковью. «Град Божий» принципиально «бездомен» в земном смысле и не связывает себя с каким бы то ни было государством, тем более таким, которое отягощено прошлыми многочисленными грехами.

Но пока «вечный» Рим приходил в упадок, на Востоке воссияла звезда нового, второго Рима — Константинополя. Уж он-то, как все новостройки, был свободен от прошлых грехов. Здесь можно было реализовать не удавшийся в первом Риме идеал «священного царства», в котором Церковь и царство находились бы в некоем постоянном равновесии («симфонии»), а земной порядок по возможности отражал бы небесный порядок. А так как небесный порядок не может не быть иерархическим, то и земной тоже должен быть жестко иерархическим, начиная с фигуры императора — Космократора и Хронократора (господина мира и времени), замещающего на земле Христа-Пантократора.

Эта модель многожды подвергалась резкой критике, зачастую хватавшей через край. Указывали на несоответствие идеала и реальности, на иерархическое окостенение византийского общества и его неспособность к творческому росту. Действительно, византийская история изобилует моральными падениями, начиная — если соблюсти принцип иерархии — с самого верха; важно, однако, что при этом никогда не терялся из виду идеал, рано или поздно оказывавший мобилизующее действие: вослед падшим шли другие, более достойные. Далее, жестко иерархической была лишь внешняя структура общества — не лишенная, надо признать, известной стройности, — а внутри ее постоянно кто-то подымался или опускался (даже императорский трон не был заказан для выходцев из низов); некоторые исследователи называют поэтому византийский строй меритократическим. Наконец, византийское общество отнюдь не было «неподвижным»; опять-таки специалисты объясняют нам, что это легенда, что на самом деле было развитие и был рост.

Об определенной дееспособности византийской модели говорит и тот факт, что она продержалась тысячу лет, а после падения Константинополя была унаследована Московским государством, где дожила, с некоторыми поправками, до 1905 года (если не до 1917-го).

И все-таки не совсем напрасно обрушились на нее критики: хоть она и не была «неподвижной», но гибкости ей не хватало, что чем дальше, тем больше давало о себе знать. В воздухе витали некие смутные задания, которые Византия не в состоянии была уловить. Та успокоенность, что появилась в первом Риме, еще резче выражена во втором: сильное отражение небесного порядка на земле уже достигнуто — так ли уж необходимо стремиться к чему-то еще? «Всякое начало, — писал К. Н. Леонтьев, — доведенное односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может

³ Цит. по: Paschoud F Roma Aeterna, p. 298

стать убийственным, но и самоубийственным»⁴. Леонтьев имел в виду идею личной свободы, но ведь то же самое можно сказать и об идее порядка! Только то «царство» смеет именоваться христианским, которое постоянно (или периодически) соотносит идею порядка с идеей свободы. Глядя лишь в одну сторону (в сторону теократического идеала порядка), Византия растеряла те элементы демократии и местного самоуправления, которые сохранялись в первом Риме даже в период домината.

Со своей стороны, Запад поначалу не мог восстановить империю, а в дальнейшем, по мере того как он становился на ноги, уже и не очень хотел. Принцип иерархического порядка сохранял огромную власть над умами, но наряду с ним утверждали себя и другие принципы — личной свободы (или, точнее, конкретных свобод) и местной автономии (оба принципа могут быть охвачены понятием «вольностей»). Последний явился естественным продолжением традиции римских муниципий. Леонтьев совершенно справедливо отметил, что от муниципального начала древнего Рима идет современная Европа. Запад, таким образом, выбрал более свободную структуру, нежели империя (и в этом смысле Киевская Русь, насколько я могу судить, не очень от него отличалась). Что же касается иерархического порядка, то он был увенчан лишь фигурой папы; духовная власть тем самым была поставлена в исключительное положение. Мы теперь знаем, что этот западный путь оказался исторически необычайно продуктивным, хотя и таил в себе определенные опасности.

Надо, однако, учитывать и то, что на протяжении всех средних веков Западу никто по-настоящему не угрожал извне. Девятый вал арабского нашествия приняла на себя Византия, которая сумела остановить его хотя бы на границах Малой Азии, а до Западной Европы арабская волна, прокатившись через Северную Африку, дошла уже сильно ослабленной — и то она заполонила почти весь Пиренейский полуостров и была остановлена лишь недалеко от Парижа. Вторая мощная волна завоевателей, татаро-монгольская, в основном, как известно, была сбита Русью. Третья волна, турецкая, уже никем и ничем не была задержана и докатилась до столицы империи, Вены (а сидя под стенами Вены, турки размышляли о том, как они будут пересекать Ла-Манш); но это был XVII век, и уже начало сказываться военно-техническое превосходство европейцев, которое и позволило им отбросить турок.

Позволительно задать вопрос: а если бы Киев при «живом» Константинополе создал бы имперскую структуру, аналогичную византийской, удалось бы ему остановить татаро-монголов? И уж наверняка не сумела бы подняться Москва в сложных условиях ига, сохраняя она киевские «вольности».

И все же геополитические соображения, как и вообще любые соображения мирского порядка, были не главными среди тех, что побудили Москву объявить себя третьим Римом. Главными были апокалиптические ожидания. Опыт первых двух Римов показал, что строиться, создавая чересчур большой запас прочности, не имеет смысла: «как вор в ночи» грядет день, когда дом все равно рухнет. И день этот не бесконечно далек, а может быть, и совсем близок. Известная фраза «четвертому (Риму) не быть», в которой сейчас обычно видят одни только непомерные амбиции, изначально соответствовала не столько «дневному», сколько «ночному» счету (выражение Д. С. Мережковского). Потому «четвертому не быть», что конец не за горами. Даже чисто географическое определение нового Рима («полунощный») самим составом слов будто намекало на то, что «ночной» счет важнее дневного.

И лишь вторым планом возникал обновленный византийский идеал земного царства, благочинного и благолепного, попечительного о «малых сих» и грозного для врагов. Я говорю сейчас об идее третьего Рима, какой она выглядела в момент своего возникновения. Стоило ей войти в политический обиход, как акценты начали смещаться: земные помыслы брали верх и, наоборот, «ночные» предчувствия бледнели.

В концепции третьего Рима обращает на себя внимание, по точному выражению прот. Г. Флоровского, «укороченность исторической перспективы». Это может быть отнесено как к преимущественно сакральному, так и к преимущественно мирскому ее пониманию. В первом случае ожидание конца

⁴ Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. М. 1885, т. 1, стр. 93.

времен (о котором никому не дано знать, когда он наступит) «наезжало» на любые ожидания внутриисторического свойства. Во втором случае конец времен отодвигался в неопределенное будущее, но в остающийся исторический срок никакой принципиальной перемены декораций не предвиделось.

Петровские реформы значительно усилили земное наполнение имперской идеи, помысел «славы мира сего», что выразилось в формальном подчинении государством Церкви. Поздние попытки (К. П. Победоносцева и других) восстановить принцип «симфонии» уже ни к чему не привели. Деспотическое начало, поставленное Петром во главу угла, вплоть до начала XX века никем и ничем не было поколеблено. Конечно, надо иметь в виду, что понятие «деспотия» весьма растяжимое. Легенда о «венце Навуходоносора», переданная В. С. Соловьевым и выставляющая русских царей преемниками ассирийских, не более чем гипербола. Россия была достаточно глубоко христианизирована, чтобы ее позволительно было сравнивать с азиатскими деспотиями.

В то же время Петр развернул Россию в сторону Запада, открыв все двери и окна для европейской культуры. Рано или поздно она не могла не развязать в России ту свободную игру сил, которая сделала Европу Европой и которая вступала в противоречие с византийским принципом порядка.

Римляне, став христианами, перестали считать Рим вечным, но решили, что в нем можно «отсидеться» до конца времен; падение великого города явилось для них потрясением, от которого у них уже не было времени оправиться. Византийцы задолго до своего конца видели его неминуемость и, как выразился один писатель, «окунулись в Божью волю». Русские в XX веке уже несколько подзабыли о «генеалогии» своей империи, о которой им напомнило само Провидение: солнечным ноябрьским днем 1920 года армада из сотни с лишком кораблей под андреевскими флагами — все, что оставалось от третьего Рима, — бросила якорь не где-нибудь, а на рейде Константинополя, в виду столь желанной Святой Софии. В город, едва-едва не перешедший под юрисдикцию России (что было предусмотрено секретными договорами Антанты), русские явились теперь как униженные просители. Налицо было то, что называют иронией истории и что правильнее назвать усмешкой Бога.

«Бремя белых»

Концепция третьего Рима четко европоцентрична. По слову Тютчева,

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...

«Град Петров» здесь — Рим. Москва, сделавшись третьим Римом, не совершенно заслонила для русских первые два, оставшиеся как бы духовными маяками. Но дальше следует вопрос:

Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?

С границами на закат по крайней мере ретроспективно все должно быть более или менее ясно. Здесь существовал предел, который с известным правом можно назвать естественным: исторически сложившиеся границы Киевской Руси. Все попытки выйти за этот предел окончились неудачей. Ни Прибалтика, ни тем более Финляндия так и не сделались органическими частями Российской империи. Я уж не говорю о Польше, фактическая аннексия которой в 1815 году была явной изменой принципу «умеренности», не раз декларированному российскими политиками. О нем писал, в частности, Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России»: российские государи, «восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний, неверных или опасных, желая сохранить, а не приобретать»⁵. Слова Карамзина частью отражали реальность, частью же были настойчивой рекомендацией. Увы, в случае с Польшей рекомендация не возымела действия: завоевание этой страны было именно и неверным и опасным.

⁵ Карамзин Н. История государства Российского. М. 1989, кн. III, стр. XLII.

Что касается Прибалтики, точнее Латвии и Эстонии (если называть их так, как они теперь называются), то с ними вышла интересная вещь. Немецкое дворянство, составляющее господствующий класс в этих странах, за два столетия, проведенных им на службе у русского царя, почти полностью русифицировалось. Гордые потомки ливонских и тевтонских рыцарей, некогда грозивших Новгороду и Пскову, сами не заметили, как стали говорить и думать по-русски, хотя никто их к этому не принуждал (если не считать требований службы, которая с их стороны была вполне добровольной). Но то, что произошло с социокультурной верхушкой, лишь в незначительной степени коснулось народных масс; «голова» была русифицирована, а «тело» оставалось чужим и при первой возможности оторвалось от империи.

Когда я называю западные границы Киевской Руси естественным пределом империи, то это надо понимать очень приблизительно. Галиция, например, была важной частью Киевской Руси, но она уже в XIV веке вошла в состав Польши и потому глубоко и безнадежно полонизирована, плюс к тому еще и слегка германизирована — результат полуторавекового пребывания в составе Австро-Венгерской империи. Ее включение в состав Украины в 1939 году отозвалось в конце 80-х, когда она стала мотором, тянущим Украину прочь от Москвы.

Конечно, по нынешним временам считать самое Украину — как и последовавшую за нею по пути «незалежности» Белоруссию — естественной частью империи можно только в дискуссионном порядке. К сожалению, украинский вопрос становится дискуссионным с некоторым существенным запозданием. Украинцы, похоже, только начинают всерьез размышлять о своих отношениях с Россией — после юридического «развода». А хорошо было бы — до. Все-таки вопрос из числа тех, что именуют судьбическими; такие вопросы не решаются с бухты-барахты. Вероятно, было бы правильнее решить его не одним референдумом⁶, но целой серией их, растянутой на годы, если не на десятилетия (так и делается в подобных случаях на Западе: вспомним Квебек или Фландрию). Не исключено, что Украина крупно ошиблась с выбором. Но исправить ошибку может лишь она сама.

Сложнее обстоит дело с границами на востоке и на юге. Евразийцы считали Московское государство естественным преемником татаро-монгольской державы, поэтому с их точки зрения московские цари, продвигаясь в восточном и южном направлениях, вступали во владение обширными пространствами Азии как бы по праву наследования. Допустив подобную натяжку, евразийцы в упор не замечали того, что должно в первую очередь бросаться в глаза. А именно — что экспансия Московского государства в сторону Азии, начатая в XVI веке и продолжавшаяся три столетия с лишком, в основных своих чертах аналогична колониальной экспансии европейских держав примерно за тот же исторический период.

Конечно, при сравнении обнаруживается и ряд отличий. Наиболее существенными представляются два. Во-первых, экспансия России в сторону Азии была почти исключительно сухопутной, а колониальные предприятия западных европейцев, естественно, не могли не быть морскими. Данное обстоятельство в известной мере предопределило их судьбу. Ибо морские империи, опять-таки в силу совершенно естественных причин, не столь прочны, как сухопутные. Английское выражение «море не разделяет, а связывает» имело некоторый реальный смысл в эпоху, когда сухопутные коммуникации были сильно затруднены, но даже тогда оно скорее выдавало желаемое за действительное. Во-вторых, российская экспансия, если брать ее начальный этап, едва ли не в первую очередь была вызвана соображениями оборонительного характера. В Европе, конечно, ничего похожего не могло иметь места. Един-

⁶ Механизм референдума легко может стать орудием политиканства, играющего на сиюминутных настроениях электората. Известный русский правовед Н. Н. Алексеев считал даже, что вопросы коренной важности должны решаться на протяжении жизни нескольких поколений, ибо «нельзя отождествлять интересы государственного целого с интересами наличного взрослого населения данного государства. Государство, особенно такое, которое сливается с целой культурой, является единством всех прошлых, настоящих и будущих поколений его граждан» (Алексеев в Н. Теория государства. Париж. 1931, стр. 175). На работах Алексеева есть некоторый отпечаток евразийства, но это не лишает ценности многие его суждения.

ственная аналогия, которая приходит мне в голову, — захват Сеуты, крепости-скалы на африканском побережье (кстати, удерживаемой испанцами до сих пор), в 1415 году, когда еще не было завершено освобождение Пиренейского полуострова от мавров.

Восток и юг постоянно грозили России разорительными набегами; даже в начале XIX века на границе киргиз-кайсацких степей были случаи набегов и увода русских в плен в глубины Средней Азии, где их продавали в рабство. Поэтому завоевание, например, Казанского или Крымского ханства в известной мере было вынужденным, так же как и выдвигание оборонительных линий на Нижнюю Волгу и Яик. Обуздав Дикую степь, испокон веков извергавшую орды агрессивных кочевников, Россия тем самым решила задачу всемирно-исторического масштаба. Тойнби — кстати говоря, высоко оценивший идею третьего Рима — писал, что в России в первый раз за всю историю цивилизаций оседлое общество смогло «не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже не просто побить их (как когда-то побил Тимур), но и достичь действительной победы, завоевав номадические земли...»⁷. В плане всемирной истории победа России над Степью была прежде всего победой более культурного и менее агрессивного начала над менее культурным и более агрессивным.

Но дальнейшее продвижение в глубь Азии объяснить оборонительными соображениями трудно. Здесь уже была чистая экспансия, аналогичная, повторяю, колониальной экспансии европейских держав. Мы найдем более конкретные аналогии, если выделим три достаточно четко отличающихся друг от друга (даже хронологически) направления российской экспансии: восточное, или сибирское, южное, или кавказское, и юго-восточное, или среднеазиатское.

Завоевание, или, если угодно, освоение Сибири, имеет очень много общего с завоеванием-освоением англичанами и французами Северной Америки, а также Австралии. В обоих случаях оно было делом небольших групп вооруженных людей и предприимчивых одиночек, на свой страх и риск уходивших вперед. В Сибири это были казаки, которых нередко опережали звероловы, рудокопатели, «гулящие люди» (беглые крестьяне и преступники), а также православные миссионеры. Поражает динамизм российских землепроходцев, едва ли не превзошедших в этом смысле своих западных коллег: всего два-три десятилетия понадобилось им, чтобы покорить гигантские пространства между Иртышом и Тихим океаном. Французы (до 1763 года бывшие хозяевами, по крайней мере номинальными, на большей части Северной Америки) потратили больше времени на преодоление втрое-вчетверо меньших расстояний, отделяющих Миссисипи от Скалистых гор.

Отличия, конечно, тоже были немалые. Землепроходцы ставили на берегах рек избушки, вокруг которых вырастали остроги (американские эквиваленты — блокгаузы, форты), в острогах же садились воеводы, забиравшие себе всю власть на местах. Произвол администрации был в Сибири откровеннее, чем в европейской России; недаром ее прозвали страной челобитчиков, истцов, не могущих добиться правды. А чрезмерная регламентация всего и вся, исходившая из центра, мешала Сибири развиваться по пути, именуемому естественноисторическим.

Но в стороне от больших трактов естественная среда брала свое. Сибирский характер складывался «на воле», потому у него много общего с американским характером. Сибирский крестьянин, оторвавшись от мира (за исключением тех случаев, когда переселялись всем миром, — тогда, наоборот, мир консервировался, что, кстати, не было редкостью и в Новом Свете), проявлял большую самостоятельность; чаще всего это был человек себе на уме, бывалый, очень практичный, в хозяйственном смысле крепкий, забывший о том, что такое лапти. В то же время он что-то терял в культурном отношении, будучи не в силах удержать все богатства фольклора, не затребованные на новом месте, где даже природа была иной: тайга — это ведь не исполненный поэзией, психологически обжитой русский лес с его лещими, русалками и т. д. Подобное же относительное одичание можно наблюдать в условиях американ-

⁷ Тойнби А. Постигание истории. М. 1991, стр. 140.

скового фронта (было бы интересно углубить эти параллели, которыми, насколько я знаю, никто никогда не занимался).

По мере развития капитализма Сибирь еще больше стала походить на Соединенные Штаты; в конце прошлого — начале нынешнего века ее иногда так и называли: «наши Соединенные Штаты». Здесь была своя золотая лихорадка, своя переселенческая эпопея, в которую оказались втянуты миллионы людей, свои джессы джеймсы (бандиты, замечательные особенной лихостью), свои рокфеллеры и вандербильды, они же «наполеоны тайги», зачастую не отличавшиеся большой щепетильностью в делах (конечно, по тогдашним представлениям). Чехов, побывав на Амуре, писал с дороги: «Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т. е. эта жизнь, напоминает мне рассказы из американской жизни»⁸.

Теперь возьмем другое направление — среднеазиатское. Здесь русские почти зеркально повторяли англичан (и наоборот), двигавшихся с противоположной стороны. И для тех и для других мотив соперничества был одним из основных мотивов: русские опасались появления англичан у себя в тылу, англичане стремились создать форпосты на дальних подступах к своим индийским владениям. Какую-то роль сыграла и характерная для XIX века озабоченность естественными в физико-географическом смысле границами: величественные кряжи Тянь-Шаня и Гиндукуша вместе с соединяющим их Памиром обеим сторонам представлялись идеальным, так сказать, обрамлением их центральноазиатских владений. Как у русских, так и у англичан инициатором очередных завоевательных экспедиций обычно выступали губернаторы приграничных губерний (провинций) и военачальники, стоявшие здесь со своими войсками, иной раз позволявшие себе действовать даже вопреки желанию соответственно Петербурга и Лондона, обремененных соображениями большой политики и потому более осторожных. Нечто общее обнаруживается и в методах управления завоеванными территориями: предоставив внутреннюю автономию двум ханствам, Бухарскому и Хивинскому, русские впервые, насколько мне известно, ввели систему «непрямого правления», изобретенную еще Римом и широко применявшуюся англичанами в Индии и на Ближнем Востоке.

Завоевание Кавказа тоже может быть сравнимо с действиями англичан или французов на Ближнем и Среднем Востоке, и вместе с тем оно имеет смысл, выходящий за рамки «обыкновенной» колониальной экспансии. В свое время Кавказ духовно рос под сенью второго Рима. И это относится не только к Армении и Грузии; почти весь Северный Кавказ вплоть до самого падения Константинополя оставался в зоне его влияния. Политика России на Кавказе имела по крайней мере некоторый оттенок «естественного» замещения той роли, какую прежде играла там Византия. Примечательно, что вполне секулярно и прагматично мысливший князь Г. А. Потемкин, определяя стратегию России на Кавказе, учитывал эти «теологические», как он их называл, моменты. Со своей стороны, феодальная верхушка на Кавказе приняла, по крайней мере отчасти, предложенные Россией «правила игры» и сама подключилась к делу строительства империи, видя в ней наследницу не совсем забытой еще Византии. Известно, что первым российским главнокомандующим на Кавказе был грузин князь Цицианов, что сын сподвижника Шамиля генерал Алиханов отличился при завоевании Средней Азии, и так далее — можно привести много других примеров подобного рода.

Специфика Кавказа заставляет задуматься о его будущем. В отношении Сибири никаких сомнений вроде бы не возникает: она так же принадлежит русским (с оговоркой о правах автономий), как Северная Америка принадлежит выходцам из Европы. Не должно возникать сомнений и в отношении Средней Азии: ее надо предоставить собственной судьбе, сохранив ответственность за положение дел в этом регионе на переходный период (не говорю о Казахстане: это особая проблема). Что же касается Кавказа, то помимо вышеупомянутых исторических обстоятельств надо учитывать еще и другое: Кавказ глубоко освоен русской культурой (в отличие не только от Средней Азии, куда русские пришли гораздо позже, но и от При-

⁸ Чехов А. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма. М. 1976, т. 4, стр. 124—125.

балтики, завоеванной столетием раньше). Места, где ныне, как и встарь, «рыскает в горах воинственный разбой», полны тенями русских людей — романтических поэтов, нераскаившихся декабристов, разочарованных в жизни поручиков, уставших от света «лишних людей», «кавказских пленников» в буквальном, военно-полевом, смысле или же в смысле фигуральном. В свою очередь Кавказ в лице местной интеллигенции встречно тянулся к русской культуре; даже популярная ныне национальная идея впервые прозвучала для нее на русском языке. Разумеется, решающий голос в определении своего будущего принадлежит самим кавказским народам. И вообще это политический вопрос, а я лишь коснулся некоторых его историко-культурных предпосылок.

Если говорить о движущих силах и мотивах русской колонизации в целом (с оговорками по поводу Кавказа), то они в основном были те же, что и в Европе. Изначальным мотивом было стремление христианизировать мир. Для современного человека, когда он обращается к истории, алчность конкистадоров и, с другой стороны, поэзия дальних странствий и географических открытий обычно заслоняют идейную сторону колониационного процесса, которая на каком-то этапе была самой важной. Примечательно, что в конце XV века, то есть как раз тогда, когда первые каравеллы стали уходить от иберийских берегов в открытый океан, традиционный для европейской живописи сюжет «Поклонения волхвов» получил новое решение: отныне три волхва изображались как представители трех рас — белой, желтой и черной. Новый канон напоминал об универсализме христианской религии, о том, что многие языки еще ждут «возрастания в благодати и познании». Другим идейным мотивом было создание мировой империи по образцу Римской. Как указывают специалисты-историки, европейцы XV — XVI веков, будто устыдившись того, что в самой Европе римская идея не была реализована до конца, с особым рвением принялись «исправлять положение» за ее пределами. К примеру, испанская колониальная империя рассматривалась европейцами, в том числе самими испанцами, не как собственно испанская, а как фрагмент будущей мировой монархии.

Идейные мотивы были, конечно, поддержаны факторами иного рода, в частности экономическими. Развитие капитализма (на Западе гораздо более интенсивное, но и в России достаточно осязаемое уже в XVI веке) обусловило поиск новых рынков и источников сырья — все это так. Но идейные факторы были все-таки первыми и как бы дававшими санкцию всем остальным.

Еще в 1837 году английский парламент официально объявлял целью колонизации «мирное и добровольное принятие христианской традиции». Примерно тогда же наши славянофилы вынашивают идею русско-английского союза как органа христианизации Востока. Хотя в это время в Европе уже происходит некоторая перестановка акцентов: вместо христианизации на первое место выдвигается приобщение к цивилизации. Понятие «цивилизация» примерно с середины XVIII века начинает употребляться как единичное и глобальное; рожденное Просвещением, оно становится превращенной формой христианского универсализма. В следующем столетии перспектива цивилизации уже заметно оттесняет христианскую перспективу. С одной стороны, это было следствие секуляризации европейского сознания, а с другой — то, что называется благами цивилизации, успешнее доходило до сознания неевропейских народов. Действительно, попытка обратить в христианство мир «за морями и за Уралом» дала, в общем, скромные результаты, причем в ареале ислама — близкие к нулю, тогда как европейская цивилизация проникала всюду, исподволь перекраивая местные элиты (поначалу только элиты) по образу и подобию европейцев. В России, например, где исламские анклав оказались в самом центре империи, именно приобщение их к европейской цивилизации стало в конечном счете стратегической задачей, ибо только так их можно было хотя бы частично ассимилировать.

Если в самой Европе «Рим» уходит во внешнее (символику) и внутреннее (психологию), то за ее пределами европейские колонизаторы ощущают себя прямыми продолжателями Римской империи как разносчика цивилизации. Генерал-губернатор Нигерии Д. Лугард, типичный английский проконсул и один из видных идеологов Британской империи, пишет в 1929 году: «Подобно тому как римский империализм заложил основы современной цивилизации и наставил диких варваров этих (британских. — Ю. К.) островов на путь прогресса, так и мы сегодня возвращаем долг, неся светоч культуры и прогресса в

темные уголки земли, оставшиеся прибежищем варварства и жестокости... Европейские нации связали себя торжественной договоренностью, обязывающей их сотрудничать в этом деле»⁹. Писатели и поэты не отстают от политиков: Редьярд Киплинг и Морис Баррес видят в европейских колонизаторах продолжателей римского дела (одновременно гордясь тем, что соответственно англичане и французы пролагают дороги в края, где нет следов римских сандалий), понятого именно как приобщение к цивилизации; принимая на себя «бремя белых», европейцы, по слову Киплинга, уходят «за тридевять морей» —

На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть, чертям.

Поэты, кстати, играют далеко не последнюю роль даже в политике: известно, что типичный английский офицер или колониальный чиновник в конце прошлого — начале нынешнего века, да, наверное, и позднее тоже, стремился во всем подражать киплинговским героям.

К началу XX века «Европа создала своего рода Римскую империю в планетарном масштабе», по выражению современного французского историка Пьера Шоню¹⁰. В политическом смысле она оставалась лоскутной, окрашенной национальными цветами, но в цивилизационном действительно представляла собою некоторую целостность — ее можно назвать также культурной ойкуменой. В то время мало кто предполагал, что, по крайней мере как политическое образование, империя эта развалится в считанные десятилетия.

Пропущенное покаяние

Разделив с западными европейцами «бремя белых» (если лишить это понятие оттенка расизма, у нас — по причинам, на которых я не могу здесь останавливаться, — практически отсутствовавшего), русские вряд ли остались бы в стороне от покаянного, назову его так, движения, охватившего Запад на исходе 60-х годов, если бы не советский режим, сковавший у нас все живое. Пора хотя бы сейчас войти в курс того, чем болел и еще продолжает болеть Запад.

Я не без некоторой доли условности назвал покаянным движение, в котором собственно покаяние было лишь одним из моментов. Попробую теперь определить его точнее: речь идет о достаточно радикальной переоценке роли, которую Европа вместе с Соединенными Штатами призвана играть в мире. В равной мере это относится к прошлому, настоящему и будущему.

Толчок для такой переоценки был как будто бы дан извне — антиколониальным движением в колониальных и зависимых странах, начавшимся после первой из двух мировых войн и широко развернувшимся после второй. Но само это движение вряд ли развивалось бы так бурно, если бы не европейские катализаторы. Дело прежде всего в том, что облик Европы, каким он представлялся взорам неевропейских народов (на последнем этапе колониальной экспансии), был исполнен внутреннего противоречия: вроде бы она несла миру идею универсализма, но как ее было согласовать с национальной идеей, которая саму Европу раздирала на части? Как раз соображения национального соперничества явились дополнительным стимулом, побудившим европейские державы перейти в середине XIX века к более активным колониальным захватам; примерно в это же время колонизация заморских стран, которая зачастую была делом отдельных моряков и конкистадоров, миссионеров и негодяиантов (огромная Индия, например, до 1858 года считалась владением Ост-Индской компании), окончательно оформляется как государственное дело. Колониальные империи все больше приобретают национальный, то есть английский, французский и т. д., характер, а «торжественная договоренность» (напомню слова Лугарда) о сотрудничестве сплошь и рядом нарушается: державы грызутся между собою на колониальной почве так же, как они грызутся в Европе.

⁹ Lugard D. On the Dual Mandate — Imperialism. New-York. 1971, p. 318.

¹⁰ Channu P. Trois millions d'années. Paris. 1990, p. 308.

Пагубность этой внутренней противоречивости видна на русском примере. Хотя и с некоторым запозданием, Россия тоже пошла по пути национализма, что лишний раз подтверждает ее европейскость, причастность ко всем духовным процессам, происходящим в Европе. Вплоть до 60-х годов XIX века никаких национальных гонений в пределах империи не было; даже наоборот, было, например, при Александре I потакание полякам, стремившимся колонизировать украинские и белорусские земли, то есть как бы отыграться в культурном плане за проигрыш в плане политики. Только после неудавшегося польского восстания 1863 года начались гонения, сначала против поляков, потом — лиха беда начало — против евреев и финнов. Репрессии, обрушившиеся на Польшу, задели Украину: в конце 60-х было ограничено употребление украинского языка, закрыты национально-просветительские общества и т. д. В царствование Александра III политика насильственной русификации охватила уже все нерусские части империи; на Кавказе, например, закрывались школы на местных языках и даже названия населенных пунктов транскрибировались на русский лад. В пору триумфального шествия русского языка и русской культуры создавать для них некие дополнительные льготы было не только неблагородно, но и неумно. Русская культура сама собою притягивала тогда как магнит; она открывала выход к горнему воздуху каких-то мировых вопросов, которому было тесно в рамках национальных культур. Притеснения, чинимые администрацией, только разжигали ответное национальное чувство, прорвавшееся в 1917 — 1918 годах, когда национальные окраины одна за другой отпали от России.

Распад Российской империи («железом и кровью», то есть, по сути, механически, под очевидно надуманным лозунгом «пролетарского интернационализма» вновь собранной большевиками, как оказалось, лишь на семь десятков лет) уже предвосхищал распад других колониальных империй. Изначальная ошибка господствующих наций была одна и та же: они пытались втиснуть универсализм в свои национальные рамки. Рано или поздно такие универсализмы вступали в конфликт друг с другом. Две мировых войны показали, сколь далеко могут зайти конфликтующие стороны. Пока паны дрались, у холопов не только чубы трещали, но и кое-что прояснялось в головах. Дальнейшему их «просвещению» способствовала холодная война, в неевропейском мире преимущественно воспринимавшаяся как внутриевропейский (с учетом Соединенных Штатов) конфликт. Длительное противостояние двух лагерей, имевшее не только военно-политический, но и идеологический характер, вынуждало обе стороны (с западной стороны это были главным образом Соединенные Штаты) заигрывать с колониальными и зависимыми народами. Данным обстоятельством в значительной мере объясняется бурный рост национально-освободительного движения, в послевоенные годы приведший к обвальному отпадению колониальных народов от их метрополий, завершившемуся в основном уже в 60-е годы (и лишь в пределах СССР отложенный до начала 90-х).

С другой стороны, деколонизация была ускорена переменами в образе мыслей самих господствующих наций. Не последнюю роль в этом сыграли соображения экономического порядка: становилось очевидно, что в экономическом отношении иметь колонии не столь выгодно, как это еще недавно было принято считать. Стоит вспомнить, что и в прошлом, в XVIII — XIX веках, фритредеры, например, возражали против создания территориальных империй, но тогда возобладала политика расширения Lebensraum (жизненного пространства). С углублением рыночных процессов, имевших место в последние десятилетия, укрепилась точка зрения, близкая фритредерской: колонии являются скорее обузой для метрополий, сдерживая их собственное экономическое и социальное развитие.

Более сложная картина складывается в плане идеологическом и духовном.

Углубление демократического процесса в европейских странах не могло задержаться на границах Европы. Чем больше получаешь личных свобод, чем больше равенства видишь у себя дома, тем труднее отказывать в этих правах целым народам. Идеал «свободы, равенства и братства», выдвинутый Просвещением, относился не только к личностям, но и к целым народам. Уже на Парижской мирной конференции 1919 года президент США В. Вильсон перевел этот идеал из отвлеченного плана в план практической политики, провозгла-

сив принцип самоопределения наций. Остальное было делом времени, входящих обстоятельств и энергии двух сил, двигавшихся, так сказать, навстречу друг другу, — поборников независимости в самих колониях и западной интеллигенции, которая подвергла фундаментальной ревизии всю «теорию и практику» отношений европейских держав с колониальными и зависимыми странами, пересмотрела всю их историю с конца XV века и до последних дней. Никто не был забыт, ничто не было забыто — ни конкистадоры, ни торговцы черными рабами, ни расстрелянные из пушек сипаи, ни те унижения, которым подвергались уже в нынешние времена, скажем, негры в США. Такое поведение в пору назвать покаянием, даром что большинство тех, о ком идет речь, были светски мыслящие люди, чье сознание не сфокусировано на христианских понятиях «грех» и «греховность».

На этот парадокс указал, в частности, французский публицист Паскаль Брюкнер в своей книге «Плач белого человека» (вышедшей в середине 80-х, когда уже набирала силу волна противоположной направленности): «Не странно ли, что в век воинствующего атеизма мыслители-агностики, отточившие свой ум в борьбе против церкви и их доктрин, примиряют нас с фундаментальным понятием христианства — «первородный грех»? В нашем сознании, как и в области нравов, происходит форменная катавасия — низвергаются все авторитеты, упраздняются любые табу, — а в то же время смерть Бога и Отца (то есть земного авторитета. — Ю. К.) каким-то образом сочетается с... мощными приступами нечистой совести; получается, что, с одной стороны, понятие греха изгоняется, а с другой, наоборот, чувство всеобщей виновности приуготовляется царский путь. Такова нынче плата за право считаться европейцем, то есть принадлежать к сообществу, некогда одержавшему верх над остальным миром. Конечно, современная политическая жизнь уже не вдохновляется христианством, но ее страсти — это христианские страсти. Мы живем в мире политики, сохраняющем отпечаток религиозности, опьяненном мариологией и околдованном страданием, так что самые светские речи чаще всего представляют собою лишь слабый пересказ церковных проповедей. Что этот вкус к страданию, эта любовь к угнетенным может совмещаться с еще живым антиклерикализмом, представляется парадоксом, уже второстепенным по своему значению»¹¹. Автор процитированных строк относится к числу людей, которые вот уже два тысячелетия повторяют: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Паскаль Брюкнер выступает за более «реалистическую», не отягощенную угрызениями совести политику в отношении бывших колоний; он не останавливается перед тем, чтобы обвинить некоторых кающихся интеллигентов в лицемерии и желании «создать себе алиби».

Вероятно, в покаянных речах на тему «Европа и остальной мир» есть действительно какой-то элемент аффектации. В эпохи упадка наследники великих культур пытаются «сохранить лицо», имитируя достоинства своих предков. Так, некоторые римские аристократы IV века, развращенные сибариты и угодливые царедворцы, при случае становились в позу классических *virorum bonorum* (благородных мужей), безупречных граждан, более всего озабоченных вопросами общественного блага. Подобным же образом и современные европейцы могут изображать чувства, которых они не испытывают, но которые, как они считают, им приличествует испытывать.

Но, конечно, к аффектации здесь дело не сводится (Брюкнер так и не считает). Уже сам факт, что кому-то приходится что-то «изображать», свидетельствует о том, что есть люди, думающие и чувствующие так, как они говорят, и тем самым задающие тон. Что же касается парадоксального на первый взгляд расхождения между отпадением от религии и упорствованием в христианских по своему происхождению чувствах, то оно не впервые обращает на себя внимание. Более полувека назад о том же писал, в частности, Г. П. Федотов: в нашу «безбожную эпоху» «христианство приносит свои некоторые самые совершенные плоды. Никогда еще за два тысячелетия христианской эры культура сострадания, например, и культура совести не достигали такой угнетенности. Давно потеряв религиозные послышки, человечество только теперь

¹¹ Bruckner P. Le sanglot de l'homme blanc. Paris, 1985, pp. 13 — 14.

додумывало и дочувствовало их этические выводы»¹². Федотов имел в виду конкретно литературу и искусство, но ведь их нельзя отделить от того, что называется общественными настроениями. Еще и еще раз подтверждается, сколь глубоко сознание европейца, его «структура чувствительности» обработаны христианством.

Не забудем о том, что и собственно христианская Европа, христианские Церкви сыграли немалую роль в покаянном движении, о котором идет речь. Особенно Католическая Церковь, на 2-м Ватиканском соборе поставившая себе целью преодолеть не отвечающий самому ее названию излишний евроцентризм.

Пусть и с большим запозданием, русские не могут не подключиться к этому движению. В русских традициях есть искание правды вместо снисходительного потакания тем, кого зовут своими; лучшие русские люди, даже разделяя в общем и целом имперские взгляды, были способны встать на точку зрения покоренных народов, разглядеть имперский процесс «с другой стороны»: от П. А. Вяземского, писавшего об А. П. Ермолове в бытность того главнокомандующим на Кавказе, что он, «как черная зараза, губил, ничтожил племена» (и ведь Ермолов — один из наиболее гуманных и просвещенных русских проконсулов), до Л. Н. Толстого, сумевшего увидеть детскую добрую улыбку у самого Хаджи-Мурата. А ведь мы сейчас, как правило, даже представления не имеем о тех грехах, что остаются на совести «строителей империи». Знаем ли мы, например, что целые племена, некогда жившие в Сибири, были стерты поступью российской цивилизации? Кто из нас слышал что-нибудь о резне, учиненной русскими войсками в Геок-Тепе, где были перебиты сразу 8 тысяч туркменских беженцев? (Хотя справедливости ради надо заметить, что на совести русских колонизаторов нет таких тяжких грехов, как, например, отлов негров-рабов, сотни тысяч которых погибли в трюмах рабовладельческих судов.)

Есть у нас, между прочим, и пореволюционный, очень своеобразный опыт покаяния, ныне прочно забытый. Помню, как еще в детстве (дело было в 40-х годах) шокировала меня случайно мне попавшаяся книжка о Крыме (ни автора, ни названия я уже припомнить не могу, но очевидно, что она могла выйти только в 20-е или в самом начале 30-х годов) с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на обложке, где Севастополь был назван русским разбойничьим гнездом на Черном море. Почти такой же шок я испытываю и сегодня, вычитав, например, в книге Г. Сафарова «Колониальная революция. Опыт Туркестана» (вышла в Москве в 1921 году), что завоевание Средней Азии осуществлялось с «истинно русской подлостью» (автор, кажется, узбек, но книга-то издана в Москве!). Смутное чувство оставляют подобные вещи. Мы знаем, откуда идет это самозабвенное отвержение национального: от благих побуждений, тех самых, коими выложена дорога в ад. «Пролетарский интернационализм» — превращенная форма христианского универсализма, оторвавшаяся от неба и витающая над землей, — своей безосновностью обречен был на недолгую жизнь. Но он не сразу испарился, а как-то хитро перетек (для историков тут непочатый край работы) в свою противоположность — новый, грубо плебейский русский национализм, не слишком, однако, явный, что-то сохранивший от «пролетарского интернационализма» (и не мешавший, надо это признать, существованию национальных культур, конечно в жестко определенных рамках).

В то же время новая, советская империя совершила такие преступления в отношении нерусских народов (как и в отношении самого русского народа), перед которыми самые тяжкие грехи старой империи выглядят, по средневековой терминологии, как *ressati minores* (малые, легко прощаемые грехи). Благодаря «перестройке» мы тут кое-что знаем: например, о массовых депортациях по национальному признаку, в результате которых погибли сотни тысяч, а жизнь миллионов людей была искалечена.

Должен наступить день (и дай Бог, чтоб он наступил скорее), когда слово «покаяние», одно время вошедшее в наш лексикон, а сейчас уже, похоже, «вы-

¹² Федотов Г. Полное собрание статей в 4-х томах. Т. III, «Тяжба о России». Париж. 1982, стр. 246

шедшее из моды», нальется живым мысле-чувством и русскому, российскому человеку станет действительно стыдно за ту «птицу-тройку», которую его приучили только гордиться. Стыдно «со всех сторон» (национально-колониальный вопрос — лишь один из аспектов ожидаемого покаяния). Вся история должна быть подвергнута пересмотру с религиозно-нравственной точки зрения, ставящей христианскую совесть выше любых других соображений. Пока что мы от этого очень далеки. Пока еще требуется известная смелость, чтобы сказать так, как говорит, например, историк Андрей Зубов: «Стыдно и противно копаться в зловонной выгребной яме отечественной истории» («Континент», 1993, № 75).

Вот гениальное провидение В. В. Розанова — я называю его провидением потому, что оно относится не столько к современной ему России, сколько к той, что еще только-только нарождалась в ее недрах и по-настоящему раскодилась-разгулялась лишь после семнадцатого года, «затерянное» в мало читаемой сейчас книге «Среди художников»: «Недалеко усколет такая „тройка“... Да, знаете, народы-то, пожалуй, и „сторонятся“ перед Россией; но — от отращения, от омерзения. И уже давненько подумывают: как им защититься от этой дикости, от этого иступленного преступления, от всех наших чудовищных пороков и низости... Как **связать и укротить** эту „бешено мчащуюся тройку“, этот бешеный „развал“ и „нигилизм“¹³. Вот камертон, по которому должен настраивать себя, с которого должен начинать сегодня истинный патриотизм!

Но тут нужно будет и суметь вовремя остановиться — и не каяться в том, в чем каяться не следует. Не считать порочной саму идею империи. И не закрывать глаза на то, что она ставила перед собою, между прочим, исторически оправданные задачи. Да и то, как она их реализовывала, далеко не всегда заслуживает осуждения. Не все в русской истории не удалось; кое-что удалось, более того, кое-что может служить предметом гордости. «Град земной» тоже, случается, поблескивает похищенными с небесного свода звездочками. Равнодушие Блаженного Августина к земному великолепию Рима иноческое, не годящееся для всеобщего употребления. Существуют практически-исторические (в их числе эстетические) критерии, оправданные в том случае, когда не упускаются из виду критерии религиозно-нравственные. Какое-то двойное зрение здесь неизбежно (его нетрудно объяснить онтологически: человек — «дитя двух миров», он укоренен в вечности, но не может изъять себя из времени).

«Раскаяние есть первая верная пядь под ногой» (А. И. Солженицын — «Новый мир», 1991, № 5, стр. 14). Совершившееся покаяние даст моральное право отвечать на исходящую от националов (у которых сейчас возбужден «национальный» участок мозга) критику российской имперской традиции, отличающуюся явными перехлестами. Оно позволит подключиться к западным спорам о роли Европы в мире, затрагивающим, как мы уже видели, целый комплекс вопросов политического, культурного и религиозного характера. Споры эти подстегиваются известным обстоятельством: результаты деколонизации оказались далеко не такими, какими их ожидала увидеть западная интеллигенция. Во многих странах они оказались прямо катастрофическими. Под лозунгом национального самоопределения в этих странах пришли к власти тираны, повторяющие и утрирующие худшие жесты своих вчерашних хозяев, — карикатурные робеспьеры и бонапарты в тюрбанах и чалмах, мини-фюреры и мафиозные «крестные отцы», оживившие далеко не лучшие из местных традиций (до каннибализма включительно), кровавые фанфароны, «калигулы третьего мира», ставшие несчастьем для соседей ближних, а порою и дальних. Они принесли с собою хозяйственную разруху (за исключением тех стран, которым повезло с нефтью), усугубленную неконтролируемым ростом населения, попрание личных прав и свобод, шовинистическую истерию и одержимость вооружениями, рост преступности, бандитизм и терроризм на морских и воздушных путях и т. д.

В этом же направлении движутся и некоторые страны бывшего СССР. Мини-империи, возникшие на развалинах советской империи, голографиче-

¹³ Розанов В. Среди художников. С-Пб. 1914, стр. 357

ски воспроизводят все ее пороки, дополняя их еще и собственными. В который уже раз повторилась история: заколов Ромула и расчленив его тело, отцы патриции разбежались, унося каждый в складках своей тоги какую-то его часть (есть такая версия гибели основателя Рима).

Во многих странах третьего мира не самые глупые люди считают, что англичане и французы ушли оттуда раньше времени: цивилизаторская миссия не была доведена ими до конца, дело было брошено на половине и в итоге принесло едва ли не больше вреда, чем пользы. В подобных случаях принцип национального самоопределения оказался фетишем, в жертву которому были принесены реальные интересы народов. Это значит не то, что принцип национального самоопределения вообще несостоятелен, а то, что надо уметь его сочетать с принципом универсализма. Сами англичане и французы были когда-то колонизованы римлянами, о чем сейчас вроде бы не жалеют. Мы видели, что лорд Лугард не поколебался назвать своих предков дикими варварами, всем обязанными римскому завоеванию; еще раньше английский историк Томас Маколей писал, что не только римское, но и франко-норманнское завоевание пошло на пользу британцам. То же самое писал Вольтер о галлах: им крупно повезло с тем, что римляне однажды решили подчинить их своей власти.

«Премудрый Садовник насаждает в Своем саду растения от разного семени и корня и дает каждому из них расти и зреть во время свое», — писал о. Сергей Булгаков, имея в виду национальный вопрос¹⁴. Механическое применение принципа национального самоопределения нарушает органику роста, подстегивая малые деревья тянуться за большими в ущерб собственной морфологии и в ущерб ансамблю (вероятно, здесь возможна параллель с личными свободами, которые в каждом конкретном случае должны реализовываться на свой особенный лад, а с другой стороны, должны находиться в некотором равновесии с интересами коллектива).

Отпустив колониальные народы, европейцы заметно охладели к своей цивилизаторской миссии, как охладели они в свое время к миссии религиозной. Для этого есть ряд причин. Прежде всего стало очевидно, что цивилизация, если иметь в виду ее материальную сторону, несет с собою не только блага, но и многочисленные опасности. А что касается благ, то выяснилось, что на Дальнем Востоке их умеют добывать успешнее, чем на Западе, и японцам, например, есть в этом отношении чему поучить самих европейцев. Далее, цивилизацию (если продолжать употреблять это понятие как единично-глобальное) в европейском сознании существенно потеснили культуры, изъятые из сферы оценочных суждений, то есть признанные более или менее равноценными. И третье, может быть, самое важное: секулярная по преимуществу цивилизация не сумела обеспечить того, что исстари называется улучшением нравов, как раз наоборот — в самой Европе ситуация в этом смысле давно уже оставляет желать лучшего.

Римскую империю создал римский характер

Великие империи приходят в упадок по причинам внутреннего характера. Реальности современной Европы никоим образом нельзя объяснить исходя только из формулы упадка — и тем не менее многие упадочные явления здесь налицо. Это относится и к области нравов.

Трудно судить о морали нынешних европейцев, глядя на них из России: все время напрашивается сравнение «нашего» с «ихним». А надо сравнивать «ихнее» с «ихним». Скажем, сравнить западные фильмы хотя бы тридцатилетней давности с нынешними (те и другие достаточно показательны в интересующем нас аспекте): упадок нравов будет очень заметен. Если, конечно, применить к ним одни и те же критерии. А то ведь есть такая точка зрения, что старые критерии никуда не годятся, что надо быть реалистом и т. д. и т. п. Тут сказывается и длительная тренировка, какую европейское со-

¹⁴ Прот. С. Булгаков, «Иуда Искариот — апостол предатель» («Путь», 1931, № 27, стр. 22).

знание прошло в школе авангарда: все теперешнее считается новым, никогда ранее не бывшим. Действительно, нового стало необычайно много (и есть что-то абсолютно новое, никаким авангардом еще, кажется, не уловленное и ждущее, что это сумеют сделать подрастающие поколения). Но это не лишает историческую типологию ее исконных прав: не все под взглядом историка рассыпается, многие факты легко нанизываются на протянутые из глубин веков нити. Что касается моральных критериев, то они как раз обладают свойством сохранять «злостную» устойчивость. Разные интересные новшества в этой области обнаруживают общий недостаток: им не хватает человечества, которое было бы создано специально под них. То человечество, которое есть, нисходящее от ветхого Адама, по своей психологической природе остается неизменным, и ему так же не дано отделаться от «старой» морали, как не дано отделаться от собственной тени.

Тойнби заметил, что варвары смеют тогда, когда в жизни империи открываются черты душевной смуты (это, между прочим, можно отнести и к нашему внутреннему варварству семнадцатого года). В нынешней Европе, как и в Северной Америке, кажется, все черты душевной смуты налицо. Если мы посмотрим, на что жалуются римские авторы периода упадка империи, то увидим, сколь многое в настоящем является повторением пройденного. «Все уже было»: толпа, требующая «хлеба и зрелищ»; патриции, опускающиеся до уровня толпы; хамы вольноотпущенники, уверенные в том, что теперь «все позволено»; и ощущение, что ход истории «вышел из-под контроля»; и вкус к духовному промискуитету; и оргии мистического сладострастия при звуках «дикой» музыки (ее привезли в Рим «нубийцы с тамбуринами), поражающей слух «безумными» ритмами; и девушки, похожие на юношей, и юноши, раскрашенные, как девушки, последователи каких-то двуполых божеств...

Конечно, это только одна сторона картины. Европа как никогда очень разная; и живет она сейчас как бы в разных временах. Ее христианская совесть не оставила ее, в чем мы лишний раз имели возможность убедиться. И ее вечное прилежание не вполне ей изменило: сегодняшняя Европа — это и исполненный творческого напряжения улей, и гигантская лаборатория, где зачинаются знания завтрашнего дня; это веками отточенные формы общезнания, делающие существование, вероятно, более выносимым, чем где-либо; это наименее несовершенные из всех, до сих пор имевших быть, институты демократии, и еще многое другое. И даже упадок морали там, где он есть, зачастую имеет специфически новоевропейский оттенок вопрошания, поиска...

И все же упадок есть упадок, как тут ни крути. В общем, это долгая история, требующая отдельного разговора; вероятно, одна из основных причин упадка морали, как ни парадоксально это звучит, — в длительном чрезмерном упоре на мораль. Процесс секуляризации, набравший силу уже в XVIII веке, оставил мораль беззащитной, а так как необходимость в ней была слишком очевидна, то ее стали настойчиво «опекать», давая ей чисто рациональные оправдания. Но рационально понятая мораль может быть сведена к формуле «не делай другим того, чего бы ты не хотел испытать сам», что правильно, но явно недостаточно. Быть, допустим, жуликом, воровать чье-то добро нехорошо, но ведь человек не затем живет среди других людей, чтобы не быть жуликом и вообще не совершать дурных поступков. Сведенная к запретительству, мораль была обеднена и засушена; таинственное единующие всех людей было подменено подобосущием, «уважением» к другому (подмена, остро восчувствованная культурными революционерами 1968 года, выдвинувшими единующие на место подобосущия: «мы все — одно!», «делайте любовь, а не войну!»).

Запретительство — необходимая часть морали, но только часть ее. Нужна еще и какая-то «музыка», которая заполняла бы душу и делала бы соблюдение запретов чем-то естественным и ненатужным. Моральное воспитание питается не рацеями или, во всяком случае, не столько ими, сколько образами, живыми (в эстетическом смысле) примерами того, как надо «делать жизнь». Устойчивое следование определенным образам создает, или до-создает, характер — это относится к отдельным людям и это относится к целым народам.

Не будет преувеличением сказать, что Римскую империю создал римский характер, изначальные духовно-душевные «диспозиции» во многом предопределили политическое поведение. Часто указывают на прозаические качества римлян, на их деловитость и рационализм (без чего, впрочем, тоже было бы невозможно построить империю), забывая, что им было свойственно великодушие, отличавшее их даже от более культурных греков; строгий к римлянам Блаженный Августин поставил им в заслугу, что они «умеют прощать». «Для римлян, — пишет Ханна Арендт, — целью войны было не просто поражение неприятеля и заключение мира; они только тогда бывали удовлетворены, когда вчерашние враги становились «друзьями» и союзниками (*socii*) Рима»¹⁵ Соммы завоевателей во всех направлениях избороздили евразийский материк, но только римляне встали на путь интеграции, говоря по-нынешнему, завоеванных народов, подтягивания их до того уровня цивилизации, какого достигли сами. Примечательно, что вергилиевская «Энеида», ставшая самым ярким выражением римского духа, оканчивается (в отличие от «Илиады», которую она во многих отношениях дублирует) полным примирением победителя, троянского изгнанника Энея, с покоренными им племенами. И знаменитая «формула» исторической миссии Рима, отчеканенная Вергилием, —

Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных! —

может быть истолкована как выражение не только римских притязаний, но и римской скромности, ибо тут же Вергилий говорит, что есть вещи (не менее, а может быть, и более важные, чем искусство управлять), которые у других народов получаются лучше: ваять статуи, произносить речи, изучать звездное небо и т. д.

В свою очередь Вергилий (один из тех, кого называют христианами до христианства) стал для позднейших европейцев не только вожатым в Дантовом странствии по загробному миру, но и наставником в доблестях, дающим незабываемые уроки римской твердости и римской мягкости. Не чужд он был в этом качестве и русским, на что указывал Федотов, а в наши дни С. С. Аверинцев. Федотов писал, что Русская (послепетровская) империя вышла из школы Вергилия, хотя духовной родиной назвал все-таки Грецию, научившую русских молитве и чувству красоты. Катастрофа 1917 года заставила по-новому прочувствовать «Энеиду», обозначающую круги, на которые роковым образом возвращалась Россия, что было замечено, в частности, Вяч. Ивановым:

Мы Трои предков пламени дарим...

В годы после второй мировой войны бывший вице-король Индии лорд Линлитгоу связал упадок империй с упадком классического образования. Наверное, в этом есть свой резон: классическое образование, от младых ногтей ориентировавшее на высокие примеры поведения, существенно укрепляло нравственный костяк, нравственную мускулатуру; оно, в частности, поддерживало чувство определенной миссии, которое европейцы переняли от римлян. Нынешним европейцам не хватает характера; само слово «характер» в контексте истории или социологии долгое время считалось чуть-чуть старомодным и лишь в последние годы возвращает себе былые права (например, в книге Элиасэра Макинтайра «После добродетели»). «Массовое общество» менее всего способствует формированию характера: оно бомбардирует вас раздражителями-мультипликаторами, не давая времени на чем-либо задержаться. Люди трутся друг о друга — непосредственно и через *mass media*, — подобно тому как это происходит с галькой на морском берегу, и в результате столько же стираются как личности, сколько приобретают внешнюю шлифовку.

Интеллектуальные круги постмодернистского направления приветствуют такое положение и санкционируют его, усматривая в броуновском движении толпы «поле энергии», замечательное тем, что оно не имеет никакого определенного вектора. Личность здесь характеризуется своей

¹⁵ Arendt H. On Revolution New-York 1963, p. 188

«энергетической» связью с другими личностями; ни глубины, ни устойчивости от нее не требуется, как раз наоборот. Нравственная мускулатура размягчается, и это, как выясняется, очень правильно... с нравственной точки зрения. Ибо этого требует терпимость. Работает только одна мышца, терпимости, не дающая проявиться другим мышцам. Нравственное усиление квалифицируется как на-силые, грозящее в чем-то ущемить кого-то другого и предполагающее наличие некоей точки опоры, которой на самом деле быть не может. Не должно быть никакого «во имя», ибо не существует цели, ради которой стоило бы напрягаться. Как пишет американский филолог Аллан Блум в своей нашумевшей книге «Тупик американского духа», человек, всерьез верящий во что-нибудь, представляется в этой среде опасным человеком; считается, что «уверенность в собственной правоте всегда вела к войнам, преследованиям, расизму и имперскому шовинизму, поэтому вопрос заключается не в том, чтобы исправлять ошибки и быть действительно правым, а в том, чтобы не допускать мысли, что ты можешь быть прав»¹⁶. Подобный релятивизм самим релятивистам может представляться достижением, но в глазах народов третьего мира он выглядит тем, чем является на самом деле, — глубочайшей растерянностью, слегка завуалированной снобистской «любовью к пустоте».

Шестьдесят лет назад Карл Густав Юнг писал, что погоня за школьным всезнайством в Европе ведет к разрушению собственного духовного дома, отчего многие европейцы начинают с завистью смотреть на чужие дома. Бездомному (духовно) легко проявлять терпимость: ему нечего противопоставить тому, что выдается за истину. Такая терпимость, по сути, есть не что иное, как бесхарактерность; она несовместима с исходными европейскими ценностями, между прочим, сделавшими возможным и школьное всезнайство. И прежде всего она несовместима с христианством, которое, по слову Н. А. Бердяева, «претендует быть всем» и потому не может не быть в известном смысле нетерпимым (и здесь необязательно вызывать в памяти костры инквизиции; мягкая неуступчивость — это тоже нетерпимость). Христианин, по знаменитому паскалевскому выражению, как бы «бьется об заклад», что бытие имеет цель более высокую, нежели то готовы допустить другие религии; поэтому он не может не смотреть свысока — опять-таки в известном смысле — на тех, кто делает более скромные «ставки» или же вообще отказывается «играть» (это, конечно, всё метафоры; в метафорическом смысле вера едва ли имеет что-то общее с игрой — хотя бы потому, что христианство исключает возможность проигрыша).

Брошенная на половине цивилизаторская миссия — свидетельство того, что европейский характер дал серьезную трещину. Уверенность в себе (граничащая, надо это признать, с чванством) сменилась искательностью; вчерашние учителя просятся в ученики: по словам американского филолога, его студенты лишь в том случае были бы готовы прислушаться к Платону, если б он был «лесбиянкой из племени команчей». Менее всего от этого выигрывают команчи (если от них что-то осталось) и их собратья по третьему миру.

Между тем сейчас в самой Европе некоторые черты римского характера оказываются совсем не лишними.

«Хозяин положения» есть дух

Призрак «вечного Рима» бродит по Европе.

Это надо понимать одновременно и в негативном и в позитивном смысле (хотя где именно позитив, а где негатив — на сей счет порою существуют, как мы увидим, разные мнения). Европа переживает один из переходных моментов своей истории. Прав Жак Деррида: сегодня, как и всегда, «хозяин положения» есть дух и от того, чем является или может стать Европа на уровне духа, зависит ее будущее. Мнение самого Дерриды на сей счет двусмысленно. «Старой Европы более не существует, — пишет он в книге «Другим курсом», — поэтому мы, европейцы, нынче юнее, чем когда-либо... И в то же время мы подобны тем юным народам, что, вставая поутру,

¹⁶ Bloom A. The Closing of American Mind. New-York. 1987, p. 26.

уже чувствуют себя старыми и уставшими»¹⁷. Столь противоречивая оценка, в общем, отражает реальность — как никогда раньше слоистую, многоплановую. Типичная усталость конца века согласно Дерриде сближает современных европейцев с римлянами периода упадка империи; в то же время в отличие от римлян европейцы еще склоняются над «картой будущего», еще вынашивают какие-то, пока труднопредставимые, «новые жесты».

Эту тему развивает, хотя и несколько однобоко, «Рим: книга об основаниях» почти столь же известного Мишеля Серра. Французский философ считает, что в моральном отношении Европа, так же как и поздний Рим, находится в «состоянии чумы». Последнее не есть то же самое, что «состояние войны»; ибо «в состоянии войны все мы — горации или фабии, плебеи или вейтинцы, все в мундирах; а в состоянии чумы мы уже не различаем, где близкие и где дальние, кто с нами и кто против нас»¹⁸. Серр, однако, не усматривает здесь некую деградацию или порчу; с его точки зрения, принцип «человек человеку чума» представляет собою естественное развитие изначальных моральных принципов, на которых был основан Рим, из которого, в свою очередь, выросла современная Европа.

Книга Серра содержит характерно постмодернистскую, ироническую и натуралистическую, ревизию «оснований». У него получается, что Рим основали «убийцы и шлюхи». Всячески обыгрывается, что Ромул был вскормлен волчицей, и то, что он убил брата Рема, и то, что его самого потом убили приближенные. В роли главной «шлюхи» фигурирует Рея Сильвия, мать Ромула и Рема, которая является также жертвой насилия: ее живой закопали в землю за нарушение обязательного для весталок обета безбрачия. Мы не знаем, что в действительности происходило на римских холмах с громкими впоследствии названиями в те незапамятные времена, когда там еще пасли коз. Но мы знаем, как рос римский народ, на чем он рос. Мы знаем, что своим родоначальником он считал не Ромула, а не более легендарного, чем Ромул, Энея, кроме как в честном бою никого не убивавшего. Что же касается жестоких обычаев, обставивших институт целомудрия, то это был клин, посредством которого римляне (как и некоторые другие народы) вышибали клин естественной плотоядности (подобные вещи называют также искоренением варварства варварскими методами).

Но Серр видит в римских доблестях только одно — склонность к насилию, и всю историю классического Рима обозначает как «состояние войны». А раз так, то стоит ли расстраиваться по поводу нынешнего «состояния чумы»? Действительно, хотя Серр тоже что-то говорит о «новых жестях», существующее положение во многих отношениях его как будто устраивает; подобно пушкинскому Вальсингаму, он «пьет дыханье... полное Чумы». Модель позднего (дохристианского) Рима, как ее понимает Серр, стихийно воспроизводимая современной Европой, привлекает его отсутствием четких дефиниций и законченных форм; космополитический Город поглощает все, что бы ему ни подложили, все переваривает, все превращает в некую текучую множественность, не связанную общими началами и принципами. Здесь нет, говорит Серр, никакой молотилки, отделяющей пшеницу от плевел; пшеница и плевелы мирно соседствуют, и это очень хорошо. Близкой точки зрения придерживается и Деррида: модель позднего Рима (как и современной Европы) — «дистрибуция множественностей»; «секрет империи» в том, что, если разрезать ее на части, каждая из них обнаруживает в миниатюре черты целого.

Не странно ли? В момент своего рождения — два столетия назад — современные демократии апеллировали к героям Римской республики; в наши дни развитие демократических процессов переплетается с культурным упадком и потому вызывает аналогии с поздней империей, во все времена внушавшей скорее сожаление. И не так просто разобрать, где тут, собственно, развитие, а где «разлитие», по Леонтьеву.

Призрак Рима возникает и там, где дело касается политической архитектуры объединенной Европы. Строя общеевропейский дом, европейцы открывают, что новый его этаж в чем-то существенном должен напоминать первые

¹⁷ Derrida J. The Other Heading. Bloomington. 1992, pp. 7 — 8.

¹⁸ Serr M. Rome: The Book of Foundations. Stanford. 1991, p. 199.

этажи, от которых его отделяет этаж «национальных квартир» (так — поэтажно — росли когда-то в Европе ее знаменитые замки: над романской основой возвышалась готическая часть, а затем ренессансная и барочная). В эпоху, когда национальная идея по меньшей мере поблекла, Рим естественным образом напомнил о себе как о парадигме европейского единства. Но тут выявляются некоторые интересные противоречия. Объединенная Европа обнаруживает черты «универсального государства» (империи), открытого во многих отношениях и вместе с тем свидетельствующего об относительной замкнутости, «уходе в себя» — если сравнивать с тем напористым и нередко агрессивным глобализмом, какой прежде отличал европейцев. Недаром сами они порою называют «общеевропейский дом» своей северной крепостью.

Не будет преувеличением сказать, что демократия в Европе за последние десятилетия «выправлена» по римскому образцу. Хотя, как я уже сказал, в момент своего рождения современные демократии апеллировали к Римской республике (реже к Спарте и совсем редко к Афинской республике), в дальнейшем они (если исключить англичан и американцев) во многом следовали именно греческим, а не римским образцам. Греки были тоньше, артистичнее римлян, но их демократия была более примитивная, чем римская. Грекам не хватало уважения к законам, да и само законодательство оставалось у них недостаточно внятным; смысл народовластия для них состоял в том, чтобы народ в любой момент мог вынести такое решение, какое ему заблагорассудится. С точки зрения римлян, это была *licentia* (разнузданность, произвол); их демократия была сложной, репрезентативной, а законодательство тщательно разработанным, и нарушать его не было дано никому. Эти качества римской демократии позволили вывести ее из рамок полиса и распространить, хотя бы частично, в масштабах всего Средиземноморья.

В Новое время только деловитые англосаксы пошли по римскому пути. «Великая» французская революция поставила на первое место принцип народного волеизъявления, а не «дух законов», как того требовал Монтескьё; почти одновременно схожая замороженность движениями народной души возникла и по другую сторону Рейна, в Германии. Совместными усилиями немецкие романтики и французские якобинцы добились того, что демократия в Европе (континентальной) увязла в национальной идее; полисное было раздуто до уровня национального — в ущерб европейскому «ансамблю», с одной стороны, и собственно полису (области, местной общине), с другой. Лишь за последние десятилетия эта диспропорция была постепенно ликвидирована: национальное заняло подобающее ему скромное место между общеевропейским и областным, а общее законодательство было поставлено выше национальных интересов (и особенно национальных капризов). А это, собственно, и есть римская модель; недаром она сегодня вызывает повышенный интерес не только у историков, но также у политологов, социологов и т. д.

И все же строительство объединенной Европы не может ограничиться вопросами структур и процедур; оно нуждается также и в духовном наполнении. В противном случае получится что-то вроде «рагу из зайца без зайца». Национальная идея была сильна тем, что задевала какие-то важные струны истории, психологии, эстетики. Каждый народ создал определенный образ самого себя, или, точнее, ряд образов. Что такое, скажем, Германия? Это музыка тихих, «домашних» добродетелей. Но и — Лесной царь. И — тени Валгаллы. Франция — это «здесь танцуют» на месте поверженной Бастилии, это огненно-страстная, возвышенная и одновременно чувственная «Свобода на баррикадах», но также и святая Жанна. И так далее и так далее. Объединенная Европа остается пока безобразной. Шумы, из которых может (должна) родиться музыка, есть, а самой музыки еще нет. Есть «зовы» и нет «ответа». Или, как говорит Серр, есть «поля (духовной) энергии», но нет (к вращению его удовлетворению) вектора.

Постмодернизму свойственно, нельзя ему в этом отказать, острое чувство настоящего; оно как бы выводит из фокуса внимания неотменимые морфологические закономерности, ведущие из прошлого в будущее и лишь временно затененные в настоящем. Равным образом это относится к человеку и к обществу. Это относится и к Европе в целом. Вряд ли так уж далек миг, когда

Европа-дева и Европа — беззубая старуха сольется в одно лицо, которое будет совершенно новым и тем не менее легко узнает себя в зеркале. Деррида пишет, что Европа ныне следует «другим курсом, или, точнее другим своего курса» (в английском переводе, в котором мне довелось прочесть его книгу, — *the other of the heading*)¹⁹. Думаю, что здесь все будет правильно, если перенести ударение: Европа следует «другим» своего курса.

Даже в географическом смысле Европа сохраняет многие свои морфологические черты, отнюдь не представляя собою то «однообразное разнообразие», какое хотели бы видеть в ней постмодернисты. Центра у нее действительно нет (хотя, например, интеллектуальный центр есть — почему бы не признать, г-да Деррида и Серр, что это на сегодня ваш Париж?), но есть рейнская ось, как ее называют историки, стягивающая на себя северо-восток Франции и запад Германии вкупе с Голландией и Бельгией, вокруг которой, можно так сказать, обращается Европа уже с конца XV, и особенно с начала XVII столетия (когда пришла в упадок Италия). В самом деле, если мы продолжим «рейнскую ось» (ее издавна называют также дорогой книгоиздателей и книгочеев) пунктиром через Ла-Манш и далее до Лондона, то обнаружим, что три четверти всего того, что создавалось в Европе великого и просто значительного, тяготеет именно к этому отрезку прямой. Кстати, в этой зоне расположены и нынешние административные центры объединенной Европы — Брюссель и Страсбург.

Но Европа не только «ищет свою карту», как теперь говорят, она ищет свою полуотраченную душу. На высотах европейской культуры есть достаточно ясное понимание того, в каком направлении следует вести поиск. Даже скептический Раймон Арон, ныне покойный, признавал лет десять тому назад, что «одним из источников творчества (а точнее, основным. — Ю. К.) в Европе всегда было соперничество между временным и вечным»²⁰. Но чтобы вечное могло соперничать с временным, узурпировавшим чересчур большую власть, нужна «реконкиста духовной родины», как писал когда-то, если не ошибаюсь, Ф. А. Степун.

США как империя

Я потому задержался на европейских процессах, что в предстоящие десятилетия они, очевидно, будут сильно влиять на ход наших внутренних дел. Но я до сих пор почти не касался Соединенных Штатов, тоже современной империи, долгое время состоявшей в особых отношениях с нашей страной; здесь уместно употребить ученое слово «осмос», что означает, в частности, взаимоподражание двух враждующих сторон, постоянно наблюдающих друг за другом.

В каком смысле США следует считать империей?

В ту пору, когда заокеанская республика еще была в колыбели, тень *Mater Romana*, Римской матери, заботливо склонялась над нею. «Без сияющего сквозь века классического примера, — пишет Ханна Арендт, — никто из революционеров (конца XVIII века. — Ю. К.) по обе стороны Атлантики не отважился бы на то, что было тогда беспрецедентной акцией»²¹. Самосознание формирующейся нации отправлялось главным образом от двух книг — священного Исхода и «Энеиды». Оставаясь преимущественно религиозными по своему духу, американские революционеры заговорили на светском языке Вергилия и Плутарха. (Девизы, взятые из Вергилия, по сию пору служат аксессуарами идейно-политического обихода; один из них красуется на американском гербе: «E pluribus unum» /«Единое из многих»/)

Юная демократия рождалась в тогу Римской республики, более всего привлекавшей ее своим правосознанием и нравственной крепостью; ее деятели видели себя «новыми катонами», христианской, так сказать, закалки, а свой народ — простым и непритязательным, более всего ценящим свободу. Для большинства из них эпоха республики была золотым веком, окончившимся в

¹⁹ Derrida J *The Other Heading*, p 17

²⁰ Aron R *Le relatif déclin de l'Europe* — Ranimer l'Europe Paris 1984, p 262

²¹ Arendt H *On Revolution*, p 197

момент, когда она сменилась империей; последняя отождествлялась с тиранией, частично смягчаемой в правление отдельных благородных цезарей. (Столь резкое противопоставление грешило некоторым упрощением: вплоть до прихода к власти Диоклетиана в 284 году империя была не монархией в позднейшем европейском, а тем более азиатском смысле, но автократией, ограниченной — по крайней мере в принципе — действием старых республиканских магистратур; с другой стороны, уже республика была гигантским многоплеменным образованием с достаточно сильной центральной властью, то есть в некотором смысле империей.)

Иначе думало меньшинство во главе с госсекретарем А. Гамильтоном, чьим любимым героем вопреки общепринятому вкусу был не Катон или Цинциннат, но Юлий Цезарь. Гамильтон указал на то, что, несмотря на стремление римлян к более или менее справедливому распределению власти, центр у них оставался сильным даже в период республики; поэтому переход от республики к империи он считал закономерным и логичным. Соединенным Штатам, настаивал Гамильтон, нужна не столько система юридических увязок, обеспечивающих баланс интересов штатов (а также местных общин, различных ассоциаций и т. д.), сколько сильная центральная власть.

Гамильтон разошелся с большинством и в вопросах внешней политики. Основным внешнеполитическим принципом Соединенных Штатов стал универсализм, как его сформулировал Т. Джефферсон: надо служить «светочем свободы» для всего мира, но никогда не применять силу, а только заражать других своим примером. У Гамильтона было все наоборот: пусть другие живут как хотят, но Соединенным Штатам всегда надо помнить о своих интересах, — поэтому достаточно мощные вооруженные силы, державная политика, внешний блеск так же им необходимы, как и любому другому крупному государству. Хотя Гамильтон по всем пунктам потерпел поражение, его тема не исчезла, она лишь отодвинулась на второй план. Ее присутствие нетрудно проследить на протяжении всей американской истории. Особенно в области внешней политики. И особенно в XX веке.

Но сначала о том, что является первоплановым. В американском универсализме всегда был и остается элемент самодовольства, наивного убеждения, что «все, годящееся для Америки, годится также и для остального мира». Тем не менее, если сравнить американский универсализм XIX века с европейским, то сравнение окажется в пользу первого. Американский универсализм был более бескорыстным, почти не связанным с территориальными захватами (если не считать крайне малонаселенных, зачастую почти безлюдных областей Северной Америки). Если в европейском универсализме вперед выступило цивилизационное начало, то в американском — христианское и, с другой стороны, демократическое. Америка посылала в заморские страны больше миссионеров, чем все европейские страны, вместе взятые; и Америка всюду проповедовала свободу, в то время как европейцы ценили ее главным образом у себя дома.

Но, как говорят немцы, *Sachzwang* (сила вещей) требовала своего. Отступления от официально заявленного бескорыстного универсализма имели место уже в президентство самого Джефферсона, тем более — при его преемниках. Особенно заметными они стали на пороге XX века, когда целый ряд обстоятельств (в их числе относительная освоенность внутренних пространств, нарабатанные мускулы и — может быть, в первую очередь — европейский пример) «потребовал» их выхода на мировой простор в качестве соперника сильнейших в то время держав. Этот поворот связан с именем Т. Рузвельта, принципиального гамильтонианца, говорившего, что американский орел должен быть по меньшей мере не слабее других пернатых того же вида.

И все же американская внешняя политика сохранила некоторый идеализм в хорошем смысле этого слова. Президент В. Вильсон, провозгласивший в 1919 году в Версале «право наций на самоопределение», в глазах тогдашних зубров европейской *Realpolitik* предстал одновременно как «романтик», «пуританский моралист» и «чрезмерный либерал». После второй мировой войны богатая Америка оказала щедрую и в значительной мере бескорыстную помощь не только своим вчерашним союзникам, но и вчерашним противникам в Европе и Японии (без этой помощи Европе, чтобы встать на ноги, понадобилось бы, наверное, не одно десятилетие).

К сожалению, холодная война стимулировала силовую политику, в общем не традиционную для Соединенных Штатов. Виноват в этом Сталин, вынудивший американцев сохранить свое военное присутствие в мире вопреки первоначальным намерениям. Противостоять глобальной коммунистической угрозе по плечу оказалось только им (страшновато представить, что произошло бы в те годы, если бы на карте мира не было Соединенных Штатов). Но логика противостояния заставила их наращивать силовые структуры, которые сами стали корректировать американскую политику в желательном для них духе. Военно-промышленный комплекс, вооруженные силы, разведка превратились в мощные институты, зачастую ведущие свою собственную игру, не совпадающую с интересами американского общества в целом. Это стало особенно заметно сейчас, с окончанием холодной войны, когда надобность в них значительно уменьшилась. Произошло то, чего опасались отцы основатели: создано сильное государство, составившее базу современного неогамилтонианства.

Разумеется, Соединенные Штаты остаются демократической и христианской страной (хотя христианство большинства американцев заметно размытое). Силовые структуры остаются под контролем и, надо надеяться, в новых условиях будут постепенно рассасываться (это, впрочем, зависит и от наших силовых структур: взаимное слежение продолжается, как и взаимное подражание). Сохраняются и элементы идеализма в американской внешней политике, которые, кстати говоря, многими нашими соотечественниками просто не воспринимаются (как не воспринимаются некоторые цвета дальтониками). Ничего удивительного в этом нет: мы глубоко дехристианизированная страна, у нас уже глаз так устроен, что воспринимает только «практическое». Когда-то я не мог взять в толк: отчего это в прошлом веке немцам понадобилось изобретать такой термин — *Realpolitik*? Разве политика бывает нереальной (если исключить особые случаи, когда у кормила власти оказываются дураки или безумцы)? Но ведь само появление этого термина — и его частое употребление в современном политическом лексиконе Запада — уже свидетельствует о том, что существует и какая-то иная политика. Или, точнее, иное измерение политики. И было бы неправильно называть его не-реальным, ибо оно тоже считается с реальностями, только более высокого порядка.

Сбывается, однако, и другое опасение отцов основателей — что американцы могут утратить внутреннюю, духовно-душевную, крепость. Публицистика конца XVIII века постоянно возвращалась к вопросу о том, отчего пал Рим и еще прежде республика вылилась в империю. Одно из решений было подсказано Монтескье: «...республики сохраняются нравами». В современной Америке, как и в Европе, упадок нравов очевиден; в этом смысле она переживает декаданс типа римского. Еще сохраняющаяся американская деловитость (плоды которой, однако, уже далеко не столь блестящи в сравнении с достижениями других народов) не должна вводиться в заблуждение на сей счет. Здесь проявляет себя скорее сила инерции. По-своему великую американскую цивилизацию создавали те грубоватые янки, идеализированные образы которых мы видим в старых голливудских фильмах; нынешние с их пристрастием к шаманству и к *hoggo*'у способны лишь, худо-бедно, поддерживать ее на плаву.

Сравнительно с Европой положение в Соединенных Штатах усугубляется тем, что здесь происходят мощные выбросы инкультурной энергии, разбегавшей в конечном счете мораль; особенно там, где последняя сведена к морально устроенному быту. Я имею в виду в первую очередь культуру американских негров, сложившуюся на Юге и оттуда проникшую на Север и далее в Европу. Юг стал местом, где история выкинула один из самых удивительных своих «номеров». В отличие от Севера, рано порвавшего пуповину, связывавшую его с античностью, Юг вплоть до своего поражения в 1865 году равнял себя по Риму, пытаясь таким образом оправдать позорящий его институт рабства негров. За то же он и получил в дальнейшем современный эквивалент «революции рабов и колонов», в культурном смысле выплеснувшийся далеко за его границы.

Суть дела в том, что африканский культурный ген в XX веке оказал неожиданно сильное действие на тело европейской культуры. Эту опасность уже в начале 20-х годов осознал сверхчуткий Андрей Белый: «Негр уже среди нас: будем твердо: арийцами». Расизм тут ни при чем, Белый имеет в виду исклю-

чительно культурный аспект: Африка «бродит и бредит» в крови Запада «уродливо-дикой фантазией, беспутицей плясовой, изукрашенной жизни; бытом, стилем и модами; и даже — манерой держаться»²². Негр заразил белого своей детскостью, непосредственностью (вынесенными им из «детской» в культурном отношении эпохи), равно как и своей танцующей экзотичностью, контрастирующей с европейской «собранным» (и особенно с западной избыточной рассудочностью). «Аффективная и пансексуальная» (Сартр) стихия негритюда, действуя преимущественно через музыку (хотя и не только через нее), исподволь развинчивала в сознании белого человека какие-то важные винтики, пробуждая в нем то, что П. М. Бицилли назвал вторичной животностью. Говорю об этом не без некоторого сожаления: всегда любил джаз, в особенности то, как в нем работают американские негры. Но я знаю, что эстетическое чувство может обмануть своей «частичностью», точно так же как может обмануть непреклонный морализм.

«Победа негритянского искусства в северных штатах Америки и западных странах Европы, — по словам Тойнби, — дает куда более разительный пример победы варварства, чем варваризация эллинского мира»²³. Но то, что Тойнби назвал победой, мы бы сегодня назвали более скромным словом «успех». Победа пришла потом, в конце 60-х годов. Культурные революционеры, сами себя посчитавшие «новыми варварами» и «белыми неграми», изменили лицо Америки (а в какой-то степени и остального мира), создав новый стиль, в котором характерно африканские (в «здесь и сейчас» вгоняющие) ритмичность и развинченность пластичность стали важнейшими элементами, указывающими на весьма серьезные перемены на уровне мироощущения.

За расширение чем-то приходится платить. Распространившись далеко в сторону Азии, Россия однажды заболела евразийством. Приняв в свое лоно многомиллионную негритянскую массу, Америка переняла и некоторые существенные черты негритянского мироощущения. Возможно, что в перспективе американская болезнь окажется тяжелее русской.

Я мог бы процитировать с дюжину американских авторов, говорящих — с некоторыми нюансами — об одном и том же: что «республиканская империя» (если воспользоваться выражением Гамильтона) Соединенных Штатов приходит в упадок (внешним его признаком стало экономическое отставание от дальневосточных стран); что причиной упадка являются, с одной стороны, некоторые институциональные перекосы и с другой (и это гораздо важнее) — «новое варварство», одолевшее американскую демократию изнутри; и что есть единственный способ спасти положение: вернуться к заветам отцов основателей, с тем, чтобы «провести» их в сегодняшнюю ситуацию и проверить на действенность и выживаемость. Но голоса этих людей (и других, рассуждающих подобным же образом), даром что среди них есть очень известные и авторитетные, тонут в общем потоке информации, которую гонят mass media; тривиальные шумы воспринимаются куда охотнее, чем сигналы, обязывающие шевелить мозгами.

И все-таки Евразия?

В ближайшие годы, очевидно, будет продолжаться поиск оптимальной государственной структуры для России — «разумного сочетания деятельности централизованной бюрократии и общественных сил» (А. И. Солженицын). Такая структура не может не воспроизвести некоторые черты империи. Важно при этом, чтобы пресекалась инерция советского периода и Россия обновилась бы содержательно. Что же касается структурных вопросов, то надо надеяться, что идея сверхсильного центра, откуда исходят все громы и молнии, окончательно себя дискредитировала; страна остро нуждается в возрождении провинциальной жизни, в демократических институтах местного (в частности, земского) типа, в развитии горизонтальных связей, которые потеснили бы все-сильные прежде связи вертикальные. Хотя все-таки центр, наверное, должен

²² Белый А. На перевале. Берлин. 1923, стр. 49

²³ Тойнби А. Постыжение истории, стр. 389

быть достаточно сильным и авторитетным и само представление о России должно оставаться в достаточной мере «центрированным».

Государство, писал уже цитировавшийся Алексеев, есть прежде всего эйдократия, власть определенного эйдоса (образа), которым духовно прониклись его граждане. Эйдетика государства складывается исторически, она передается из поколения в поколение, постоянно обновляясь и по-своему закрепляя связь времен. Новая Россия видит себя преемницей старой Российской империи не в последнюю очередь потому, что испытывает силу ее образа (или образов). Чем сильнее будет пробивающееся ощущение преемственности, тем лучше; при том, однако, условии, что не будут выпирать статичные его (образа) моменты. Дореволюционная Россия, особенно пореформенная (после 1861 года), была внутренне подвижной страной, и вряд ли можно сомневаться в том, что она давно уже стала бы демократической, если бы не катастрофа революции. Как Рим относительно плавно перешел от республики к империи (гражданские войны 49 — 45 и 44 — 31 годов до Р. Х. — детские игры в сравнении с нашей гражданской войной), так и третий Рим мог бы, наверное, относительно плавно перейти от самодержавия к республике (или к конституционной монархии).

Но из того, что катастрофы 1917 года можно было (вероятно) избежать, еще не следует, что она была случайной; напротив, она была достаточно хорошо подготовлена. Новые поколения стоят перед трудной задачей: не только отмыться от позора советского периода, но и подвергнуть глубокой ревизии все наследие старой империи. Надо помнить не только о русском «щите на вратах Цареграда», но и о том, как в 1920 году этот щит был изнеможенно положен у врат того же Цареграда, да еще в виду Святой Софии, увенчанной исламским полумесяцем.

Первопричина этого фиаско уходит в глубь истории: она в том, что называется дымным надмением светской власти (которое подхватила и довела до крайнего, утрированного выражения советская империя), в ее упоре исключительно на грубую силу. Урок должен быть хорошо усвоен: ведь и «демократическая империя» может впасть в тот же грех, что и ее предшественница. Представить, что «град земной» — всего лишь станция на пути к «граду Божьему», очень непросто, учитывая нынешнюю нашу ожесточенную посястосторонность, но только так может быть построено жизнеспособное в исторической перспективе государство Российское. Многие полагают, что восстановленный ныне в качестве российского герба двуглавый орел — эмблема силы. Это не совсем так. Прежде всего орел — символ обновления (см. Псалом 102, 5). Он выступает и как вестник небесной славы (в таком смысле говорит о нем, например, Блаженный Августин). Встреченный Данте (сторонником империи и гвельфов) в Раю «Божественной комедии» имперский орел поразил его своим блеском, но вот что отвечивал на сей счет сам орел: «Только тот свет, что изливает никогда не замутняемая ясность, есть действительно свет; в противном случае это не свет, а мрак, тень плоти и яд плоти». По Державину, «Собою из Себя сияет» только Бог. Государство может светить лишь отраженным светом. Упор на земное величие, на силу и славу рано или поздно приводит к бессилию и бесславию.

Да и земное величие в конечном счете измеряется достижениями на ниве культуры. Трудно сказать, чем был бы в наших глазах Рим без «Энеиды», без того кружка поэтов, что сложился вокруг Августа. То же и в наше время. Чем велика, к примеру, Англия? Ответ напрашивается сразу: Шекспиром в первую очередь. Недаром Томас Карлейль в свое время утверждал, что англичане скорее откажутся от своих владений в Индии, чем от своего Шекспира. Будто перекликаясь с ним, Розанов писал, что не страшнее (русским) потерять всю Белоруссию, чем потерять одного Гоголя.

Но, разумеется, нельзя не отдать должное тем, кто «венчаны славою» на поле брани; сила тоже заслуживает увенчания, когда ее применение нравственно оправдано. Примечательно, что в русской памяти более всего прославлены именно нравственно оправданные победы, к тому же требовавшие максимального напряжения сил, «победы на грани поражений», по выражению А. М. Панченко: на Куликовом поле, под Полтавой и Бородином. И в чем первоисточник русской силы? В уверенности, что «с нами Бог». Этой уверенностью нередко злоупотребляли, стремление к силе и славе становилось

самоцельным и тем самым бросало вызов Его силе и славе. Но здесь уже вопрос «не веры, а меры».

Новая Россия не может себе позволить не быть сильной. XXI век обещает стать тревожным веком; футурологи допускают даже, что уже в ближайшие десятилетия человечество может пережить такие потрясения, каких оно еще не видывало. Но расставшись с иллюзиями бесконечного прогресса, равно как и с «розовым» христианством, унаследованным от XIX века, не следует кидаться в противоположную крайность. Апокалиптические ожидания обладают свойством ввергать человечество в реальные катастрофы; но так как последняя катастрофа все не наступает (возможно и даже скорее всего, что она еще очень далека), то дело оканчивается конфузом. Надо иметь «мужество быть»; и не накликать беды, а, как говорят чеховские персонажи, работать. Быть сильной для России означает быть способной отвечать на «вызовы», откуда бы они ни исходили. Мы сейчас присутствуем при историческом повороте: если раньше источником «вызовов» была Европа, то теперь во все возрастающей степени им становится Азия. Начиная с XVI века азиатская сторона была для России чем-то вроде «заднего двора», которому можно было не уделять слишком большого внимания, ибо спектакль мировой истории разыгрывался почти исключительно на европейском «пятакке» (некоторым прорывом в этом смысле стала русско-японская война, но она была еще только предвестием грядущих перемен). К концу XX века азиатская сцена приобретает по меньшей мере такое же значение, как и европейская, а в смысле беспокойства, которое она внушает другим, даже выходит на первый план.

Не будучи Евразией по составу души, Россия является таковою в географическом и ситуационном смысле — сейчас на этот факт приходится обратить особое внимание.

В нашей печати стали появляться предупреждения о «китайской угрозе» и об «исламской угрозе». Возможно, что это реальные угрозы. Вот еще одна причина того, почему Россия сохранит некоторые черты империи: нужен защитный панцирь. Важно только, чтобы этот панцирь не давил на внутренние органы. С другой стороны, не следует подменять отношения с восточными соседями силовым противостоянием (и уж тем более не испытывать параноидальную враждебность к кому бы то ни было). Опять же здесь вопрос «не веры, а меры».

Но как ни важна геополитика, не к ней я хотел бы сейчас привлечь внимание. Понятие «вызов» в том виде, в каком его ввел в научный оборот Тойнби, имеет культурно-цивилизационный смысл в первую очередь и лишь во вторую — геополитический. Второй чаще всего оказывается производным от первого. Скажем, проблемой царствования Петра I были культурно-цивилизационные «вызовы», брошенные России Европой, а отношения со Швецией, стремление пробиться к морю и т. д., относятся к области тактического претворения стратегических задач.

Итак, какие «картели» шлет нам нынче Азия? Если мы станем в географический центр России лицом к южной границе, наш взор упрется в чудовищную массу гор, как бы концентрирующих в себе земную тяжесть и в то же время взывающих к небу. И действительно, за чудовищными горами открываются волшебные страны: Тибет и еще дальше Индия, чья религия (буддизм и производные от него конфессии) — единственно достойная соперница христианства. Здесь лот заброшен в глубину вечности, никакой третьей религии недоступную. Нет в мире других религий, которые делали бы возможным такое воспарение в горние пространства духа, какое мы видим в буддизме и христианстве.

Но, как сказал по данному поводу Мережковский, надо выбирать между великим «да» и великим «нет». Ставка христианства — любовь в Боге; ставка буддизма — растворение в холодных пространствах космоса. Первое представляет «сокровенный сердца человек», второй — духовный атлет, целью которого является достижение безразличия. Может быть, один стоит другого, да только очень они разные.

Впрочем, исходящий из Индии «вызов» вряд ли столь уж серьезен, тем более что ее излучения остаются чисто религиозными, практически не имеющими культурно-цивилизационных последствий. С конца прошлого века буддизм

(с его производными) смущает некоторую часть интеллектуально-художественных кругов как на Западе, так и в России, но его влияние остается ограниченным. Его успехи на уровне «массового общества» представляются мизерными и мало о чем говорящими: люди, которые в толчее больших городов «набрывают», допустим, на кришнаизм, напоминают мне героя рассказа Л. Андреева, однажды вдруг решившего, что ему нравятся негритянки, и ставшего потом заложником собственного нелепого выбора.

Другие «вызовы» гораздо серьезнее. Обратим взор (напомню, что мы стоим лицом к южной границе) влево: Дальний Восток в последнее время поражает мир главным образом своими экономическими успехами. Вслед за Японией и «малыми тиграми» на путь модернизации встал Китай, обещающий вырасти в экономического гиганта, как многие считают, более могучего, чем сама Америка. Такой прогноз представляется вполне правдоподобным: религиозно-культурная основа в странах Дальнего Востока примерно одна и та же, а что касается политической либерализации (стимулирующей экономической рост), то это дело наживное (впрочем, Китай и при коммунистическом режиме умудрился добиться немалых успехов); следовательно, в перспективе на месте бывшей Поднебесной может вырасти сплошной гигантский Тайвань или Сингапур.

Ошибочной оказалась точка зрения (ее развивал, в частности, Макс Вебер), что слабое чувство трансцендентного не позволит Дальнему Востоку догнать Европу в материально-цивилизационном плане. Действительно, чувство трансцендентного в дальневосточных культурах слабое. Дух, славно поработав в Индии, похоже, «устал» и у соседей ее трудился уже вполсилы. Ни конфуцианство, ни даосизм, ни синтоизм не «выходят из рамок», заданных миром природы, и не поощряют мистических «витаний»; даже буддизм, проникнув в Китай и далее на восток, стал иным, «сниженным». Но именно благодаря утилитарно-прагматическому настрою Дальний Восток успешно овладевает западными науками, порою даже опережая в этом отношении Запад. Люди дальневосточных культур глубже «сидят» в природе и оттого, возможно, тоньше чувствуют ее, что сказывается и в созерцательно-эстетическом плане, и в плане практическо-техническом. А в условиях нынешнего катастрофического нарушения экологического баланса свойственное им чувство природного порядка (магического соответствия человека и его естественного окружения) представляется спасительным, позволяющим совместить дальнейшую промышленно-техническую экспансию с принципиальным сохранением среды обитания.

Приняв в расчет редкое трудолюбие дальневосточного труженика (русский человек никогда его в этом отношении не догонит) и саму численность тамошнего населения, растущую не по дням, а по часам (числом догонять и не стоит: нынешние 150 миллионов населения — вероятно, оптимальная цифра для России), можно составить некоторое представление о том, сколь могучие «центры силы» растут на наших азиатских границах.

Но раз уж нас беспокоит вопрос соотношения сил (а не беспокоить он не может), отметим и принципиальную слабость дальневосточных культур. Их натурализм не помешал им (как раз напротив) перенять всю производительнотехническую часть западной цивилизации, но он не позволяет им сравниться с Западом в ключевой на сегодня области науки; здесь они по-прежнему кормятся в основном с чужого стола. Европейская наука происходит, с одной стороны, от греческой натурфилософии, но с другой — от библейского «сотворил Бог небо и землю» (Быт., 1, 1; мысль, грекам поначалу казавшаяся совершенно безумной). Способность взглянуть на природу как бы извне (имитирующая позицию Творца по отношению к творению) сделала европейскую науку тем, что она есть. Мы знаем, чем обернулась такая отстраненность: чисто инструментальным подходом к природе, за что приходится теперь расплачиваться. Но отсюда следует только то, что Европе предстоит до конца прояснить отношения между христианством и «христианской цивилизацией». «Назад в природу» ходу нет; «великий Пан умер», и его священные рощи давно опустели.

Трижды актуальна теза Андрея Белого: на азиатское «извержение чад» — сегодня добавим к нему извержение товаров — Европа должна ответить «извержением мыслей». К России как географической Евразии это относится в первую очередь. Я не убежден, что наш нынешний научный потенциал так уж

хорош. То, что называют научным энтузиазмом, имеет экзистенциальные истоки, которые у нас давно уже истощились. Чтобы развивать дальше науку, надо преодолеть существующую «приземленность» (скажу сильнее — «прибитость») к земле — следствии советского образа мыслей, но также и «современных взглядов» вообще, — создать «пространство, в котором можно мыслить» (как любят говорить сегодняшние французы). И во всяком случае, надо отдавать себе отчет в том, что быть сильным сегодня значит иметь сильную науку.

Взглянем теперь вправо: исламский мир тоже внушает беспокойство, хотя и иного рода. «Вызов» Дальнего Востока в том, что он имитирует западную цивилизацию с искусством, зачастую превосходящим оригинал; напротив, мир ислама, или, точнее, исламский фундаментализм, бросает вызов самой этой цивилизации. Опорой и отправным пунктом для него является этика, на уровне ветхозаветного закона общая у христианства с исламом, из чего можно заключить о серьезности «вызова». Для нас это не только внешняя, но и внутренняя проблема, поскольку в самой России существует исламское меньшинство (это, впрочем, теперь и проблема Европы: в ведущих западноевропейских странах постоянно живущие мусульмане уже сейчас составляют 2 — 4 процента населения, а в обозримом будущем эта цифра может вырасти, как считают, до 10 — 20 процентов).

Кто знает: если бы римские легионы не ретировались из пределов Аравии Счастливой, сломленные гамашней жарой, тогда, может быть, и христианство в свой час отпраздновало бы в этих краях очередную победу. Оставшись за пределами культурной ойкумены, «дети пламенных пустынь» (Пушкин) оставили свой выбор на религии, которая отвечала требованиям простоты и цельности. Ислам преодолел языческий натурализм, и в этом его огромная заслуга (и за это его умели ценить христиане: Данте поместил Саладина и Аверроэса в один круг с героями и мудрецами древней Греции и Рима, Пушкин сам перевоплотился в мусульманина в «Подражаниях Корану»). В то же время ислам остался невосприимчив ко всему таинственному и парадоксальному, что отличает христианство, отверг свободу человека и сковал культуру. В. С. Соловьев писал, что «между языческою чувственностью (мед) и христианской духовностью (вино) ислам в самом деле есть здоровое и трезвое молоко...»²⁴. Это и много и мало.

Свою простоту и цельность ислам постарался сохранить до сего дня — в этом его сила и одновременно слабость. Исламский мир с огромным трудом приноравливается к мысли, что история есть движение и что ученые комментаторы времен Омейядов и Аббасидов могли в чем-то ошибиться и что-то недоучесть. Но исламский мир ощущает свое превосходство, глядя на то, как «христианская цивилизация» ведет дело к разрушению «ветхозаветной» морали — над которой христианство воспарило, но которую оно никоим образом не упразднило, — как она постепенно отпадает от самого христианства.

Исламский фундаментализм не только не опасен для европейского мира, он полезен ему, как бывают полезны иные «вызовы». Другой вопрос, что его используют в политических целях. «Дети пламенных пустынь» иногда поддаются искушению, замещая силу веры силою оружия. Мы помним, например, как в середине VII века всего за несколько лет ислам был разнесен по миру на остриях мечей, в результате чего весь Ближний Восток вкупе с Северной Африкой были потеряны для христианства (тогда еще не додумавшегося до такой вещи, как крестовые походы). Так что панцирь вдоль границы с исламским миром, как и вообще вдоль всей азиатской границы, должен быть достаточно прочным.

Но главное — суметь ответить на «вызовы» в наиболее глубоком, культурно-цивилизационном смысле этого понятия.

²⁴ Соловьев В. Магомет. С-Пб. 1896, стр. 78.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. В. ВИНОГРАДОВ



«...СУМЕЮ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ...»

Письма Н. М. Виноградовой-Мальшевой

Выдающийся русский филолог академик Виктор Владимирович Виноградов (1895 — 1969) родился в Зарайске Рязанской губернии, в семье священника. Окончил Рязанскую духовную семинарию. Научную деятельность начинал как историк русских религиозных движений — его монография, над которой он начал работать еще в семинарские годы, называлась «О самосожжении у раскольников-старообрядцев (XVII — XX вв.)»; она печаталась в приложениях к рязанскому «Миссионерскому сборнику» в 1917 году (печатанием не закончена ввиду прекращения самого издания). «Настоящее исследование <...>, — говорилось в примечании от редакции, — представляет собою солидный научный труд, полезный для всякого пастыря и миссионера, а также эксперта по религиозным делам в судебных процессах». Этой работе суждено было стать последним в отечественной науке исследованием на данную тему.

После семинарии Виноградов переезжает в Петроград и учится сразу в двух институтах — Археологическом и Историко-филологическом. В 1918 году, через год после их окончания, он по рекомендации академика А. А. Шахматова и профессора Н. М. Каринского был оставлен при Петроградском университете для подготовки к профессорскому званию. Магистерская диссертация его была посвящена исторической фонетике и диалектологии. С 1920 года, когда молодой ученый был избран профессором Археологического института, он в течение почти полувека преподавал в вузах Москвы и Ленинграда (и во время ссылки — Тобольска, в 1941 — 1943 годах).

Научная деятельность Виноградова в то время, к которому относятся публикуемые письма, была связана с Разрядом (позднее — Отделом) словесных искусств Государственного института истории искусств (ГИИИ) в Петрограде-Ленинграде, где он работал с 1921 по 1929 год — самые плодотворные годы всей своей жизни в науке.

И сам ГИИИ, и Отдел словесных искусств были уникальными образованиями в истории искусствознания России. «Институт искусств, — говорилось в объяснительной записке, — согласно своей особой задаче, должен подходить к литературе как к словесному искусству. Предметом изучения являются здесь, как и на других факультетах института, художественные (в данном случае — поэтические) приемы в их историческом развитии и история художественного (поэтического) стиля как замкнутого единства». Отдел стал колыбелью новейшей теоретической поэтики в отечественной и, как выяснилось десятилетия спустя, мировой науке. Бывали заседания и обсуждения, когда в одной комнате рядом находились С. Д. Балухатый, С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, В. В. Гиппиус, В. М. Жирмунский, Б. В. Казанский, Б. А. Ларин, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Л. В. Щерба, Б. М. Эйхенбаум, Б. М. Энгельгардт. Питомцами ГИИИ были Г. А. Гуковский, Л. Я. Гинзбург, В. А. Каверин. На заседаниях Отдела читали свои новые вещи М. Волошин, Е. Замятин (отрывки из романа «Мы»), В. Каменский, В. Маяковский, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Федин (главы из романа «Города и годы»), О. Форш, И. Эренбург.

Главные положения всех работ Виноградова этих лет были доложены в Отделе или прошли через лекционные курсы в институте; большинство институтом же было

Разрешение на публикацию части писем В. В. Виноградова к жене, Н. М. Мальшевой, получено редакцией от ее наследницы В. М. Мальцевой.

Составление и подготовка текста Г. А. ЗОЛОТОВОЙ и В. М. МАЛЬЦЕВОЙ

Вступительная статья и комментарии А. П. ЧУДАКОВА

Предполагается отдельное издание писем В. В. Виноградова

издано: книги «Этюды о стиле Гоголя» (1926) и «Эволюция русского натурализма» (1929), теоретические статьи, сохранившие свое значение до сих пор, — «Проблема сказа в стилистике» (1926) и «К построению теории поэтического языка» (1927)

Годы эти были необычными по интенсивности научных занятий даже для самого Виноградова, всю жизнь поражавшего современников работоспособностью, разномыслием и обилием написанного. Так, только про 1926 год мы имеем сведения (неполные), извлеченные из писем, печатных отчетов и архивных дел ГИИИ, о 16 прочитанных им докладах, среди коих: «О церковнославянизмах», «Натуральная новелла 30 — 40-х гг.», «О языке драмы как особой разновидности художественной речи», «О построении теории стилистики», «О принципах языковой реформы Карамзина», «О герое в лирике», «О литературном произношении в XVIII в.», выступление на докладе Е. Замятина «О работе над пьесой „Блоха“» и др.

Среди многих филологических проблем, затрагиваемых в письмах, центральное место занимают три. Прежде всего это проблема сказа. О нем Виноградов написал сначала специальную статью (см. письмо от 2 декабря 1925 года), а затем книгу «Формы сказа в художественной прозе», законченную в 1929 году, но тогда не напечатанную. Влиятельной в те годы точке зрения Б. М. Эйхенбаума на сказ как прежде всего установку на устную речь Виноградов противопоставил ориентированность сказа на сложную систему разнонаправленных установок и форм, имеющую свои принципы организации. Они связаны в первую очередь с категорией монолога. В кругу бытового говорения Виноградов выделяет четыре типа монолога: убеждающий, лирический, драматический и сообщающий. Разновидность последнего — монолог повествующего типа — является базовой для сказа. Такой монолог тяготеет к формам книжной речи, но полного сближения с ними не происходит. Сказ подчиняется не только законам устного монолога и повествующего монолога, тяготеющего к формам книжности, но и принципам литературной школы, а также законам композиционно-художественной структуры конкретного произведения. В столкновении «устности» и «книжности» заключены огромные возможности эстетической игры.

Эти проблемы Виноградов уже тогда связывал с общим движением повествовательных форм в русской литературе. Любопытно сопоставить его рассуждения на эту тему в письмах жене с пассажем в неопубликованном письме Н. К. Гудзию 6 февраля 1926 года: «В 30-е годы XIX в. — ломка высоких языковых форм через канонизацию жаргонов и диалектов; за новыми словами идут новые предметы, новые «сюжеты». Но авторы скрываются за подставными рассказчиками, так как стыдятся своим именем прикрыть вульгарную речь. А рассказчики не могут рисовать героев, а только окружающие их быт предметы, так как герои должны говорить так же, как они. Ведь нельзя же героям молчать. Говорить — тоже нельзя: еще спутаешь с рассказчиком. Поэтому герои — мычащие марионетки. Но постепенно «сказ» всасывается в повествовательную речь (ср. «Мертвые души»), и рассказчика можно устранить. Тогда выступает проблема натурального героя, «типа». Теперь «типы» разговаривают, сколько их мертвой душе угодно. Но и язык и типы — «низки», следовательно, комичны. Чтобы их поднять на «юмористическую» (в понимании Белинского) ступень — надо их очеловечить и начинить социализмом. Идеология и социология — это начинка (капустная) натуралистического пирога, состряпанного Белинским. Отсюда разные Григоровичи с их филантропией, Достоевский и т. п.» (ОР РГБ, ф 731)

Второй проблемой, к которой Виноградов обратился в эти годы, была проблема «образа автора», в письме от 13 февраля 1926 года мы находим первые обоснования этого понятия. Для Виноградова это категория не только стилистическая, но фило-софская, разрешающая острейшую для него антиномию: самодвижения литературных форм — и личности, творящей предлежащий исследователю художественный мир.

Все виды речи литературного произведения — прозаического, драматического и стихового — и все его жанры рассматриваются Виноградовым в конечном счете в связи с этой категорией. Они, считал Виноградов, обусловлены образом автора. С конца 20-х годов он не оставлял идею написать на эту тему книгу. В ней должны были найти освещение такие вопросы, как образ автора в новелле, драме, стихе, сказе, взаимоотношение образов писателя и оратора и др. Именно в этом плане шли его размышления над упоминаемыми в письмах Некрасовым, Вл. Соловьевым, Лесковым, Есениным, Б. Пильняком. Эта категория стала для него главной в науке о языке художественной литературы, которую он обосновывал в работах 50-х годов.

1926 — 1927 годы отмечены интенсивными размышлениями Виноградова над проблемами драмы и театра — письма приоткрывают нам эту малоизвестную страницу его научного творчества (материалы на эту тему не были им опубликованы). В ок-

тябре 1926 года он организует при ГИИИ комиссию по изучению сценической речи. Это была комиссия широкого профиля, с участием актеров, преподавателей дикции, декламации. Устраивались доклады и диспуты. «Комиссия по изучению сценической речи возбуждает большой интерес у режиссеров, актеров и теоретиков театра, — писал Виноградов жене после одного из заседаний в октябре 1927 года. — Спорили о Мейерхольде, о движении, о формах речи, о связи их с «материалом», т. е. индивидуальными особенностями актера, и с архитектурой помещения».

В 1930 году вышла книга Виноградова «О художественной прозе». «Теперь, — писал в предисловии автор, — когда главным предметом моих изысканий стал литературный язык <...>, я подвожу итоги когда-то увлекавшим меня работам по стилистике прозы и драмы». Итогов не получилось; перерыв (если он был — Виноградов умел работать одновременно в совершенно различных областях филологии) оказался невелик: к 1932 году относятся сведения об интенсивной работе над стилем Пушкина, которая к этому времени настолько подвинулась, что уже в марте следующего года была закончена книга «Язык Пушкина», а в том же 1933 году — статья о Пушкине для «Литературного наследства». В последующих работах Виноградова о стиле Карамзина, Дмитриева, Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого представлен, по сути дела, первый опыт исторической поэтики русской литературы на основе эволюции ее словесно-повествовательных форм с конца XVIII до 70-х годов XIX века. Но говоря о подведении итогов, Виноградов был прав в том смысле, что центр его научных интересов перемещался в сторону лингвистики. В середине 30-х — начале 40-х годов были созданы классические труды по истории литературного языка и современному русскому языку.

В жизни Виноградова конца 20-х — начала 30-х годов было много событий, не всегда связанных с его собственной волею. Прекратил свое существование в прежнем виде ГИИИ, перешедший на марксистские позиции в изучении искусства. В 1930 году Виноградов переезжает в Москву, преподает в столичных вузах.

8 февраля 1934 года Виноградов был арестован в своей квартире в Б. Афанасьевском переулке. «Для доставления в ОГПУ, — указано в протоколе обыска, — взяты: 1) Разная переписка; 2) 8 печатных оттисков» (далее цитаты по: Центральный архив МБ РФ, дело № Р28879). Арестованный был заключен в одиночную камеру на Лубянке.

22 февраля было вынесено постановление о предъявлении обвинения в связи с тем, что «гр. Виноградов В. В. достаточно изобличается в том, что он является участником контрреволюционной национальной фашистской организации», привлечь его в качестве обвиняемого по статье 58/11 и 58/10 УК РСФСР, а «мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей».

Виноградов был привлечен по делу славистов, или так называемой «Российской национальной партии», ставившей своей целью, как сказано в обвинительном заключении, «свержение советской власти и установление в стране фашистской диктатуры». Было объявлено, что во главе организации стоит эмигрантский центр, возглавляемый учеными П. Г. Богатыревым, Р. О. Якобсоном, Н. С. Трубецким. По этому целиком сфальсифицированному делу проходили искусствоведы, архитекторы, этнографы, музейные работники, но главным образом филологи: профессор Московского педагогического института А. Н. Вознесенский, профессор Московского областного педагогического института И. Г. Голанов, лингвисты члены-корреспонденты АН СССР Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский и А. М. Селищев, профессор славянских литератур А. И. Павлович, доцент Московского педагогического института В. Н. Сидоров и другие.

Виноградову было предъявлено обвинение в том, что он «входил в группу организации, возглавляемую членом к. р. центра Дурново Н. Н.; принимал участие в к. р. совещаниях у активного члена организации Ильинского». 2 апреля 1934 года Особым совещанием (ОСО) при Коллегии ОГПУ Виноградов был приговорен к высылке «в Горькрай сроком на три года, считая срок с 8/II-34 г.».

19 апреля ссыльный прибыл на место своего назначения — в Вятку (см. письма от 19 и 20 апреля). 21 апреля он уже начал заниматься и сообщает в письме, что статью «Стиль „Пиковой дамы“», над которой он работал еще в одиночке Лубянки по переданному женой томику прозы Пушкина, закончит через две недели. Боится, что не сможет без московских библиотек работать над «Стилем Пушкина» и другими работами. «Если бы я был московским жителем, я написал бы большую статью о книге Белого («Мастерство Гоголя». М. — Л. 1934. — А. Ч.), блестящей, но ложной и лживой. Белый, как всегда, большие говорит о себе, чем о Гоголе» (письмо от 28 мая).

Его жизнь в годы ссылки — отшельническая. «Язык мой — тот отдыхает. Живу, как молчальник. И людей вижу лишь мимоходящих» (14 июня 1934 года). «Много времени отнимают заботы о деньгах и работы для денег. А то на покое в Вятском монастыре я пополнил бы свое образование и достиг бы следующей высшей степени научного развития» (Н. К. Гудзию, 29 июля 1934 года). Ложится он около часу ночи, встает в 6-7 утра. Остальное время — работа. Без книг страдает все больше. Много привозила жена, Надежда Матвеевна. Некоторая нужная литература была в библиотеке преподавателя местного пединститута П. Г. Стрелкова. Но даже Пушкина приходилось цитировать по случайным изданиям, не говоря уж о Крылове, Жуковском, Батюшкове и других. Вернуться второй раз к однажды изданной книге сплошь и рядом уже не получалось. С этим связана и известная композиционная неупорядоченность, и загроможденность материалом главного труда этих лет — книги «Стиль Пушкина». Автор стремился закрепить весь нужный материал печатно, не будучи уверен, что тот еще раз попадет в его поле зрения. Многие страницы представляют собою цепи слабо связанных друг с другом примеров, темы иногда повторяются. Нарекания в громоздкости построения и сложности книги для чтения справедливы. Не потому ли многие ее идеи оказались невостребованными или разрабатывались потом сплошь и рядом заново?..

Кроме «Стиля Пушкина», в ссылке Виноградов писал книгу «Современный русский язык», написал большое количество статей для Словаря под редакцией Д. Н. Ушакова (имя Виноградова в первом томе Словаря было снято), большие работы о Гоголе, Толстом. По-прежнему много планов — в частности, написать книгу «Язык русской прозы XIX в.» (первый том — Карамзин, Марлинский, Сенковский, Полевой, Гоголь, Даль, Достоевский до ссылки), книгу о Гоголе, книгу о литературной фразеологии. Большинство из этих работ он хотел завершить в Москве. Но после Вятки Виноградову было разрешено жить только в Можайске; в Москву он мог приезжать на короткое время, нелегально. Лишь перед самой войной он получил паспорт и московскую прописку. Но спокойная жизнь продолжалась недолго: с началом войны как бывший репрессированный Виноградов в сорок восемь часов подлежал высылке и был отправлен в Тобольск вместе с семьей. Только в 1943 году ему удалось вернуться в Москву. Его ссылки и скитания длились почти десять лет. Именно в эти годы он написал книги, принесшие ему мировую славу: «Стиль „Пиковой дамы“» (1936), «Современный русский язык» (1938), «Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв.» (1938), «Стиль Пушкина» (1941), «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947)

В отечественной филологии имя В. В. Виноградова стоит в том же ряду, что и имена А. А. Потебни, А. Н. Веселовского, А. А. Шахматова, Ю. Н. Тынянова. И как и у них, поражает разнообразие и разносторонность его научных интересов. Предметом его штудий были история раскола и историческая фонетика, диалектология и историческая грамматика, синтаксис и морфология русского языка, словообразование, историческая лексикология, поэтика, история литературных славянских языков, текстология, эвристика, история филологической науки. Переходы из одной области в другую были для него нетрудны, ибо каждая не была в его представлении отделена от соседки сложнопреодолимой границей. Для него все это было одно, все было — Слово. Оно всегда находилось в светлом поле его сознания — и всегда во всех своих столических интенциональных возможностях сразу: коммуникативных, мыслеобразующих, грамматических, художественных, как речь и как язык. В один и тот же месяц, неделю, день Виноградов мог работать над статьей о языке писателя и над книгами о бродячем сюжете или над историей синтаксических учений, писать о протопопе Аввакуме — и порче языка в современной советской литературе. Письма хотя бы в некоторой степени приоткрывают завесу над этой особенностью его интеллекта. Интересны они еще в одном отношении. Подробно рассказывая в них о своих планах, научных идеях, Виноградов излагает их, имея в виду адресата-неспециалиста, гораздо проще, чем в своих научных сочинениях, никогда не отличавшихся популярностью изложения. Любопытно видеть и самые истоки мыслей, из которых впоследствии под пером автора выросли целые научные концепции.

Авангардная филология 20-х годов легко переступала границу между наукой и искусством — впрочем, искусство тогда делало то же. Л. Я. Гинзбург вспоминает куплет из песни студентов ГИИИ: «И вот крадется словно тать / Сквозь ленинградские туманы / Писатель — лекцию читать, / Профессор Т. — писать романы». (Профессор Т. — Тынянов.) Виноградов написал сценарий, обдумывал драму, работал над романом, писал стихи (отрывки из этих сочинений читатель найдет в публикуемых

письмах). Он говорил, что исследователь должен быть в состоянии сочинить стихотворение в духе исследуемого поэта, — и сам писал стихи, стилизованные под Ахматову. Игра стилями прошлых эпох (в частности, библейским, который он глубоко чувствовал) и современности, сложная метафорика — черты его неповторимой эпистолярной манеры.

Виноградов написал очень много — видимо, около 30 полновесных томов. Всегда увлекательно читать документы, рассказывающие о людях, работавших на пределе человеческих возможностей.

Адресат публикуемых писем — Надежда Матвеевна Виноградова-Малышева (1897 — 1990), жена В. В. Виноградова с 1926 года. Надежда Матвеевна — преподаватель пения, автор книги по теории и практике вокала «О пении» (М. 1989); работала в оперной студии К. С. Станиславского, оставила интересные воспоминания о встречах с Ф. И. Шаляпиным. Надежда Матвеевна была из немногих, в неизменности сохранивших в манерах, поведении, удивительной старомосковской речи (которую высоко ценил ее муж) облик интеллигента начала нашего века. Разделяя сорок с лишним лет нелегкую судьбу В. В. Виноградова, она была самым близким его собеседником; письма к ней более чем к кому-либо другому из его корреспондентов, среди которых были выдающиеся ученые, раскрывают особенности его личности.

Сохранилось более тысячи писем Виноградова к ней (хранятся в архиве РАН). Обратные письма утрачены. Авторская датировка писем отсутствует; даты даются по почтовому штемпелю, с уточнениями в некоторых случаях по содержанию.

<21 августа 1925 г.
Москва>

Чудесная Надежда Матвеевна!

Хочу найти для Вас слова — тихие, но звучные. Но боюсь: они непокорны, как оборотни. Правда сквозь них может представиться лживой. А в душе я ложь расцениваю как трусость. И верьте мне.

Вы мне стали странно близки. Мне кажется (простите эту самонадеянность), что в те короткие и немногие дни я успел пройти через приемную Вашей души, открытую для всех, несколько глубже. То, что я сумел узнать в Вас, мне — родное: и Ваша наивная фантастичность, и мягкая растерянность (быть может, слегка истерического характера), и мечтательность — такая нежная, женственная, и Ваш юмор — тонкий — при резкой иногда внешней оболочке — мне понятны и радостны. Я никогда ни о чем вперед не думаю и не гадаю. Но я не хотел бы, чтобы наше знакомство осталось только минутной, легкой встречей на узкой дороге. Внутренний такт мне подсказывает, что на этих строках я должен остановиться и не лить воду в вино.

В «Узком»¹ все так и осталось узким.

Ваш Виктор В.

До новых встреч!

¹ Узкое — с 1922 г. санаторий научных работников на юго-западе Москвы. Там Виноградов познакомился с Н. М. Малышевой, когда она приезжала в качестве аккомпаниатора с группой певцов.

<4 сентября 1925 г.
Ленинград>

Любимая моя!

Не терзайтесь раньше времени, не забывайте меня. Не буду говорить банальных истин, что без ударов боли, наносимых близким, сквозь жизнь не пройдешь. Я чувствую ту внутреннюю тяготу, которую Вы приняли на себя. Но сохраняйте свои силы — для того, чтобы при встрече не только твердо идти по своему собственному пути, но и другого поддержать в его неврасте-

нических борениях. Я не хочу, чтобы Вы думали о боли, мне наносимой. Но я не хочу также, чтобы Вы налагали на себя жертвенную миссию. Если в Вас победит власть прошлого и Вы вновь (не с отчаянием долга) с радостью устремитесь под ее покров, — что я могу противопоставить этой силе? Мне тяжело: я совсем одинок. Но я молод. Жажду работы — и славы. Я честолюбив, хотя не всегда признаюсь в этом даже самому себе. Мое сердце совсем юно: ведь только «от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца»¹. А я не могу пока похвастаться ни тем, ни другим. Это — все, что у меня есть и с чем я останусь, если Вы покинете меня. Ведь я сам одного боюсь: Вы — в Москве, я — здесь, вдали. И препятствие к тому, чтобы рядом быть, — деньги, деньги. У меня — материальный кризис. Я служить остался лишь в Университете (90 руб. в месяц). Издательства лопаются. Кто будет читать книги по языку и литературе?.. Я готов перейти в Москву. Но где служба, квартира?.. Хорошо бы хоть чем-нибудь пока связать себя с Москвой, чтобы раз в месяц быть у Вас. Устроить в печать книжку? Есть одна — наготове — о Гоголе². Но кто ее возьмет? Ездить читать куда-нибудь лекции? Где? — в какой-нибудь литературной студии? Но ведь в Москве есть свои специалисты без работы.

Мысль о том, что я не смогу связать себя с Москвой, мучит меня нестерпимо. И здесь — какой-то дух общего уныния. Вместе со мной — из ряда Высш<их> учебн<ых> заведений удалены мои друзья — Б. М. Энгельгардт³ и Долинин-Искоз⁴. Вчера мы горестно мечтали о журнале, где могли бы печатать свои статьи, журнале с определенной литературно-художественной физиономией. Мое настроение — упадочное. «Ни сна, ни отдыха измученной душе»⁵. Но все же перебираю давно начатую работу о Гоголе и привожу к концу.

От той девушки, о которой я Вам рассказывал, я себя решительно изолировал. Словом, я один, один. Буду работать, чтобы скопить деньги на поездку в Москву в конце сентября. Думаю о Вас много, много. — И люблю.

Ваш В. В.

PS. Попросите Гудзия⁶ написать мне, заплатят ли они (Ак<адемия> Худ<ожественных> Н<аук>) мне за доклады. А темы моих докладов таковы (их тоже сообщите ему):

- 1) Пародии на стиль Гоголя и натуральной школы.
- 2) Проблемы фразовой семантики (на материале поэзии Анны Ахматовой), или иначе: Стилистические наброски (О символике и разных формах символических преобразований).
- 3) Об основных композиционных типах судебно-ораторской речи.
- 4) Тургенев и школа молодого Достоевского⁷.

¹ Из стихотворения А. Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможей...»

² «Этюды о стиле Гоголя», выпущенные в следующем году издательством «Academia» в серии ГИИИ «Вопросы поэтики» (вып. VII).

³ Энгельгардт Б. М. (1887 — 1942) — коллега Виноградова по Отделу словесных искусств ГИИИ.

⁴ Долинин (наст. фамилия — Искоз) А. С. (1883 — 1968) — литературовед. 18 или 19 февраля 1926 г. Виноградов писал жене о нем: «Он и жена (особенно) — душевные, чуткие, простые люди с интеллигентной стойкостью и большой духовной культурой. Но А. С. — типичный журналист, с туманным и несколько штампованным психологическим подходом, без большой научной остроты и глубины. Он — трогательно старомоден, как сентиментальный народник, как христианствующий еврей (под Гершензона и Мережковского). Я люблю его за тот тихий и теплый свет, который нахожу в их семье. Но внутренно, т. е. в кругу сверхающей «игры ума», он в моих связях отступает перед Бор<исом> Мих<айловичем> Энгельгардтом».

⁵ Из арии князя Игоря в одноименной опере А. П. Бородина.

⁶ Гудзий Н. К. (1887 — 1965) — литературовед, друг Виноградова.

⁷ Первый из этих докладов — на основе готовящейся книги о Гоголе (см. прим. 2); второй — на основе II главы сданной в издательство, но еще не вышедшей книги «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)» (Л. 1925); материалы третьего нашли отражение в книге «О художественной прозе» (Л. 1930), четвертого — были напечатаны много лет спустя: «Тургенев и школа молодого Достоевского» («Русская литература», 1959, № 2).

<23 октября 1925 г.
Ленинград>

Дорогая моя!

Не упрекайте меня за то, что я редко пишу. Ведь я прикован к столу. Не думайте, что незначительное количество часов, занятых чтением лекций, дает мне свободу. У меня — 4 разных курса:

1. Курс современного литературного языка.
2. Практич<еские> занятия по грамматике лит<ературного> русск<ого> языка.
3. Стиль Некрасова.
4. Лирика Влад. Соловьева.

Кроме того, я уже написал две статьи — 1) о поэтическом языке¹; и 2) о романе Де-Куинси «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум»².

Я прочитал всю корректуру книги по стилистике (она выходит на днях)³. Сейчас вновь сижу над книгой о Гоголе. Ее надо спешно закончить, потому что она пойдет в «Вопросы поэтики», издаваемые Росс<ийским> Институтом Истории Искусств.

Присоедините к этому: отсутствие дров — и холод в комнатах. Плохое настроение — по случаю отсутствия денег...

Сужение сферы быта, так как отношения (без взаимной стесненности) со многими людьми у меня оборвались. И все вместе это создает настроение какой-то душевной рассеянности.

Ужасно хочу видеть Вас. Но когда сяду писать письмо, являются по смежным ассоциациям (от чернильницы, стола, ручки и т. п.) мысли о статьях, слова кажутся такими же вялыми, как в этих статьях. Письмо для меня (писателя) — не личная, а профессиональная беседа. И в писании есть что-то от ремесла. Слово устное я ценю как интимный знак гораздо больше. Вот почему я не люблю читать лекций. И все знают, что лекции для меня — игра и даже некоторое издевательство ума. Это привлекает, как острое, но отталкивает, как всякая деланность.

Поэтому не сердитесь и не платите мне тем же. Я люблю получать от Вас письма. Ведь и я меньше двух писем в неделю Вам писать не могу.

Что же в жизни моей нового? Ничего. Хожу на ученые доклады. Приехали некоторые приятели из заграничных командировок. Новости. Часто бываю у Радловых (3 семьи: Серг<ей> Эрнестович — режиссер, его жена — поэтесса, Ник<олай> Эрн<естович> — художник, его сестра — драматич<еская> артистка, преподават<ель> декламации)⁴. Зовут в театр. Даже мой сомученик по писанию драмы артист В. С. Чернявский⁵ предлагает контрамарку. Схожу. Дни текут быстро и как-то бесследно. Очень скучаю по Вас. Хочется ласки. И томительно одиночество.

Жду и люблю.

Ваш В. В.

¹ «О теории литературных стилей» («Избранные труды. О языке художественной прозы». М. 1980, т. 5, стр. 240—249). (В дальнейшем в ссылках — «Избранные труды».)

² «О литературной циклизации (Гоголь и Де Куинси)» («Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». IV. Л. 1928). В значительно расширенном виде было включено в его книгу «Эволюция русского натурализма» (Л. 1928). Вошло в его книгу «Избранные труды», т. 5. См. также прим. 4 к письму от 26 сентября 1926 г.

³ «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)» («Труды Фonetического института практического изучения языков»). Л. 1925.

⁴ Радлов С. Э., Радлов Н. Э., Радлова Н. Э. — дети философа Э. Л. Радлова (1854 — 1928). Жена С. Э. Радлова — поэтесса А. Д. Радлова (1891 — 1949, погибла в лагере).

⁵ Чернявский В. С. (1889 — 1948) — артист Ленинградского Большого драматического театра (с 1932 г. — имени А. М. Горького). Соавторы предполагали написать драму об уходе и смерти Толстого. Замысел не был осуществлен.

<15 или 19 ноября 1925 г.
Ленинград>

Дорогая!

Нет бумаги почтовой, конверта. Но есть время. Суббота и воскресенье — дни домоседства. И вот я пишу Вам. Все в мире странно. Вы — сейчас мне са-

мый близкий человек. А ведь я почти не знаю Вас — осязаемо, живо, как зрительный, яркий образ. И ужасно хочу увидеть Вас скоро-скоро. Ваш друг В. С. Смышляев в своей книжке¹ любит повторять слова древнего философа Гераклита, что «ни один человек не входит дважды в ту же самую реку», потому что «все течет». И мы с Вами — течем. Мы изменились за те два с половиной месяца, что не видимся. И объективно, и в сознании друг друга. И вот хочешь представить себе конкретно — Вас сегодняшнюю — и не можешь. Люблю, но не могу видеть и осязать. И не только физически, но и психически. В этом — романтизм. Но в этом — и трагедия одиночества. Поэтому мне было бы мучительно и пусто, если бы Вы забыли меня или изменили мне. Я знаю, что во всей истории наших отношений есть отпечаток странной своеобразности. Она — оригинальна до того, что кажется нежизненной. Но с моей точки зрения это — плюс. Реализовать в жизни то, что чуждо мелкой и расчетливой рассудительности, — это удел не всех. Особенно если — нет лжи, грязи и пошлости. Между нами этого нет и не должно быть. Вот почему я не взвешиваю, прочно ли и надолго я люблю Вас. Сейчас — это глубокое и хорошее чувство. Нет никаких мелких и пошлых примесей. И это — главное. Когда же начинаются и, томительно повторяясь, живут мелочные обманы, раздоры и взаимные раздражения, я предпочитаю уходить. Но в Вас (это — не комплимент и не лесть) я вижу незаурядную личность. Некоторые из Ваших писем — доказательство несомненное этому. Они — художественны с формально-эстетической точки зрения. И я нахожу радость в беседах с Вами и письмах Ваших как эстет. И я уверен, что пошлости и мелочей мы избегнем в своих отношениях или отнесемся к ним как большие люди.

У меня есть одна ненормальность, которая много вредила мне в жизни. Я очень люблю в женщине внешность, изящество форм лица, тела, красивое платье, стиль разговоров и манер. Если я сам меньше всего выдерживаю критику с этих точек зрения, все же я болезненно воспринимаю все уклоны от какой-то эстетической нормы. Пожалуйста, не уклоняйтесь. И, пожалуйста, не пишите грустных, сиротливых писем. Вы — одна у меня. Верьте этому и не требуйте, чтобы я повторял это часто. Иначе это будет буднично. Попросите Юр<ия> Ал.² написать мне.

Ваш В. В.

PS. Не впадайте в неврастению и не терзайтесь мыслью, что кто-то на ком-<то> выезжает. Любите просто, пока любится. Утешения Б. М. Энгельгардта — это наставления человека, знающего лучше меня тех людей, которые меня окружают.

¹ Смышляев В. С. — режиссер Государственного драматического театра. Речь идет о его книге «Теория обработки сценического зрелища» (Ижевск. 1921; 2-е изд. — М 1922)

² Лицо не установлено.

<2 декабря 1925 г
Ленинград>

Дорогая моя!

Я уже писал Вам, что меня на почте обокрали.

Читал доклад¹. Был сделан он сложно и мудрено, но оригинально. Многие одобрили. Я читал четко и раздельно (этим больше всего доволен, обычно я несусь без остановок к радостному концу). В общем, атмосфера у меня — безоблачная — сохранилась. Так как доклад я написал очень быстро — и большой, — то все стали смеяться, что я решил конкурировать по «скорописи» с моим приятелем, но принципиальным (по вопросам поэтики) противником Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, известным историком литературы² (не надо смешивать с Бор. М. Энгельгардтом, который вернулся черным из Крыма и тоже одобрил мою речь). Сочинил один литератор, Юр. Ник. Тынянов, частушку³:

Борис Михайлович Эйхенбаум
Пишет том в два месяца.
Или он, иль Виноградов —
Кто-нибудь повесится.

Но — не я. Раз Вы меня любите. В Москву я перевестись согласен. Но как это сделать? Без Университета мне невозможно. Надо списаться с Д. Н. Ушаковым⁴ Ведь у меня очень мало личных связей с Москвой, хотя меня там специалисты и знают. Но на Рождество Вы ко мне приезжайте обязательно. Лескова я не очень принимаю эстетически. У него — кудри вместо головы, и все лицо ими скрыто.

А ниже — фрак, сшитый у ловкого портного, и лакированные ботинки со скрипом (русским). А все вместе — смесь церковной колокольни, цирка и русского трактира на большой дороге — с бывалыми людьми — с сказочниками из парикмахеров. Не сердитесь. Это я — от души. А Толстой — художественный инсинуатор. Метод его изображений покоится на чисто женской недоверчивости, ревности и кокетливом самолюбии. Он — обманутый любовник человеческой души. Ходит, подглядывает и клеветает, хоть и мучится. Он — большевик от духовной импотенции и от мелочной подозрительности ко всем высоким духовным обнаружениям. Но — талант у него своеобразный. Он только имитирует калеку, нуждающегося в костылях философии. Это — особый прием художественного творчества. Вот какие умные письма могу писать я, когда хочу.

Но больше хочу Вас целовать.
Люблю.

В. В.

¹ Доклад — «Проблема сказа в стилистике»; прочитан 29 ноября на торжественном акте, посвященном пятилетию ГИИИ. 12 ноября, работая над докладом, Виноградов писал Н. М. Малышевой: «Для пояснения: о формах стиля в тех новеллах, когда автор имитирует манеру рассказа, далекого от принятых в литературном языке шаблонов. Примеры — у Голя, Лескова, Даля, Ремизова, Андрея Белого, Замятина, Пильняка, Зощенко и др. Следовательно, с Лесковым придется поближе сдружиться. Вообще у меня все больше тяготения к общим вопросам стилистики. Хочется создать такую науку. В России почти ничего для этого не сделано». На основе доклада была написана статья под тем же заглавием. Опубликовано: «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». Вып. 1. П. 1926, стр. 24 — 40; то же — «Избранные труды», т. 5, стр. 42—54.

² С. Б. М. Эйхенбаумом (1886 — 1959) Виноградов полемизировал главным образом по проблеме сказа (см. предисловие к настоящей публикации).

³ Тынянов Ю. Н. (1894 — 1943) — литературовед, писатель. Известна по крайней мере еще одна его стихотворная шутка, посвященная Виноградову (РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, ед. хр. 1339):

Лингвист не без загадок
И литератур историк.
Хоть плод и сладок,
Но корень горек.

(Из архива Ю Г Оксмана)

⁴ Ушаков Д. Н. (1873 — 1942) — редактор и один из составителей известного Толкового словаря русского языка в 4-х тт (1935 — 1940)

<4 декабря 1925 г.
Ленинград>

Дорогая!

Вы — злой человек. Как только я, измотавшись в работе, реже начинаю писать Вам, умолкаете и Вы. От временного молчания моего не томитесь. Я здоров (если молчу). Когда заболею опасно (пусть это не случится), я извещу. Вас забыть не могу. Если бы (что невозможно, по-моему, — и, во всяком случае, теперь) я охладел к Вам, я этого не скрыл бы. И молчанием я вообще ничего не прикрываю, кроме смертельной усталости.

Я не умею устроить дня так, чтобы вместить в него много. Когда есть спешная работа, это — трагично. Я поздно встаю (около 11 часов). Долго одеваюсь и моюсь (к 12 бываю готов). Телефонные звонки отрывают от дела. Ранний обед (в 2 ч.) прерывает работу. Знакомые обижаются, если я не захожу к ним — хоть раз в две недели. Ученые заседания — и всякие доклады. Житейская беготня, напр., за жалованьем, за покупками и т. п. Все это разрывает день на клочья. И в них мало умещается. Остается ночь — с 12 до 3—4 ч. Тогда устаю до безумия. Вот Вам оправдание моей неаккуратности в перепис-

ке. А люблю Вас я аккуратно, т. е. изо дня в день, без всяких пропусков.

Сейчас я тороплюсь сдать в печать статью о сказе¹, чтобы к Рождеству были деньги. Когда же я разбогатею? Когда?

Я мог бы написать целую книгу о сказовых литературных жанрах. Это получилось бы интересно. На материале современной литературы². Кроме того, на меня обижаются старики, что я забросил древнюю, почтенную лингвистику. Надо (мне это и самому иногда хочется) написать что-нибудь необыкновенно ученое и скучное (напр., о церковнославянских суффиксах в литературном языке XVIII века). Вы знаете, моя диссертация, на которой держится вся моя ученость — в глазах почтенных людей с 45-летним возрастом, — была о звуке **ѣ** (300 страниц — напечатана Академией наук)³. За это меня не разлюбите, пожалуйста. Я Вас люблю, тоскую, что нет писем, еще больше оттого, что Вас нет рядом со мною и мне некого ласкать.

PS. В записной книжке стащили у меня и две Ваших карточки.

¹ См. прим. 1 к предыдущему письму.

² 11 января 1926 г. Виноградов снова пишет Н. М. Малышевой о «проекте книги «Сказ» и его формы в русской новелле (от Пушкина до наших дней)». Эта книга, получившая название «Литература и устная словесность», была завершена к осени 1929 г. и даже готовилась к печати, но в свет не вышла. Она состояла из четырех глав (в которых были использованы некоторые ранее напечатанные работы): «I. Проблема сказа в стилистике», «II. Образ автора в сказе», «III. Языковая структура сказового произведения (язык Жития прот. Аввакума)», «IV. О непрямым и смешанных формах сказа». Подробнее см. наш комментарий в кн.: «Избранные труды», т. 5, стр. 326 — 333.

³ «Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Очерки из истории звука **ѣ** в севернорусском наречии» («Известия Российской Академии наук». ОРЯС. 1919. Кн. I, стр. 150 — 245; кн. II, стр. 188 — 348). См. также: «Отчет Виктора Виноградова о занятиях историей русского языка в 1919 году» («Известия Российской Академии наук», кн. I, стр. 1 — 22).

<19 декабря 1925 г.

Ленинград>

Дорогая!

Что писать? Жду Вас с нетерпением. Какое-то волнение. Ведь письма — не замена свиданий. Я чувствую себя бодро. Все — пишу и занимаюсь. Лекции кончились. Остались заседания. Новые мысли у меня — о литературе 30 — 50-х годов. Нечто вроде «социологического метода наизнанку». Смысл вкратце такой: к 30-м годам формы «высокого» стиля обветшали. Идут на смену «вульгаризмы» (Гоголь, Даль и т. п.). Сначала они прикрываются образами рассказчиков из захолустья, из чиновников, вообще из внелитературного круга. Рассказчики ведут за собой новые слова и предметы, но не людей. Ведь они могут говорить лишь о своих знакомых. А знакомые их — того же круга, что и они. Следовательно, и разговаривают так же, как они. Поэтому герои 30-х годов (у натуралистов) молчат или нечленораздельно мычат. Иначе они слились бы с рассказчиками. В 30-х годах укрепляются в литературе новые слова и новые сюжеты.

В 40-х годах, когда сами писатели (вместо рассказчиков) могли уже от себя говорить об этих сюжетах, открылась возможность разговаривать самим героям. Тогда и появляются толпы чиновников, дворников, захолустных помещиков (Гоголь, Достоевский, Григорович, Тургенев и т. п.) и т. п. Чтобы перевести их из комического плана в серьезный, надо было заставить их говорить о своих нуждах. В их речах является социальная окраска, приправленная проповедью гуманности. Так язык и эстетика иногда могут притянуть социологию. А отнюдь не наоборот. И социология художественная совсем не та, что «социально-экономическая» (слово это — для эвфемизма).

Меня увлекает эта игра мыслей, направленная против теперешней моды

Но довольно об ученом. Успею надоест.

Будьте мужественны и крепки. Я жду Вас страстно и страшно. Мечтаю, чтобы Вас сделать радостной и безунылой

Люблю крепко

Целую кротко

Ваш В. В.

PS. Я сказал хозяевам¹: они рады за меня. Они — милые люди. В комнатах у меня — уже праздничный блеск и чистота.

¹ О предстоящей женитьбе.

<14 января 1926 г.
Ленинград>

Миленькая! Получил Ваше письмо с каплями гноя. В «ученом сальеризме» меня стали упрекать после первой моей статьи по поэтике, т. е. ровно пять лет тому назад. И я к этому привык. Жалею лишь, что Вал. Сер.¹ стал в одну плоскость с очень плоскими людьми (это — игра слов, по моему методу). Но — в оправдание его — думаю, что это — от неполного знакомства с лингвистикой, эстетикой слова и философией. Бог простит! Я, конечно, не уверен, что мои принципы — истинные. «Что есть истина?» — вместе с Пилатом спрашиваю я. И отвечаю: наиболее остроумное по данному вопросу построение. Допуская в теории возможность более остроумных построений, чем мои, на практике я (и многие другие — спросите у Гудзия) таких не нахожу. Не согласен я и с тем, что в моей науке нет искусства. Напротив, она вся, как область чистых форм, основана на принципе рассудочно-эстетического созерцания («интеллектуальной интуиции»). Нет религии и связанного с ней эмоционально-декоративного искусства — это я признаю. Но ведь вопросов «тематики» (иначе — «идеологии») я не касаюсь. Для меня «идеология» писателя — особая форма художественного творчества. Об идеологии как форме мне пришлось лишь раз говорить в статье о «Бедных людях» Достоевского². Но вообще пока меня сюда не тянет. Тут я пока не сталкиваюсь с Б. М. Энгельгардтом: это его сфера. Впрочем, я все это говорю, чтобы Вы могли видеть меня в глубокомысленной позе «вдумчивого» человека, а не из какого-либо личного интереса или неудовольствия. Мне кажется, если Вы захотите определить смысл и ценность моих работ, лучше, сдержаннее и строже М. А. Петровского³ из москвичей никто этого не сделает. Довольно о моей гениальности. О жизни: книгу кончил⁴. Завтра сдаю. Живу средне. Денег нет. Надежды (с маленькой буквы) — рядом. А НАДЕЖДА — далеко, за 604 версты (+ трамвай и извозчики). Хлопочет за меня Щерба⁵ Стараются развлечь Радловы. Сегодня зовут вечером к себе — встречать старо-новый год и слушать чье-то пенье. У меня — невралгия правой стороны лица — вокруг глаза. Небольно, но какая-то неловкость. От злейших морозов (было около 30°). А может быть, это — от переутомления: я очень много читаю. Вас люблю. Среди работы бывают полосы грусти. Целую. Думайте обо мне больше и пишите чаще. Привет всем, кому хотите.

Весь Ваш Витюша.

PS. Кстати, об идеологии (о цыпочке): теперь ведь нельзя о ней писать. Поэтому я поумнее раньше, чем получу возможность проявить свое глубокомыслие в печати.

¹ См. прим. 1 к письму от 15 или 19 ноября 1925 г.

² «Сюжет и архитектура романа Достоевского «Бедные люди» в связи с вопросом о поэтике натуральной школы» (в кн.: «Творческий путь Достоевского». Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Л. «Сеятель». 1924). Вошло в «Избранные труды» (М. 1976, т. 2, стр. 141 — 187).

³ Петровский М. А. (1887 — 1940, погиб в лагере) — литературовед и переводчик.

⁴ «Этюды о стиле Гоголя» (Л. 1926).

⁵ Щерба Л. В. (1880 — 1944) — лингвист; в это время — коллега Виноградова по секции художественной речи ГИИИ.

<17 января 1926 г.
Ленинград>

Дорогая моя!

<...> Книгу сдал¹. Концом доволен. Новая всплыла тема о Белинском как идеологе натурализма. За нее как-нибудь возьмусь. Пока же меня убедил

Щерба прочитать доклад в Институте, чтобы заявить свою гениальность, не смотря на лишнее жалованья, а может быть — именно в связи с лишнем жалованья — и хлопотами Щербы и всей Секции об его восстановлении². Тему я выбрал — о церковнославянизмах в литературном языке. И душе-спасительно, и антимарксистично, и все-таки учено-необходимо. Много надо ра-ботать.

Безденежьем сжат. Но бодрости — масса. Был у Радловых. Казанский³ ни-какого скептицизма к Вам не обнаруживал. Они все боятся лишь, как бы Вы не «переманили» меня в Москву. Опять взялись за драмоделие. Но, кажется, вяло идет. Я все же пока к ученой работе больше тянусь. С Бор<исом> Мих<айловичем> виделась. Вам от него — нежно-родственный привет. У него ко мне — дружеская ирония по поводу «модности» моих книжек: сам он бьется с устройством в печать своей (тоже формальной) книги — и без особенно ощутительных результатов. Хочу написать для московского журнала рецензию (ядовитую) на книгу некоей М. А. Рыбниковой⁴ «Книга об языке». Не сестра ли она Вашего прославленного (Вами же) А. А. Рыбникова? Ему не завидую: большей дозы тупой и самодовольной наглости, прикрытой какою-то востор-женностью перед наукой (об языке), трудно встретить.

Вас помню. Люблю крепко. По ласкам тоскую. Хочу Вас видеть скорей-скорей. До масляницы, на масляницу — без сроков. Мой дом — Ваш дом. И Марья Фил<ипповна>⁵ вспоминает о Вас с ласковостью (кажется) неподдель-ной. Пишите чаще.

Ваш Витюша.

PS. Хочу направить к Вам московского брата⁶ — для знакомства. Имеете что-нибудь против?

¹ «Этюды о стиле Гоголя».

² Виноградов был переведен в ГИИИ на внештатную должность; хлопоты о возвраще-нии в штат увенчались успехом.

³ Казанский Б. В. (1889 — 1962) — лингвист, литературовед, действительный член Отдела словесных искусств ГИИИ.

⁴ Рыбникова М. А. (1885 — 1942) — педагог, литературовед.

⁵ Мария Филипповна — квартирная хозяйка Виноградова.

⁶ Речь идет о брате Виноградова Николае Владимировиче.

<23 января 1926 г.
Ленинград>

Дорогая Надюша!

Мне последнее время все тоскливо. Безденежье одолевает. Скандал, учи-ненный мною президиуму Института, был полезен для других. Мне не проща-ется то унижение, та необходимость самооправдания и извинений, в которую я поставил обнаглевших «попутчиков». И вообще все проходимцы, все ученые «хамы» (простите за резкость) теперь суживают свои круги около меня и гро-зят мне новыми неприятностями. Я утешаюсь тем, что это — к лучшему. В Москву мне переходить теперь прямо необходимо по всем соображениям. Но надо приехать и посмотреть. А я увяз в долгах. Устроить еще книгу в Ленин-граде нет возможности. Пробую устроиться около кино: писать сценарии. Не знаю, что выйдет. Это — уклон в сторону от того, что я должен делать. У меня такое ощущение, что все стараются мне помочь, но никто не решается от-влечь меня от науки. Вообще, у меня бодрость несколько покачнулась. Может быть, оттого, что все кредиторы надели разом. А все издатели мнутя и просят отсрочки платежа. Но я себя стараюсь держать крепко. Главное: хочется дей-ствовать, а как — неизвестно. Сидеть и ныть невозможно. В Москве в редак-тировании библиотеки классиков мне тоже идеология помешала (почему? ведь у меня нет идеологии — говорите Вы). Проф. Пиксанов¹ пишет, что на двух заседаниях шел разговор обо мне, и — при всем уважении к моим научным до-стоинствам — коммунисты (особенно — проф. Перверзев²) признали меня для пролетарьята негодным. Но вопроса окончательно — ввиду горячих деба-тов — не решили, отложив в долгий ящик. Но вообще здесь все почему-то уверены, что в Москве мне получить место ничего не стоит.

Буду питаться надеждами (и мыслью о центральной Надежде). Сегодня начал чтение лекций в Университете. Устал нестерпимо, тем более что вчера по случаю подготовки к лекциям и денежных неприятностей плохо спал. Поэтому письмо пессимистично. Но успокоюсь на церковнославянизмах и мечтах о Вас. О чем бы мне написать по-ученому и так, чтобы люди (чернь) заговорили? Все-таки без черни, для которой я ничего не пишу, не прославишься. А я хочу славы. Хочу независимости от всяких случайных людей. И всего это<го> — достичь без падений и обманов совести. Силы есть и будут. Точка. Ныть перестал. Я — гений.

Вас люблю. <...> Целую <...>

¹ Пиксанов Н К (1878 — 1969) — литературовед, профессор Ленинградского и Московского университетов.

² Переверзев В. Ф (1882 — 1968) — литературовед, глава школы так называемого вульгарного социологизма.

<30 января 1926 г.
Ленинград>

Дорогая Надюша!

Несколько строк напишу, отправляясь читать доклад — в Университет. Горизонт яснеет надеждами. Может быть, устроится статья о судебном красноречии. Манят (родственно с словом — обманчиво) надежды на штаты в Инст<итуте> Ист<ории> Искусств (где я как действ<ительный> член и председатель секции художественной речи буду тогда получать жалованье). И во всяком случае два месяца я и теперь могу прожить (даже с поездкой в Москву). Поэтому о деньгах временно перестаю писать. Довольно — о бытии. Надо же отдать честь и сознанию.

Все умнею. Поэтому неожиданно для себя написал целую статью (для «Изв<естий> Акад<емии> наук») о слове «ахинья»¹. Честное слово! И смешного ничего тут нет. Напротив: очень остроумное словопроизводство. Щерба благословил. Обдумываю сценарий о Достоевском (вместе с Долининым)². Читаю корректуры книги о Гоголе (той, что по ночам и днем иногда при Вас писал)³

Вот пришел с доклада, пообедал. Опять пишу. Доклад приветствовали. Правильно! Узнал от одного своего ученика (специалиста по суффиксу -ость в совр<ременном> лит<ературном> русск<ом> яз<ыке>, напр., нежность, верность, кротость и т. п.), что некий московский марксист Переверзев в своей книге о Гоголе меня бранил и назвал метафизиком (в форме доноса)⁴. Хотел купить книгу, да магазины закрылись. На этом оканчиваются дела ученые.

Дела индивидуально-умственные: изучаю прозу Пушкина, читаю Марлинского, по философии — Гуссерля, Франка и «Логику» Зигварта. Давно не читал современной беллетристики. И скучаю по ней. Предлагают прочитать доклад об Есенине, но я ответил, что поминальными речами публику развлекать не намерен. Когда шум утихнет, займусь изучением его стихов серьезно. В театр на «Ивана Каляева» не пошел, потому что вечером собрались приятели у Долинина. Говорили долго и мечтали. Бор<ис> Мих<айлович> Энгельгардт лечит зубы. Суров и несчастен с виду. С книгами у него — все неудачи. Все собираемся встретиться фундаментально, на целый вечер. Но не удается. Вам — приветы. Я все еще не выбрал предмета большой работы. Церковнославянизмы полюбились. Но они — для вечности, как «памятник нерукотворный». А для черни, развлечения ума и для печатания нужна другая тема. <...>

Ваш Витюша.

Гудзенку⁵ — привет.
Вам — прочная любовь.

¹ Опубликовано с посвящением Л. В. Щербе в кн.: «Русская речь». Сборники, издаваемые Отделом словесных искусств. Новая серия. III. Л. 1928. Вошло в кн.: Виноградов В. В. История слов. М. «Толк». 1994, стр. 41 — 54.

² Сценарий осуществлен не был.

³ «Этюды о стиле Гоголя».

⁴ Переверзев, в частности, писал: «Эта чистейшая метафизика саморазвивающейся художественной формы исключает всякую возможность научного, причинного истолкования возникновения и истолкования того или другого стиля, сводя работы исследователя к простому констатированию <...>. К этому она и свелась у Виноградова» (Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. Изд. 2-е. Иваново-Вознесенск. 1926, стр. 8; см. также стр. 16).

⁵ Имеется в виду Н. К. Гудзий.

<2 февраля 1926 г.
Ленинград>

Дорогая-дорогая!

Читаю корректуры и лекции. В голове — туман. В ушах — звон. И телефон. Звонила <в> воскресенье Тамара Александровна¹. Производила осмотр железнодорожной линии, как сторожиха у будки. Вопросы острые были: неужели я уеду совсем в Москву из Петербурга, где — центр литературы, «пуп земли»? Когда я собираюсь во временную поездку? и т. п. Вы не упоминались, но, так сказать, парили над словами Там<ары> Алек<андровны>. По-видимому, она принимает большое участие в судьбе Вашей — и моей, конечно.

Что могу ответить Вам на Ваши вопросы? Знаю одно: требователен я необыкновенно. Вы рисуете образ сердца, закутанного в серию материй. Но зачем, зачем заниматься контрабандой или мешочничеством? Тяжело носить с собою целые предприятия — Мосшелк и Моссукуно. Не лучше ли, облекшись одной тонкой и красивой материей, дать дышать всем побрам? Не сердитесь за метафорический стиль. Это — признак романтизма.

В воскресенье один мой приятель — Бор<ис> Ал<ександрович> Ларин — читал доклад о стиле драмы в моей секции Инст<итута> Ист<ории> Иск<усств>² и навел меня на новые мысли, параллельные его построениям, но от них резко отличные. Хочу об этом поразмышлять основательно. «Ахи-нея» — тоже тревожит. Думаю прочесть ее (или о ней) в форме доклада. О прозе Пушкина собираю материал. Есть мысли. Сегодня вечером предстоит разговор о киносценарии. Не знаю, сразу ли решиться на собственное построение (о Достоевском) или ограничиться на первый раз инсценировкой литературного произведения. Мелькают образы «Невского проспекта» Гоголя и «Драмы на охоте» Чехова.

Вот и весь отчет краткий. Завтра напишу побольше. А сейчас — лекции и корректура. Начало и конец сошлись. Это — «кольцевое построение»³. За пределами «кольца»: люблю, целую. <...>

Ваш Витюша.

¹ Тамара Александровна — ленинградская знакомая Виноградова и Н. М. Малышевой.

² Б. А. Ларин (1893 — 1964) 31 января прочел доклад «Речевая двупланность и средний стиль в драме» в секции художественной речи, председателем которой был тогда Виноградов.

³ Кольцевое построение, «петля», — тип сюжетного построения в теории формальной школы.

<7 февраля 1926 г.
Ленинград>

Надюша дорогая!

Писем нет. Значит, забыт и презрен (или в обратном порядке — по Лермонтову). «Я не плачу и не жалуясь»... Зато необыкновенно много читаю. Во мне происходит какой-то серьезный сдвиг в сфере общих вопросов эстетики и философии. Увлекает Гуссерль. Одолевают мечты — взяться за вопросы об образе, метафоре и символе (в том смысле, как употребляли это слово символисты). Вообще, мечтательность, направленная в мир эстетических видений, мешает стройной работе рассудка. Иногда почти до утра просиживаю над увлекшей книгой. Так было вчера за сборником «Письма Блока» («Колос», 1925).

По-моему, у меня наступает период умственного цветения. Я знаю, что цветы обсыплются скоро, и спешу им воспользоваться вполне. Лишь бы не переутюжиться. И не хочется, чтобы Вы меня чем-нибудь ранили теперь. Неужели на Вас идет новая истерическая волна? Пусть пронесется мимо.

Мучит меня молодой Достоевский. Это — тема сценария. И те привидения, которые толпились перед его больной головой, хочу я художественно разместить. Пусть не удастся сценарий, эта работа психологического режиссера для меня не пропадет.

С Бор<исом> Мих<айловичем> Энгельгардтом не виделся давно. У него — гниение старых мыслей — и на этом удобрении всходы новых. Дождусь, когда поднимутся. И тогда поговорим. Мне всегда казалось, что религиозная мистика в нем — психофизиологического свойства. Она — публицистика. Она — поэтизация житейской прозы. Для мира художественных форм она — как музыкальный аккомпанемент к ученому докладу. Забавно, но несерьезно — и мешает проникнуть в логику построения.

Сейчас я ничего не пишу. И был бы рад, если бы мог полгода не рассыпать по крохам то, что собираю. Хочу думать, читать и копить темы, материал. Во внешней жизни изменений никаких нет. Муся¹ не выдержала и заболела. По-видимому, невроз. Но теперь лучше. Главное: она освоилась с мыслью, что старое не воскреснет, и смотрит вперед. Ко мне большинство моих знакомых относится замечательно. Когда я увлечен новыми учеными проектами, я (честное слово!) бываю очень интересен. Даже Анна Дим<итриевна> Радлова (поэтесса) сказала, что я — как раскаленные щипцы: горю и жгу. Но ужасно боюсь, что Вы этого жара не почувствуете на расстоянии 604 верст, и дух лукавый сомнений, угрызений, сожалений, местоимений и т. п. смутит Вашу фантастическую душу. Миленькая, любите меня больше, пишите чаще. А то у меня заведется беспокойство.

Целую горячо-горячо.

Ваш Витюша.

¹ Муся Медер — близкая знакомая Виноградова.

<9 февраля 1926 г.
Ленинград>

Надюша милая!

Исправьтесь! А то разлюблю. <...> Так ли себя вести должна носительница высших мистических начал? И чему мне здесь учиться?

Лучше буду учиться иному. Гудзий рассказал Жирмунскому¹ (который только вчера приехал из Москвы), что я «заглядываюсь» на Москву. Тот — в тревоге, «кто же будет нас ругать? Как же Институт без Вас?» — спрашивает меня. Для временного успокоения, вероятно, жалованье буду в Институте получать. Штаты — с большими сокращениями (наполовину), по-видимому, прошли.

Кроме того, Бор<ис> Мих<айлович> Энгельгардт предлагает мне в содружестве с ним распределить обязанности по заведованию Фонетическим Институтом². Еще не знаю, как все устроится и выйдет ли что-нибудь из этого.

И наконец, в Исследоват<ельском> Инст<итуте>³, откуда меня, путем лишения жалованья, хотели выжить «попутчики», я перешел в открытую войну с ними. Не интриги, нет: на это я не способен. Но я заявил, что мне нет чести состоять в Институте без денег. Напротив, я своим именем прикрываю всякий хлам. А кроме того, я привык к приличному обращению с собою. И не могу допустить, чтобы меня рассчитывали, как прикащика купцы. И подал в этом стиле заявление об уходе. Впечатление — сильное. Хорошие люди одобряют. Скандал не может пройти без последствий. Ведь меня все знают, и пройти мимо нельзя.

С артистом Чернявским занялся инсценировкой «Голого года» Пильняка⁴. Думаю о Достоевском. Читаю Есенина. Обрабатываю статью об ахинее: буду

ее читать в среду (17^{го}) в виде доклада⁵. В Инст<итуте> Ист<ории> Искусств подготавливаю (вместе с моим сотрудником С. И. Бернштейном) вечер декламаторов (у нас есть такая комиссия по изучению звучащей речи⁶, куда, кроме нас, входят декламаторы(ши): Вл. Пяст⁷, Эльга Каминская, Ненашова и т. п.). Очень много занимаюсь философией и общей эстетикой⁸. Кроме Радловых, Чернявских (где собираются иногда артисты Театра юных зрит<елей>), Долининых и Энгельгардтов, нигде не бываю. Сегодня — после лекций — хочу навесить Медер (Мусю): она еще больна.

Целую. Жду писем более частых.

Ваш Витюша.

Над<ежде> Леон<идовне>⁹ письмо написал.

¹ Жирмунский В. М. (1891 — 1971) — в это время председатель Отдела словесных искусств ГИИИ.

² Фонетический институт практического изучения языков в Ленинграде (в «Трудах» института вышла книга Виноградова об Ахматовой). В это время его директором был И. Гиллельсон. Неделей раньше Виноградов получил от него предложение выставить свою кандидатуру на место заведующего. (См. о нем также в письме от 26 сентября 1926 г.)

³ Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока при ЛГУ (до 1923 г. — Институт имени А. Н. Веселовского).

⁴ Работа не была закончена, возможно, в связи с тем, что Виноградов все более охладевал к этому писателю: «Чем больше вчитываюсь, тем сильнее бьет в нос дурной запах» (письмо от 17 декабря 1926 г.).

⁵ В ЛГУ.

⁶ Осенью 1925 г. при секции художественной речи Отдела словесных искусств ГИИИ была организована комиссия изучения звучащей речи под председательством С. И. Бернштейна (1892 — 1970).

⁷ Пяст В. А. (1886 — 1940) — поэт и переводчик, выступал с докладами и в печати по проблемам теории декламации.

⁸ Характерные для Виноградова выходы в смежные области. В это время в круг его чтения входят такие авторы (некоторые не отражены в библиографическом аппарате его работ), как С. Аскольдов, Э. Гуссерль, А. Ф. Лосев, Вл. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк, Г. Г. Шпет. Совместно с Б. М. Энгельгардтом он вел в ГИИИ семинар «Мысль и язык».

⁹ Надежда Леонидовна — Малышева, мать Н. М. Малышевой.

<11 февраля 1926 г.
Ленинград>

Дорогая, дорогая!

В прошлом письме преобладали супружеские окрики. И дарована амнистия. Величие требует теперь, чтобы я излил милость на падших. Поэтому начинаю с любви и грез. О той, что есть, и о тех, что должны воплотиться, — сказ. Песок хрусткий — как ореховый шоколад, но золотистой. Цель сшитых темно-зеленых простынь — под лазурным потолком. Они — в волнистых складках, сбитые, будто ложе только что оставили любовники. Это — море.

Постели, нежные от ласки аромата,
Как жадные гроба, раскроются для нас... (Бодлэр)

Но мы жизни привьем бессмертие. И из гробов сделаем книжные полки. И останется для нас море лазурным одеялом. В образе лазури небо и земля сливаются. Так наступает земной рай. Будем думать, что он — для нас. Но не падайте, как Ева. Ведь были закрыты для нее врата райские. А я люблю Вас истомно и трепетно, как древо познания добра и зла. Около него лежала дорога из рая в окрестности. Пойду-ка я бродить по ним. И вот что вижу кругом. Денег пока нет. Клады светятся, но обманывают. Заговоры позабыл. Но припомню. Жирмунский для Инст<итута> Искусств из Москвы привез вместо 22 штатных единиц 14. Предстоит раздирание риз и метание жребия (все — библейские метафоры, как высокой лирической патетике надлежит).

В Москву хочу приехать (если получу деньги, за что более 50% вероятия) в самом конце февраля или в первых числах марта. Весенние белые лужи и шоколадную грязь под соломенным солнцем хочу посмотреть.

К лету деньги будут. Моя книга выйдет в свет¹ — к маю обязательно (думаю, раньше). В течение двух месяцев по выходе издательство должно запла-

тить 250 руб. И еще мелочи всякой наберется. Поэтому едем к морю — без отговорок. Духом, миленькая, падают лишь... нищие духом же. Они зато земного царства не наследуют. А Вы старайтесь держаться, как «претендентка на престол» (что-то вроде заглавия кинематографической фильма). И мне не изменяйте. Любите крепко. Измените — значит, оставите совсем. Что тогда у меня-то останется? Сергей Есенин в письме к Чернявскому на этот вопрос отвечал: «хрен да трубка, как у турецкого святого». А у меня даже трубки нет. Хрен-то найдется всякий — и буквальный и метафорический. Но... «ну его к хрену!...».

Какая сложная гамма стилистических переходов. Вникайте в них и в любовь мою: она — одушевленная.

Ваш Витюша.

¹ «Этюды о стиле Гоголя».

<13 февраля 1926 г.
Ленинград>

Дорогая-дорогая!

Письмо будет мудрым. Среди занятий пишется. И вопрос для меня сейчас большой. С Вами болезнью поделюсь. Для речи о Есенине она явилась. Тема — о лирическом лице. Неправда, что художник лично *себя* в лирике воплощает. Но неправда и то, что поэт кажет не лицо, а маску. Художник должен создать какой-то сложный, глубокий и впечатлительный образ. Этот образ делается центром, откуда рассыпаются лучи лирических эмоций. Можно, конечно, каждое лирическое стихотворение рассматривать как чисто словесный мелодический рисунок, безотносительно к тому «я», которое в нем названо. Но если стихотворения собираются в циклы и в них есть, рядом с именем одного автора, какая-то общая тональная направленность, то возникает мысль о психологическом субстрате. Начинает казаться, что художник все эти лирические признания и откровения прикрепляет к одному «я», к одному «образу». Средством его художественного оформления, раскрытием его внутренней динамики — сходной и противоречивой, как в музыкальном романе (да, романе, а не романсе), — и являются стихотворения. Создается иллюзия единства лирического романа — и стихотворения как главы. И герой чудится в нем. И, конечно, это не автор (не Лермонтов, не Пушкин, не Фет, не Ахматова, не Есенин и т. п.), хотя в герое и может быть кое-что от психологических свойств автора, но только художественно преобразованное. «Я» лирического стихотворения не соответствует той фамилии, тому имени, которое написано под стихотворением. Лирика — это как бы параллельный мир миру автора, и между ними — грани, у одних писателей более широкие, у других — узкие. У тех, у кого эти границы тесны, создается образ «лирического двойника». Но все же черта всегда отделяет автора от героя. Герой почти всегда интереснее автора — у таланта. Но представьте: автор сливается с героем. Лирическое «я» превращается в Сергея Есенина. Получается не лирика, а автобиографическая драма. Уже не слова волнуют, не стоящий за ними художественный образ, а сам живой человек. Он ведь не художественно творит, а в стихах начинает свои печали и муки рассказывать. Чтобы волновали его слова, слов недостаточно. Словесное мастерство даже не нужно. Оно не замечается: должна быть живая драма. Публика смотрит не на стихи, а на автора. И вот лирическую драму делает художник не из слов, а из своей жизни. Он потерял параллельный ряд творчества, а в публику лишь посылает письма, монологи о себе. И чтобы эти монологи волновали, были динамичны, замыкали лирический круг романа, надо свою жизнь сделать сложной и трагичной. И торопиться с ней. И все-таки сознавать, что художник умер раньше, и кончить необычно, как человеку. Пока все туманно. Но это — путь Серг. Есенина.

Люблю, люблю. Поймите, оцените и напишите обо всем этом.

Ваш В. В.

<22 февраля 1926 г
Ленинград>

Дорогая Надюша!

Вы опять оглохли, не внемлете и не пишете.

Я еще не определил время своей поездки в Москву. В Инст<итуте> Ист<ории> Искусств штаты (с сокращениями) прошли, но денег еще из Москвы не высылают. Создалась какая-то неопределенность. И вокруг нее — шум, вызванный напором начальствующих в Инст<итуте> социологов марксистского вероисповедания. Директор Инст<итута> от имени Главнауки издал инструкцию об обязательном выполнении каждым членом социологического задания. Я — на заседании — заявил, что все постановления о переучете лошадей меня не касаются, так как извозного хозяйства у меня нет. Как слухи о деньгах, так всем подкидывают на воспитание заморышей (или лучше — дефективных младенцев) марксизма. Но мы все (кроме Жирмунского и молчаливых: Б. М. Энгельгардт, Юр. Н. Тынянов и Эйхенбаум /отчасти/) держались дружно и добились отмены постановления. Впрочем, неизвестно, что будет. Вышел временник нашего отдела Словесных искусств. Там — моя статья и отчет о деятельности Инст<итута>, из которого Вы (если интересуетесь) можете почерпнуть сведения о направлении наших работ и их значении для искусства¹. Я Вам вышлю экземпляр.

Корректуру Гоголя я кончил². А. С. Долинин тоже ее читал и нашел, что книга будет «очень значительная». Бегу на лекцию. Получил Ваше письмо — краткое и жалобное. <...>

Не волнуйтесь, спите и думайте обо мне. Я люблю Вас.

Ваш Витенька.

PS. Приеду в Москву, вероятно, 4^{го} марта. Есть надежда пристроить статью о типах судебно-ораторской речи. Сейчас звонил Радлов по телефону.

Бегу, а то $\frac{1}{4}$ 12. А в 12 лекция в Университете.

Целую <...>

Пишите чаще.

¹ «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». I. Л. 1926. Статья — «Проблема сказа в стилистике». Отчет — о научной деятельности Отдела с 1 октября 1923 г. до января 1926 г. (стр. 155 — 162).

² «Этюды о стиле Гоголя»

<24 марта 1926 г.
Ленинград>

Надюшечка дорогая!

И вторник пришел к концу. И в трауре ночи светлеет лицо среды. День шел так. Читал корректуру книги о Гоголе. Не всем доволен, но некоторым мыслям и теперь радуюсь. Вечером были заседание и лекции в Инст<итуте> Ист<ории> Искусств. Виделся с Бор<исом> Мих<айловичем>. Он меня очень хвалил. Говорит, что в последних работах я разворачиваюсь во всю ширь. Решили собираться (я, Энгельгардт, Эйхенбаум, Жирмунский, Казанский, Тынянов и нек<оторые> др<угие>) раз в месяц для споров по вопросам теории искусства. Это — то, чего мне страшно не доставало. Это — не доклады, а горячие беседы, шумные блуждания по темным путям философии искусства. Во время их вырастают у фантазии крылья. И радость легких взлетов. Это — необыкновенно. После лекций я с Казанским поехал к Бор<ису> Ал<ександровичу> Ларину — день его рождения или что-то в этом роде. Был там и Арк<адий> Семенович¹ Мечтали о своем журнале и о том, как мы преобразуем мир. Мне ужасно хочется работать. И любить Вас. Синтез любви и труда — знамя победы над миром. А победа над миром — это «вознесение на небо», т е утверждение новой точки зрения на вещи, которая все сдвигает с места жительство. Верю, что будет так. Я не хожу по водам, зато хожу по воздуху,

иногда даже по безвоздушному пространству. Как индийские маги. Но я — лишь в стране словесного искусства. Могу даже писать стихи. Вот — пример:

Огненным жалом змеи
 Душу щекочет тоска.
 Ширится пасть у мглы...
 Смертная дрожь маяка...

И все же ужасно, когда слова рассыпаются, как серебряные монеты из дырявого кармана. Труднее всего эмоциональный стиль. Кто может остро и тонко освежить те слова, которые заласканы? Вот почему у меня стыдливость и скупость в лирике. Даже по утрам, т. е. теперь, когда я дописываю ночью начатое письмо. А мне так хочется сказать Вам что-нибудь любовное и крепкое, что могло бы мысли Ваши радугой радостных грез окружить. О лете думаю, об отдыхе солнечном с Вами. Деньги буду собирать. Согласился на предложение читать лекции по стилистике поэтической речи в Фонетич<еском> Инст<итуте>. С пятницы² начинаю.

И Вы стойте крепко на пороге моего лета (т. е. мне принадлежащего) и не забывайте

своего Витюшу.

Привет Марусе.

¹ А. С. Долинин.

² То есть 26 марта.

<26 марта 1926 г.
 Ленинград>

Надюшечка дорогая!

Ночь. Я только что вернулся от Фед<ора> Кузм<ича> Сологуба¹. Был о символизме разговор, острый и горячий. Собралось тесное, но пестрое общество: поэты, поэтессы, критики, литераторы, из ученых — я один. Во мне трепетала весна. И мучительно хотелось красивых слов. Но я не все сказал. Зато Сологуб необыкновенно тонко и своеобразно говорил о мире как о «кошмаре больного дьявола», живущего в человеке. <...>

Мне по возвращении все были ужасно рады. Отсюда я заключаю, что, несмотря на все углы в моем характере и языке, на которые непрестанно натываются знакомые, я заслуживаю расположения. Кроме того, почему-то все вокруг уверовали в мою власть над публикой. И сыпятся предложения выступать на литературных и декламационно-стиховых вечерах. Эльга Каминская просит быть ее неизменным руководителем и говорить вступительное слово о творчестве поэтов (разных) на ее концертах. В студии «Ваятели масок» я согласился говорить речь о поэзии Блока. А в нее будет внедряться декламация разных исполнителей как иллюстрации к моим рассуждениям.

Но этот шум мне не нравится. Тихие дела меня больше влекут. Кончил корректуру книги о Гоголе. Отдельваю статью о церковнославянизмах для сб. «Русская речь»². Опять принимаюсь за работу над образом лирического «я» и над символом у символистов. Может быть, заключу договор на книгу «Проблемы стилистики».

Весной так радостно работать. В окно смотрит серебряно-синяя ночь. И золотятся воздушные нити, которые тянут мысли в какие-то дали. И объем сознания ширится. И в этом широком царстве розово-голубой трон остается за Вами

Ваш Витюша.

Целую нежно и крепко. А письма мне не грех писать и почаще. Могу прислать марки.

¹ Сологуб (наст. фамилия — Тетерников) Ф. К. (1863 — 1927) — поэт.

² Опубликовано под заглавием «К истории лексики русского литературного языка» (в кн: «Русская речь». Сборники, издаваемые Отделом словесных искусств ГИИИ. Новая серия под ред. Л. В. Щербы. I Л 1927, стр 90 — 118).

<30 марта 1926 г.
Ленинград>

Не соединить ли мне хоть в одном письме эпистолярный стиль со сказовыми формами, дорогая Надюша? Фабула есть. А день был воскресный. И солнце катилось по склону — желтое и блестящее, как вычищенный медный поднос. Борис Мих<айлович> Энгельгардт читал доклад: «Проблема художественной критики». Его содержание, сжатое в женский кулачок: художественное произведение вечно. Но каждой эпохой осваивается различно. Оно должно быть осовременено. И критика восполняет эту задачу — приспособить художественное произведение к духу эпохи. История критики — это история читательского вкуса.

Мне постановка вопроса не понравилась. Я возражал. Художественный мир — особая сфера, которая имеет свои законы развития, независимо от читательского вкуса. Мир искусства существует объективно. История его восприятия не совпадает с историей вкусов. Критик борется с читательскими вкусами и преодолевает их. И многое другое — все изложить в сказовых формах невозможно. Пришлось бы прибегнуть к иронической риторике и диалогическим каламбурам. Возражали и Арк<адий> Сем<енович>, и Тынянов, и Эйхенбаум, и Казанский, и др. До полной засухи в горле. Для борьбы с ней решили зайти по дороге в какой-то ресторанчик третьего сорта. В общем зале было дымно, пьяно и фантастично. У соседнего столика боком к спине Тынянова и Арк<адия> Сем<еновича> сидела красивая, жалкая и пьяная дама с хриплым, но взволнованным и волнующим голосом. Арк<адий> Сем<енович> вступил с ней в короткую дружбу. Диалог — литературный.

«Униженные и оскорбленные»... — вздрагивающими интонациями хрипит дама. Долинин встрепенулся. Героиня Достоевского?.. (На самом деле — типаж для фильма «Чертово колесо».) Бородач не выдерживает. Становится в позу экзаменатора:

«Чье сочинение?»

«Не знаю... В театре слышала: «И оскорбленному есть чувству уголок»...»

Рядом разыгрывается сцена из советской комедии нравов. Пьяный матрос решил подшутить над Митей (так зовут всех половых, как извозчиков — Ваньками) — и сдернул с него брюки. Митя не снес обиды и нарушения благопристойности. И веселости гостей — неуместной. Драка... В воздухе мечется, как муха около банки с вареньем, нож. Борцы и воины из публики готовятся к выступлению. Но Митя скоро сокрушает обидчика и толкает его к выходу. Матрос — красный (лицом, а не убеждениями; быть может, тем и другим) и страшный — кричит: «Братишки! Помогите! Нельзя моряка вышибать!»... Эйхенбаум, как древний Соломон, дал совет — вынести славного «моряка с „Авроры”» под мышки. Публика мудрость постигла: не изгнан, но вынесен герой. И нет ему срама. Вслед за моряком разбрелись и мы по домам своим.

Так на час открыла нам свои ворота другая жизнь. Забавно — и кошмарно вместе.

Это было вчера. Сегодня — утомительные шесть лекций в Университете. Усталый вернулся домой. Предо мной — роман Элисы Раис «Дочь Дуара». Не нравится, несмотря на восторги Фед<ора> К<узмиха> Сологуба. Киносценарий наш¹ читал знакомый член Кинобюро. Одобрил: «Очень интересно, но несколько запутанно и сложно. Можно сделать из этого 5 киносценариев». Советовал отбросить некоторые эпизоды и тогда уже — отдать в Бюро. Так и сделаем.

Завтра принимаюсь за статью для 2 сб. «Поэтика»².

Миленькая, беспокоюсь за Вас. Окрепили ли Вы духом? Здоровы ли?

Целую кротко и нежно.

Будьте сильны и тверды.

Ваш Витюша.

¹ См. письмо от 30 января 1926 г. Текст сценария до нас не дошел.

² Во втором сборнике «Поэтики» статья Виноградова не появилась. Видимо, речь идет о работе, опубликованной в третьем сборнике: «К построению теории поэтического языка. Учение о системах речи литературных произведений» («Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». Л. 1927, стр. 5 — 24).

<9 апреля 1926 г.
Ленинград>

Надюшечка дорогая!

Был разговор однажды между двумя «русскими пиитами» — Владимиром Маяковским и Виктором Хлебниковым. Дружески-язвительный.

Маяковский: «Каждый Виктор хочет быть Гюго».

Хлебников в ответ: «А каждый Вальтер (т. е. Владимир) хочет быть Скоттом (иначе — скотом)».

Итак, закон о Викторах существует. Хочу бороться с ним. И уже одну победу одержал. Отказался от французской версии «Сказки о рыбаке и рыбке». Миленькая, мне сейчас еще несколько тяжело спалить мечты, готовые осуществиться, — все равно что Гоголю было сжечь второй том «Мертвых душ». Но я, во всяком случае, от занятий в Institut des Études Slaves — с осени 1926 г. — отказался. Впрочем, все это несущественно: я люблю Вас. Да и русская литература пока еще меня привлекает. Размах европейский придет потом.

А вот философские размышления. Надо в жизни избегать форм сравнения с союзом «как». «Будьте, как боги» — это символ ложной подражательности. Тут — соблазн слабых. Если уничтожить «как», то останутся реальные превращения человека на ступенях восхождения. Свой путь, не омраченный никакими сравнениями, крутой и новый, — путь человека, не оглядывающегося по сторонам и вниз. У Ибсена строитель Сольнес с вышины постройки посмотрел вниз и разбился¹. Помню сквозь детские сны — спор: дядя Сережа (врач) с жаром доказывает собравшимся гостям, что гений, запертый в башню и отделенный от всего мира, от всей его культуры, в 20 — 30 лет одиноко пройдет весь путь мирового развития и опередит человечество в сфере своего творчества. По-моему, это необыкновенно тонко и верно.

А кроме того, есть другое наблюдение одного английского писателя, выразившееся в афоризме: «Человек имеет всегда определенную цену, меняется лишь валюта». И сюда стихи:

Кто не борясь и не состязаясь
Одну лишь робость усвоил,
Тот не игрок, а досадный заяц,
Загнать его — дело пустое.
Когда же за нами в лесу густом
Пускают собак в погоню,
Мы тоже кусаться умеем — притом
Кусаться с оттенком иронии.

Из философии довольно. Из жизни: Арк<адий> Сем<енович> собирается Вам писать письмо. Он пишет интересную книгу: «Достоевский и социализм»². Есть новые мысли. Бор<ис> Мих<айлович> Энгельгардт после инфлюэнцы переживает мозговую спячку. Зато острит с удачей и ведет общественный образ жизни. Дядя Шурочка³ переводит французские романы и выбирает из своей головы пыль Мейерхольда. Они все Вам кланяются.

А у меня в голове — растет цветная капуста и всходят семена пессимизма. Но они расцветут работой.

Но лестница здесь — и та не туда, —
Идешь — ступеньки разные,
Как будто все глухие года,
Как ядра, к ногам привязаны.

Целую Вас, миленькая, крепко. Как хотите, а Вы должны теперь любить меня по-настоящему.

Ваш В. В

¹ Пьеса Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

² Не было осуществлено; Долинин опубликовал ряд статей о связях Достоевского с петрашевцами, Герценом и прочими.

³ Дядя Шурочка — Слонимский А. Л. (1881 — 1964), литературовед. Его книгой «Техника комического у Гоголя» (Л. 1923) открывалась серия «Вопросы поэтики» РИИИ (ГИИИ).

<10 апреля 1926 г.
Ленинград>

Миленьякая-миленьякая!

На свете — много разговоров. Один из них с Аркад<ием> Сем<еновичем> — я ему жалуясь на горе: «Ужасно хочется сказать какую-нибудь глупость. Стараешься-стараешься... И ничего не выходит. Все какие-то умные вещи рождаются, даже до необыкновенности. Это трагично — даже при усилении не иметь сил придумать глупость». А он возразил: «А Вы не думайте, что надо сказать глупость, и Вам удастся. По крайней мере, до сих пор на это Вам была необыкновенная удача». Оба остались довольны друг другом. И в конце концов старик прав. Одна глупость не дает мне покоя и явилась без всякого зова с моей стороны. Это — вопрос об «идее» в художественном произведении. Идея — это тот угол зрения, под которым воспроизводятся сюжетные рисунки и герои. Это — позы, в какие ставит автор художественные образы. Эти точки зрения и позы обусловлены не общественной или религиозно-философской идеологией самого автора, еще менее формами быта. Они возникают как метод художественной перестановки и перестройки традиционных сюжетов и героев — при скрещении двух диаметрально противоположных художественных течений. Миленьякая, не знаю, вполне ли Вы оцените этот краткостроченный бред. Но я им болен сейчас. И в понедельник — 19 — читаю в Исследовательском институте доклад о «школе молодого Достоевского», т. е. о художественных формах его в до-каторжный период. И здесь буду развивать свои невероятные теории¹.

А вообще на душе как-то смутно. Голова набита темами. Не хочется ни одну превращать в пустырь. И за всеми не угнаться. И мечтается о большой-большой работе. Досуг и спокойное упорство. И сосредоточенность и уединенное отграничение — без экскурсий по всем темным углам литературно-стилистического лабиринта. И в то же время жаль сжимать живость, которая потом уже не вернется. И зовы звучат к каким-то новым, пестрым и совсем не схожим областям. К тому же переутомился я. Но от этого все сильнее жажда работы.

Люди все ко мне необыкновенно хорошо относятся. И многого ждут. И мне стыдно будет этих ожиданий не оправдать. Денег у меня достаточно. И Вы не отказывайтесь. И приезжайте скорее. Весна пришла. О Вас часто вспоминают Арк<адий> Сем<енович>, дядя Боря и дядя Шурочка Слонимский. Щерба хочет с Вами познакомиться. Колечка Гудзий прислал грустную открытку.

Наш киносценарий одобрен художественным советом Кинобюро. Думаем с Влад<имиром> Степ<ановичем> Чернявским — приступить опять к драме.

Дорогая, вместо головы у меня сейчас печка угарная и с головешками. Не удивляйтесь стилистической соломе и осеннему хворосту. И не морщитесь от бледной немощи моего стиля. Я устал, и спина тоскует о воздухе и движении. Я сидел сегодня с 11 ч. до 6 ч. вечера за работой.

Люблю Вас крепко.

Ваш Витя.

PS. Я хотел для Вас попросить в Институте сборник De musica, но вот какие приписки сделали Тынянов и Энгельгардт².

¹ Виноградов выдвигал идею, что в 30 — 40-е гг. XIX в. в недрах натуральной школы возникают новые явления, одно из которых — школа сентиментального натурализма, начатая романом молодого Достоевского «Бедные люди».

² На этих словах текст письма вместе со страницей кончается.

<13 апреля 1926 г.
Ленинград>

Надюша дорогая!

Дни текут, как вода с крыши. А солнце борется с серым снегом. Блеск и серость не совмещаются. Но мир страннее логики и сливает лед и пламень (напр., при компрессах на голову). Поэтому не надо удивляться, что «тертый

калач» и «стреляный воробей» имеют одно и то же смысловое содержание. Карты литературы и жизни перемешиваются, и выигрывает шулер, т. е. тот, кто заранее составил из них одну колоду.

А мысли текут, как ручьи с весенних гор. Беспокойно и мутно. Я на миг устроил запруды и остановил их бег, чтобы воспроизвести Вам зигзаги прыгающих ассоциаций. Такая пляска теней происходит у меня в голове. Она — как глава футуристического романа. И в то же время натуральна, как сам натурализм. Крайности всегда хватаются одна за другую (напр., рука за ногу). Какой смысл в этих пируэтках? Искусство беспредметно (если оно — не «камерное»). И в нем мудрость бессмысленности. В моей голове — тоже.

Но я себя психически в последние дни чувствую встревоженным. Почему? Не могу разобраться. Что-то глохнет. И бывают минуты беспричинной обманутости. Это беспокойство — как миганье электрических лампочек. Лишь изредка нарушает светлый фон. Внешне — все прежнее. Очень много занимаюсь литературой конца сороковых годов (Достоевские-братья, Писемский, Салтыков, Плещеев, Бутков, Тургенев, Григорович и др.). В понедельник читаю доклад¹. Работа идет остро. Энергия не падает.

Борис Мих<айлович> Энгельгардт будет читать в след<ующую> среду доклад об «эмоциональном символизме поэтического языка» у меня в секции. Он собирается бороться с моими литературно-эстетическими построениями и хочет читать лекцию на тему «Виноградов и Гоголь», находя, что мы оба пострадали от знакомства друг с другом (т. е. Гоголь и я). Это — оттого, что мое влияние растет. И дядю беспокоят мои эксперименты над истолкованием идеологии как художественного приема². Арк<адий> Сем<енович> обнаружил как-то некоторую юркость. И я наложил на него временную опалу. Дядя Боря над этим смеется. Дело в том, что я дал почитать Арк<адию> Сем<еновичу> напечатанные в *Revue des études slaves* материалы о «Нови» Тургенева³. В связи с ними я говорил, что нет существенной разницы в процессе художественного творчества между Тургеневым и Достоевским. У обоих «идеологические» романы. И вот Арк<адий> Сем<енович> спешит из этого смастерить статью. Я знаю, что ему очень нужны деньги. Но стоит ли все-таки обнаруживать такую расторопность? Мне ничего не жалко. Но ведь противно. Так же, как теперь произносить речи о Есенине и писать о нем статьи и всякие кантаты. И я очень рад, что ни одной речи не произнес и ни одной статьи не даю никуда (хотя есть и то и другое). Конечно, через два дня я забуду эту мелочь, так как Арк<адий> Сем<енович> — все-таки очень интересный человек. Вот — о Ваших знакомых, которые Вас очень тепло вспоминают.

Завтра, в среду, я получу деньги и вышлю Вам. Миленькая, приезжайте. Целую Вас.

Ваш Витюша.

Ольге Фед<оровне>⁴ — приветы и со-болезн-ования.

¹ «О построении теории стилистики» в Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков при ЛГУ.

² В ранних работах Виноградова ощутимо влияние формальной школы (это видно и в некоторых формулировках в публикуемых письмах). Б. М. Энгельгардт дал критическую оценку школы в своей кн. «Формальный метод в истории литературы». Л. 1927 («Вопросы поэтики». Вып. XI).

³ L'élaboration d'un roman de Turgenev: Terres vierges, par André Mazon. — «Revue des études slaves Tome cinquième. Fascicules 1 et 2. Paris. 1925, pp. 85—112.

⁴ Ольга Федоровна — Жолтовская, пианистка, жена академика архитектуры И. В. Жолтовского, близкий друг Н. М. Малышевой.

<20 апреля 1926 г.
Ленинград>

Миленькая!

Причины неизвестны (ведь мы вообще в жизни, как слепые — света, не знаем причин). А писем нет от Вас.

Я вчера читал доклад в Исследоват<ельском> Инст<итуте>. Народу было так много, что публика сидела на окнах, стояла. Хвалили. Но у меня было ощущение, что большинство не понимает сути главной. По просьбе председа-

теля секции я вместо «Тургенев и школа Достоевского» доклад более общего содержания приготовил: «Задачи и методы эстетики слова». Я сам не всем был доволен в своем построении, но кое-что было ново и мудро (ей-Богу!). И Бор<ис> Мих<айлович>, и Ларин Б. А., и Арк<адий> Сем<енович> и другие «посвященные» так говорили. Но для большинства центральные мысли утонули в мелкой воде парадоксов, которыми я не очень дорожу, но которые во время прений поглотили половину внимания. И у меня горечь — какого-то вульгарного апофеоза. Если так хвалят за пустяки, не замечая главного, стоит ли читать доклады? Лучше их отсылать сразу печатать за границу. Арк<адий> Сем<енович> говорит, что ему делается грустно за меня после таких оценок ученой черни. Восхищаются не понимая, потому что боятся (кого?) обнаружить непонимание.

Я доволен лишь одним своим изречением. Мне все время толковали о традициях в искусстве. Я ответил: «Традиция — это мягкая подушка, которая подкладывается на жесткий стул яркой индивидуальности. Сидя на ней, художник должен смотреть в века — грядущие, а не назад». <...>

Весной — в душе беспокойство. И всегда вспоминается юность ранняя, воздушная и с высоким томлением героических, неисполнимых желаний и мечтаний. Романтическая антигега мечты и быта особенно остро тревожит весной. Мысли делаются тонкими, хрустальными и звенят в вышине. И какой-то необычайный мир призраков из людей и вещей встает, как град Китеж. И хочется плакать (не в истерической тоске, а в сладком очаровании безнадежной грусти) оттого, что этот мир нельзя свести на землю. И вся жизнь своя начинает казаться серой (даже грязно-серой) и ненужной. А впрочем, может быть, все это — от литературы.

Целую нежно. Жду скоро.

Ваш Витюша.

<18 мая 1926 г.
Ленинград>

Надюшечка дорогая!

Глаз прошел... Настало лето...

Со всех сторон окружают доклады до 7^{го} июня, когда я совершенно освоюсь. В среду — 19 — в Инст<итуте> Искусств — «О формах драматического языка в „Ревизоре“», в среду 26 — «О классификации наречий в соврем<енной> литер<атурной> речи» в Исслед<овательском> Инст<итуте>, в следующую среду — «О герое в лирике» — в Инст<итуте> Искусств, 7^{го} июня — в торжественном заседании памяти Карамзина «О Карамзине как реформаторе литературных стилей».

Надеюсь, что не заблужусь среди этих сосен и не запутаюсь в пестром одеяле чужих мнений.

Сегодня Щерба устраивает прощальный вечер перед отъездом за границу. Будет много разнообразного люду. Карские уже уехали. Вообще все рвется на Запад.

Когда ж и я доцентом и магистром
Помчусь за границу в первый раз?

А пока

Пусть там снуют людские (мирские) мириады
Под грохот огнедышащих машин,
Пусть жидутся бездушные громады, —
Святая тишина, я здесь один...

Что же делать?.. Надо пока развесить на солнце мысли, как Иван Никифорович проветривал у Гоголя свое имущество¹.

Воскресенье я был в Инст<итуте> Искусств на лекции Вл. Маяковского, который приехал сообщить нам свои рассуждения о стихах². Интересны лишь его признания о процессе своей поэтической работы. Он делает заранее, в мучительных исканиях, заготовки отдельных частей (рифм, напр., погань — Ко-

ган). Увидит слово «Витте» — размышляет: «Вид у Витте деловитый», фамилия — «Нита Жо живет ниже этажом». «Носки подарены» — «наскипидаренный».

Мне особенно понравился (вероятно, придуманный) рассказ об одном эпизоде... Три дня будто бы бился Маяковский над словесным выражением любви к единственной. Слов не было. Ночью усталый во сне он находит форму: «Я буду тебя любить и беречь, как калека-инвалид свою единственную ногу». Вскакивает и на папиросной коробке спичкой чертит: «единственную ногу». Утром просыпается и не может вспомнить, зачем попала на папиросницу «единственная нога». Лишь — после часовых усилий — находит, что искал¹.

Это о жизни. О себе: смесь хандры с энергией. От ученых планов ломится (но не в открытую дверь) голова, а времени в сутках мало. Надо читать новые книги, полученные из заграницы.

Вас люблю, постоянно помню.

Целую нежно.

Ваш Витюша.

¹ В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

² Выступление (афишное название — «Как делать стихи?») состоялось 17 мая (см.: Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. Изд. 5-е. М. 1985, стр. 342).

³ В выступлении были использованы упоминаемые Виноградовым примеры из статьи под тем же названием, которую Маяковский заканчивал в это время (Катанян В. Маяковский..., стр. 337):

Милкой мне в подарок бурка
И носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
Как наскипидаренный.

Рифма «погань — Коган» — из стихотворения «Сергею Есенину»; из нее же — пример с фамилией Нита Жо и папиросной коробкой. Пример с Витте в собрании сочинений Маяковского отсутствует.

<28 мая 1926 г.
Ленинград>

Надюшечка дорогая!

Пишу в Университете. Отсюда — привет Б. А. Ларина. Избираем ректора и другое начальство. Но мне все эти фикции прав надоели. А что делать? Это знал только Чернышевский. Я же знаю только, что мне надо временно ничего не делать. Белые ночи — и лазурные дни. Занимаюсь я на подоконнике, и си-нева осеняет мою голову. Увлечен Карамзиным. И много мыслей тянется к XVIII веку. Мысли мешают работе прямой, дробя ее на тысячи теряющихся вдали тропинок. Приехали из Царского Села Радловы и через две недели уезжают на дачу. В близкий мне круг вступил художник К. А. Соколов (или Никитин — не помню), который вместе с Влад<имиром> Ст<епановичем> Чернявским был приятелем Есенина. Читают свои воспоминания¹. Очень интересные детали. И образ встает остро и ново. Тихая, рабочая жизнь с Зин<аидой> Н<иколаевной> Райх², ревность при кокетстве, потеряность среди сложной и изысканной жизни петербургских поэтов, большое честолюбие и самовлюбленность... И искание чистого, цельного, покорного чувства. Любопытен эпизод в Батуме. Дочь генерала, увлекающаяся английским языком и названная мисс Оль... Есенин влюблен... Она склоняется к известному поэту. Но нити кокетства с старыми поклонниками не порваны... День помолвки. Обед... Мисс Оль, выйдя из-за стола, садится на диван с прежним «хахалем» (по выражению Есенина). Кокетничает... Тот почти обнимает и незаметно целует волосы. Есенин замечает, бледнеет и без слов тянет из дома художника (с которым вместе он пришел). Уходят, так как еще минута — и Есенин разразился бы в истерике и скандале. На улице Есенин падает в обморок, в гостинице бьется головой о стену и несколько дней терзается мучительно. И уезжает из Батума.

И другие эпизоды характерны. Это — жизнь в литературе, а вот — жизнь в жизни Псков ждет Вас и меня. Мельник предупожден. Устраиваю возмож-

ность оттуда проехать в Киев и далее — на юг. Июнь — как очки на глазах или на носу. Вопрос мой о деньгах — очень простой — Вы восприняли болезненно и непросто. По уговору с издательством — оно должно в июне мне выплатить 150 руб. И уехать в июне нам необходимо. К тому же мне скоро придется жить одному в квартире — за отъездом Янцен на дачу. Чувствую, что голова моя устает, и мне необходимо умственно отдохнуть. Чувствую же себя бодро и кипуче.

Целую Вас, миленькая, крепко-крепко. Жду Вас нетерпеливо и скоро. Гудзий — лысый поросенок — о делах мне не пишет и вообще ни о чем.

Пишите и любите целно.

Ваш Витюша.

¹ Воспоминания В. С. Чернявского и Н. Н. Никитина (1895 — 1963) были впоследствии опубликованы (см.: «Воспоминания о Сергее Есенине». М. 1965; «С. А. Есенин в воспоминаниях современников». Т. 1. М. 1986).

² Райх З. Н. (1894 — 1939) — артистка, жена Есенина в 1917 — 1921 гг.

<31 мая 1926 г.
Ленинград>

Дорогая Надюша!

Солнце заливает серебряным потоком стол и покрывает позолотой стены. Жара и синь... А Вы все в Москве и никаких планов не сообщаете. Щерба отложил на зиму поездку за границу. Бесконечные заседания — с итогами протекшего года и планами на будущий... Мозги растоплены зноем, пылятся от города, дрязг и ученых сплетен... Моя книга имеет успех, шумя... Точно срока выплаты денег издатель не установил еще, но обещал за июнь 150 руб. заплатить. Если Вы захотите приехать числа 10 — 15^{го} июня, то я сумею выжать из него и Вам послать рубл<ей> 50. Мимо пробегает ежедневно несколько десятков людей. Но основательных встреч и разговоров — почти нет. Очень занят. Устаю. В голове — душно, как в знойном городе. От знакомых — ощущение у меня, что люди все устали, ссорятся, нервны, впечатлительны и склонны к экстравагантностям, в которых потом можно каяться. Привет Вам — от Бор<и-са> Мих<айловича>, который со мной необыкновенно мил и меня признал окончательным за оригинального ученого.

Арк<адий> Семенович обнаруживает восточную гибкость в поисках положения и денег. После него остаются осадки (не в смысле метеорологические).

В театре не бываю, у знакомых — редко. Отношение людей ко мне — разное, но среднего — мало. Лишь Гудзенек ничего не пишет. А я ему, Сакулину, Пиксанову и Пешковскому послал книгу¹. Позвоните, чтобы он мне суд свой высказал. Есть предложения из немецк<их> и франц<узских> журналов на статьи. Боюсь, что голове моей сейчас такой труд — не впору. Миленькая, я делаю из письма крошку; она подходяща для жары. А кроме того, я устал сегодня, устал... И беспокойно мне отчего-то... И Карамзин меня преследует. Хочется за город съездить. Зовут в Шлиссельбург. Нет дня целого для свободы. Но 7^{го} праздник раскрепощения. Впрочем, я обещал Инст<итуту> Искусств к осени книгу приготовить — одну из двух: «О принципах стилистики» или «Борьба стилей в х<удожественной> литературе 40 — 50-х годов» (лучше: «Закат натурализма»).

Целую Вас, дорогая, крепко-крепко. Надеюсь, что Вы поспешите ко мне прибыть.

Ваш Витюша.

¹ Сакулин П. Н. (1868 — 1930) — литературовед, в качестве гостя выступал с докладами в ГИИИ. Пешковский А. М. (1878 — 1933) — лингвист. В письме к жене от 2 апреля Виноградов писал о нем: «Самоучка (очень тонкий, но не очень широко образованный любитель-музыкант)».

<26 сентября 1926 г.
Ленинград>

Дорогая Надюша!

Какой-то вихрь работ и планов налетел на меня — и крутит неистово. Надо придумывать темы для трех семинаров (с их кратким конспектом и указанием существующей литературы). Это — сто сочинений в миниатюрах. Заседания... — а в комнате — толкотня посетителей. Отсутствие телефона заменилось живыми голосами, которые томительнее звонков и заочной беседы. Читаю ненасытно и иногда не сплю до утра. Но писать систематически не удается. И, может быть, это хорошо: чтение — как чистка и уборка квартиры. После суматохи и пыли голова с течением времени примет новое обличье. И роман мой движется¹, как первый поезд в фильме «Наше гостеприимство». Впрочем, стиль надо сломать. А то он иногда напоминает стекла в окнах бань — тусклые и пестрые. Вот — несколько строк из начала: «В Ленинграде небо оставалось петербургским. Оно — как лист Апокалипсиса. И дальняя тоска его нестерпима. В вечерней лиловости по его склонам шли в неизвестность силуэты какого-то зверинца. Сгрудившись, вдруг проваливались. А на движущемся экране выступал профиль умирающего великана, носатого, с оскаленным ртом. У его изголовья — пепельное лицо женщины». И т. п. Сейчас — передо мною яснеет остов будущего воплощения. Много читаю и беллетристики. Уже — ночь. И я целюсь в лежащий на ночном столике роман Оливии Уэдсли «Пламя».

Это — внутренние дела. Вот — внешние: стараюсь уместить в первые три недели свои петербургские лекции (6 в Университете и 6 в Инст<итуте> Ист<ории> Искусств). Кроме того предлагают еще 4 ч. лекций в Институте Народ<ного> образования по языкознанию. М. б., возьму. Занятия учебные не трогаются. И едва ли раньше 7 окт<ября> начнутся. Но жду точного расписания. Гиллельсон (не знаю, насколько серьезно) разговаривал со мною об организации в Москве отделения Фонетич<еского> Инст<итута>.

Одновременно почитают за остроу и бранят за антимарксизм в газетах и журналах мою книгу о Гоголе². В Инст<итуте> Ист<ории> Искусств Жирмунский просит меня принять от него должность председателя отдела Словесных Искусств. Боюсь не управиться. А денег все нет.

Из Киева получил письмо от редакции с комплиментами, с обязательствами напечатать мою статью в книжке журнала (октябрь — ноябрь) и с обещанием выслать деньги после перевода статьи на украинский язык³, т. е. после 1-го октября. Виделся с Щербами, Долиниными, Радловыми (был у Ник<олая> Эрн<естовича>). Нат<алья> Эрн<естовна> Вам предписала «ужасно кланяться». Щербочка приветствует Вас. Он мне рассказал (правда, пофранцузски и притом во время совместного пребывания в уборной) — по поводу обнаруженных им способностей к духовой музыке полуприличный анекдот. Негоциант Оксман⁴ просит Вас здравствовать. Старик Долинин расцвел как «куриная слепота» (это — цветок) под влиянием денежного дождя в 220 рубл<ей> ежемесячно. Вас старается помнить. Дядя Боря (из Крыма) прислал мне ласковое письмо и Вас благословляет (на хорошее), Юрий Никандрович Верховский⁵ развивает мысли Баратынского...

Как премудрый Соломон,
Я не скажу: все в мире сон!
Не все мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.⁶

Письмо Ваше с уклоном в сторону ораторского стиля (миленькая, это я — с нежностью говорю) получил. В некоторых местах оно мне понравилось. Старчик дорогой-дорогой! Вне стиля — алогизм бессодержательного и угодливого расположения. Оно — как вата. Весом — фунт, а с виду — гора. Впрочем, своих афоризмов никому не внушаю.

Дорогой мой старец! Буду стремиться к приезду 30-го утром с ускоренным поездом. Денег рублей 25 добуду. Обещано. Потом пришлют. Но — главное: когда начинать чтение лекции в Москве? Октябрь расходами грозит, а доходами не обнадеживает. И мне хочется совместить приезд с началом занятий. От Коленьки⁷ точных извещений жду. И Вас поцеловать, в день Ангела Вашего хочется. Но готов целовать всесторонне и независимо от всяких дней. Любите меня. Это — утро после ночи (бессонной) за романом Уэдсли. Трогательно до волнения с увлажнением очей (тут я в стиле подражаю одной девице, вступающей в Инст<итут> Ист<ории> Искусств: в ее пыльной работе о Чехове про Лопухина из «Вишневого сада» сказано: «Он раздавил культ своей барыни, перед которой ходил босиком» — и др<угие> возвышенные красоты стиля). Целую крепко и нежно. Завтра открыткой извещу о том, сумею ли я приехать 30 утром.

Ваш В. В.

¹ Роман не был осуществлен.

² См., в частности: Л. Якобсон — «Печать и революция», 1926, кн. 6; Ю. Д. — «Книгоноша», 1926, № 33.

³ «О теории литературных стилей». Статья предназначалась для возобновляемых харьковских выпусков «Вопросы философии и психологии творчества». Возобновление не состоялось, статья была передана в киевский журнал «Життя й революція», где и была напечатана в переводе на украинский язык (1927, № 5). См. в нашем обратном переводе и с комментариями: «Избранные труды», т. 5, стр. 240 — 249, 351 — 354.

⁴ Оксман Ю. Г. (1895 — 1970) — историк литературы и общественной мысли. «Негоциант» — намек на активную научно-организационную и издательскую деятельность Оксмана.

⁵ Верховский Ю. Н. (1878 — 1956) — поэт, переводчик, историк литературы.

⁶ Из поэмы Е. А. Баратынского «Пирь».

⁷ Коленька — Н. К. Гудзий.

<30 ноября 1926 г
Ленинград>

Миленькая!

Читал лекции. От усталости был очень возбужден и говорил с воодушевлением. Потом Евг<ений> Ив<анович> Замятин рассказывал о своей работе над «Блохой» и о формах ее сценического воплощения в Москве и в Петербурге¹. Интересно как самопризнание художника. Напр., он говорил, что при работе почему-то представилась ему виденная на подмосковной станции картина: парень с девкой Машкой ходили обнявшись по площадке и дразнили другого мужичка, призывая его: «Пойдем — обожаться». Так возникает любовная сцена в «Блохе». Много метких словесных наблюдений. Мне пришлось выступать вслед за Бор<исом> М<ихайловичем> Эйхенбаумом. Я говорил о разрыве двух линий в «Блохе». «Левша» остается как образ то в «лесковской» литературной сфере, то вовлекается в круг комедийных масок совсем иного эмоционального тона. Сюжет сломан, и развивается то по литературно-повествовательным, то по драматическим законам. Эпизод с «Блохой» не кажется стержневым, потому что секрет, сделанный в драме из мотива подковывания, утомляет, как «сквозное действие». Бор<ис> Мих<айлович> Энгельгардт отзывается о моей речи хорошо, и сам Замятин был заинтересован и дорогой долго беседовал о «Блохе» и обещался кое-что поправить².

Так смертельно усталым возвратился я к ночи домой.

Сегодня, по-моему, я неожиданно для себя пришел к очень интересным мыслям на лекции по стилистике. Рад этому необыкновенно. Боюсь, что курсистки и студенты не все поняли из моих слов. Но это несущественно. Интерес во всяком случае был большой. Вечером сегодня — акт в Инст<итуте> Ист<ории> Искусств.

В среду и субботу — мои доклады. Так, миленькая, темпом стремительным жизнь бежит. Голова ее опережает и свежа. Ко мне в ученики хочет поступить приехавший Antoine Martel, agrégé de l'Université diplômé de l'École des langues

orientales. Словом, я славлюсь. Но эта сторона жизни не заслоняет мысли о дорогом старце, которого я помню нежно и целую пылко. <...>

Ваш В.

PS. Из далека писем нет.

¹ С докладом «О работе над пьесой „Блоха“» Е. И. Замятин выступал в комитете современной литературы ГИИИ 29 ноября.

² Необработанные записи в связи с этим выступлением сохранились в архиве Виноградова. См. об этом в нашей статье «В. В. Виноградов и теория художественной речи первой трети XX века» («Избранные труды», т. 5, стр. 308 — 309). Также см. комментарий (там же, стр. 330).

<17 января 1927 г.
Ленинград>

Миленьякая, миленьякая!

Хоть денег в кармане нет, но есть надежды их достать. А Кант — философ, «величайшего ума человек»¹, — доказывал, что тридцать талеров воображаемых ничем не отличаются от тридцати талеров в кармане. Исходя из этой философской точки зрения, я пишу письмо — последнее перед отъездом к Вам. Это будет в среду с ускоренным поездом. Сети надежд (материальных) раскинуты по трем направлениям — в сторону Кроленки² (который клялся Ник<олаю> Эрн<естовичу>, что в понедельник постарается мне хоть часть уплатить), в сторону курсов³ и Института. Впрочем, Институт с курсами столкнулся и нанес мне убыток — при содействии Москвы. Приехал сюда Пав<ел> Ник<олаевич> Сакулин — для ревизии Института. И в среду захотел читать у нас доклад «Учение о стилях». Общий голос требует моего присутствия, а у меня именно в это время (от 5 1/2 — 7 ч.) восьмирублевая лекция на курсах иностранных языков. Сакулин обойдется мне дороже Шалапина. Приехал в Петербург и André Mazon⁴. Происходят русско-французские разговоры. У меня — опять подъем делового (пока еще не творческого) возбуждения. 7-го марта — в Университете совместно с другими учеными учреждениями — акт, посвященный юбилею Гоголя. Я должен говорить речь. Тему выбрал: «О художественном «я» в творчестве Гоголя». Но колеблюсь между иными: «Проблема «мертвых душ» в поэтике Гоголя», «Гоголь и французский романтизм», «Гоголь и Достоевский», «О художественной идеологии Гоголя». И вот я — в процессе концентрации головных вагонов у какой-нибудь одной, большой станции.

Миленьякая, ухожу на лекции и за билетом.

Целую нежно, крепко. Ждите меня в четверг утром.

Не изменяйте мне.

Ваш В. В.

Целую еще раз или больше.

¹ Из повести А. П. Чехова «Дуэль» (ср. со сходными репликами из «Вишневого сада»).

² Кроленко А. А. (1889 — 1970) — директор издательства «Academia», где у Виноградова недавно вышла книга «Этюды о стиле Гоголя».

³ Курсы для подготовки специалистов по истории искусств были организованы при ГИИИ в 1922 г. В январе 1927 г. им было присвоено наименование Высшие государственные курсы искусствоведения.

⁴ Мазон Андре (1881 — 1967) — французский славист, профессор Сорбонны.

<4 февраля 1927 г.
Ленинград>

Здравствуйте, здравствуйте, дорогой старчик!

Дни кухонного дежурства (так можно назвать лекционные дни) кончились. Сегодня — четверг. Меня тянет неудержимо к новым книгам и личному творческому напряжению. Горы новых книг нависают над головой. Через них надо подняться на собственную вышку. Это — в научной сфере. А рядом —

романы, которые я поглощаю, по крайней мере, по одному в день. Вчера ночью читал Луи-Жан Фино «Похмелье» (Louis Jean Finot: Le héros voluptueux) — с описанием современной жизни парижских кабачков и кокоток. Область книжного «производства» здесь замыкается. Открываю двери в «жизнь»: Нат<алья> Евг<еньевна>¹ увезена в больницу душевнобольных. Кажется, приступ — не очень сильный. Но Бор<ис> Мих<айлович> грустит — и бьется (по разным направлениям смысла). Я сегодня буду у него: просил прийти для беседы. Кстати, о Натальях: Нат<алья> Эрн<естовна>² тоскует, принимая ежедневно преподавательские ванны с частыми «головомойками». Ваша загадка: «Не сырдысь»... и т. п. уже известна ей была несколько лет, но с вариантом — более авторитетным: «не сыр — чай» (для этого слова необходимо, кроме колбасы, изобразить самовар). Таким образом, эффекта никакого нет. Печально: как все на свете старо! Особенно это заметно в словах «мужественного старика»³, который удостоил меня телефонным разговором. Все его «новости» и новые мысли — из эпохи «до Адама». Мазон довел Щербу почти до смерти: еще несколько шагов... Они обедают вместе ежедневно. Тут нов не факт, а его последствия: Щерба худеет и волнуется.

Вот — главное о знакомых. Можно присоединить лишь беглые силуэты: Бор<ис> Ал<ександрович> Ларин — все время улыбается — от довольства собой: улыбка его портит. Бор<ис> Вас<ильевич> Каз<анский> — посинел, и голова готова оборваться. В таком стиле писал письма своей жене Чехов, когда хотел сообщить ей побольше «объективных данных». Кроме того, он называл ее «собакой». Неизвестно, насколько это имя объективно. Прочитали ли Вы «Черного пуделя» Хиченса?

Я пишу глупо и нелепо, потому что устал от чтения:

Словно лепится сурепица
На обрушенный забор.
Жизни сонная безлепица
Отуманила мой взор.
Словно мальчик, быстро пчелами
Весь облепленный, кричит,
Стонет сердце под уколами
Злых и мелочных обид.⁴

Меня не надо обижать. И чья душа вселилась в Федула?

Из «экономики», по Марксу, мою усталость сегодняшнюю вывести нельзя. Пишу статью для 3-го вып. «Поэтики» — бесплатно. А денег у меня пока вовсе нет. Впрочем, Марье Фил<ипповне> кое-что уплатил. И она терпит. Нет одеклона. А Эрн<ест> Львович предлагает купить «Вопросы философии и психологии»⁵ (за 40 руб.) в рассрочку на четыре месяца. «Что мне делать, чтобы наследовать богатство вечное?» — спрашиваю я Вас. Ответа не будет. Безответность — не безответственность. «Ответствуйте» же мне <...>

Ваш В. В.

Старчик дорогой, дорогой, ждите меня: уже скоро приезд мой к Вам.

¹ Наталья Евгеньевна — Энгельгардт, жена Б. М. Энгельгардта.

² Наталья Эрнестовна — Казанская, жена Б. В. Казанского.

³ Н. С. Лесков, «Левша».

⁴ Стихотворение Федора Сологуба (1889), приводится полностью.

⁵ Философский журнал, выходивший в 1889 — 1918 гг.

<6 февраля 1927 г.
Ленинград>

Дорогая!

Время не поглощает работу, а лишь ее усложняет. И я ращу в себе рой планов, которые из-за отсутствия времени не переходят в строй работ. В этих фразах нет оригинальности, но есть отголоски Белого. Это значит, что я о нем думаю. И из сферы подсознания выплывают образы его стиля¹. <...> Сегодня

обед с Mazon у Эйхенбаума. Бор<ис> Мих<айлович> Энгельгардт будет читать доклад «О кризисе историзма». А во вторник — обед у Щербы <...> Пишется статья «От морфологии и эстетики в науке о речи худ<ожественных> произведений»². <...> В. М. Жирмунский решил сблизиться со мной. И я по зову сильному был у него³.

¹ А. Белый, в частности, упоминается в статье, над которой идет работа в эти дни (см. следующее прим.).

² В печати статья получила другое заглавие: «К построению теории поэтического языка» («Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ». III. Л. 1927).

³ В начале 20-х гг. ученые активно полемизировали. Виноградов считал неудачными схему стилистики Жирмунского, его идеи о классическом и романтическом типе искусства и т. д. Но были и точки сближения — в попытках построить переход от лингвистики через стилистику к поэтике.

<16 февраля 1927 г.

Ленинград>

Миленькая моя!

Как писать о жизни, когда жизнь моя остановилась? Всю ночь и день — до вечера сидел за столом, дописывая статью. Не ходил в Университет на лекции. И вот — к 9 ч. вечера кончил. Отвез к Жирмунскому. Доволен ли? Не знаю. Чувство освобождения светится через туман головной мути. Устал я, и как-то весь организм живет врозь: голова и мысли пыльно плетутся, сердце выбивает набат в груди, все мускулы повисли, как замерзшее белье.

Предо мною — роман Ольги Форш: «Современники». Это — о Гоголе в Италии. Миленькая, очень советую Вам почитать: тогда побеседуем. В нем много острых и важных вопросов о вере и искусстве поднято, но образ Гоголя не удался. <...>

Когда Бор<ис> Мих<айлович> Эйхенбаум знакомился с Эрн<естом> Льв<овичем> Радловым, то его представили так: «Это один из наших maître'ов». На что Эрн<ест> Льв<ович> отвечивал: «Это — не метр, а сантиметр»¹.

Почти ни с кем из знакомых не виделся. Лишь в Инст<итут> на лекции идя, встретил в коридоре Бор<иса> Мих<айловича> Энг<ельгардта> и Щербу, которые просили Вам поклониться. И новостей житейских — нет, а те, что есть, относятся к сфере университетской и институтской политики. Буду теперь заниматься сразу Гоголем, XVIII веком и теорией драматической речи. И читать, читать...

В театрах здесь — тихо. Быть может, <в> воскресенье пойду на утренний спектакль в Алек<сандринский> театр. Идет японская пьеса «Ода Набунаго». Постановка Серг<ея> Радлова.

Целую Вас, дорогая... И ухожу на свое одинокое ложе. Покойной ночи.

Ваш В. В.

Вторник, 2 ч.

Пишите, пишите.

¹ Мэтрами в ГИИИ называли Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова; намек на рост Б. М. Эйхенбаума.

<18 февраля 1927 г.

Ленинград>

Миленькая!

Получил Ваши письма, которыми Вы пользовались как средствами от бессонницы. Я не согласен с Вашим определением «идеальной прозы». Его опровержением является стиль этого Вашего письма. Ведь нельзя считать формами прозы — «простой, чуждой шаблонов и усилий» — такие фразы: «Чувствуешь восторг неизъяснимый (?), приведя ребенка (?) в первый раз (?) в театр»... и т. д. Тут есть выисканность (но не — изысканность).

Впрочем, о стиле я пишу не для того, чтобы его порицать или настаивать на изменении. *Le style c'est l'homme*¹ — гласит одна из банальнейших формул. А мне в Вас ужасно хочется видеть хорошего (в полном и высоком смысле этого слова) человека.

Звонил относительно записки к Мейерхольду Слонимскому. Он — мнется, считая, что в его отсутствие рекомендации мало действительны. Буду в Институте — поговорю с Гвоздевым².

Усиленно работаю над Гоголем. Жизнь отвлекает. Нат<алья> Эрн<естовна> около дома упала. Убилась, потеряла сознание. Повредила руку. Еще неизвестно: перелом или разрыв связок. Лежит и стонет от нестерпимой боли. Я был у Казанских. Нат<алья> Эрн<естовна> на неделю переселяется к Анне Дмитр<иевне>: иначе весь дом — лазарет, так как болен плевритом Эрн<ест> Льв<ович> и инфлюэнцей — Вера Алекс<андровна>³.

Умер ректор нашего Университета, лингвист, ученик Щербы, 35 лет — Всеволод<од> Бронисл<авович> Томашевский. Честный, прямой, беспокойный, со страстью к необычному. Коммунист, наркоман и алкоголик. Но чистоты, убежденности и смелости — редких. Он — ближайший друг Якубинского⁴, через которого и я к нему влекся уважением. Воспаление легких обострило туберкулез, который перешел в горловую чахотку.

На меня смерть его подействовала, как нечаянный тупой удар. Предстоят большие перемены в системе университетского управления. Хорошего ничего ждать не приходится. Ловит рыбу в мутной воде Оксман, подсекает пескарей. Ест уху из Миш<и> Яковлева, на место которого в Университете садится. Вчера был телефонный звонок от Над<ежды> Ник<олаевны> Оппенгейм. Пригласила идти с ней в кино на «Декабристов». Не нравится мне она: смесь трусливой скаредности и блудливо-бессильного кокетства. Но отказаться казалось неприличным, тем более что и жалко ее, и я не хотел обнаруживать подчеркнуто своей тоски. Внутренне сжавшись, ходил в «кино» и проводил домой.

Я переутомился, и как-то живой рост потеряла душа. Хочется работы — большой, глубокой, не для толпы. А — требования со стороны ломают уже начавшие было распускаться побеги. И приходится для речи думать над «Мертвыми душами» и «Перепиской с друзьями» Гоголя. На теме еще не остановился точно. Во вторник надо доклад читать вместе с Бор<исом> Мих<айловичем> Энгельгардтом: «О художественной форме».

И нездоровится мне очень. Болит голова, томит озноб и во всем теле — ломота, как будто всюду натыканы простуженные больные зубы.

Но хочу верить, что все это через день обойдется. Даже не знаю, простуда это или невралгия. Нечто похожее на то, что — помните — было со мной на Рождество, когда острые уколы в бок мешали мне спать.

Целую Вас, дорогой старчик, нежно и бережно. Пишите мне чаще. А то не знаю, что с Вами: было что-то в Ваших письмах ночных — качающееся.

Ваш В. В.

Целую, целую. В четверг утром — воочью.

¹ Стиль — это человек (*франц.*).

² Гвоздев А. А. (1887 — 1939) — театровед, председатель Отдела истории и теории театра ГИИИ.

³ Вера Александровна — Радлова, жена Э. Л. Радлова.

⁴ Якубинский Л. П. (1892 — 1945) — лингвист, теоретик поэтической речи; в это время сотрудник ГИИИ.

<1 марта 1927 г.

Ленинград>

Старец, дорогой мой!

Это — неправда, что я нежно обращаюсь с Вами лишь перед сном и перед отъездом. Сейчас — никуда не еду я. Вращаюсь только вместе с землей — и кабинетом. И сон меня не стережет. А нежности к Вам я полон. Ощущение это подпрыгнуло до рассудка и ударилось в его потолок, когда я узнал, что сегодня — по случаю выборов в Петросовет — лекций в Институте не будет. Зачем же я спешил (горестно подумалось мне), когда можно было выехать в по-

недельник вечером? Но в Москве мне все эти обстоятельства не были известны. Только что ушел от меня норвежец Эрик Фом<ич> Крагг, мой бывший ученик. Он приехал из Норвегии, чтобы жениться. И уже женился. Моя встреча с ним была первой со времени его приезда. «Норвегия гниет», — рассказывал он. Богатые — и контраст нищеты. Средняя трудовая интеллигенция бедствует. Побывав на родине, он потерял вражду к Советской России. Напротив: готов принять коммунизм. Хочет лишь проверить себя, нет ли в нем еще сохранившихся корней религиозного чувства. По-видимому, и их собирается вырвать, как второй, мешающий ряд зубов. Нервный, растерянный, обозленный тем, что в Норвежском Университете не предоставили ему места лектора по русскому яз<ыку> и литературе, — и весь насквозь пропитанный, как ромовый столбик, стремлениями к деньгам и славе.

Без меня, в субботу, была в Исследоват<ельском> Инст<итуте> при Университете большая битва с марксистами по вопросам методологии литературы. Сношения прерваны, но возможны новые бои. И меня с утра зовут телефонные звонки.

Звонила и Нат<алья> Эрн<естовна>. Приехала ее английская подруга. Вчера, воскресенье, у них на soigée толпились друзья и поклонники. «Чувствовалось» (по словам Нат<альи> Эрн<естовны>) мое отсутствие. Вам она шлет приветливый поцелуй. Все — по телефону.

Был перерыв во времени. Приходили две курсистки. Читали мне свой доклад: «Комическое как явление языка». Кроме примеров, все скучно. Но в скучном и плоском изложении есть свой комизм, который зависит от необыкновенной серьезности автора.

Мне сейчас необходимо ехать на курсы, чтобы добыть себе денег. И я кладу перо. Но перед поцелуйными словами хочу излить на старчика вот ЭТОТ БАЛЬЗАМ НЕЖНОСТИ (она сквозит в графике): милый, дорогой головастик.

Ваш В. В.

PS. Не посоветуете ли Вы Вал<ентину> Серг<еевичу>¹ для большей авторитетности в кинорассуждениях и кинопостановках почитать некоторые книжки по теории кино (изд<ательство> Инст<итута> Ист<ории> Искусств «Academia»).

Целую Вас нежно.

В. В.

Чтобы не сердилась Над<ежда> Леон<идовна>, ей — привет. Как она с Вами обходится?

¹ В. С. Смышляев (см. прим. 1 к письму от 15 или 19 ноября 1925 г.).

<2 марта 1927 г.
Ленинград>

Здравствуйтесь, миленькие малютки, мои крошки!

Как странно (больше того: убийственно), что нет слов свободных: литература прикрепила даже те слова, с которыми я обратился к Вам, к определенным образам. Так говорил Чичиков, обещая привести гостинец Алкиду и Фемистоклосу, детям Манилова (только вместо «здравствуйтесь» — он сказал: «прощайтесь»).

Жизнь состоит из занятий. И когда спешишь, ощущение — быстрого мелькания кинокартины с обрывами. Болит голова. На улице — весна, а у меня зеленеет лицо от бессонницы. Бессонница — вынужденная: тороплюсь приготовить доклад о Гоголе. Но уже лихорадка начинает надоедать. Возможно, что я откажусь от речи (тем более что есть еще двое ораторов — Гизетти¹ и Слонимский).

Был у Радловых. Нат<алья> Эрн<естовна> устраивает руке ванны в 40°. Но полна благодущия и восторгов. Мэри Карл<овна> (англичанка) чирикает, как пожилой воробушек. Эрн<ест> Львович «шалит», издавая ложный свист. К нему к постели собираются для развлечения все «дети» с женами и своими детьми. Дети детей дерутся. Маруся возмещает побоями лишние порции люб-

ви, которые идут со стороны Бор<иса> Вас<ильевича> и Нат<альи> Игн<атьевны> на долю Тани².

Вчера читал 6 лекций в Университете. Слушателей — много. И мне оказывается много нежности. Но устал я так, что в трамвае — по дороге к дому — закружилась голова. И лишь ехавший со мной проф<ессор> Алявдин предохранил меня от обморока.

Сегодня — среда. Звонила Нат<алья> Як<овлевна> Ларина³. Болен гриппом Бор<ис> Ал<ександрович>.

Вот и все житейские дела.

Я же поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это — не лицо «реального», житейского Толстого, Достоевского, Гоголя. Это — своеобразный «актерский» лик писателя. В каждой яркой индивидуальности образ писателя принимает индивидуальные очертания, и все же его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстетико-метафизическими воззрениями. Они могут быть не осознаны (при отсутствии у писателя большой интеллектуальной и художественной культуры), но должны непременно быть (т. е. существовать). Весь вопрос в том, как этот образ писателя реконструировать на основании его произведений. Всякие биографические сведения я решительно отмечаю.

Весь этот клубок сложных и запутанных вопросов мне хотелось бы размотать в речи о Гоголе. Но последнее время я все больше и больше убеждаюсь в отсутствии у меня надлежащей подготовки к всестороннему и исчерпывающему решению тех вопросов, которые меня занимают. Это и грустно и заманчиво, так как напрягает волю к ученью. Застоя не будет еще долго, но сил и полета — меньше, чем предполагал покойный Шахматов⁴. Это говорю откровенно и без рисовки, но с горечью.

Целую нежно. Пишите мне чаще, дорогой старчик.

Ваш В. В.

PS. Нежность в этом письме запечатлена в скрытой форме.

Однако — есть.

¹ Гизетти Е. О. — сотрудник Отдела изобразительных искусств ГИИИ.

² Маруся и Таня — дети Б. В. Казанского.

³ Наталья Яковлевна — жена Б. А. Ларина.

⁴ Шахматов А. А. (1864 — 1920) — академик, лингвист, учитель Виноградова, высоко ценивший своего ученика. См. его отзыв: Робинсон М. А., «Документы из архива А. А. Шахматова (А. А. Шахматов и В. В. Виноградов)» (в сб.: «Московский историко-архивный ин-т. Материалы научной студенческой конференции». Вып. II. М. 1970, стр. 57—58).

<5 марта 1927 г.

Ленинград>

Миленья!

Получил Ваше письмо с реликвиями грусти. Не надо грустить. И думать о разлуке со мною. Отрицаю все подготовки и заготовки. Из себя ничего не вымучиваю. Я — такой, как чувствую. Настроения меняются у меня только от жажды подлинной любви. И Вам в себя вбивать гвозди неврастенических теорий — нельзя: это — преступно и по отношению к себе и ко мне. Недостатка сил в себе не ощущаю. Больше, чем когда-нибудь, я полон всякими проектами новых построений и мечтами. Я найду себе в жизни тот путь, к какому предназначен. И для него мне, конечно, необходимо и расширение личного опыта. Воспринимать тонко веяния мировой культуры в области науки и искусства можно, лишь пройдя через сложные эмоции личной жизни.

И временно — надо дальше от славы. Оградить себя от выступлений перед толпой — теперь моя цель. Шаг один к ней сделал: я написал речь о художественном образе писателя в творчестве Гоголя. Не спал, болел работой физически. Но говорить ее не буду. Впрочем, этому мешает и научная шепетильность, гордость: две немецкие работы недавно вышли по вопросу о «писателе» как образе, определяющем композицию словесного творчества. До меня они еще не дошли. Но не хочу читать речь, не узнав, нет ли совпадений. А о работах я узнал из немецких журналов. Это о науке. Вот о жизни: в Батуме люди

любят кошек. Об этом можете прочитать из прилагаемой корреспонденции. Акакий Акакиевич будет теперь ходить в старой шинели без воротника. Впрочем, и не надо: настала весна и грязь. Небо плачет по зимней чистоте.

Старчик дорогой, поднимите дух, душу и тело. Чулков¹ и Яков Бёме² так велят. <...>

Пятница — вечер, десятый час. Я пишу письмо Вам и ловлю за хвост мысли. Мне кажется, что под тусклой и грязной поверхностью жизни течет чистая вода. Минутами (это трудно выразить простыми словами) я переживаю процесс погружения в глубину. Свежие, прозрачные струи тогда охватывают меня, и сквозь них я радостно вижу ключевой хрусталь.

А в искусстве важнее всего — форма. Но сила гения — в преодолении трудностей оформления. Музыка слов (не в звуках, а интонации и ритме) враждебна «идейной» густоте. Сочетать их — проблема формы. Структура образа, сотканного из противоречивых эмоций и действий, — тоже объект оформления. И многое другое. Художественное произведение открывается рядом форм, но эти же формы — выступают как материал для более сложных формальных элементов целого и т. д. Так пейзаж — форма, но он же — часто материал для оформления эмоций героя. А «содержание» — это лишь «психический результат» восприятия произведения искусства. И он абсолютно не выразим словом. Ибо выражение его в слове есть уже индивидуальное оформление.

Милый, милый, скорбный старчик.

Блаженны плачущие, так как они утешатся. Целую нежно. Жду писем. Если очень захотите меня видеть немедленно, дайте телеграмму.

Ваш В. В.

Не удивляйтесь патетике: я мало сплю, много работаю, читаю, пишу и — бодр, и — нежен.

¹ Чулков Г. И. (1879 — 1939) — писатель, поэт-символист.

² Бёме Яков (1575 — 1624) — немецкий философ.

<11 марта 1927 г.
Ленинград>

Душеньки мои дорогие!

Смутно на душе было вчера. И голова — в жару. И не хочу я, чтобы Вы «отчаивались». Старчик, Вы мне дороги так, что я готов иногда видеть в Вас часть самого себя. Я медленно привязываюсь, редко кого к себе подпускаю близко. Но если это случилось, бывает глубоко. Прошу Вас (и Вы к этой просьбе склонялись): тянитесь ко мне, а не в стороны. Я думал о Вас и решил, что, устроив Зин<аиду> Леон<овну>¹, я делаю это для Вас. Я нашел ей место рядом с своим, перевел ее в свое купе, занимал разговорами, устроил постель. И она заснула. Утром более спокойно отнеслась к новой обстановке и своему путешествию. В Петербурге — солнце. День — голубой и золотистый — по серебряному полю. Я принял ванну. Пишу письмо и брожу одиноко по комнатам.

Звонил Бор<ис> Ал<ександрович> Ларин. Он, как Эдип, слеп, потому что глаза завязаны. Рассказывал об арестах, пугал. Писать в этой плоскости дальше невозможно. И в Университете — смута. Сейчас еду туда за деньгами. Завтра выходят в свет наши сборники: «Русская речь».

Параллельно с письмом — в перерывы для разговоров по телефону — цепь домашних дел тяну. Прислали мне книги из Франции, среди них — новые переводы Льва Толстого. Вот все, что к внешней форме жизни моей относится за этот промежуток в 13 часов. А «внутренности» мои, душенька, к Вам влекутся. Милый, плаксивый и заплаканный старец! Целую Вас крепко <...>

Для подозрительных глаз моя нежность к Вам — вымученна. Для меня она сейчас — живая интонация речи.

Будьте добры ко мне.

Ваш В. В.

¹ Зинаида Леоновна — Румянцева, певица, актриса оперной студии К. С. Станиславского, приятельница Н. М. Малышевой.

<16 марта 1927 г.
Ленинград>

Душеньки мои родные!

Было два дня нескончаемой работы. Лекции, доклады... В промежутках между ними и по ночам читал новые номера психиатрических журналов. Очень красиво описание лилового негра, который являлся одной больной и уверял ее: «Я никогда не вру, кроме тех случаев, когда я вру». И трогательны изображения мук больного, который «не поспевал за мыслями». Я тоже не поспеваю за мыслями. Был в Институте на просмотре чтения литомонтажа «Петербург» Яхонтовым¹. Попурри из Гоголя, Пушкина и Достоевского. Тонкое понимание слова, условный, не всегда оправданный символизм жеста (привитый Яхонтову учеником Вахтангова — Владимирским², который и является постановщиком), гипертрофия «игры», особенно с вещами. Менее крепко, чем его же чтение «Пушкина», но более экспериментально и изысканно (с примесью безвкусицы). Встретил поэта Тихонова, который в восторге от Чехова³ — Фрезера. Говорил, что все остальные пропадают. Впрочем, по моему предложению, выделил негритенка. А Яхонтов — в волнении от Чехова в «Деле», считая всю постановку необыкновенно любопытной. Миленская, сходим, пожалуйста!

На моем докладе (и Бор<иса> Мих<айловича> Энгельгардта) коммунист-критик Горбачев⁴, возражая, говорил, что художественная ценность писателя определяется только его «пролетарским» (в широком смысле слова) весом, так же как ум — весом мозга.

Я не согласился и сказал, что почти всегда и не взвешивая можно узнать «тяжелую» голову.

Зин<аида> Леон<овна> мне звонила дважды. Вы ее уже видели, конечно. И она, быть может, передала Вам мой привет и мои слова. Но я их повторяю: меня просит наш Отдел Инст<итута> взять на себя некоторые поручения в Москву. Для этого я должен быть там во вторник утром. Кроме того, к юбилею, который начнется с воскресенья (юбилей-то, оказывается, пятнадцатилетний)⁵ — 27-го, — я должен вернуться в Ленинград. Таким образом, я могу приехать в Москву во вторник утром и должен буду уехать в пятницу или субботу. Удобнее было бы лекции с субботы перенести на другой день, хоть на среду, на пятницу. Позвоните об этом Колечке, чтобы он сообщил студентам. Кроме того, напишите, как Вы сами смотрите на мой ускоренный приезд, не помешает ли он Вашим занятиям. Но я сам буду занят изготовлением речи для торжественного заседания Института. И Вас от работы не оторву. Целую Вас нежно, дорогой старчик мой! Я не считаю себя «чуждым» в обращении с Вами (это Вы преувеличиваете мою «высоту»). Но я полон к Вам настоящей теплоты, и сами муки мои — от хороших чувств к Вам.

Ваш В. В.

¹ Яхонтов В. Н. (1899 — 1945) — тещ, создатель многих эстрадных литературных композиций.

² Владимирский С. И. — актер Театра имени Вахтангова.

³ Чехов М. А. (1891 — 1955) — актер и режиссер; речь идет о ролях Фрезера в «Потопе» Г. Бергера и Муромского в пьесе «Дело» А. В. Сухова-Кобылина.

⁴ Горбачев Г. Е. (1897 — 1938).

⁵ ГИИИ был основан в 1912 г. графом В. П. Zubовым в виде частных курсов по истории искусств; уставом 1916 г. Курсы были признаны высшим учебным заведением.

<28 марта 1927 г.
Ленинград>

Старчик, мой дорогой!

Мир — трагическое образование. В поезде этого я не мог почувствовать под влиянием той мягкой ваты, которая погружала мои мысли в душеньку. Но в Петербурге — впечатления обострились. У себя на столе я нашел повестку, призывающую меня в Народ<ный> суд по делу телефонной сети. Это напом-

нило: год тому назад телефонная барышня возмущалась тем, что у меня по утрам до 12 час. снята бывала трубка. В целях наказания послала монтера, который пришел и ушел. А я получал, как расплату за эти визиты, приглашения внести в банк по 2 руб. Я негодовал, но не платил. Теперь сам получаю плату за это. С пенями это может обойтись в 50 и больше рублей. Бедный, бедный я! И суд во вторник должен быть. Когда же речь писать?

Не успел я опомниться от трагических ощущений, вызванных повесткой, — звонок по телефону. Бор<ис> Ал<ександрович> Ларин говорит. Нат<алья> Яковл<евна> — опрокинула на себя кипящее молоко, обварила руки, лежит в температуре 39°. Сам он — скорбен глазами. Опять начался воспалительный процесс. Зовет навестить и развлечь от тяжелых дум.

Затем — визиты учеников и знакомых. Был Юл<ий> Гр<игорьевич> Оксман — с предложением статью дать в «Атеней»¹ (журнал такой историко-литературный предполагается). О Пильняке, имажинизме, об образе и движении в литературе — вот круг мыслей, который я показал Оксману. Он остался доволен. Отдал лорнетку для Ант<онины> Петр<овны>², которая телефонно выразила свою благодарность. Я принужден был на минуту зайти к ним и выслушать воочью Вам приветствия и благодарности.

Так день бежит к вечеру. А сейчас я готовлюсь идти в Институт на торжественное заседание и банкет.

Старчик дорогой, в области внешних форм этим описанием все исчерпывается. А внутри — нервный подъем. Завтра, в один день, я должен замкнуть свою статью в какое-то единство. Но в голове — скачки мыслей. Несется и крутится пыль, и тускнеют, ей покрываясь, слова — когда-то казавшиеся ясными и обдуманнами. В отчаянье прийти можно. Но я соберу силы, так как должен.

Целую Вас крепко, родная моя.

Скучно мне без Вас, хотя Вы меня и обижаете.

Еще раз целую.

Ваш В. В.

После вторника напишу еще.

Пишите чаще.

¹ «Атеней» — историко-литературный сборник (I — III. Л. 1926).

² Антонина Петровна — Оксман (1893 — 1984), жена Ю. Г. Оксмана.

<30 марта 1927 г.
Ленинград>

Старчик милый!

Нет писем от Вас, и я начинаю беспокоиться. Вчера читал доклад¹ на торжественном заседании. Я нездоров последние дни. Был грустен и, по отзывам, «трогателен». Подъема не было — тихо, но отчетливо читал. Аплодисментов — много. Но у меня лично составилось впечатление, что мой доклад для большинства из той (в несколько сотен) публики, которая переполняла зал (пришлось прекратить пропуск, и часть не попала), был тяжеловесен и труден для понимания. Встретил там и Над<ежду> Ник<олаевну> Оппенгейм. Доклады Эйхенбаума и Тынянова — мне не понравились². Очень общи, но с претензиями. Во всяком случае, вчера было чествование нас, «формалистов», со стороны интеллигенции. Вчера же я был на суде, где доказывал, что, платя деньги за телефон, имею право — держать трубку его в любом положении. Судья внял логике. Я согласился уплатить лишь за сохраненные провода (6 руб.). Таким образом, я не обеднел.

Болит голова. Жар — у меня. Это — от отсутствия подметок. Ник<олай> Эрн<естович> тоже лежит. Быть может, я от него заразился.

Воскресенье — адреса, поздравления — и банкет. Я должен был пить и говорить какие-то тосты. Жирмунский меня осаждал предложением брудершафта. Я выпил — и теперь жалею. Как же я буду ему говорить — «ты»? А он уже вчера меня корил, что я не выражаю так, и сам демонстративно меня «тыкал»³.

На банкете было шумно,людно. Танцевали. Были все Радловы, какие-то дяди из Москвы, цвет музыкантов, режиссеров, театралов и т. п. Я вернулся — вместе с Сологубом.

Дорогой мой старчик, не забывайте меня — мне нездоровится к тому же. Я сижу у печки (Марья Фил<ипповна> в долг дров дала) и читаю роман Вас-сермана: «Маски Эрвина Райнера». Написан под несомненным влиянием «Бесов» Достоевского. И Райнер — это Ставрогин в пору его аристократической жизни. Но героиня Виргиния (как уже имя показывает: virgo — девственница) — остается до конца — при всем смятении — чистой и выходит победительницей. Кое-что технически любопытно. Вам этот роман понравился бы той атмосферой пылкого и красивого изящества, живописного искусства, которая в нем обвеваает все персонажи.

Сегодня — среда. Я вечером должен читать лекцию на курсах иностранных языков. А за окнами белеет снег. И опять повеяло буруном. И так не хочется выходить из дому. И скучно и неуютно как-то.

Старичок мой, любите меня, а то я от простуды и бессонницы в скорбь и отчаяние впадаю. Целую Вас нежно, дорогая моя, и прошу не сердиться на меня за московские «фокусы».

Ваш В. В.

¹ Тема — «Лингвистика и теория литературы».

² Тема доклада Б. М. Эйхенбаума — «О литературном быте», Ю. Н. Тынянова — «Литературная эволюция».

³ В. М. Жирмунский был одним из немногих, с кем Виноградов был на «ты». Как можно видеть из писем, с женой он был на «Вы»; так было до конца его жизни.

<1 апреля 1927 г.
Ленинград>

Дорогой старчик!

Все в жизни остановилось. Это мое впечатление объясняется тем, что я вот уже два дня сижу дома безвыходно. В среду вечером и вчера, в четверг, запылал жар. Сегодня чувствую себя хорошо. Лишь болит горло. В общем, грипп кончается. Нестерпимо кружилась голова вчера, все тело холодело и билось в каких-то конвульсиях. Но я не ложился. Сегодня — голова свежая. Работаю. Решил до завтра не выходить. Меня навестили в среду Ларин, Верховский и Долинин. Старик — в восторге от «задушевной» беседы. Вчера с беспокойством звонил мне и растроганно называл милым. Говорили о жизни, науке, поэзии, о материализме и счастье. Все ополчились на меня за то, что я стал «модным», «известным». Говорили, что мне лучше бы года на два — уйти из мира в сосредоточенную, одинокую работу. «Мода» улеглась бы, и внутренняя свобода окрепла бы. В этом «гниое» есть часть правды. Я иду слишком «широким», «видным» путем. Но не хочу участи Эйхенбаума. В Университете идет глухая борьба. Щерба отводится от лингвистики и приковывается к экспериментальной фонетике. Про себя ничего не знаю. Но, кажется, гром должен грянуть лишь осенью. Бор<ис> Мих<айлович> — болен. Это — ужасно. И Нат<алья> Евг<еньевна> не поправляется. И я не могу с ним пока увидаться и быть ему полезным.

Нат<алья> Эрн<естовна> обнаруживает живое беспокойство к моему состоянию, развлекает разговорами по телефону и собирается навестить. Бор<ис> Вас<ильевич> стремится расположить меня в сторону Тынянова и примирить.

Общее отношение ко мне вдруг опять достигло апогея ласковости и поклонения. Оно, между прочим, сказывается и в количестве телефонных звонков с соболезнованиями о моем нездоровье, и в количестве визитов, иногда без всякой деловой мотивировки.

Выходит 3 сб. «Поэтики» — <с> моей статьей¹. Хочется приняться за большую, чисто лингвистическую работу о русско-французских языковых отношениях в XVIII — нач<але> XIX в. Не сомневаюсь и имею доказательства, что пушкинская проза дает яркие отражения французского языкового строя.

И сейчас я читаю, главным образом, писателей XVIII в. В них есть своеобразная витиеватая прелесть. А остроумия такого в позднейшей русской литературе не встретить. Куда же девался тот esprit, который так ярок в XVIII в. и которого сейчас ни в литературе, ни в жизни почти не находишь?

Скучаю по Вас, миленькая. И скучаю по письмам от Вас. Не забывайте. Целую Вас нежно.

Ваш В. В.

¹ «К построению теории поэтического языка».

<23 апреля 1927 г.
Ленинград>

Дорогая моя!

Петербург залит солнцем и теплом. И было все необычно: толпы юных лиц — около вербы, карусель... Я приехал будто на праздник в какой-то северный европейский городок. Но это ощущение ехало со мной на трамвае до дома. А на квартире оно уступило место чувству смущающей неожиданности. Я имел возможность лишний раз убедиться в том, что я — человек исторический. История (какая-нибудь) меня все время подстерегает. В ряду писем меня ждало извещение из банка, что в него поступил мой вексель на сумму 160 руб. и что я должен по нему немедленно уплатить. Сначала я готов был всему поверить. Вы можете себе представить, как печально вытянулись мои мечты о летнем пальто. Но затем меня взяло раздумье: за кого же я буду платить? Конечно, возможно, что я поручился за кого-нибудь (ведь я сам ни с кого таких денег не получал). Но возможно, что у меня есть двойник, который живет не по средствам. И я без промедления отправился в банк за справками. Оказалось, что эти деньги следует получить с директора — инженера какой-то фабрики. Итак, все — благополучно, и мое благополучие — в ожидании получения благ — сохраняется неизменно.

Звонил мне Бор<ис> Вас<ильевич>. Вам — приветы. Он и Ник<олай> Эр<нестович> едут в санаторию в Царское Село как субъекты, подозрительные — по туберкулезу. Влад<имир> Степ<анович>¹ разыгрывает Есенина на гармошке. А Вам — кланяется.

Эрик Крагт суетится около стола и нервно трясет головой. Это значит, что он готовится есть и не знает, начать ли ему без меня или подождать. Но я еще хочу мысленно вызвать старческий образ, обнять его и нежно расцеловать. И потом <...> мне предстоит бегло прогнать перед собою листы книг, в которых есть материал для лекций, и ехать в Институт на пятичасовое мучение.

Находят встречные, что от исхудалости у меня лишь глаза остались на лице. Я про себя добавляю: и нос. А все-таки необходимо немного располнеть. Поэтому я от письма перехожу к еде. Целую, целую, дорогой мой старчик. Жду от Вас писем и хочу, чтобы Вы помнили о мне неуклонно.

Ваш В. В.

¹ Чернявский В. С. (см. прим. 1 к письму от 28 мая 1926 г.).

<19 апреля 1934 г.
Ст. Моховые Горы>

Дорогая Надюша!

Еду в Вятку. Горьковское ППОГПУ¹ дало мне удостоверение, что я направлен туда. Но я как-то боюсь всяких неожиданностей, хотя и не верю в них.

Разница между полноправным гражданином и ссыльным та же, что в грамматике между действительным и страдательным залогом (скажите Лое², что такие залого существуют — он сомневался). Я направлен, привезен, послан и т. п. — вот как я стараюсь мыслить. Но мне было бы очень тяжело, если бы вместо Вятки я оказался в каком-нибудь мелком городке. Тогда прощай моя научная работа, прощай словарь!³ Работа — для меня теперь глав-

ное. Вот мой план на два года. Кроме словаря, я должен написать (если будут хоть сколько-нибудь) сносные условия для научной работы) 4 книги:

1. О пушкинской манере повествования (Стиль «Пиковой дамы»). Кстати: рукописи моей работы о «Пиковой даме» со мною нет. Вероятно, она осталась дома? Напишите. Мне она скоро будет нужна. Надеюсь, что она — в полной сохранности. В месяц-полтора я надеюсь закончить эту <...>* книжку. Хочу предложить ее <...>* издат<ельству> писателей⁴.

2. Стиль Пушкина. Эту книгу труднее всего будет писать в провинциальных условиях.

3. Лексика и фразеология совр<еменного> лит<ературного> русск<ого> яз<ыка>.

4. Грамматика русского языка.

Но это — мечты. А жизнь — вот такая. Чувствую себя неважно. Нервы, голова и сердце — больны. По-видимому, я приобрел порок сердца⁵. Но я усилиями воли и разума привожу себя в порядок. И с радостью примусь за работу. Поэтому попросите Н. Л. Мещерякова и Д. Н. Ушакова, чтобы они поскорее выслали мне словарные материалы⁶ по адресу Городск<ого> Отд<ела> ОПГУ. Вятка. Это будет сохраннее.

Немного я обеспокоен и материальной, финансовой стороной нашей будущей жизни. Правда, и Учгиз, и «Academia», и «Лит<ературное> Наследство» мне должны — и довольно много. Все же мне необходимо в ближайшее время заключить новый договор. Кстати, узнайте в издат<ельстве> «Academia», согласны ли они поручить мне издание «Записок Г.» <нрзб>, как уговаривались раньше?

Чемоданы, как они ни заманчивы, сейчас служат мне тяжелой обузой. Я их влачу за собой, как оковы (пушкинский стиль!). Как-то встретит меня Вятка? Если я буду оставлен там, как и какую комнату найду я? Все это беспокоит.

К Вам чувствую большую нежность. Спасибо за Ваши заботы обо мне. Из составленного Вами реестра были исключены бритвы (т. е. ножи для бритья). Конфеты и печенье были единственной отрадой моего сидения в Горьковской тюрьме. В сущности, только сутки прошли, как я на свободе. А во мне не исчезает ощущение какого-то мучительного томления и внутреннего недовольства. Надежда — на время. Мне нужно произвести над собой большую и сложную работу. Кстати: вот и пробный камень для меня. Если я действительно, как ученый, далек от середины по направлению к величию, то я сумею преодолеть все препятствия и все неудобства работы «в глуши, во мраке заточенья»⁷ (опять Пушкин! Это — не я!). А если нет, туда мне и дорога, т. е. утраты для человечества нет, как меня убеждал В. П. Горбунов⁸.

Жизненный опыт мой очень углубился и расширился. Я стал кроток и молчалив. Думаю, что из меня выйдут остатки телячества (если можно сочинить такое слово) — и (сказал бы Гоголь Н. В.) бабья (Гоголь употреблял это слово в отвлеченном смысле, как обозначение свойства).

Целую Вас крепко. Мечтаю увидеть Вас и обнять. Марок на станции нет. Придется Вам разориться на 40 коп. Я в Ванином кожане имею вид делового путешественника.

Передайте привет всем моим родным. Просьба: я читал, что вышли новые издания Дельвига, Рыльева⁹. Купите, пожалуйста. Если не очень дорого, хотел бы я иметь также сборник статей, посвященный Марру. Но это — прихоти. Вы себя-то питайте и держите в сохранности. Не скупитесь. Вы — теперь мой казначей. Кстати, соберите зарплату с Институтков. Словарн<ое> Издат<ельство> должно мне заплатить рубл<ей> 400. Сберкнижка — на отд<еление>, находящееся на Кропотк<инской> площади. Д. Н. Ушаков должен знать. Привет ему! Целую крепко, крепко и мечтаю о встрече.

Ваш В. В.

¹ Через несколько дней после вынесения приговора Виноградов был отправлен со спецконвоем и предписанием транспортировку производить «изолированно от других арестованных» в Горьковскую пересыльную тюрьму, где провел шесть дней в одиночной камере. «Грустнее этих шести дней трудно себе что-нибудь представить», — писал он жене в от-

* Оборвано несколько букв.

крытке из Горького 18 апреля 1934 г. — Разве что-н<ибудь> вроде предшествующего месяца». Но уже в этом первом письме он торопит: «Поскорее пусть шлют мне словарные материалы». На место ссылки он следовал без конвоя. На станции Моховые Горы несколько часов ждал поезда.

² Лоя Я В. (1896 — 1969) — языковед; с ним Виноградов полемизировал в книге «Русский язык».

³ См. прим. 6

⁴ Над этой книгой Виноградов работал в 1933 — начале 1934 г., в том числе на Лубянке и в Горьковской пересыльной тюрьме. По поводу ее издания автор вел переговоры с издательствами «Мир» (письмо А. Б. Дерману 22 апреля 1934 г. — РГАЛИ, ф. 597, оп. 1, ед. хр. 458) и «Academia». В сокращении в виде статьи работа вышла в издании: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». М. — Л. Изд. АН СССР. Вып. 2. 1936, стр. 74 — 147. Не вышедшие разделы, вероятно, составили раздел о «Пиковой даме» в книге «Стиль Пушкина» (1941). См. об этом: «Избранные труды», т. 5, стр. 344 (комментарий).

⁵ 29 марта заведующий амбулаторными изоляторами ОГПУ при осмотре Виноградова в изоляторе Лубянской тюрьмы дал заключение: «Учащенное сердцебиение. Красный кожный дермографизм. Сухожильные рефлексы повышены. Диагноз: неврастения» («Дело № Р28879», т. 10, л. 142).

⁶ Виноградов был одним из основных составителей Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, тт. I — IV (М. 1935 — 1940). Н. Л. Мещеряков осуществлял организационное руководство изданием.

⁷ Из стихотворения «Я помню чудное мгновенье...».

⁸ Следователь на Лубянке.

⁹ Дельвиг А. Полное собрание стихотворений. Редакция и примечания Б. Томашевского. Вступительные статьи Б. Томашевского и И. Виноградова. Л. 1934 (Б-ка поэта. Большая серия); Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Редакция и примечания Ю. Г. Оксмана. Вступительная статья В. Гофмана. Л. 1934 (Б-ка поэта. Большая серия); Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. Редакция, вступительная статья и примечания А. Г. Цейтлина. М. — Л. 1934

<20 апреля 1934 г.

Вятка>¹

Дорогая Надюша!

Вы знаете, что я — в Вятке и что я нашел комнату и поселился в ней. Адрес: Вятка. Улица Карла Маркса. Дом 136 (Широкова и Дубровина), кв. 1. Я буду очень рад, если Вы хоть на короткое время приедете ко мне. Езды от Москвы — около 900 километров. Билет с плацкартой стоит около 43 руб. Но для первого раза не надо жалеть 100 руб. Ведь мне нужны Вы и рукописи («Пиковой дамы», «Стиля Пушкина» и «Лексики и фразеологии») лит<ературного> яз<ыка>. И я буду работать, как вол и осел (вместе). Скажите Ушакову, чтобы немедленно выслал словарные материалы.

Но сначала поговорим о самом будничном. Сегодня я раскладывался, разбираю чемоданы и видел всюду следы Ваших забот обо мне. Тронут был почти до слез. Вы знаете: я иногда плачу. Нервы и голова, а может быть, и глаза... Ссылочного же бытия моего — 1000 дней. Вятка — город неприветливый и холодный. Ветер и зима господствуют здесь до мая. Люди вятские меня мало интересуют. По-видимому, только на хозяев моих (он — железнодорожный токарь, она — домашняя портниха) я произвел благоприятное впечатление унылым видом своим. Не знаю, какие из этого сделают они выводы. В моей комнате — много цветов, стены — без обоев, из свежего леса. Все это очень мило. Даже хочется украсить чем-н<ибудь> (комиссионные магазины, хоть и дрянные, в Вятке есть). Я видел красивую дрезденскую чашечку (зеленую, с золотым геометрическим рисунком и с амурами севрского типа на доннышке) и блюдечко (25 руб.). Но все это не для меня. Я — ссыльный, жизнь моя — дорогая (боюсь, на 250 руб. не проживу), а работа моя — затрудненная. Неужели я — человек с трудоспособностью в 2 1/2, вола — не сумею заработать 400 — 500 руб. в месяц? Мне хочется, чтобы и Ваша жизнь не менялась (не говорю о поездках ко мне, если только Вы меня не бросите). Хозяйка мне согласна готовить. Поэтому крупя московская может найти здесь хорошее применение. Молоко в Вятке недорого (4 рубля — четверть). И я сделаюсь молочником. В Вятке нет сахара, очень дороги сласти. Цены: пуд картошки — 15 руб., кило мяса — 10 руб., масло русское — кило 30 руб. и т. п. Много обуви, детских игрушек и разрисованных ларцов.

В библиотеках я еще не был. Пойду завтра. Мне необходима «Шагреновая кожа» Бальзака по-русски или по-французски (для «Пиковой дамы»). Сегодня я весь промок и впервые за 2 1/2 месяца ошущаю слабое подобие своего домашнего угла (надел туфли, сижу за столом в своей комнате и пишу пером). Ваше продовольственное снаряжение питает меня вот уже 10 дней. Печенью и конфетам я задал таску еще в Горьком. Но икра и колбаса живут и поныне.

Халат меня смущает: я в нем буду пугать хозяев. Жалею, что я вернул Вам через ОГПУ пижаму. Кстати: в изоляторе было в стирке мое белье (полотенце, рубашка и носки). Возьмите его.

Дорогая моя половинка, забот Вам много. Вот — и финансовые: постарайтесь получить всю причитающуюся мне зарплату из всех Институтов (Бубновского, вечернего и областного). Кроме того, узнайте, найдя сберкнижку из кассы, что на Кропоткинской площади, не перевела ли мне денег Энциклопедия (она должна была: поговорите с Ушаковым). Брали ли Вы деньги из сберкасс, что на Кузнецкого (из УЧГИЗа)? И дают ли там по книжке Вам? Пусть шлют мне сюда, в Вятку, по адресу моей новой квартиры, корректуры из УЧГИЗа и из «Academia»². Как я был бы рад, если бы «Academia» взяла у меня новую книгу: «О пушкинской манере повествования (стиль «Пиковой дамы»)». Размер — 9 листов. Мне кажется, что в Вятке мне будет очень трудно заниматься словарем (где — материалы и пособия? — а от Москвы далеко). Тогда я (кончив «Пиковую даму») засяду за книгу, посвященную вопросам лексики и фразеологии совр<еменного> лит<ературного> языка. Я сегодня же примусь за работу: она меня выпрямит³. Нельзя ли мне заказать по вятскому адресу на май «Известия» и «Литерат<урную> газету»? Газеты мне нужны и для самообразования, и для курса соврем<енного> лит<ературного> языка. Я бы прибавил и «Правду», да боюсь (хотя денег — всего 10 руб.).

Да, позабыл поблагодарить Вас за костюм: он очень хорош. Но все благодарности я надеюсь принести Вам лично. Только имейте в виду: пальто надевайте зимнее (если скоро соберетесь приехать). Одиночество меня томит. Но я держу себя в ежовых рукавицах. Помните, как Гринев в «Капитанской дочке» объяснял немцу-генералу, что такое «держаться в ежовых рукавицах» («это значит... обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли...»). Целую Вас крепко и бесчисленно. Привет всем братьям и сестрам. Напишите мне поскорей. А то я полон беспокойства о Вас. Поблагодарите от моего имени всех, кто меня жалел и кто заботился обо мне (Жолтовских⁴, Берту Альб<ертовну>⁵ и других). Будьте здоровы и бодры. Писать Вам буду часто, хоть это будет и однообразно. Хочу Вас увидеть и обнять. Как комната? Мои книги? Фарфоровые чашечки? Напишите письмишко спешно.

¹ Второе письмо из Вятки. В предшествовавшей ему открытке от 19 апреля Виноградов писал: «Я — в Вятке. Являлся в ОГПУ. Принят дружелюбно. <...> Город — северная деревня, с прямыми глистообразными улицами. Говорят, комнату найти почти невозможно. <...> Встретил одного как бы знакомого доцента здешнего. Но был встречен им недружелюбно и советов квартирных не получил. <...> Настроение у меня плохое. Одиночество томит. И от работы отделяет еще много препятствий (главное — комната)».

² Корректуры книг: «Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. Пособие для высших педагогических учебных заведений». М. Учпедгиз. 1934; «Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка». М. — Л. «Academia». 1935.

³ Реминисценция из рассказа Г. И. Успенского «Выпрямила».

⁴ Семья академика архитектуры И. В. Жолтовского (1867 — 1959), с которой Виноградовы связывала многолетняя дружба.

⁵ Берта Альбертовна — Лясс, певица, участвовавшая в концертах с Н. М. Малышевой.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. БОРОВИКОВ

*

В РУССКОМ ЖАНРЕ

Судьба Москвы и москвичей в последние времена напоминает дворянскую усадьбу и хозяев ее, уже безвластных, безденежных, отдавших все в чужие руки. Везде пришлые, ушлые, рубят, переустраивают. А хозяева вяло поглядывают из окна: что там, дескать, кто и зачем?

Островский — выразитель, певец, обличитель, летописец Замоскворечья... Так, но место действия большинства его шедевров — не Москва. Я занялся арифметикой по ПСС Островского, получилось (без написанного в соавторстве и стихотворных драм), что дело происходит в Москве в двадцати одном произведении, в губернском городе — в трех, в уездном — в пяти, на усадьбе, даче, большой дороге — в трех и неведомо где — в шести.

Так что, исключая «На всякого мудреца довольно простоты» и бальзаминовскую трилогию, московские пьесы — не самые известные. А «Гроза», «Волки и овцы», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», «Бесприданница» — провинция.

Сколько у Островского на сцене заборов! В иных («Женитьба Бальзамина») забор — действующее лицо. И сознание персонажей — заборное, огороженное. Что, впрочем, как выясняется, не так уж и скверно.

Не доводилось видеть удачной постановки такой прелестной во всех отношениях комедии, как «Таланты и поклонники». Все принято показывать, что падение Негиной определилось настойчивостью Великатова, политикой маменьки и, главное, страстью Негиной к сцене. Но одна из первых реплик Негиной, увидевшей в окно подъехавшего Великатова: «Какие лошади, какие лошади!»

Островский самый трезвый и спокойный из русских классиков, и как бы обличая, он жалеет, а умиляясь, насмешничает. Главное, он ничего не страшился.

* * *

«Курослепов. Ну, вот, как она придет, ты ее ко мне с солдатом...

Градобоев. С солдатом?

Курослепов. На веревке.

Градобоев. И на веревке?

Курослепов. Мы ее наверх в светелку, там и запрем безвыходно.

Градобоев. Что вы за нация такая? Отчего вы так всякий срам любите? Другие так боятся сраму, а для вас это первое удовольствие». А. Н. Островский, «Горячее сердце»).

Нынче в прессе любят корить «новых русских» именами Мамонтова, Морозова и Третьякова. Откуда же, однако, взялись у Островского Курослепов, Хлынов, все его кит китычи? Купцы Мельникова-Печерского немногим краше. Богачи Щедрина, Писемского, Некрасова, Достоевского — дикость, самодурство, алчность. Любимая фигура юмористики, персонаж сочинений Лейкина и К°, не исключая и Чехова («Маска» и многое другое), — тот же толстопузый. Горбунов И. Ф.! Кого же еще вам?

Лишь у М. Горького купец и фабрикант — это не только порок, но и ум, и сила, и крепость духа. Если кого и любил буревестник революции, так не Павла Власова, а Бугрова, Железнову, Артамонова. Певцом русской буржуазии был как будто и его современник Иван Шмелев. Правда, в очаровавшем всех «Лете Господнем» легко заметна эмигрантская ностальгическая дымка, окутавшая прошлое. Достаточно сравнить благостных героев «Лета...» с московскими купцами из «Человека из ресторана». Или вспомнить рассказ «Забавное приключение» (1917), где тогдашний «новый русский», король московского сити Карасев отправляется на супермодном автомобиле в провинцию торговать имение.

Такой же «новый», точь-в-точь такой, занимал и Алексея Н. Толстого в повести «Приключения Растегина» (1913): чуть что — сует ладошку за пазуху к набитому бумажнику.

Можно справедливо и оптимистически заметить, что Островский и Щедрин присутствовали при заре русского предпринимательства, а в XX веке и появились Мамонтовы и Морозовы. Так, мол, и сейчас будет: перебесятся орлы, накатаются на «мерседесах», нашвыряются пачками в казино, наедятся красивой еды — и затоскуют, и придут, и поделятся, да еще спасибо скажут господам артистам-писателям-художникам за сбережение национальной нравственности и подвижничество.

Поживем — увидим. Только это издали сейчас мнится, что Третьяков словно бы один русское искусство кормил и не было Академии с годовичными командировками в Италию, стипендиями, званиями и жалованьем. Словно был Мамонтов, но не было императорских театров. Но Русь — страна государственная, царство, империя, страна чиновников и распределения — находила возможность содержать искусство, и писатели не все писали в «Свистке», но и служили цензорами, директорами гимназий, чиновниками для особых поручений и даже вице-губернаторами. И дворянское положение, дававшее Болдино и Ясную Поляну, тоже государственного происхождения, результат службы.

По нашему времени сподручнее на чиновника наесть, у коего, как у Расплюева, днище выперло — не может никак наесться. А кит китыч в «мерседесе» — что ж, его дело вольное, личное, чего ему досаждать: дай миллион, дай миллион!

* * *

«Барабошев. <...> Он должен мне по векселю двести рублей, на платеж денег не имеет и от этого самого впал в нежные чувства. <...>

Платон. Стихи буду писать. В таком огорчении всегда так делают образованные люди.

Зыбкина. Что ты выдумываешь?

Платон. Чувств моих не понимают, души моей оценить не могут и не хотят — вот все это тут и будет обозначено.

Зыбкина. Какие же это будут стихи?

Платон. „На гроб юноши?“ (А. Н. Островский, «Правда — хорошо, а счастье лучше»).

У нас перевелся графоман. То ли дороговизна почтовой связи, бумаги, то ли вся обстановка не располагают к сочинительству, только нет теперь потока самостоятельных сочинений, которые могли веселить или надоедать, но с существованием которых нельзя было не считаться. Сидели Платоны, бродили Лебядкины, и непременно рождались строки нелепые, но русская культура без них не полна.

В каждой редакции были и кроме разовых постоянные графоманы, день за днем присылавшие свои произведения. У журнала «Волга» был такой М., который стихами откликался на разные события, например на дискуссию по поводу ЛТП:

Пьянство бред, ну, пили многие,
братья Чеховы, Куприн.
И Толстой да третий, сын —
сын Дюма, и все ж в итоге ведь
и спивались поневоле

Русь пила, князья во фраках
пили, только эта власть
умудрилась до экстаза
прятать пьяниц в ЛТП,
и морали сей проказа
растворяется в толпе.

(1976)

Как там у ныне забываемого (или забытого) Евгения Винокурова?

Человек опустился,
взял и комнату снял...

Дальше не помню, а потом:

С ним еще выпивают,
он сшибает рубли.
Высоко проплывают
там, над ним, корабли...

Безжалостное, как богатый ребенок, литературное мнение швыряет одно-го за другим кумиров с борта, а уж не кумиров, таких, как Винокуров, просто не вспоминает. У него выходили новые книги с краткими названиями-существительными: «Зрелище» «Ритм», «Жест», — в том хорошем оформлении и формате, как издавали современную поэзию. О них ровно говорили, ровно читали, ценили немногие, но стабильно. «Пьют пиво так, как пить его должны, фуражку сбивши и поднявши локоть...» Его любили пародировать те, кто кормился, обыгрывая называемые в стихах реальности. Я видал его несколько раз — словно бы всегда запыхавшийся, толстенький. Мой приятель, большой его поклонник, узнав у меня по справочнику СП домашний адрес Винокурова, взял и явился к нему, да еще с поллитрой. И тот впустил и даже был рад.

Ключ к судьбе не одного Саврасова в его словах Коровину: «Пойми, я полюбил, полюбил горе... Пойми — полюбил унижение...» Почему спился и опустился автор «Грачи прилетели»? Именно так: спился и опустился, а не спился. Можно опуститься и не спиваясь, но можно спиться и не опускаясь.

Слова Саврасова, которые запомнил юный и, может быть, досочинил старый Коровин, приоткрывают мармеладовскую загадку, которую без устали преподносит нам русская жизнь.

Наслаждение унижением — спасение? Русское понимание добровольного падения человека все-таки исключительно религиозно. Мягкая, добровольная сдача напору социальной жизни, исчезновение в чайнии воскреснуть есть, вероятно, одна из форм спасения души, чуть ли не вровень с монашеством.

Бенедикт Сарнов, выступая по радио (это было 7 апреля 1994 года — написал, потому что очень уж поразился), сказал, что трагедия Обломова в том, что он предал свой талант, данный ему от Бога, превратился в ничтожество.

А какой был дан ему талант? — спросим мы. Наверное, сберечь себя, сохранить душу такую, с какой он пришел в мир. Что Илья Ильич и исполнял.

«Одет он был в покойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота...» (И. А. Гончаров, «Обломов»).

Смерть Александра Блока остается загадочной.

Конечно, голод, холод и прочие прелести тех лет. Но их испытывали и те современники Блока, люди его круга, которые не были столь физически крепки и тренированы. С. Алянский пишет: «В апреле 1921 года здоровье Александра Александровича заметно ухудшилось: он часто уставал и жаловался на боли в сердце. Все лишения последних лет, — объясняет мемуарист, — пережитые поэтом, подорвали его крепкий от природы организм». И сам же далее

сообщает: «Продовольствие Блок получал по карточкам, как и все граждане <...> Дополнением к этой норме были пайки, которые выдавались некоторыми организациями своим сотрудникам <...> Блок получал два, а иногда три таких пайка: по Дому ученых как писатель, по Большому драматическому театру как служащий, а в последнее время он получал еще паек по журналу „Красный милиционер”». Блок получал гонорары и зарплату, зарплату и гонорары получала и Любовь Дмитриевна. Правда, были еще мать и тетка, но не было детей.

И вот писатель В. Солоухин напечатал в «Литературной России» (24.1.92) статью «Похоронят, зароят глубоко...», в которой утверждает, что нашел ответ на вопрос, почему тяжело больного Блока не выпустили за границу на лечение. «Они, как вы, наверное, догадываетесь, боялись, что европейские медики ПОСТАВЯТ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ОБЪЯВЯТ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО БЛОК ОТРАВЛЕН».

Однако писатель не задает основного вопроса: зачем правительству и ЧК понадобилось умертвить Блока? Или даже так: почему именно Блока?

Почему не отравили, а спокойно выпустили за границу немало деятелей культуры, открыто ненавидевших советскую власть, не стоит даже перечислять. Даже если и принять во внимание изменившееся отношение поэта к режиму, то и тогда Блоку было далеко до открытого противостояния. Но и это не главное. В. Солоухин строит версию на возможном международном скандале. Но как ни относись Блок к власти, а она к нему, он не представлял для нее интереса, сопоставимого с именами Ф. Шаляпина, И. Павлова, К. Станиславского и, конечно, М. Горького. Известность Блока в мире в сравнении с их известностью была ничтожна. А вот действительно всемирный авторитет академик Павлов демонстративно поносил власти, и почему бы ЧК не урезонить его теми способами, о которых рассуждает В. Солоухин? Он выстраивает как звенья одной цепи три убийства: Н. Гумилева, А. Блока и С. Есенина. Но если Есенин к моменту гибели был действительно самым знаменитым поэтом России, то Гумилев вообще никогда не пользовался подобной славой, а ко времени его расстрела и смерти Блока самым популярным поэтом был Игорь Северянин, который, к слову сказать, свободно перемещался из Эстонии в Россию и обратно и наконец обосновался в Эстонии, в двух шагах от питерских чекистов.

Что ж, и версия В. Солоухина имеет право на существование. Другое дело, что пока писатель не сумел как-то аргументировать ее, предаваясь более публицистико-патриотическим излишествами. Как можно утверждать, что нет никаких медицинских свидетельств о болезни и смерти Блока, если в 1987 году в 4-й книге 92-го тома «Литературного наследства» опубликовано сообщение доктора медицинских наук М. Щербы и кандидата медицинских наук Л. Батуриной «История болезни Блока». Они приходят к выводу, что «смертельная болезнь Блока явилась заключительным этапом, финалом заболевания, всю жизнь его преследовавшего».

Допускаю, что сторонники версии об отравлении могут утверждать, что и «История болезни...» инспирирована Лубянкой.

Удивительно, что ни Солоухин, ни авторы «Истории болезни...» ни словом не обмолвились об алкоголизме А. Блока.

* * *

Никак не только не разделяю восхищения Рерихом и его «учением», но чувствую к ним глубокую, неодолимую неприязнь. Почему-то в брежневские времена это была единственная «ересь», дозволенная к употреблению, и редкий день на экране ТВ не увидеть было благостного, с промытой бородкой, в индусском кителе Святослава — продолжателя великого дела. То и дело корреспонденты показывали дом Учителя, а стихотворец В. Сидоров в журнале «Москва» печатал длинные очерки о его учении.

И самого Н. К. издавали. Он писал ужасно! И прозу и стихи. Но ведь и его живописное творчество, даже и раннее, лучшее, весьма преувеличено. А уж однотипные Гималаи с многозначительными названиями полотен удручающе декоративны!

Вот глядит на меня с телеэкрана известный кинорежиссер и требует, чтобы я спасал культуру, которая есть залог нравственности будущих поколений. По его словам выходит, что спасение культуры и нравственности в том, чтобы отремонтировать после пожара помещение организации, где он председатель. Испорчен старинный особняк в центре Москвы, и это очень жаль, как пел Вертинский. Но как нужно относиться к нам, миллионам, которые смотрят в телевизор, чтобы с пафосом уверять, что спасение культуры в том, чтобы всей страной сложиться и отремонтировать кабинет председателя-режиссера, где, вероятно, были какие-то драгоценные панели, камин, чего там еще бывает в таких кабинетах, создающее приятную, барскую, творческую обстановку?

С какою злобой высказался Э. Лимонов о Солженицыне и его якобы идеалах («Книжное обозрение», 7.6.94): «Александр Исаевич — за свою маленькую, гнусную Россию... где в школах будут обучать православию, ряженые будут плясать на полянках под звуки веселой музыки, а писатели будут ходить в валенках и сидеть за дощатыми столами». Так, конечно, не будет, и Солженицын, конечно, не за это, но если бы и стало — неужто так скверно? Или лучше та Россия, в которой писатели занимаются «анальным сексом» с чернокожими бандитами и палят из автоматов на чужой земле? Лимонов утверждает, что, «метя в коммунистов» в «Архипелаге», Солженицын попал в русских и умудрился восстановить весь Запад, всю остальную часть глобуса против русских. Надо полагать, писатели, лихо внедрившиеся в западный менталитет плейбойско-скотского плана, заставили Запад обожать русских?

Впрочем, все это естественно. И в застойные времена в профессионал-патриоты шли как крупнотелье, от земли и райкома сочинители романов или поэм, так и прожженные, проеденные до предстательной железы, забубенные столичные литераторы, получившие свободу милой Э. Лимонову формы секса в обмен на свободу осведомительства тайного и доносительства печатного, рыдавшие при звуках царского гимна и умело добывающие доллары на барахло в «березках».

В появлении Э. Лимонова среди наиболее черной и агрессивной части оппозиции нет ничего парадоксального. Все больше эстетов, извращенцев, людей с выжженной душой должны находить себе место там, где возможна кровь. Вспомним, как в революцию, гражданскую войну ЧК (как, впрочем, и ОСВАГ) стала прибежищем вчерашних салонных поэтов, наркоманов, педерастов, упырей. Игра с кровью была покруче петербургско-московской салонной возни. Потом уж, по мере укрепления сталинского государства, от них стали избавляться, а в кровавой мути 1918 — 1922 годов густо мелькали жестокие паяцы. Неужто явление Э. Лимонова в президиумах «соборов» — знак грядущей беды?

* * *

Общее место: художнику необходима верная подруга, муза, спутница, вдохновительница и берегиня; Мастеру нужна Маргарита.

Мастеру, возможно, и нужна, хотя и не каждому, прекрасно обходились без нее Гоголь и Гончаров, Лермонтов и Чехов — список будет длинным. Я имею в виду не просто брак, но наличие у творца, как писалось в советских некрологах, «жены и верного соратника».

А в случае серенького, унылого сочинителя эта самая соратница становится вредна для окружающей среды. В зависимости от темперамента, честлоубия, алчности и влюбленности в своего творца она может крепко помогать ему в продвижении рукописей, тем самым нанося урон культуре.

А уж если таковая муза является человеку, больному сочинительством, роль ее поистине ужасна. Когда бы рядом с самодеятельным поэтом (художником) находилась нормальная женщина, не муза, она бы постаралась отвлечь его от бумаго- или холстомарания или покинула. Глядишь, и человека сохранили. Но почему-то именно на пути несчастных, о которых Е. А. Баратынский заметил: «Не он пред светом виноват, а перед ним природа виновата», возникают исступленные музы, делающие профессиональное утверждение избранника своим поприщем.

У В. М. Шукшина есть рассказ «Пьедестал», именно об этом.

Живущий изготовлением «вывесок, плакатов, афиш» Смородин пишет большое полотно под названием «Самоубийца»: «...за столом сидят два человека... с одинаковым лицом... и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом». Вера Смородина в свой талант подогревается женою, странной, молчаливой, погруженной в свои мысли женщиной. Она внушает мужу: «Надо, чтобы у них потом отвисли челюсти... Вдруг, в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений». Когда «Самоубийца» закончен, приглашен местный художник. Стоило художнику засмеяться при виде полотна, с женою случается истерика: «Спусти его! Двинь его! Двинь сзади! Скорей!.. Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!.. Догони его! Догони — двинь его, двинь!» При виде этих обычно стареющих или просто старых дам, любящих оформлять себя в стиле посетительниц творческих клубов Москвы — очень много браслетов, бус, деревянных и металлических побрякушек, непременный мундштук в морщинистой лапке, — при виде такой фигуры старается скрыться выдавший виды редактор или чиновник из творческого союза, поэт или критик. Они знают, что музы не любят уходить с пустыми руками.

Смотрел после двадцатилетнего перерыва «Калину красную». В целом впечатление то же: комканье в не сложившееся целое истинного, шукшинского, и проходного, грубо-киношного, умильного при отсутствии собственного кинематографического языка. Язык хорош в речах персонажей, да и то с перебором «народности». Укрепился во мнении о странной для Шукшина бесчувственности при съемке натуральной старухи, не подозревавшей, куда ее вставят, в непостижимой нелепости приглашения на роль бандита Буркова — воплощенной доброты.

Талантливо все шутовское, театральное, как ресторанный дух Михалыч. Я не помнил кадра с хороводом на сцене, состоящим из старух, обряженных в девичьи сарафаны, с ними об руку дебильноватого подростка. Не оценил в первый раз показавшуюся излишней, вставной сцену с курящей прокуроршей. Здесь обычная ненависть к озлобленной служащей советской женщине-курилке дополнена социальной ненавистью Егора. Унижение холодной стервы, несчастного существа, которому дана власть над людьми, напомнило мне чей-то рассказ, что Василий Макарович признавался в том, что всякая женщина, сидящая в президиуме или в руководящем кресле, вызывает у него одно первобытное желание, даже пожилая и некрасивая. На вопрос о причине отвечал: чтобы свое место помнила. Это очень народно, словно бы строка о естестве барыни из «Барыни».

Диво — эпизод с пьяным интеллигентом на застолье в доме Байкаловых. Все вокруг пьяны и кричат, поют, но когда он, дождавшись своей минуты — паузы, со слезой и гражданской скорбью затягивает некрасовское «знай работай да не трусь!», его окутывают презрительная жалость и осуждение окружающих, сидящую рядом жену безмолвно утешают, как вдову.

* * *

Шестидесятников всегда подводил вкус. Они не умели вкушать, они хотели есть. Их веселила инструкция на бутылке болгарского виньяка: напитком не следует напиваться, им следует наслаждаться. Военные юность или детство двигали ими по жизни. Они не могли забыть голода и борьбы за выживание, которая могла быть и борьбой за право носить узкие брюки и слушать джаз.

Если бы сейчас молодой поэт предложил для печати строки «Женщина, Ваше Величество» или «надежды маленький оркестрик под управлением любви», его бы всерьез никто не воспринял. У ироничного Аксенова просветлившийся юноша рыдает, слушая Баха, а автор резюмирует суровые сцены фразами типа: «Как часто мужчин выручают сигареты». Не случайно самым знаменитым из поэтов-шестидесятников стал автор строк «постель была расстелена, а ты была растерянна».

То была плата за небывалую — или давно забытую — искренность в литературе. Слово сделалось знаком, и недаром официальная критика так накинулась на Померанцева.

Шестидесятники требуют к себе исторического отношения, без галковщины. Новым дегустаторам «текстов» невозможно представить, как звучало в те годы само имя Евтушенко или как трогал и объединял голос Окуджавы. Не надо обижать шестидесятников.

Много было у нас в советское время писателей, мало литераторов. В старые времена находили, по модному нынче слову, свою нишу обычные литераторы, знающие предмет. Они не чурались «низких» жанров. Известный, уважаемый профессиональный писатель Николай Златовратский писал не только скучноватые народнические повести и рассказы, но и многочисленные экономические, литературные, мемуарные и другие очерки, ставшие неизъемым звеном в летописи жизни России его времени. Почти то же можно сказать и о его как бы фамильно-литературном двойнике Павле Засодимском, который писал не одни романы, а и педагогические статьи, и очерки для знаменитой путеводительной серии «Живописная Россия». Можно ли представить классиков советского романа, сочиняющих тексты для путеводителя?

Были, конечно, особенно в 70-е годы, и советские литераторы, скромно и дельно обзоревавшие какую-то профессиональную сферу или социальную среду. Их читали. Стремительные перемены лишили их возможности, в первую очередь гонорарной, такой работы. Правда, и сами они страдали тем, что пытались вырваться из того, что им удавалось, кто в драматургию, кто в беллетристику, кто в пламенную публицистику.

Будет время, явятся издатели-просветители, начнут издавать новые «живописные России», платить гонорары, на которые можно жить, и восстановится статус русского литератора, делающего негромкое, но полезное дело.

Испуг перед нашествием массовой культуры, конечно, чрезмерен. Как и утверждения, что коммерциализация культуры не дает возможности для появления новых больших писателей. Дескать, тот, кто пишет эстрадные тексты, переделывает и дописывает классику, гонит сценарии мыльных опер, не способен на создание подлинного искусства.

Только ведь в прошлом веке было и поточное производство тогдашних детективов и водевилей, и пиратские переделки иностранных пьес, «чтобы автор и переводчик не узнали» (Вл. Гиляровский), — все было. И Достоевский, Островский, и уж тем более Чехов были не так уж далеки от среды и нравов профессионального «буржуазного» литературного производства.

Это я к тому, что все-то нам, как и в недавние времена, мнится, будто наше время небывалое, ужаснее не бывало: и сами боимся, и других страшаем.

Саратов.



*Читайте в следующем номере
автобиографическую прозу Иосифа Бродского
«Полторы комнаты».*

Перевел с английского Дмитрий Чекалов.

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

ПАФОС ГРАНИЦЫ

Противник философа Н. Н. Страхова писатель-зоолог Н. П. Вагнер иронически назвал его философию «перегородочной». Страхов с радостью принял это определение.

Из книги проф. Алексея Введенского «Общий смысл философии Н. Н. Страхова» (М. 1897).

В августовском номере «Иностранной литературы» за 1994 год художник С. Файбисович пишет опять, извините, о постмодерне. Но статья очень толковая, называющая вещи своими именами, и я охотно отсылаю к ней тех, кто еще верит сказочке о русском постмодерне как о, допустим, перспективной или, напротив, потерявшей очарование новизны («траченная молью»), но все же невинной игре в искусстве, которая в чем-то хороша, в чем-то нехороша, а в общем, «поглядим, посмотрим». Статья называется «Вызов». Здесь, между прочим, мелькнуло понятие «тотальный постмодерн», основным принципом которого автор полагает «отказ реальности в праве на существование, ее дезавуирование, симулякрирование, то есть погружение в сонм бесчисленного множества «алиби» для знаков и знаковых систем». Такая отмена, считает Файбисович, «является, в сущности, тотальной культурной революцией, поскольку вышибает Создателя из ситуации, как пьяного бузящего матроса из портовой таверны». Иначе говоря, Бог не умер, его просто выставили за дверь.

Все верно. Я тоже считал и считаю, что центральный конфликт в современной культуре лежит в области не политической, не нравственной, не эстетической и даже не идеологической, а онтологической. Здесь точка боли нашей культуры, очаг воспаления, беспокойное место, которое парадоксальным образом является и единственным гарантом того, что живая мысль и живое творчество не исчезнут в ближайшее время. Есть те, кто отказывает Создателю в копирайте на этот мир и занимается своего рода пиратством: полагают себя вправе переводить, адаптировать и тиражировать «куски» реальности, как им хочется или как им выгодно. И есть те, кто все еще живет в традиции русской культуры с ярко выраженным онтологизмом (доверием к миру как творению), «мистическим реализмом» и великолепным пафосом границы меж «верхом» и «низом», что есть нерв и русского богословия, и русской философии, и русского искусства.

Так вот: постмодернисты в этот нерв воткнули шило. Онтологический антипафос этих невинных «салонных мальчиков» настолько силен, что часто поражаешься, встретив в хулиганской книжечке какого-нибудь Егора Радова слова вроде: «Мир есть мое развлечение». Дальше я читать, признаться, не стал, ибо входить в постмодернистский «хаосмос» мне нет никакого резона — даже в качестве исследователя. Я не Миклухо-Маклай. Но фраза весьма показательна и многое объясняет в том тревожном, «сумеречном» состоянии, в котором пребывает наша культура, когда Нечто пыжится и растет во все стороны, а этически и эстетически нормальные люди из всех решительно поколений ощущают себя чужими на этом празднике неведомой им жизни.

Сегодня представляются трогательно-смешными литературные дискуссии застойных лет. Есть ли роман? Нет ли романа? Постмодернистская эпоха говорит так: есть Букер, есть роман. Подумаешь, важность — написать роман!

В 1995 году новую рубрику «По ходу дела» будут попеременно вести Павел Басинский и Алла Марченко.

Первая ошибка и первое посрамление традиционной культуры заключались в наивной вере ее представителей, что «так называемые постмодернисты, или как их там», если предоставить им возможность печататься, ставить фильмы, делать выставки, организовывать свои полосы в газетах и т. п., на деле окажутся неспособными именно в творческом плане. «Да вы тексты-то покажите!» — надменно спрашивали «правый» Вл. Крупин и «левый» Вл. Новиков. И получили! Тексты посыпались как из рога изобилия. Надо признать, что энергия и продуктивность «агентов» новой культурной революции столь высоки, что старой культуре необходимо покинуть это поле боя, отступить и не ввязываться в сражение на основании глупой уверенности в своем численном превосходстве; один Галковский стоит десяти шестидесятников, а его милая фразочка «я вас всех изведу!» вовсе не такая самонадеянная, как может показаться. Галковский надул даже такого опытного консерватора, как Вадим Кожинов, написавшего к его публикации в «Нашем современнике» хвалебное предисловие; либералов же вроде Вайля и Гениса он слопает играючи.

Итак, первое: онтологический пафос навыворот. Это не бунт и не кошунство. Не «наши нигилисты» (И. Золотусский). Не Ф. Ницше с его поисками «сверхчеловеческого» идеала, который он проглядел в христианстве. И даже не остроумная французская «школа» отцов классического постмодерна, возможная на Западе потому, что именно там «та самая объективная, нормативная реальность, которую так усердно и сладострастно дезавуирует постмодерн, всегда существовала и существует» (С. Файбисович). А что же? Однако я не могу описать границы того, что границ не имеет, что само себя отказывается определять, что вчера там, а сегодня здесь. Я могу лишь обозначить наличие отсутствия в русской культуре того, что нынче называется ситуацией постмодернизма, и сделал бы это с великой радостью, если б...

Если бы не второе. Мощная продуктивность. Широкая система провокаций, не отвечая на которые вроде бы нельзя. Патологическая страсть гадить именно в тех местах, где отечественное сознание больше всего болит и нуждается в очищении и просветлении. Бесконечная и наглая подтасовка именно тех понятий, образов и слов, с которыми наиболее тесно и сокровенно связана «душа» национальной культуры. Какой-то перманентный самовоспроизводящийся коллективный Рушди!

Все «как бы» мелочи. Дмитрий Александрович Пригов, которого в русской поэзии определенно нет, берет стихи Пушкина и Лермонтова и вынимает из них все гласные, оставив согласные. Естественно, получается гадость; но никто не спрашивает Дмитрия Александровича: зачем это? По слухам, новым «жестом» Пригова станет замена эпитетов в «Евгении Онегине», перевод этого текста на другой язык с дальнейшим переводом еще на какой-то язык и с последующим переводом на русский.

Видный интеллектуал называет стремление к духовной цельности в русской литературе и философии имперской языковой нормой, и никто не смеет рта открыть, ибо «имперской нормы» отчего-то боятся; хотя, по-моему, норма — это замечательно, это именно то, что позволяет возникать «поэзии нарушения», которой не может быть без «поэзии правил» (К. Леонтьев).

Но границы между этими «поэзиями» сейчас нет. В рассказе Владимира Сорокина мальчик ест кал школьного учителя, а комсомольский вожак грызет череп своего товарища. Шок, возмущение. Но с ним и нельзя бороться средствами критики. Здесь нужно что-то другое... А в повести Виктора Пелевина люди становятся насекомыми и катают навозные шарики, выделяют вонючие жидкости, с хрустом жрут друг друга («Посмотри, сынок, это наш мир!»). Спасибо, я слышал этот анекдот. А вот над повестью Игоря Клеха, напечатанной в «Новом мире», я долго чесал затылок. В ней герой из собственного кала день за днем выкладывает затейливую башню, что и составляет «как бы» сюжет этой вещи.

Есть какая-то дурная, тоскливая бесконечность в этой веренице примеров, которые легко множить и множить, уже не испытывая ни возмущения, ни гадливости, ни нравственного и эстетического протеста, уже «как бы» осваиваясь в этом подменном онтологическом пространстве, подобно тому как миллионы телезрителей давно освоились в подменном рекламном пространстве и начали следить за интонациями голосов Риты и Лени Голубковых, за тем, что они едят, пьют, что носят и проч.

В этом несчастье традиционного культурного сознания, которое роднит простых людей с профессионалами из литературы и других областей культуры. Онтологическое доверие лежит в основе этого сознания, являясь своего рода программным компьютерным файлом, не предполагающим изменения. Этим качеством тра-

диционного сознания самым наглым образом пользуется новая культурная революция, духовный источник которой мне неясен, да я и не желаю его выяснять. Но если война в онтологии объявлена, если вызов брошен — надо как-то ответить. Нельзя бесконечно пятиться перед напором зрелых юношей, которые, если приглядеться, хотя и не знают, что творят, но при этом обладают потрясающей волей к организации, циничным прагматизмом и великолепным знанием слабостей и возможностей как структурированного западного общества, так и расползающегося нашего. И — да, да! — прекрасной культурной дисциплиной. Оцените все эти фестивали, конференции, симпозиумы. На одном из таких фестивалей в Смоленске, в старинном, XVIII века, здании городской филармонии близ кремля мне довелось побывать. На сцене Дмитрий Александрович Пригов блял козлом, напрягая мощные голосовые связки. Старушки-работницы этого дома, «гордости Смоленска», смотрели на артиста с мистическим страхом. На лицах этих старух я увидел вопрос, который и мне не давал покоя: зачем?

Традиционной культуре в самом широком смысле этого слова (то есть объединяющей всех здравомыслящих, нравственно и эстетически нормальных людей в России) для того, чтобы выжить, необходимо вспомнить о своем втором качестве, о котором сказано выше. Воля к границе. Это качество было ослаблено в нас за последние десять лет во многом благодаря либеральной шоковой терапии, внедрившей в сознание людей комплекс их «совковой» ограниченности по сравнению с остальным миром. Как это делалось, вы помните. На всякое возражение о необходимости границ, то есть, как бы то ни было, внешних стеснений, в общественном воздухе как по мановению волшебной палочки мгновенно повисала усатая физиономия Сталина. «Вы этого хотите, вы об этом мечтаете?» Но «граница» не просто хорошее или плохое понятие, а сущностная категория, без которой не может жить мир. Больше того, мир без границ, если такое представить, оказался бы эстетически бесформенным, отвратительным явлением; в этом псевдопространстве не стоило бы и жить. В страшном дисциплинарном аду, нарисованном Замятинным в романе «Мы», все же имеются перспективы — здесь возможны какие-то «нарушения правил»: конфликты, заговоры, революции и связанные с ними мечты, страхи, надежды, обольщения, предательства и проч. Общество, идеально обратное замятинскому, видится просто каким-то кошмаром; это и есть итог возможной постмодернистской революции: никаких законов, правил и границ, никакого стесняющего давления, ничего ценностного, определенного, авторитетного. В результате — никакой возможности выбора — именно потому, что все возможно. Можно представить, что кто-то в этом тотально-антитоталитарном обществе пожелает избрести себе микродеспотический климат оранжерейного типа, чтобы немного подышать воздухом несвободы, пережить, что такое боль, риск, страх, опасность. Но какое же это жалкое зрелище, типичный постмодернистский «симулякр» вроде «комнаты страха».

Культура в опасности! Еще несколько лет нашего безволия, апатической всеядности — и мы не сможем различать никакие границы, никакие внешние формы. Чтоб не быть голословным, я остановлюсь на литературе. Например, выдвигать на премию Букера Астафьева и Сорокина вместе значит покорно создавать «постмодернистскую ситуацию», ибо никакого критерия выбора здесь быть не может, кроме разве кочкаревского: «Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, — Иван Кузьмич! а ведь то, что ни поало: Иван Павлович, Николай Иванович, черт знает что такое!» В этой ситуации Сорокин победит в любом варианте: отказ в премии есть повод мусолить бесконечные байки о «тоталитарных» замашках традиционной культуры. Да не выдвигайте просто! Илья Фомич Кочкарев не всегда же был не прав, если советовал Агафье Тихоновне: «Скажите просто: „пошли вон, дураки!“»

Когда мне говорят: а что же печатать, если традиционная литература в кризисе? — я не понимаю, о чем речь. Сначала решите, что вы не станете печатать никогда. Поставьте границы, барьеры. А затем печатайте плохую традиционную прозу. Если нет плохой, печатайте очень плохую или вообще обойдитесь пока без прозы, не теряйте своего лица! Для утешения читайте «Отечественные записки» и «Русское богатство»; как это пресно, скучно, рутинно, вроде годовых отчетов в толстых томах, — и все же как это замечательно! А завтра в редакцию непременно придет юноша с хорошей русской прозой, и в редакции будет праздник!

М. М. БАХТИН СЕРЬЕЗНЫЙ И «НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»

«Диалог. Карнавал. Хронотоп» (Витебск), 1992, № 1; 1993, № 1 — 4; 1994, № 1, 2.

Разговоры с Бахтиным. Запись В. Д. Дувакина. «Человек», 1993, № 4 — 6; 1994, № 1 — 6.

Журнал, издаваемый в Витебске Н. А. Паньковым, сделал заявку на то, чтобы сосредоточить на своих страницах все новое, что появляется сегодня в изучении творческого наследия М. М. Бахтина, двадцать лет со дня смерти и сто лет со дня рождения которого будут отмечаться в 1995 году (в марте и ноябре соответственно). Начинание смелое, ведь монографической периодики в нашем отечестве нет и не было до сих пор, если не считать юбилейных писательских номеров, традиционно (и на хорошем уровне) выдаваемых питерской «Звездой», а до недавнего времени «Литературным обозрением» и «Вопросами литературы». В № 1 за 1992 год «сверхзадачу» журнала издатель-редактор сформулировал так: «Бахтин сам по себе — это целый мир, огромный, загадочный и еще мало изученный <...> Журнал <...> должен не только не отрывать Бахтина от многочисленных явлений, противоречий, потрясений всей человеческой истории и мировой культуры, но, напротив, всемерно помогать их полному и адекватному осмыслению». Намерение похвальное, но чрезмерно завышенное. В нем больше патетики, чем реализма. Конечно же, «адекватно осмыслить потрясения человеческой истории» невозможно; вспомним сакраментальное бахтинское: «...ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано...» Какое там «полное осмысление», когда мир так стремительно меняется и меняемся мы сами, если «...еще все впереди и всегда будет впереди» (эти исполненные загадочного оптимизма слова Бахтина эпиграфом выносятся на третью страницу обложки из номера в номер).

Впрочем, ничего о «потрясениях истории» мы в «Диалоге...» не встретили. Но в первом номере поставлены и конкретные задачи: «...объединение, координирование усилий биографов и интерпретаторов Бахтина, работающих во многих странах мира; публикация писем, архивных документов, воспоминаний, биографических исследований, связанных с жизнью Бахтина и его окружения; истолкование и развитие теоретических положений ученого, рассмотрение гуманитарной <...> научной проблематики в свете концепций Бахтина, полемика вокруг них; актуальное прочтение трудов Бахтина в контексте мировой культуры; популяризация наиболее ярких и оригинальных идей Бахтина; рецензирование, обзор книг и статей, хроника...» Журнал задуман «полифонический, многоголосый. Ни одна существующая трактовка теоретического наследия Бахтина либо версия того или иного обстоятельства его биографии не полагается окончательной, завершенной, последней», поэтому редакция «готова предоставить слово каждому, кто имеет свой взгляд на вопросы, обсуждаемые в журнале».

Позиция издателя, как видим, честная, точно сформулированная, «беспартийная», и это располагает, что подтверждается, кстати, и хорошей раскупаемостью журнала с немалым для подобного издания тиражом (в популярном у гуманитарной интеллигенции спецмагазине «19-е октября», что в 1-м Казачьем переулке, журнал не залеживается). Мы привели редакционные тезисы, чтобы хотя бы бегло оценить, как выполняется многообещающая программа, за которой ни много ни мало, а имя одного из крупнейших мыслителей XX столетия.

Итак, состоялось ли «объединение, координирование усилий биографов и интерпретаторов Бахтина, работающих во многих странах мира», за истекшие три года как выходит журнал? Нет. Скажем прямо: оно и не намечено. И добавим (без тени упрека): под силу ли оно журналу вообще?.. Конечно же, любая масштабная инициатива сопровождается такими вот неумными пожеланиями — собрать «всех» под свое крыло. Но эта сверхтрудная задача, насколько нам известно, никак не решается ни в ИМЛИ, где трудится бахтинская группа специалистов, ни в Саранском университете, где работал Бахтин и где его коллега С. С. Конкин выпус-

тил (в сотрудничестве с Л. С. Конкиной) первую в России монографию о нем («Михаил Бахтин (Страницы жизни и творчества)». Саранск. 1993), ни в Бахтинском обществе¹.

Но коль обещаны «объединение» и «координирование», витебскому журналу надо было бы, наверное, опубликовать обзорную статью об изучении наследия Бахтина в мире, дать своего рода «бахтинскую карту» по странам и континентам — «кто есть кто в современном бахтиноведении». Такой взгляд «с птичьего полета» нужен тем более, что стремительно разрастающееся бахтиноведение — при не по дням, а по часам расширяющемся влиянии идей Бахтина — напоминает лесную чащу, в которой без путеводителей и указателей ориентироваться все трудней. Опережая неожиданность появления на очередной международной конференции (их к столетию Бахтина будет немало) новых имен и новых работ, журнал мог бы своевременно вводить читателя в курс происходящего «в мире Бахтина». Нужна для этого сеть авторов-корреспондентов. Потом уже наступит желанное «объединение» и «координирование».

Публикация документов (второй пункт редакционной программы), в первую очередь неизданных текстов Бахтина и его переписки — качественно самая сильная сторона журнала. В этом заслуга издателя — профессионального литературоведа. Прекрасное владение материалом, знание архивных фондов (бахтинских и имеющих к Бахтину отношение) — залог счастливых находок. Но дело тут не в одних находках, а в отличной научной подготовке текстов, тщательности и точности аппарата, в чем убеждаешься, вчитавшись в обширные комментарии Н. А. Панькова, в его разыскания, касающиеся раннего Бахтина, не говоря уж о блестяще подготовленной им публикации стенограммы заседания ученого совета ИМЛИ — защиты Бахтиным диссертации «Рагле в истории реализма» (1993, № 2-3).

В «Диалоге...» мы встречаем новые фрагменты лекций Бахтина о русских писателях первых двух десятилетий XX века в записях Р. М. Миркиной (1993, № 1 и 2-3)². Их импровизационная манера, специфика записи не лишили лекций содержательности³. Суждения Бахтина о писателях-символистах (о них главным образом идет речь) здесь принципиально не расходятся с тем, что высказывалось Бахтиным впоследствии (можно сравнить и с беседами, опубликованными в журнале «Человек»). В этих лекциях, можно сказать, квинтэссенция некоторых мыслей Бахтина. В анализе, например, творчества Блока нет ссылок на «чужое слово» о поэте — на мнение современников Бахтина, — и вместе с тем оно, «чужое слово», незримо присутствует, его ощущаешь. Бахтинская критика впитала другие точки зрения и в то же время осталась конгениальной художественной мысли автора поэмы. Оттого-то так поразительно глубок анализ, скажем, «Двенадцати» при крайней сжатости изложения. Вместе с ранее опубликованными и с теми, что опубликовать еще предстоит, эти записи уже образуют некий курс русской литературы начала века (оно, впрочем, так и было задумано самим Бахтиным), которым могла бы сегодня воспользоваться наша высшая и средняя школа... И как не быть признательным этой сначала школьнице, затем юной студентке, не растерявшей перед лицом такого лектора и записавшей его драгоценное слово, которое теперь служит мировой культуре. Оказывается, не так уж и много надо, чтобы прочертить свой след в истории: побольше внимания к «другому», больше своего дела, освященного именем и делами этого «другого», — и память о тебе не исчезнет, каким бы скромным ты сам ни был. Память связывает нас всех⁴.

¹ Попутно хочется отметить содержательную статью председателя общества В. Л. Махлина «Бахтин и Запад (Опыт обзорной ориентации)» («Вопросы философии», 1993, № 1, 3).

² Предыдущие публикации фрагментов этих лекций Бахтина см. в книге М. М. Бахтина «Эстетика словесного творчества» (М. 1979) — о Вяч. Иванове; в венгерском журнале «Studia Slavica Hungarica» (1983, XXIX) — об А. Белом и Ф. Сологубе; в альманахе «День поэзии-1985» (М. 1986) — о Есенине.

³ См. об этом во вступительной статье С. Г. Бочарова к лекциям Бахтина об А. Белом, Ф. Сологубе, А. Блоке, С. Есенине в № 2-3 «Диалога...» за 1993 год.

⁴ Помянув добрым словом уже покойную Рахиль Моисеевну Миркину, уточню обстоятельства, сопутствовавшие передаче ей записей лекций Бахтина. К ней привело в 1976 году ее письмо к М. В. Юдиной, обнаруженное мной в архиве великой пианистки, скончавшейся в 1970 году. (В письме спрашивалось о Бахтине, вспоминались его лекции.) Как рада была Р. М. Миркина, узнав, что к ее записям интерес не пропал. Место хранения этих тетрадей, то есть домашний адрес Миркиной, было указано мной С. Г. Бочарову и Н. И. Ни-

Но все же центральное место среди бахтинских (и «околобахтинских») материалов занимает упомянутая стенограмма заседания ученого совета ИМЛИ 15 ноября 1946 года. «Защита диссертации М. М. Бахтина как реальное событие, высокая драма и научная комедия» — озаглавил Н. А. Паньков вступительную статью к тексту стенограммы, которая читается мало сказать с увлечением — с напряженным волнением, естественным для «высокой драмы». Благодаря еще не забытому ритуалу и знакомому «распределению ролей» обсуждение-судилище смотрится типично советским театром абсурда со своей «лысенковщиной», «ильичевщиной» и т. п. Оставляют сильное впечатление не только мужество Бахтина, твердо гнущего свою линию, и не только атмосфера назревающего скандала (рассматривается — впервые — диссертация ссыльного, да еще и антимарксиста); поражает и невольно пробудившаяся в этой монолитной среде «полифоничность», столь милый сердцу диссертанта диалогизм. Дело в том, что никто из явных противников Бахтина (фактически его книги не прочитавших) не хотел выглядеть глупцом, зная все же, что речь идет о в высшей степени оригинальной работе, новаторской, смелой. Волей-неволей взметнулся некий стихийный вихрь разнообразных точек зрения, неожиданный для тех лет «плюрализм». И Бахтин выиграл «процесс», кандидатская диссертация была одобрена единогласно (!). «Михал Михалыч, бывало, говорил о явлениях некоего „лжепророчества“: „самозваное серьезничанье культуры“», — свидетельствовал М. В. Юдина. На защите Бахтин был напряженно серьезен, но не в том смысле, в каком обложившие его со всех сторон «лжепророки»: он не только трагически-гневно протестует, но и смиренно иронизирует (стенограмма это отразила) над «самозванцами» от культуры... Объективности ради надо сказать и о благородной позиции его официальных оппонентов (А. А. Смирнов, И. М. Нусинов, А. К. Дживелегов), как и академика Е. В. Тарле и некоторых других, судя по стенограмме, поддержавших книгу Бахтина.

Архивные тексты Бахтина включают и его письма. На страницах «Диалога...» их немного, и они, как правило, характера делового. Самые обширные — письма Бахтина М. И. Кагану. Близкий друг М. М. Бахтина философ Матвей Исаевич Каган (1889 — 1937) остается для широкой научной общественности фигурой закрытой; его работы все еще не изданы, и мы по-прежнему довольствуемся превосходной единственной публикацией — статьей «О пушкинских поэмах» (см. сб. «В мире Пушкина»; составитель С. И. Машинский, М., 1974). Так что публикация Ю. М. Каган «О старых бумагах из семейного архива (М. М. Бахтин и М. И. Каган)» (1992, № 1) — одна из лучших. К ней по смыслу примыкают письма Бахтина Л. Е. Пинскому и его внутрииздательская рецензия на книгу Пинского о драматургии Шекспира (1994). Выделяется, конечно, и переписка М. М. Бахтина и М. В. Юдиной (1993, № 4). Мария Вениаминовна Юдина, «ангел-хранитель» М. М. Бахтина, спасавшая его из разных передраг, организовавшая, кстати сказать, и защиту упомянутой диссертации (что нашло отражение в переписке), в совершенстве владела искусством эпистолярного философского диалога. Эта удивительная корреспондентка Бахтина умела слышать и время (как гениальный художник), и другого человека, переживая полноту своей личности именно в общении с другими. Что касается переписки с Бахтиным, то и она, и ее собеседник при всей их разности явственно тяготели к согласию на высшем мировоззренческом уровне.

Бесспорно важна и статья Ю. П. Медведева «Нас было много на челне...» (1992, № 1) — об отце, критике П. Н. Медведеве (1892 — 1938). Соратник Бахтина еще по Невелю и Витебску, человек, рискнувший опубликовать работы арестован-

колаеву, только им двоим и была доверена находка. Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что тетради с лекциями она не продавала, она была намерена их подарить, но деньги ей были как бы навязаны, и от них она не отказалась, что естественно для живущего в бедности человека. Поступок Р. М. Миркиной — передача лекций Бахтина — вполне бескорыстен и морально ответствен, любые кривотолки здесь — извращение истины, если не клевета. В письмах к автору этой рецензии Рахиль Моисеевна прямо предлагает приехать к ней в Ленинград и безвозмездно получить у нее тетради. В этих письмах кроме того есть сведения о ней самой, о дружбе с М. В. Юдиной в годы их молодости, сообщается и имя еще одной слушательницы лекций Бахтина, педагога Анны Сергеевны Дегожинской, как раз и подтолкнувшей Р. М. Миркину к тому, чтобы через Юдину попытаться разыскать М. М. Бахтина. Это было в начале 60-х годов. Но вскоре Анна Сергеевна скончалась... Повидать ее не удалось.

ного Бахтина под своим именем (с согласия автора), П. Н. Медведев был расстрелян в годы сталинских репрессий. Можно рассчитывать, что обещанные новые публикации из его наследия мы вскоре обнаружим на страницах «Диалога...». Как, разумеется, были бы уместны публикации из архива Л. В. Пумпянского. Перепечатка его работы 1921 года «Достоевский и античность» вполне оправданна (1994, № 1), тем более что воспроизведение ее сопровождается добротным комментарием и содержательной статьей В. В. Бабича. Еще одно имя из «круга Бахтина» — Ивана Ивановича Соллертинского — пока не нашло отражения в журнале, не считая отчетов о Витебских международных музыкальных фестивалях памяти И. И. Соллертинского. Думается, архив этого выдающегося музыковеда и историка театра еще содржит в себе неопубликованные материалы, хотя бы письма. (Необходимо также раскрыть архив И. И. Канаева и ряд других.)

К сожалению, еще не достиг такой же основательности примыкающий к «архивному разделу» раздел мемориальный. Три-четыре опубликованных здесь текста — это «отчасти воспоминания», как кокетливо обозвал свои записки один из мемуаристов. Чтобы написать воспоминания о Бахтине, вполне достойные его памяти, нужно иметь дар «диалогического проникновения» в душу и сознание великого современника. Эккермана, увы, рядом с Бахтиным не оказалось... А среди типично «монологических» воспоминаний, попавших в витебский журнал, выделим все же фрагмент «У Бахтина в Малеевке» А. З. Вулиса (1993, № 2-3), безвременно ушедшего от нас филолога, исследователя сатиры.

Теоретический раздел журнала задуман так, чтобы статьи, разнообразные жанрово и тематически, цементировали собой большие блоки документов. Впрочем, обобщающих статей здесь не так много (упомяну среди них работу Н. Бонецкой в № 1 за 1994 год). Вынося в заглавие журнала краеугольные понятия бахтинской философии и эстетики — диалог, карнавал, хронотоп (из которых последнее представляется мне самым широким и фундаментальным), — издатель пошел по закономерному пути «инвентаризации». Не углубляя эти понятия, каждый из авторов чаще всего эксплуатирует их, применяя к своему «участку» разработок⁵.

Но необходимо все же и «новое слово», чтобы удержать журнал на уровне тех лучших теоретических публикаций, которые сегодня появляются в бахтиноведении. Понимание важности «нового слова» у издателя, разумеется, присутствует — это демонстрирует публикация статьи И. И. Канаева, написанной в соавторстве с Бахтиным, «Современный витализм» и размышление о ней А. Б. Демидова (1993, № 4).

В целом вышедшие номера «Диалога. Карнавала. Хронотопа» — плодотворное начинание. Верится, что вкус и знания издателя помогут ему находить для каждого следующего номера свежие идеи и материалы. Признак этого — анкета о книге Бахтина, посвященной Достоевскому, в № 1 за 1994 год. Утешительно, что для этого своеобразного издания удастся найти спонсоров. Имена белорусских меценатов всякий раз можно обнаружить на обороте титульного листа. Остается и нам сказать им спасибо за добрую акцию...

В витебском журнале мы чаще всего видим «серьезное» лицо Бахтина — лицо мыслителя. Сам Бахтин, наверное, этим не удовольствовался бы. На своей защите он сказал буквально следующее: «Что такое серьезное лицо? В серьезном лице есть или изготовка к нападению или к защите. Серьезность или угрожает, или кого-то боится, а когда я никого не боюсь и никому не угрожаю, тогда лицо становится несерьезным...» Сам того не ведая, Михаил Михайлович здесь дал свой натуральный автопортрет. И вот сегодня мы снова увидели это другое лицо — «несерьезное». Журнал «Человек» совершил выдающуюся акцию, опубликовав расшифровку бесед с М. М. Бахтиным Виктора Дмитриевича Дувакина, записанных им на пленку в феврале — марте 1973 года (около восемнадцати часов звучания, пленки хранятся в отделе фонодокументов Научной библиотеки МГУ). В. Д. Дувакин задумал

⁵ Занятно проследить, как известная структуралистка Юлия Кристева в статье «Бахтин, слово, диалог и роман» (1993, № 4), написанной, как всегда, остро (достаточно взглянуть в заголовок, где «Бахтин» идет через запятую со своими же терминами), парадоксально пытается (и «добивается») «через Бахтина» же реабилитировать и даже «возвысить»... формальную школу, которую он некогда развенчивал.

для тех лет почти невозможное — создать «устную историю» отечественной культуры первой половины XX века. Многое он сделал (другие его редкостные интервью ждут публикации), многого не успел, жизнь его оборвалась в разгар этой работы в 1982 году. У него есть продолжатели, которые бережно относятся к свершенному Дувакиным. Именно сотрудникам отдела фонодокументов В. Ф. Тейдер и М. В. Радзишевской, их преданности, их любви к своему делу, их профессионализму мы обязаны тем, что живой голос и устное слово М. М. Бахтина сейчас вошли в культурный обиход. Высокий уровень этой публикации обеспечен и умной работой редактора журнала Н. И. Дубровиной, и компетентностью консультанта и автора примечаний С. Г. Бочарова (в некоторых разделах совместно с другими специалистами), а также участием А. Н. Перфильева, предоставившего редкие семейные фотографии Бахтиных. Повторю сказанное выше: своего Эккермана у Бахтина не нашлось, это утрата, но и сделанное Дувакиным — подвиг (вспомним и распространную в те годы «магнитофонобоязнь»; да и «бахтинобоязнь» не надо сбрасывать со счетов). Вопросы прямые, бесстрашные и умные. Ответы Бахтина подробны, открыты, искренни. Информация «о времени и о себе» в беседах огромна, ее предстоит всерьез осваивать и специалистам, и широкому читателю. Первое же впечатление таково: «несерьезный» Бахтин прост, порой едко остроумен (так и доносится отголосок прежнего «карнавального» отношения к жизни), но и беззлобен, никого не осуждает, он человечен, даже кроток. Так и хочется сказать, вслушиваясь в его речь: «Блаженны чистые сердцем...» Вслушиваться в этот голос придется еще не однажды, потому что, несмотря на открытость этого диалога, а может быть, именно благодаря ей, — в нем есть какая-то тайна. Как и в трудах мыслителя в целом. В сфере мысли Бахтин унес с собой тайну, и мы, живущие, теперь разгадываем ее.

А. КУЗНЕЦОВ.

*

ПАМЯТНИК КОЛЫШКО-СЕРЕНЬКОМУ

Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический словарь. Том 1. М. «Советская Энциклопедия». 1989; тома 2, 3. М. «Большая Российская Энциклопедия» — «Флинт». 1992, 1994.

«Н ам стоять почти что рядом. / Вы на Пе, а я на эМ» — кто не помнит этих гордых строк Владимира Маяковского, обращенных к Пушкину. Я все думал: когда же наступит за них расплата, за это без спроса «подселение» в посмертную память, в загробное пространство? Ну подыграли московские архитекторы В. В., поставили его памятник «почти что рядом». Но ведь недаром символисты именовали Пушкина полубогом, недаром Ходасевич назвал речь о нем «Колелебный треножник», да и в знаменитом блоковском определении «веселое имя Пушкин» вместо веселости сквозит мистический холодок. «Потише, молодой человек, ты не со своим братом связался», — скалит зубы мертвец Варфоломей в повести «некоего Титова» на сюжет, подаренный поэтом (В. Ф. Ходасевич, «Петербургские повести Пушкина»).

Расплата оказалась по-пушкински легкой, простодушной. Не грянул гром, не сверкнула молния. Но просто в словаре «Русские писатели. 1800 — 1917», в третьем томе «К — М», Маяковский стоит не «почти что», а именно в том соседстве, которое заслужил. До Пушкина еще эвон сколько имен! Даст Бог, в четвертый том попадет, и стоять ему рядом не с В. В., а, очевидно, со своим дядей, Василием Львовичем Пушкиным.

А вот — соседи Маяковского. «МАШКОВ, Мошков Петр Алексеевич <ок. 1807 — 1(13).7.1849>, поэт, беллетрист. Из дворян Петерб. губ. <...> М. заявил о себе на лит. поприще как поэт-романтик. Его поэмы «Разбойник» (СПб., 1828), «Могила на берегах Маджоре», «Ночь мщения» (обе — СПб., 1829), варьирующие сюжетные схемы, композиц. приемы, стиховые формулы из арсенала рус. массовой «байронической» поэмы, относятся к самым характерным подража-

ниям «южным» поэмам А. С. Пушкина (Жирмунский, с. 230) < > Отзывы критики на поэмы М. <...> были неодобрительными: подчеркивался их эпигонский характер, автор причислялся к ряду «копиистов литературных» и поэтов «четырнадцатого класса...» И, с другого края, — МЕДВЕДЕВ Лев Михайлович <2(14).1.1865, г. Ефремов Тульской губ. — 21.6(4.7).1904, Москва>, поэт, переводчик, дет. писатель. Из дворян. <...> В 1887 исключен из ун-та за хранение нелегальной лит-ры и за участие в оппозиц. группе студентов, выслан на 2 года в Тифлис под гласный надзор полиции <...> В 80-е гг. сотрудничал в «Будильнике», «Рус. сатирич. листке», «Развлечении», «Гусяре», «Волне»; с 1884 — в «Осколках», куда его рекомендовал А. П. Чехов, несмотря на то, что в одном из писем назвал его «махоньким, плюгавеньким поэтиком» <...> М. принадлежал к эпигонам некрасовской школы <...> интонации «музы мести и печали» и верность «гражданской лире» (БВед, 1904, 23 июня, утр. вып., с. 3) соседствовали с поэтич. клише («солнце выпрених идей», «ненависть шипит змеєю ядовитою» и т. д.)».

И здесь я ловлю себя на том, что забыл о Маяковском¹ и его расплате, а начинаю «всматриваться в том и его строение» (В. В. Розанов). Филологическая ценность словаря так очевидна, что и толковать нечего. О тяжелейшей ситуации, в которой оказалось издательство «Большая Российская Энциклопедия», не стоит говорить лишних слов (об этом много и горячо писал Андрей Немзер в газете «Сегодня»; он же страстно пытался вбить в мозги власть предержавших простую вещь: можно временно закрыть журнал и открыть его вновь, можно остановить на год завод и пустить его снова, но нельзя временно прекратить дело, которое строится на сложнейшей системе преемственных отношений поколений филологов и библиографов. Здесь в масштабе целой страны происходит культурная катастрофа, последствия которой непоправимы).

Но не будем о грустном. Ведь три тома все же вышли. Значит, как на сей раз правильно заметил Маяковский, «это кому-нибудь нужно». Подержим их в руках, оценим их тяжесть и посмотрим, что же мы приобрели. Справочник? Да, конечно. Теперь можно не сомневаться, например, что Василиск Гнедов, «<наст. имя Василий Иванович; 6(18).3.1890, слобода Маньково-Березовская Донецкого округа области Войска Донского — 5.11.1978, Херсон>», — футурист, автор скандальной «Поэмы конца», состоящей из названия и чистой страницы, лицо в нашей литературе такое же реальное, как и переводчик «Илиады» Ник. Ив. Гнедич; а между тем еще несколько лет назад этот факт стоял под вопросом, и я лично видел людей, которые с искренним негодованием заявляли, что книжечка онго Гнедова да еще и Василиска, переизданная в Ейске тамошними поклонниками русского авангарда, есть не что иное, как «наглая мистификация постмодернистов».

¹ Статья о Маяковском, написанная Л. А. Селезевым, в целом хороша, хотя и без блеска, возможного и в жестких рамках словарной поэтики (не говоря уж о статьях Вадима Вацура и Сергея Бочарова; пользуясь случаем, хочу обратить внимание на статью В. П. Смирнова о Бунине в первом томе. Бросается в глаза, что даже для словаря статья написана суховато. Путь Бунина описан нарочито сдержанно, без всякой попытки намек на «правильное» объяснение того или иного жизненного и творческого узла. Автор избежал соблазна и тем самым подстрелил двух зайцев: вышла добротная, «вечная» словарная статья и вдобавок стилистически «играющая» именно в бунинском поэтическом контексте) На мой взгляд, Л. Селезев слишком педалирует богоборческие мотивы поэта, которые и детям понятны. Помимо прочего здесь ощущается некий «оправдательный» пафос: богоборчество как объяснение многих, слишком многих поэтических претензий Маяковского, иногда просто безвкусных, а иногда и постыдных (например, называть монашек на корабле воронами и спрашивать, почему они не летают, — это, по-моему, и безвкусно и постыдно; см. стихотворение «Двадцать шесть монахинь»). Но богоборчество не является чем-то выделяющим поэта в контексте начала века и 20-х годов. Это понятие равно приложимо и к Горькому, и к Л. Андрееву, и к Цветаевой, и к другим, а значит, является самостоятельной проблемой эпохи. Не надо бы также интриговать читателей фразами типа: «Не исключено, что М., находившийся последние годы жизни в пост. поле наблюдения и общения с различного ранга чинами ГПУ (от всесильного Я. С. Агранова до личного «приятеля» В. М. Горожанина), мог стать жертвой какой-то, до сих пор скрытой от нас, полит. интриги». Это не словарный стиль. Зачем не написать проще: «Обстоятельства гибели Маяковского пока не вполне ясны».

Впрочем, Гнедов все же имел скандальный успех, общался с видными футуристами из «Гилеи», и сейчас где-то в Ейске, Тамбове, Екатеринбурге остались его пламенные продолжатели и душеприказчики.

Но вот воскрешение такого имени, как «КОЛЫШКО Иосиф (Иосиф-Адам-Ярослав) Иосифович <27.6(9.7).1861 — 1938>, прозаик, драматург, публицист, критик, журналист», — это настоящее лакомство для историка-филолога и просто для людей, обладающих вкусом к истории. С этим Колышко (или, как написали бы в старые годы, «этим Колышкой»), печатавшим в журнале «Гражданин» князя В. П. Мещерского свои «Маленькие мысли» под псевдонимом Серенький, мне довелось встретиться во время аспирантской работы. Собственно, мне были нужны его отзывы о Горьком и Чехове, и вот, заглянув в «Маленькие мысли», я вчитался и, как это часто бывает, забыл о главной цели, все «всматривался в том и его строение».

Чем-то его статьи выделялись на фоне остальной публицистики эпохи «рубежа», как и, несомненно, журнал князя Мещерского выделялся на фоне иных периодических изданий консервативного толка. В самом консерватизме Колышко был какой-то «молчалинский» мотивчик. «Умеренность и аккуратность». В сравнении с ним, например, Михаил Осипович Меньшиков, видный и талантливый консерватор, впоследствии казненный большевиками, выглядел настоящим Фамусовым, не стесняющимся в выражениях и проч. Например, о Горьком Меньшиков писал просто: вредное явление, беспочвенный босяк-интеллигент, не из народа, провокатор революции, а впрочем, талантливый, но тем хуже (статьи «Красивый цинизм» и «Вожди народные» в «Книжках „Недели“»). Кстати, Горький обратил внимание на Меньшикова и назвал его врагом по сердцу.

В «Маленьких мыслях» Колышко-Серенького отражался скорее общий, обывательский страх перед «чрезмерностью» эпохи. Зачем все эти Марксы, Ницше, Ломброзо, Шопенгауэры, декаденты и прочее? Даже Чехова он обвинил в чрезмерном идеологизме: «...не мстит ли он жизни за перенесенные невзгоды? Но жизнь сильнее и умнее Чехова».

Можно смеяться над страхами Колышко, которые отчасти были, конечно, чисто журналистским приемом, как и явно эпатажный псевдоним. Но инертная обывательская масса тоже обладает правом голоса, так как она не только не всегда не права, но и, наоборот, права почти всегда, являясь надежным килем государственного корабля, не позволяющим ему во время общественного шторма раскачаться и затонуть.

И каким же потрясением было выяснить из словарной статьи А. Чанцева, что Иосиф-Адам-Ярослав Колышко на самом деле оказался авантюристом по натуре, типичным представителем так называемого бескорыстного авантюризма. «В дек. 1894 был вынужден оставить службу из-за подозрения в вымогательстве взятки. Начатое расследование не дало ясных результатов, однако в чиновном Петербурге К. приобрел репутацию махинатора <...>, усугублявшуюся его членством в правлении неск. акционерных обществ». Тайное доверенное лицо С. Ю. Витте («Для Вас я был то Мольеровской кухаркой, то ходатаем, то гончей в охоте за Вашими врагами, то бойким пером журналиста», — писал Кочышко в своих эмигрантских мемуарах), он, по выражению самого Витте, всегда стремился играть «роль человека, как будто бы имеющего большое влияние», и даже в 1916 году вел какие-то сепаратные переговоры о мире с Германией от лица неизвестно кого. В жизни Колышко много темного. Это была характерно декадентская фигура начала века, вырвавшаяся неизлечимый внутренний распад эпохи. Для тех, кто желает понять это время, пример Колышко-Серенького не менее значителен, чем пример самых знаменитых тогда «властителей дум».

Основная ценность словаря «Русские писатели» заключается именно в расширении прошлого историко-литературного пространства. Его художественный принцип сильно напоминает гоголевский прием, подмеченный Набоковым: центр тяжести лежит не на главных, а на «периферийных» персонажах, на тех, кто в обычных произведениях лишь поминается вскользь и только в гоголевских произведениях составляет особый мир, делая его поэтическое пространство почти безмерным. Чтение словаря «Русские писатели» — прежде всего захватывающее занятие. Настоящий художественный текст с великим множеством лиц и сюжетов, ко-

торые произвольным образом пересекаются, вступают в странные отношения и даже разговоры и в целом дают неповторимое ощущение феноменального богатства жизни.

Нам есть что вспомнить. А ведь еще остался XX век!

Павел БАСИНСКИЙ.



ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЧУВСТВА

Н. Эйдельман. Из потаенной истории России XVIII — XIX веков. М. «Высшая школа». 1993. 493 стр.

Натан Яковлевич Эйдельман стал легендой при жизни. Люди, хоть как-то интересовавшиеся отечественной историей (а таких во все времена немало), не только азартно читали его сочинения, но и видели за ними авторское лицо — открытое, волевое, счастливое. Знакомство с Эйдельманом казалось делом естественным; и не только потому, что слухи о коммуникабельности ученого распространялись так же быстро, как известия о его новых работах (порой еще не достигших печати) или остроты, приписываемые Н. Я. всезнающей молвой. Исходным пунктом были многочисленные книги и статьи Эйдельмана.

Заметим, что на телеэкране Н. Я. появлялся совсем не часто. Когда телевидение одарило публику беседами Ю. М. Лотмана о русской культуре XVIII — начала XIX столетия, ответная реакция сложилась из радости и удивления: вот, оказывается, какой ученый живет рядом с нами! (Говорю, разумеется, не о профессиональных гуманитариях.) Рискну предположить, что сходный цикл передач Эйдельмана имел бы не меньший успех, но изумления не вызвал бы. Восприняли бы как должное. Правда, Н. Я. отличался неукротимой просветительской страстью и редко отказывался от встреч с читателями, творческих вечеров, выступлений в клубах или НИИ. Помножим лекторский азарт на любовь к путешествиям (при этом дорога в чужие страны открылась Эйдельману очень поздно), и аудитория существенно расширится. И все же (пределы очевидны: Эйдельман не только лекторствовал и странствовал, когда-то он и в архивах сидел, когда-то и книги писал) окажется несопоставимой с другой — читательской.

Эйдельман — это прежде всего писательская интонация. Короткость, интимность в отношениях автора с ушедшими, но живыми героями его штудий обуславливала сходный тип контакта с читателем, который неизбежно начинал числить в своих добрых знакомцах не только Лунина, Пущина или Герцена, но и Н. Я. Путь к герою, процесс разгадывания очередной тайны был по-своему не менее важен, чем конечный результат, готовый ответ на старинный вопрос, психологически достоверный портрет или реконструкция факта в непреложной точности. Распутывая сюжет о смерти царевича Алексея (статья «Розыскное дело», 1971; первая в рецензируемом сборнике), Эйдельман убедил читателя: жуткое письмо Александра Румянцева, повествующее о том, как доверенные лица Петра своими руками задушили осужденного царевича, — квалифицированная подделка.

Читателя-то историк к выводу подвел, но сам, кажется, принять его не смог. Или не захотел. «А вдруг с водой выплескивается и ребенок... Нет ли в этом странном компилированном собрании хоть крупинцы истинных петровских тайн?» — спрашивает сам себя (не нас же!) Эйдельман.

Следующие далее рассуждения вовсе не строги, о чем Н. Я. не забудет сообщить читателю. В силу, однако, вступают разом две мощных методологических тенденции. Резонные соображения о специфике исторического мышления, еще не ставшего строго научным, подводят к невыговоренной, но вгадываемой пословице о дыме, которого без огня не бывает. Тут и актуализируется открывающий статью по-эйдельмановски колоритный рассказ об Александре Румянцеве, подозреваемом в авторстве письма, а стало быть — в убийстве царевича. Убивал? Дело темное. Но возвращение-то злосчастного мученика организовал, но лгать-то Алексею лгал (обещал государю прощение), но после этих роковых контактов с обреченным

приговор ему подписал (впрочем, как и Петр Андреевич Толстой, другой удачливый охотник за царевичем). Читатель, еще не познакомившись с проблематичным письмом и тем более с сомнениями историка, знает: Румянцев, прикажи ему Петр, мог бы царевича утробить. «Перед нами российский д'Артаньян <...> сходства много (вплоть до чина), главных же отличий два: Румянцев больше ум ел, чем д'Артаньян, ибо в России 1700-х годов требовался весьма культурный д'Артаньян; Румянцев больше и сполнял: гасконец, получив некоторые деликатные распоряжения, которые петербургский капитан Румянцев принимал с улыбкой, непременно сломал бы шпагу и сам сдал бы себя коменданту крепости Бастилия» (разрядка Н. Я. Эйдельмана. — *А. Н.*)¹. Колебания автора (и читателя) в оценке документа сопряжены с любимой идеей Эйдельмана — идеей альтернативности истории. Возможное (если оно действительно возможно, если коренится в достоверном) не менее существенно, чем случившееся.

Поразительно интересный эксперимент Эйдельмана по воссозданию заведомо не бывшего (хроника событий 1826 года после победы декабристов в книге «Апостол Сергей»²) качественно не отличался от его всегдашних опытов по дешифровке случайно или сознательно замаскированных, утаенных событий. Обозначить вероятность новой версии вовсе не значит отменить старую, общепринятую. Эйдельман видел потенциального историка во всяком мыслящем читателе, читатель же, поддавшись магии доверительного разговора, был готов к вхождению в эту труднейшую роль. Соблазн легкости компенсировался доброй иронией, иногда чуть слышной, но всегда присутствовавшей в тексте: на читателя возлагался долг — принять неокончателность решения, возможность его будущих корректировок. Между прочим, с этой тяжестью далеко не всегда справляются и профессионалы.

Здесь-то обнаруживается второй методологический посыл статьи «Розыскное дело». Постановка задачи, неотделимая от тщательного описания ее «условий» (то есть исторических обстоятельств), признавалась осмысленной и в том случае, когда задача оставалась нерешенной. Завершая статью, Эйдельман спрашивал: «Зачем же было ее (историю без очевидного вывода. — *А. Н.*) рассказывать?» И тут же с физически осязаемой ораторской мощью отвечал: «Да затем, во-первых, чтоб показать, как порою (если бы порою. — *А. Н.*) мучительно трудно продвигаться историкам даже по сравнительно недавним столетиям; затем, чтобы напомнить об исторических тайнах (а следствие, суд и смерть Алексея еще во многом таинственны); рассказать о жизни этой тайны в сознании следующих поколений, о том, как и во времена Вольтера, и при Пушкине, и в 1860-х годах дело Алексея было предметом жестких дискуссий, связанных с самой современной темой, темой важных размышлений о том, как должна писаться история, и о том, когда же события прошлого выносятся на „суд последней инстанции“».

Великолепная кода актуализирует два серьезных вопроса, мимо которых нельзя пройти и при чтении других работ Эйдельмана. Во-первых, это проблема публичности подцензурных исторических исследований, их аллюзионности. Во-вторых, это проблема реальности исторического факта и, соответственно, познаваемости прошлого. В последние годы оба вопроса (необязательно в применении к творчеству Эйдельмана) обсуждаются достаточно темпераментно, если не сказать — экзальтированно. Думается, что мнение самого Н. Я., высказанное в новых общественных условиях, могло бы внести в наши излишне болезненные споры если не взыскуемую ясность, то хотя бы перспективный намек. Увы, мы можем лишь вчитываться в тексты, создававшиеся в условиях несвободы, и, по мере раздумия, различать уступки официозу, нормы общеинтеллигентского сознания и собственно мысль Эйдельмана.

¹ Различия между гасконцем и Румянцевым мотивированы, на мой взгляд, не столько различием социокультурных ситуаций Франции Людовиков и петровской России, сколько тем, что д'Артаньян (кстати, отправившийся к презираемому Кромвелю и арестовавший благородного Фуке) обретался все же в пространстве романа, а не истории.

² В предисловии к книге друг Эйдельмана историк А. Г. Тартаковский свидетельствует о том, что первоначально сюжет этот развивался гораздо подробнее, но был сокращен и несколько засушен по настоянию издательства. Ср. также мои соображения в статье «Несбывшееся. Альтернативы истории в зеркале словесности» («Новый мир», 1993, № 4)

Первый сюжет точно охарактеризован в очерке М. О. Чудаковой: «Интенсивно формировался новый для советской печати (речь идет о 60 — 70-х годах. — А. Н.) эзопов язык. И автором, и читателем под царской властью подразумевалась советская, но граница этого подразумеваемого была неопределенной, зыбкой. Таким образом, важнейшая операция расподобления царизма с тоталитаризмом проделана не была, что постепенно повело к заболачиванию общественного исторического сознания, к затемнению ответов на опорные вопросы»³. Все так, однако стоят внимания не только несомненная искренность Эйдельмана в симпатиях к декабристам или Герцену, но и смысловая содержательность его приязни.

В той же статье М. О. Чудакова пересказывает предположение не названного коллеги о том, что в другую эпоху Эйдельман «писал бы не о Сергее Муравьеве-Апостоле, а, скажем, о Пестеле, о глубине корней государственных утопий в отечественной истории». Очень вероятно. Но не менее важно другое: о Пестеле Эйдельман подробно не писал. А в статье «Из предыстории декабризма. Об одном эпизоде в «Записках» Н. И. Лорера» (1981; в сборнике печатается под названием «Пестель и Пален») старательно расподоблял организатора удавшегося цареубийства и заговорщика следующей генерации. Дело еще и в том, что Сергей Муравьев-Апостол, Пущин, Владимир Раевский по духу своему не совсем революционеры, не только революционеры. Даже с изъявлявшим готовность на цареубийство Луниным все обстоит не так уж просто: убить Александра I, ежедневно без охраны совершавшего *le tour imprégial*, можно было и без тщательной подготовки. Намерение не свершение — здесь для Эйдельмана сохраняли весомость соображения Вяземского поры следствия по делу 14 декабря. Аллюзии возникали почти помимо воли автора, верившего в нравственную силу своих героев, непрестанно сопрягавшего их мирочувствие с собственным.

Может ли быть иначе? Вероятно, нет. И не только в советских условиях. Аллюзионность не всегда жестко противостоит историзму. Когда литераторы декабристского толка заставляли древних римлян или вольных новгородцев высказывать новейшие политические идеи, они (вопреки расхожему «историзирующему» мнению) не переставали ощущать дистанцию меж собой и своими героями. То, что люди разных эпох различны, не было открытием Пушкина или, скажем, Шпенглера. То, что люди всегда остаются людьми, идея не менее почтенная. Самая наивная аллюзия — знак исторического единства, связи потомков с предками. Не слишком симпатичная мне идея цикличности, повторяемости ситуаций, берет начало в том же чувстве смыслового единства истории (особенно национальной).

Издержки аллюзионного мышления понятны. Преодолеваются они могут, кажется, только одним путем: вниманием к конкретике судеб, идей, событий, то есть тем самым объемным видением, что характеризует большинство работ Эйдельмана. Кстати, можно только удивляться тому, с каким тщанием несомненно сочувствующий подследственным декабристам историк (в «Лунине» силен автобиографический импульс, память о многочасовом допросе в КГБ) дифференцирует членов следственной комиссии и судей, фиксирует их значимые различия. Объемность зрения невозможна без той тяги к альтернативным построениям, что была отмечена выше.

Здесь, между прочим, коренится один из источников чисто личной эйдельмановской неприязни к власти предрержавшим Российской империи, всегда предпочитавшим удобную и торжественную легенду шероховатой действительности. Государство и государи ревниво охраняли свои тайны, будь то Петрово сыноубийство (и чудовищная цена его преобразования), заговоры XVIII столетия или восстание декабристов. В этом плане весьма показательна статья с характерным заголовком «Не было — было» (1967), где демистифицируется официальная версия подавления холерного бунта в военных поселениях. Разумеется, власть просто не всегда может говорить правду: представим на миг (ход вполне эйдельмановский), что случилось

³ Чудакова М., «О Натане Эйдельмане. Еще не вспоминая — помня» («Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения». Рига. 1990, стр. 324). Статья М. О. Чудаковой счастливо сочетает черты обстоятельного исследования и сердечного мемуара. Без ее учета, равно как и без учета работ академика Н. Н. Покровского и А. Г. Тартаковского, разговор об Эйдельмане — историке, писателе и человеке — неммыслим.

бы со страной, обнаружив Екатерину записку Орлова о смерти Петра III, признался Александр публично в событиях 11 марта 1801 года. Но — потому и выразителен холерный сюжет — превращать трагедию в апофеоз императора, оставлять без награды того офицера (полковника Николая Панаева), чьи мужество, разум и воля действительно помогли избежать катастрофы, это не только лицемерие и тщеславие, но и крайняя недалекость. Благостный характер официальной российской истории свидетельствовал о внутреннем недуге государства. В отличие от Герцена зрелый Пушкин не был революционером, однако пафос рассекречивания прошлого, уяснения его уроков был ему присущ не меньше, чем лондонскому пропагатору, издавшему «записки» Екатерины II, «Путешествие из Петербурга в Москву», «О повреждении нравов в России» князя Щербатова и массу иных потаенных материалов⁴.

Эйдельман не мог принять однозначной идеализирующей «императорской» истории. Потому и ценил вольное слово легенды, потому и восхищался Карамзиным, Пушкиным, Герценом и буквально любым историком (давно умершим или современным), что вводил в оборот новые факты или концепции (отсюда, а не только от редкой доброжелательности явно завышенные оценки некоторых советских исследований), потому и превращал обычно скучную и служебную «историю вопроса» в увлекательнейшие портретные очерки. Он не всегда учитывал то обстоятельство, что «оппозиционная» (в самом широком смысле) историческая мысль XIX века тоже строила свой влиятельный «антимиф». Так, антипатия к Николаю I, разумеется, заданная мощной традицией (Герцен, Толстой), мешала увидеть в этом императоре фигуру масштабную и поистине трагическую. Однако вписаться в логику «антимифа» (по-советски или по-антисоветски) Эйдельман не мог: реальность, истинная альтернативность, внутренняя конфликтность как личности, так и факта были его главными предметами.

Здесь мы упираемся во второй модный сюжет. Казалось бы, пристрастие к вариативным построениям, внимание к разным «правдам», личностный подход к истории прямиком ведут к релятивизму, к иронической игре с мерцающим прошлым, что никогда не раскроет нам своих тайн и, стало быть, ничему не научит. Всякий, кто читал Эйдельмана, мгновенно скажет: эта сказка не про него. Оттого, что истина многомерна и труднодостижима, она не перестает быть истиной. Оттого, что нечто не может быть документировано (сейчас! Эйдельман непременно сделал бы такую оговорку), оно не становится химерой. Все, что было, — было. Отсюда жадность в архивных изысканиях: Эйдельману были прямо-таки необходимы конституция Фонвизина — Панина, мемуары старика Муравьева-Апостола (отца декабристов) или тетрадь пушкинских вольных стихов, якобы собственноручно записанных поэтом для допрашивающего его в канун высылки из Петербурга генерала Милорадовича. Прекрасно зная, что рукописи горят (и еще как горят), он по-человечески не мог с этим примириться. Отсюда вера в собственную интуицию, позволяющая рискованные «беллетристические» ходы в биографических книгах. Отсюда же, как это ни парадоксально, любовь к рассказу о том, как некий результат был добыт. Или не добыт. Столько сил (моих, а тем более великих предшественников) не может быть потрачено впустую: вспомним цитированную выше концовку статьи о деле царевича Алексея. Человек (любой! — и это для Эйдельмана очень важно) одарен страстью к осмыслению прошлого: это родовое свойство не может быть бессмысленным.

Сказанное позволяет оценить сборник, составленный А. Г. Тартаковским. Вошедшие в него статьи разноплановы: иные писаны для специальных изданий,

⁴ Дух государственно-идеологической секретности, оскорбительной не только для историка, но и для обычного гражданина, воспринимался Эйдельманом как печальная российская константа. В одном из немногих разговоров с автором этих строк Н. Я. с горечью перечислял книги, укрываемые от читателя как до, так и после 1917 года: те же мемуары Екатерины, тот же Щербатов, «Философические письма» Чаадаева, богословские труды Хомякова, иные из работ Владимира Соловьева... Вероятно, позднее эти размышления были обнаружены; мы беседовали за несколько лет до «перестройки». Следует отметить, что Н. Я. был убежден: рано или поздно все будет издано — надо только постараться, чтобы рано. И ведь издал Щербатова в факсимильном герценовском конволюте с «Путешествием...» Радищева — в 1983 году.

иные — для популярных; иные базируются преимущественно на собственных разысканиях, иные — творчески суммируют известное, бросая на него неповторимый эйдельмановский свет; иные связаны с книгами написанными, иные — с оставшимися в замыслах. Корреляция между малой и большой формами прослеживается почти всегда: так, контуры книги о Пугачеве видны в великолепном очерке «17 сентября 1773 года» (1984) — в предисловии А. Г. Тартаковский приводит список исторических лиц, о которых Н. Я. собирался когда-либо написать подробно: открывается он Пугачевым. Тем любопытнее ощутимое несходство книг и статей (сейчас я не касаюсь пушкинистики и герценоведения, оставшихся за пределами сборника). В книгах (не только «Лунине», «Апостоле Сергее», «Большом Жанно», «Последнем летописце» с их специфической жанровой задачей, но отчасти и в «Грани веков» или «Мгновенье славы настает») сильна энергия завершенности, они организованны, сюжетны⁵. В статьях «материал» решительно превалирует над построением: явлена кипящая масса событий и рожденных ими догадок, недоумений, предположений. Они «лабораторнее» и, если угодно, спонтаннее книг Эйдельмана. Другое дело, что сама спонтанность подобных работ была во многом сознательной, вовлекающей аудиторию в соразмышление, воспитывающей в читателе врожденное (но столь часто загубленное) чувство истории. Собранные вместе статьи (самая ранняя — новомирская рецензия 1967 года на издание дневника А. А. Половцева; самая поздняя — «Вослед Радишеву», 1989), тематически охватывающие огромный временной интервал от Петра I до Александра III, кроме прочего, свидетельствуют о неизменном желании Эйдельмана сделать своих читателей, то есть нас, людьми исторически мыслящими. Для него это значило: и людьми истории.

Еще два слова вроде бы не совсем по теме. В последние годы появилось несколько замечательно интересных исследований, посвященных тем же сюжетам, что серьезно занимали Эйдельмана: «Меж рабством и свободой» Я. А. Гордина и «7 ноября» А. М. Пескова, «Неизвестный Барклай» А. Г. Тартаковского и «Оппозиция Его Величества» М. В. Давыдова. Читая эти работы друзей и учеников Н. Я., я все время пытался угадать его реакцию, его контраргументы, его похвалы, его развитие темы. Почти уверен, что авторы испытывали те же чувства — только еще напряженнее. Уверен твердо: так будет не раз.

Андрей НЕМЗЕР.

⁵ Яркое исключение — посмертно вышедший «Первый декабрист». Владимир Раевский в отличие от Лунина или Пушкина плохо ассоциируется с автором. Нельзя сказать, что личность и судьба этого загадочного (и, мягко говоря, сложного) человека прописаны с эйдельмановской пластичностью и убедительностью. Куда интереснее смотрятся современники Раевского, а особенно исследователи его жизни и деятельности (П. Е. Шеголев, М. К. Азадовский, Ю. Г. Оксман), те, кто до Эйдельмана разгадывал тайну «первого декабриста». Кажется, в этой книге Н. Я. примеривался к новому (и жизненно важному для него) жанру — свободному размышлению «по поводу истории».

Читайте в следующем номере
статью Доры Штурман «После Катастрофы
(По страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«ТВОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО...»

В эссе Александра Кушнера «Средь детей ничтожных мира...» («Новый мир», 1994, № 10) много высказано о русских поэтах такого, что можно обсуждать и оспаривать. Но прежде всего наше внимание остановил пассаж, посвященный пушкинскому «Пророку»:

«Увы, судьба едва ли не всех поэтических пророчеств, тем более «спиритических предсказаний», печальна: сбыться им не суждено. Пушкин, например, и не пророчествовал, а его «Пророк», сбивший всех с толку и так прославленный Достоевским, — замечательная библейская стилизация. Собственный голос Пушкина все-таки иной, чтобы услышать его, достаточно вспомнить написанное, может быть, за день до «Пророка» и на соседнем листе бумаги «Признание»: «Сказать ли вам мое несчастье, / Мою ревнивую печаль, / Когда гулять, порой в ненастье, / Вы собираетесь вдаль? / И ваши слезы в одиночку, / И речи в уголку вдвоем...» Не только пророчеств, здесь нет и никакого раскаленного глагола — есть живая, человеческая, естественная речь, что и было главным пушкинским достижением и открытием. Разумеется, не только «домашняя», но и «величаяя», «торжественная» интонация свойственна этому голосу, вот только в позу пророка обладатель этого голоса почти никогда не становился. А некоторые так и думают, что это Пушкин был «томим» «духовной жаждой» и пусть иносказательно, а все-таки «влачился» «в пустыне мрачной», пока не встретил шестикрылого серафима. Ничего себе «пустыня», если в ней только что были написаны «Признание» и «Под небом голубым страны своей родной...» да еще шла работа над „Евгением Онегиным“!» (разрядка наша. — И. С.).

Здесь что ни слово, то вызов всем, кто «сбит с толку» «Пророком», а среди них, кроме упомянутого Достоевского, были Вл. Соловьев, С. Булгаков, Вяч. Иванов, С. Франк, не говоря о фигурах более скромного масштаба — многочисленных пушкинистах-профессионалах, видевших в нем одно из центральных произведений пушкинской лирики и уж во всяком случае нечто большее библейской стилизации. В самом деле, что притягивало к «Пророку» великие умы, что побуждало Достоевского вновь и вновь к нему обращаться, чтением своим потрясая слушателей, что позволило, скажем, Вл. Ходасевичу утверждать: «в тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю грядущую судьбу русской литературы» («Окно на Невский. 1. Пушкин», 1922)? И впрямь след этой «стилизации» идет через всю нашу литературу, очевидным образом на нее воздействуя, и дело тут, конечно, не в стилизаторском мастерстве Пушкина — сила этих стихов в чем-то ином, с трудом поддающемся определению, но экзистенциально важном для художника.

Вопрос, затронутый А. Кушнером, и есть тот центральный вопрос, в который упиралось всегда понимание стихотворения, — кого, собственно, представил Пушкин в своем герое: далекого библейского пророка или поэта, принявшего пророческий дар? Иными словами, описал Пушкин вчуже перерождение некоего героя или запечатлел в библейских образах подлинное, пережитое им внутреннее событие? Первым Адам Мицкевич заговорил о «Пророке» как о свидетельстве перелома во внутренней жизни Пушкина — с ним соглашались впоследствии Вл. Соловьев, М. Гершензон, С. Булгаков, С. Франк, но не согласился Вяч. Иванов, писавший, что Пушкин не смешивал пути пророка и поэта, понимал различие этих путей как «двух разных видов божественного посланничества» («Два маяка», 1937). Не зря философы и пушкинисты тут ломали копыта: проблема «Пророка» далеко выходит за рамки отдельного стихотворения, о чем резко высказался С. Булгаков: «В зависимости от того, как мы уразумеваем «Пророка», мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина, и нам нечего ныне праздновать» («Жребий Пушкина», 1937). И более того: с «Пророком» связаны наши представления о художнике вообще, о сути и цене его призвания — здесь, как и во многом другом,

Пушкин задал основные парадигмы, по которым пошло развитие новой русской культуры.

Но острый вопрос о «Пророке» — стилизация или лирика — прояснится, если религиозно-философскую герменевтику поставить на историко-литературную почву, если вспомнить непростую историю создания стихотворения и стоящую за ним поэтическую традицию.

Давно известны свидетельства шести пушкинских друзей (С. А. Соболевского, П. В. Нащокина, А. В. Веневитинова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева и А. С. Хомякова), что Пушкин в 1826 году отозвался на казнь декабристов политическими стихами «в возмутительном духе», одно из которых называлось «Пророк». Пять из шести названных лиц утверждали, что первоначальный вариант «Пророка» заканчивался строфою:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на вые
К у.<бийще>(?) г.<нусному>(?) явись.

Четверостишие передается в различных версиях, однако его суть от этого не меняется. Пушкинисты потратили много слов по поводу того, что эта строфа плохо согласуется с духом и смыслом известного нам окончательного текста «Пророка». Это очевидно, но никак не может отменить единогласных показаний мемуаристов. Они почти все сходятся также в том, что Пушкин взял стихи с собой, когда его вели из ссылки на аудиенцию к Николаю I в сентябре 1826 года, и будто бы даже хотел их предъявить «убийце гнусному», но разговор пошел по-другому, царь произвел хорошее впечатление на Пушкина и заручился его поддержкой, а крамольные стихи остались в кармане сюртука.

Впоследствии «Пророк» был переделан и опубликован в 1828 году в «Московском вестнике». Автографы его не сохранились, кроме ранней редакции первой строки: «Великой скорбью томим» — так обозначено стихотворение в списке, составленном весной — летом 1827 года для нового собрания лирики. К этому моменту «Пророк» уже приобрел цензурный вид (раз Пушкин собрался его печатать), но эта первая строка донесла до нас его декабристскую предысторию. «Великая скорбь», предшествовавшая перерождению героя в пророка, конкретно биографически расшифровывается: это скорбь о казненных декабристах. Никаких других привязок у пушкинистов нет, а потому принято датировать начало работы над стихами 24 июля 1826 года — в тот день Пушкин узнал о казни. Итак, «Пророк» рождался как политическая лирика, как отклик на событие, потрясшее душу и повлекшее за собой глубокий внутренний перелом.

На трагедию декабристов Пушкин отозвался в их же стилистике, он перешел на их политический язык и создал вначале стихотворение в духе декабристской гражданской лирики. Образ поэта-пророка, ориентированный на ветхозаветный стиль или прямо связанный с определенным библейским источником, был у поэтов декабристского круга концентрированным выражением их представлений о гражданской миссии художника. Этот образ совмещал в себе три основных идеи: сакральность поэтического слова, долг говорить истину народам и властителям, готовность на личный подвиг, ценою которого дается право на проповедь (см., например, стихотворение К. Рылеева «Державин», 1822). На связь пушкинского «Пророка» с этой традицией указывали давно такие авторитеты, как Л. В. Пумпянский и Г. А. Гуковский, но в современных толкованиях она как-то игнорируется. Можно назвать ближайшие к Пушкину образцы декабристской поэзии, непосредственно на него повлиявшие: это стихотворение В. Кюхельбекера «Пророчество» (1822), которое Пушкин знал и ругал, но с которым тем не менее «Пророк» содержит прямые переклички (не потому ли в одной из записей Пушкин назвал свое стихотворение так же — «Пророчество?»), и ряд стихотворений Ф. Глинки начала 20-х годов, вошедших впоследствии в его сборник «Опыты священной поэзии» (1826), в частности «Пророк», «Глас пророка», «Призвание Исая». Глинка регулярно рифмует «пророка» с «пороком» — это была популярная рифма, отвечавшая представлению о поэте как обличителе зла, и главным образом — зла на троне. В первоначальном варианте «Пророка», насколько он нам известен, Пушкин идет в узком русле этой традиции и одновременно следует библейскому источнику в интерпретации образа. Как и Глинка, он берет сюжет из Исая, из начала 6-й главы, где пророк поведал, как Господь явился ему, преобразил и послал проповедовать

народу истину. Концовка, вызывавшая столько недоумений у пушкинистов, вовсе не странная выдумка Пушкина — она тоже predetermined и традицией библейского проретизма, и конкретно Книгой Исаяи. Географическая локализация проповеди героя, которая многим исследователям казалась неорганичной (например, замечательному пушкинисту Т. Г. Цявловской), объясняется не только политической подоплекой стихотворения, но и соответствует той роли, какую играют пророки в Ветхом Завете: их проповеди в основном лежали в области ближайшей истории еврейского народа и по большей части были обращены к его правителям. Пушкинский герой слышит Божье повеление явиться к «убийце гнусному» (по другому прочтению — к «царю губителю») «с вервием на вые». Такой экстравагантный способ проповеди навеян 20-й главой Книги Исаяи: там рассказано, как Господь повелел пророку сбросить одежды и ходить нагим и босым, чтобы наглядно продемонстрировать царю Езекии, к чему приведет война. Пушкин преломил этот эпизод в свете российских кровавых событий, но и мысли о своей собственной судьбе он видимо вложил в образ висельника — известно ведь, что после казни декабристов Пушкину не раз приходило в голову, что и его участь могла быть такой же: «И я бы мог как шут ви<сеть>...» А уж стихотворение «Пророк» в первоначальном варианте было совершенно самоубийственным: если Пушкин действительно собирался вручить его царю, то таким образом он присоединился бы к поступку декабристов и так или иначе разделил бы их судьбу.

До сих пор не было замечено, что апокрифическое четверостишие «Восстань, восстань, пророк России» восходит к тому же библейскому источнику, что и всем известный текст «Пророка». Этим устанавливается их связь как частей единого замысла и удостоверяются мемуарные свидетельства друзей Пушкина. Конечно, трудно это признать, трудно преодолеть инерцию привычного восприятия, да и нужно ли преодолевать ее? — ведь окончательный «Пророк», то «непостижное уму» стихотворение, которое не одного Достоевского потрясло своей лирической мощью, это стихотворение, по сути, мало имеет общего с грозной политической инвективой, первоначально вышедшей из-под пера Пушкина. Насколько нам сегодня известно, их тексты почти совпадают — и все же это совсем другие стихи. Мы напомнили их предысторию не для того, чтобы предложить политическую интерпретацию окончательного текста «Пророка», а для того только, чтобы прояснить вопрос, поднятый А. Кушнером: «Пророк» родился не как стилизация, проба библейского материала, — он родился как лирическое стихотворение, из подлинного внутреннего события, связанного с пережитой трагедией. Событие было столь интимным, глубоким и сильным, что потребовало прикровенной отстраняющей формы, — это вообще характерно для Пушкина, у которого личное чувство часто облекалось в форму перевода или стилизации, особенно в последние годы.

Но что позволило Пушкину так кардинально преобразовать стихи (изменив, видимо, лишь начало и концовку), что нам сегодня трудно поверить в их «политическое прошлое»? Все настолько не просто в «Пророке», что объявить его стилизацией кажется чуть ли не единственным выходом — ведь это снимает с нас ответственность понимания. Смысловые глубины стихотворения безграничны, и мы все не претендуем на то, чтобы исчерпать их, но один содержательный момент хотелось бы здесь обозначить. Большая часть 1825 года, вплоть до декабрьского восстания, прошла у Пушкина под знаком творческого роста и самоопределения по отношению к друзьям-радикалам. В его сознании обострилась альтернатива, требовавшая выбора: гражданское служение или служение поэта; подробнее об этом см. в нашей статье «Кто из богов мне возвратил...» в № 9 «Нового мира» за 1994 год. Там мы старались доказать, что Пушкин сознательно не поехал в Петербург в декабре 1825 года, поскольку выбрал творчество; но этот трудный выбор не мог быть сделан в одночасье, раз и навсегда. Казнь пяти декабристов и жестокий приговор другим участникам восстания, должно быть, вновь пробудили в нем гражданские чувства и определили то негодование, которое вложено в крамольную, исключенную впоследствии строфу «Пророка». Кажется, стихотворение изначально содержало в себе саму эту альтернативу, долго мучившую Пушкина: в его первом варианте поэтически оформлен декабристский путь и в то же время заложена потенция другого развития стихов и другого их понимания, более привычного для нас, — ведь уже в этой ранней редакции (предположительно зафиксированной в копии Шевырева) есть много «лишнего», не оправданного гражданской идеей. Это второе дно открылось в окончательном варианте «Пророка»: Пушкин оформил в нем свой выбор и свой путь, отличный от декабристского, — путь твор-

чества, освященного Небесами и имеющего не только гражданское, но общечеловеческое значение. «Великая скорбь» заменяется на «духовную жажду» (в Писании жажда метафорически выражает состояние удаленности от Бога), Россия и конкретно-исторические намеки исчезают из текста — его пространством оказывается весь космос, обозначенный крайними пределами, отчего совершенно меняются акценты, и в этой метаморфозе рождаются грандиозные стихи о богоданности слова, о поэзии как высшем служении и «тайном подвиге сердца» (Вл. Соловьев), о принятии смертного страдания ради права на «глагол», о полном перерождении поэта в горниле этого страдания, о силе богодухновенного слова, жгущего сердца.

Не стоит сомневаться в том, что Пушкин все это пережил, сами стихи тому аргументом — «таких строк нельзя *сочинить*» (С. Булгаков).

Александр Кушнер полагает, что «собственный голос Пушкина все-таки иной», ему кажется неправдоподобным, чтобы такая лирика создавалась рядом с шутивными стихами вроде «Признания», которое написано, «может быть, за день до «Пророка» и на соседнем листе бумаги» и в котором, по его мнению, звучит «собственный пушкинский голос». Это неточно фактически и, на наш взгляд, неверно по существу. «Признание» датируется очень широко и могло быть написано в любой момент двухлетнего пребывания Пушкина в Михайловском, значительно раньше «Пророка». Но главное не в этом. Главное в том, что таким суждением поэту отказано в важнейшем отличительном свойстве. Поэт, и тем более гениальный поэт, существует не в одномерном эмоциональном пространстве — он подключен сразу к целому миру, объем его души расширен до границ бытия, и его «собственный голос» способен откликаться «на всякий звук», на события и великие и ничтожные — все они происходят в его сердце. Ведь именно об этом говорится в «Пророке», герой которого «внял» одновременно «и неба содроганье, / И горный ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье». Сам Пушкин сполна наделен такой многомерностью, многообразием внутренней вселенной и прямо декларировал это свойство как непремненное для поэта:

Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены...

(«Гнедичу», 1832)

Да, таков, по Пушкину, «прямой поэт» (который, кстати, и в этом стихотворении отождествлен с библейским пророком), такова его душевная жизнь, что в ней на разных уровнях могут происходить одновременно различные события, порождающие несхожие стихи. И если в «Пророке» отражено событие глубинное и очень серьезное, то в «Признании» зафиксировано более поверхностное душевное движение, результат непосредственного и легкого соприкосновения поэта с действительностью. Но и там и там звучит «собственный голос» Пушкина.

И последнее наше соображение по поводу приведенного высказывания А. Кушнера. Он утверждает, что «главным пушкинским достижением и открытием» была «живая, человеческая, естественная речь». Нисколько не отрицая и не умаляя этого достижения, позволим себе усомниться: неужели действительно это главное в Пушкине, неужели именно это определяет его место в нашей жизни, в нашем культурном сознании? Пушкин в «Памятнике» уповал на «пиита», который, может быть, последним «в подлунном мире» сохранит способность понимать его. И вот сегодня истинный поэт так определяет и ограничивает значение Пушкина. Ну что ж, наверное, сегодня, как бывало и в другие периоды русской истории, понимание Пушкина соответствует уровню нашего самосознания и отражает духовное состояние общества. На ум приходят обращенные к Пушкину стихи А. Фета (из которых мы и позаимствовали название для нашей заметки): «Заслыша нашу речь, наш вавилонский крик, / Что в них нашел бы ты заветного, родного?»

Ирина СУРАТ.

БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ ПРОТИВ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА*

Последнее время в условиях трансформации советского режима усилиями преукрашивающихся коммунистов и их литературных приспешников расцвело уродливое явление национал-большевизма, суть которого заключается в стремлении представить порожденный большевистским переворотом преступный советский режим продолжателем и наследником разрушенной им исторической России, а социализм — национальным русским идеалом.

Одной из характерных черт этой отвратительной химеры являются попытки поставить на одну доску белых и красных, уравнивать их перед лицом истории, стереть разницу между теми, кто до последнего отстаивал Великую, Единую и Неделимую Россию, и теми, кто разрушал ее, намереваясь осуществить мировую революцию. При этом если одни прямо утверждают, что «и белые и красные сражались за Россию», то другие, отдавая на словах должное Белому движению, заявляют, что теперь никаких белых быть не может и посему русским патриотам следует объединиться с коммунистами и социалистами всех оттенков под знаменем национал-большевизма, который преподносится в виде некоего «третьего пути».

В российской политической жизни появилось, кроме того, немало всякого рода самозванцев (в том числе и перебежчиков из антисоветского лагеря), которые, называя себя белыми, участвуют в совместных с коммунистами акциях, сотрудничают в их печати, создают так называемые объединенные оппозиции, декларируя от имени «белых» примирение с наследниками большевиков. В то же время в национал-большевистских изданиях называются самозванцами и подвергаются травле те публицисты, которые стоят на истинно белых позициях, непримиримо относясь ко всем проявлениям коммунизма и советчины.

Излишне объяснять, что смыслом существования и целью Белого движения всегда была борьба против установившегося в России в 1917 году режима, и вопрос о каких-либо контактах, а тем более союзах с его апологетами для человека белых убеждений просто не может стоять. Этот режим, исключающий восстановление исторической России, на всех этапах его существования представлял собой главное зло, в борьбе с которым легли тысячи русских патриотов как в 1917 — 1920 годах, так и в последующее время.

Вопреки навязываемому национал-большевиками и некоторыми их недалекими друзьями в эмигрантской среде мнению о том, что с коммунизмом и советским режимом окончательно покончено, а коммунисты, за исключением достойной жалости кучки стариков, отказались от своей идеологии и превратились в патриотов, мы видим, что власть осталась в основном в тех же руках и режим изменился лишь формально. Мало того что он официально ведет свою родословную не от исторической российской государственности, а от преступного советского режима, сохраняя даже его праздники и традиции, что до сих пор практически в полной неприкосновенности сохраняются по всей России памятники, музеи и прочие атрибуты почитания коммунистических преступников, что на всех уровнях власти (особенно в провинции) абсолютно преобладает все та же партийно-советская номенклатура, но, как показали октябрьские события прошлого года и выборы, этот режим трещит под натиском наиболее оголтелых красных сил, старающихся ликвидировать даже те немногие элементы наследия старой России, которые были введены после августа 1991 года.

Нравится это кому-то или нет, но белая эмиграция жива и остается верна заветам генерала Врангеля и традициям антисоветской борьбы. Носители советского наследия, сознавая уменьшающуюся привлекательность коммунистической идеологии, пытаются ныне предстать в облике поборников православия и даже монархизма, но никакие маски «обрусевших» коммунистов не могут ввести в заблуждение. Единственным критерием истинности и искренности антикоммунистических убеждений является активная борьба за полную декоммунизацию и десоветизацию страны, не допускающая примирительного отношения к нераскаившимся наслед-

* Мы публикуем (без каких-либо комментариев) это письмо, полагая, что для отечественного читателя важен и интересен сам факт существования в сознании части русской эмиграции Белой идеи в ее изначальном виде. — *Ред.*

никам погубителей России. Мы с удовлетворением видим, что в нынешней России все громче начинают заявлять о себе люди таких убеждений, а значит, наша борьба не была напрасной: Белая Идея не погибла, а пока она жива, не погибнет и надежда на возрождение России.

Барон Петр Петрович Врангель, сын Главнокомандующего Русской Армией генерала П. Н. Врангеля. Нью-Йорк, США.

Елена Петровна Мейендорф, урожденная Врангель, дочь Главнокомандующего Русской Армией. Нью-Йорк, США.

Вольноопределяющийся П. А. Павловский, ударник 2-го Корниловского полка, участник Каховки и других боев в Северной Таврии. Буэнос-Айрес, Аргентина.

Поручик В. В. Гранитов, начальник Русского Обще-Воинского Союза и Союза Чинов Русского Корпуса. Сан-Франциско, США.

Козьма Скворцов, юнкер Корниловского военного училища, подпоручик Дроздовского стрелкового полка, участник десанта на Таманском полуострове и обороны Крыма.

Брюссель, Бельгия.

И. А. Козлов, председатель Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов и Общества ветеранов в Сан-Франциско, США.

Кадет С. Н. Сосье, георгиевский кавалер, участник боев на Перекопе, обороны Крыма. Сан-Франциско, США.

Н. Н. Протопопов, атаман Терского казачьего войска в зарубежье, редактор журнала «Наши вести». Санта-Роза, США.

Поручик Е. А. Леонтьев, участник Белой борьбы в рядах Дальневосточной армии генерала М. К. Дитерихса. Сан-Франциско, США.

Г. Л. Лукин, сын белого офицера, начальник Организации Российских Юных Разведчиков в Южной Америке. Буэнос-Айрес, Аргентина.

Д. В. Орехов, сын бессменного редактора органа связи русского воинства за рубежом — журнала «Часовой» — капитана В. В. Орехова.

Подпоручик А. Б. Иордан, ответственный редактор журнала «Кадетская перекличка» Нью-Йорк, США.

Владимир Рудинский, писатель, лингвист и литературовед. Париж, Франция.

Подпоручик А. С. Политанский, председатель Союза Чинов Русского Корпуса в Сан-Пауло, Бразилия.

Князь К. В. Голицын, директор Толстовского Фонда. Нью-Йорк, США.

Проф. Н. В. Федоров, партизан белого отряда полковника Чернецова, участник разгрома конного корпуса Жлобы, донской атаман в зарубежье. Самтер, США.

Проф. Е. А. Вагин, редактор русского национального альманаха «Вече». Рим, Италия

Архитектор Г. М. Моисеев, войсковой старшина Всевеликого Войска Донского, издатель «Белого листка». Ланарк, Канада.

Д. В. Домрачев, представитель Русского Обще-Воинского Союза и вице-председатель Союза Чинов Русского Корпуса в Аргентине.

Князь А. П. Щербатов, историк, председатель Союза дворян. Нью-Йорк, США.

В. Н. Беляев, публицист, внук белого офицера. Сан-Франциско, США.

Инок Алексий (Белозеров), участник боев с большевиками в Сибири в составе отряда кадет Омского кадетского корпуса. Джорданвилль, США.

В. П. Метленко, вице-председатель Всеказачьего Союза в Калифорнии, сын белого офицера. Сан-Франциско, США.

В. В. Зарубин, журналист, внук белого офицера. Мюнхен, Германия.

Корнет Т. И. Киракосиан, участник борьбы с большевиками в рядах 5-го гусарского Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. Сан-Франциско, США.

А. Д. Шиленок, сын белого офицера, редактор журнала «Кубанец». Нью-Джерси, США.

Старший лейтенант Н. М. Седяревич, председатель Центра русских белых в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Подпоручик К. Ф. Синькевич, редактор журнала «Согласие». Лос-Анджелес, США.

Ирина Хольмстон-Смысловская, вдова командующего 1-й Русской Национальной Армией генерала Б. А. Хольмстон-Смысловского. Вадуц, княжество Лихтенштейн

П. Н. Колтыпин-Валловской, председатель Российской Зарубежной Экспертной Комиссии по расследованию судьбы останков царской семьи, сын белого офицера Хартфорд, США.

Есаул Е. А. Баев, сын первоходника, атаман Кубанского Казачьего Союза в Нью-Джерси, США.

Княжна Анна Оболенская, правнучка градоначальника С.-Петербурга. Вашингтон, США.

Андрей Раевский, воснепец, сотрудник газеты «Наша страна», внук белого офицера. Женева, Швейцария

А. Н. Истомин, казначей Комитета помощи русским военным инвалидам. Сан-Франциско, США.
 Полковник Е. Л. Магеровский, сын белого офицера. Нью-Йорк, США.
 Д-р Н. М. Зарудский, председатель Русского общества «Отрада». Нью-Йорк, США.
 Г. А. Федоров, начальник Российского Имперского Союза-Ордена, сын белого офицера. Джексон, США.
 Капитан Глеб Сперанский, председатель Кадетского объединения в Нью-Йорке, США.
 Мария Михайловна Борель-Бауман, внучка основателя Белого движения генерала М. В. Алексева. Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Михаил Михайлович Борель, внук основателя Белого движения генерала М. В. Алексева. Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Р. М. Гарькуша, вице-председатель благотворительной корпорации «Сеятель Русского Православного Зарубежья». Сан-Франциско, США.
 М. Б. Киреев, издатель еженедельной монархической газеты «Наша страна». Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Н. Л. Казанцев, журналист, внук белого офицера. Буэнос-Айрес, Аргентина.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

14 октября 1994 г.

В вашем журнале (№ 10/1994) опубликован материал Марка Кострова («Вариации переходного периода»), в котором на странице 117 автор представляет меня как «предпринимателя из Гамбурга», якобы позвонившего ему, Кострову, в 1993 году и предложившего «внедрять... вобблеры» в Германии.

Все это не соответствует действительности. Я журналист и руковожу московским бюро немецкого информационного журнала «ДЕР ШПИГЕЛЬ». Во-вторых, я никогда не разговаривал с господином Костровым по телефону, а просил сотрудников узнать, готов ли он к беседе со «ШПИГЕЛЕМ» о своем опыте. Он выразил готовность, но по разным причинам до сих пор разговора не состоялось.

По моим представлениям о профессиональной этике, газеты и журналы обязаны при публикации тщательно проверять приводимый автором фактический материал, особенно в том случае, когда (как это и сделано вашим журналом) в дополнение к ошибочным утверждениям публикуется еще и номер телефона вместе с просьбой ко всем, кто может, воспользоваться им, чтобы получить ответ на фантазии вашего автора.

С уважением

Йорг Р. Меттке.

«ДЕР ШПИГЕЛЬ».

Руководитель московского бюро.

КОРОТКО О КНИГАХ



АРИОН. Журнал поэзии. № 1, 2. М. Издательство Русанова. 1994. 128 стр.

Наступление на посттоталитарную Россию новейшей цивилизации вымывало все последние годы из ее культуры ежели не поэзию, то, так сказать, ее полиграфическую реализацию. На глубине — мучительно, не без сопротивления, на суетной поверхности — малозаметно кончались альманахи «Поэзия», «День Поэзии» и т. д., сокращались — и резко — тиражи лирических сборников, сам поэт, привыкший у нас чувствовать себя едва ли не гуру, теперь ощущает вакуум, дискомфорт.

Между тем в нашу социальную бурю все-таки родился ежеквартальный журнал поэзии «Арион». Значит, есть еще издательские мощности и культурные силы, способные работать на поэзию, а не на выгодный сбыт, притом работать достаточно вдумчиво и серьезно.

В издательском предуведомлении «Арион» удачно определен как «дневник событий отечественной поэзии». Декларируемая цель: «...отразить в лучших образцах все многообразие современной русской поэзии, запечатлеть ее движение. Мы не связаны ни с какой поэтической группой и не отдаем безоговорочного предпочтения той или иной творческой манере».

Олег Чухонцев и Лев Рубинштейн, Евгений Рейн и Сергей Стратановский, Олеся Николаева и Геннадий Айги, Лев Лосев и Ольга Седакова, Сергей Гандлевский и Кари Унксова мирно уживаются под в меру изящной оранжевой обложкой «Ариона». Рядом с именами известных, сложившихся поэтов представлена поэзия молодых. Обширной подборкой «Арион» открывает новое имя: Владимир Строчков. В его поэтике сквозь ставшую уже привычной, невозмутимую и как бы инвентаризирующую бытие интонацию прослушивается свежий и внятный голос.

Что же позволяет сосуществовать без аляповатости на соседних страницах традиционной лирике — с медитативной расфокусированностью, ямбу — со свободным стихом, «натуральной шко-

ле» — с эстетическими фантазиями? Глубинная, объединяющая их свобода. Большинство стихотворцев «Ариона» и в советские годы и ныне никогда не угождали ни публике, ни идеологическому заказу, сосредоточившись лишь на добросовестном и бескорыстном служении своему дару, призванию. Некоторых скупо публиковали, другие были матерые самиздатчики — не в этом дело; дело в имманентной установке творческого процесса, направленного прежде всего на самореализацию, а не на прикладные задачи.

Это под ноги забежавший мак.
Это славий щекот и стих Завета.
Это все сказал уже Пастернак,
из травы поднявший перчатку Фета.

(О. Чухонцев)

Так же и поэты из «Ариона»: каждый в свое время соответственно склонностям своего дара «поднял перчатку» того или иного великого своего предшественника и развил его традиции без оглядки на конъюнктуру. И ныне разделение проходит не столько по признаку «авангард — традиция», сколько по линии литературы свободной — и уже ориентированной на коммерческую отдачу. То есть — вспомним Пушкина — что «продается»: вдохновение или рукопись? Важно не позволить замутить сами истоки творчества, не поддаться соблазну рынка. Прежде мастер, изначально отказавшийся от коммунистического заказа, получал эдак рублей 70 — 90, зато в свободное от дворницкой или сторожевой работенки время служил и большой, по его представлению, Литературе, одергиваемый разве что КГБ. Теперь еще и написать не успел, а уж надо думать о переводе, ибо как же проживешь без валютного гонорара? Прежде бедность писателя была его доблестью: первый признак, что не угождаешь режиму; теперь безденежье — признак неудачливости: коммунак нет, а ты, дурень, все такой же нищий.

Так вот: очень важно не попасть в этот порочный круг, в соответствии с

национальной традицией понимать литературную деятельность, как понимал ее Баратынский: «Поэзия есть задание, которое следует выполнить как можно лучше». Задание, разумеется, не идеологическое, но свыше. Когда русский литератор такое понимание своего труда теряет, он обречен на заведомую литературную неудачу.

То, что Вл. Библихин в преамбуле к публикуемым «Арионом» стихам Ольги Седаковой говорит о ней, с известными модификациями применимо и вообще к каждому подлинному поэту: «Удивительное присутствие! Неразгаданное: открытое и неброское; большое и неопределимое; признанное и не узнанное; замеченное... и отодвинутое деловым миром». И применимо это, разумеется, не только к стихотворцам, живущим здесь, но и обитающим на чужбине, где после закрытия большинства эмигрантских журналов читательский вакуум, очевидно, особенно ощутим.

...Опосредованная культурной и ироничной рефлексией поэзия «ню-хэмпширского профессора российских кислых щей» Льва Лосева в «Арионе» сохраняет меру и редко отступает в галерею, имеющее свойство наскучивать еще быстрее электики: в ней есть тепло, выводящее за пределы паниронизма, прогрессивно поражающего всё новые и новые клетки нашей культуры.

Ведь теперь распространено убеждение, что искусство — карнавал, а писатели-де на этом карнавале — добрые, не без грустинки фигляры. Фиглярствуем, а публика с лентой бросает нам свои пяточки. Убежден: на таком понимании новую отечественную литературу не выстроить. Без ощущения под собой этажей истории, осмысления трагизма ее, всей совокупности духовных традиций это будет не литература, а бенгальский огонь. Капитану Лебядкину и не снилось, что после семидесятилетнего разгула на Руси бесов (к которым он и сам, того, кажется, до конца не сознавая, принадлежал) здесь на костях миллионов мучеников как грибы после дождя начнут плодиться его эпигоны, ритмизируя, а то и рифмуя свое проблематичное остроумие.

«Стоит открыть какой-нибудь из печатных листков, где царит это «новейшее слово», — пишет в миниатюрном эссе «Промежуток» Евгений Рейн (помимо стихов «Арион» публикует небольшие статьи, вытяжки из литературных архивов, наследие), — чтобы убедиться в том, какую жалкую сулят нам подмену. И беда прежде всего заключается в том, что вместо многомерного пространства, адекватного Вселенной,

поэзию пытаются нанизать на одну-единственную ниточку механического авторского произвола.

И Рейн, и редакция «Ариона» ждут «крупных перемен в русском поэтическом слове». «Поэзия наша <...> сносила, выбрала до дна свою старую эстетику. Ее звук, нормы, образы находятся у последней черты».

Не сродни ли, однако, это ожидание новой поэзии прежним упованиям на появление нового поэта, нового... Пушкина просто за счет наработанной в словесности ситуации — вне учета духовного состояния общества? Помните, не успел Хрущев приоткрыть шелку в выгребной коммунистической яме, как стали ждать нового Пушкина — и в 60-е и в 70-е годы. Одно время Пушкиным объявили Бродского; нет, оказывается, новый Пушкин все-таки впереди. Но забывают, что великому поэту необходим не только гений стихослагательный, но великое мироощущение, — а конец XX века с его глобальным религиозно-моральным кризисом к тому не располагает. Пушкин черпал непосредственно из окружающей органики и предания, а что делать нам — после ноцида, в нынешней духовной анархии?

«Арион»... Название это в 1994 году, согласитесь, на грани фола: слишком много ведь воды утекло, чтобы так архаично наречь новорожденного. Но, быть может, тут сквозит простодушие — верный элемент культурного мужества.

Юрий Кублановский.

*

НОЙ. Армяно-еврейский вестник. 1992 — 1994, № 1 — 8.

Журнал «Ной» печатает материалы геополитической и историософской тематики — чем и интересен, а также неплохого уровня поэзию и прозу, что необходимо хотя бы для передышки от напора разнообразнейших, порой противоречивых идей, которыми буквально переполнен журнал.

Сначала — об этих идеях, главная из которых состоит в том, что существует сходство и в судьбах армянского и еврейского народов, и в значимости их культур для человечества. Замысел журнала — служить мостом между культурами армянской, еврейской и русской. Издателя журнала зовут Вардван Варжапетян, живет он в Москве, и реально журнал за три года существования публиковался только по-русски, хотя планировалось издавать его еще на иврите, армянском и английском. Впрочем, как

известно, и в Армении и в Израиле нет недостатка в людях, владеющих русским языком...

Первый номер журнала «Ной» открывает стихотворение С. Аверинцева, которое, повествуя о библейской, византийской, армянской страстности, словно бы задает тон всему журналу. В этом же номере напечатано интервью с президентом Армении Тер-Петросяном («Армения, довольствовавшаяся в бывшем СССР участью «тупики», в условиях независимости имеет шанс... статья оживленным международным перекрестком — политическим, культурным и даже экономическим — между Востоком и Западом, плацдармом для всякого рода контактов. До недавнего времени эту роль играл Ливан, христианско-мусульманская страна, обладавшая мощной финансово-банковской системой. Будучи сильно разрушенным, сейчас он ее утратил... Заменить Ливан в этой роли хотел бы Израиль, но ему вряд ли это удастся, если учитывать его непростые отношения с арабскими странами Ближнего Востока...»). В том же номере можно было прочесть интересную «Беседу еврея и армянина» (М. Тартаковского и В. Варжапетяна), содержащую, например, такие идеи, высказанные М. Тартаковским: «...исчезли прежде всего имперские народы, великие уже хотя бы самой своей численностью... Есть горькое преимущество побежденных: они вынуждены приобщаться к поглощающей их культуре. Их духовный запас, бесспорно, умножается...»

В том же номере было напечатано и интервью с Гарри Каспаровым, и нашумевшее обращение патриарха Алексия к раввинам в Нью-Йорке («Ваш закон — это наш закон, ваши пророки — это наши пророки. Десять заповедей Моисея обязывают христиан, как и евреев...»).

Давно вышедший первый номер описывается так подробно потому, что он хорошо показывает круг тем, обсуждаемых журналом. А что до обилия громких имен, то номер первый не исключение. В каждом последующем тоже блистают звезды. Так, в номере втором опубликована «Ночь» — первое произведение еврейского прозаика и философа Эли Визеля, сделавшее его знаменитым, а в номере пятом — еще один роман Эли Визеля, «Рассвет». В номере третьем публикуется большое произведение Сола Беллоу «В Иерусалим и обратно: личные впечатления». Творчество знаменитого американского прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе и признанного мастера «романа идей», пока знакомо рус-

скому читателю лишь по немногим образцам, а между тем пристальное внимание Беллоу сосредоточено как раз на основном нерве современности (и не только современности): на взаимоотношениях Запада и Востока, понимаемых в самом широком смысле. Россия (откуда родом его семья), Америка и еврейство — вот, пожалуй, три главные темы, интересующие Сола Беллоу. И в объемном эссе «В Иерусалим и обратно...» содержится буквально россыпь блистательных мыслей по указанным темам. Тут и полемика Беллоу с Сартром, и целый спектр воззрений и высказываний геополитического характера... По-моему, в этом эссе, в самых глубинных, важных поворотах мыслей еврей Беллоу остается американцем — да и вообще его творчество (для меня это несомненно) принадлежит именно американской, а не какой-либо другой культуре. А вот что это такое — американец в вопросах, касающихся Земли обетованной, этого в короткой рецензии не выскажешь, интересующихся я отсылаю к самому эссе.

Номер четвертый журнала «Ной» отмечен большой статьей Г. Померанца «Из снов о справедливом возмездии» (полемика со статьей А. Солженицына «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»). В номере шестом — статья московского критика и философа Веры Чайковской «О еврейской ветви русской культуры». В номере седьмом — статья Милтона Фридмена (известнейшего американского экономиста) «Капитализм и евреи: анализ парадокса». В ней подробно рассматривается поистине странное явление: протестантский истэблшмент Англии и Америки традиционно, с самого зарождения капитализма, идентифицировал себя с Израилем Ветхого Завета и уважал, просто-таки любил евреев; евреи же, столь же традиционно, от Маркса до Маркузе и далее, выступали на Западе идеологами антикапиталистических, леволлиберальных, революционных движений... Милтон Фридмен дает следующее объяснение этого парадокса: «...антисемиты... выработали стереотип еврея как торговца или ростовщика, ставящего коммерческий интерес выше человеческих ценностей... Евреи могли реагировать на распространение этого стереотипа двумя способами: либо признать справедливость такой характеристики, но отвергнуть ту систему ценностей, в рамках которой эти черты достойны осуждения; либо же принять эту систему ценностей, отвергнув данную в стереотипе характеристику как ложную и несправедливую. Если бы евреи вы-

брали первый путь, они могли бы подчеркнуть пользу, приносимую торговцами и ростовщиками». Но чаще всего, по М. Фридмену, евреи на Западе выбирают второй путь и становятся пылками противниками капиталистической системы...

В номере восьмом «Ноя» (1994) публикуется интересный роман норвежского писателя Тора Оге Брингсверда «Минотавр». Это древнегреческий миф, как бы прожитый, увиденный современным сознанием. Элегически-печальный, в меру эротический, он рассказан очень «читабельно» и этим привлекателен тоже. Кстати, в этой связи можно поздравить журнал с неким прорывом,

выходом за рамки узкой армяно-еврейской тематики в более широкий круг тем, органически все же связанных с магистральной линией журнала.

...Журнал издается три года и не собирается умирать. Богатство и многокрасочность его материалов убеждают: наряду с усилением западнических тенденций в России (что очевидно) происходит и расцвет того направления, которое можно было бы достаточно условно назвать неовизантийским и в котором успешно сочетаются интерес к почтенной древности и актуальность.

А. Андрюшкин.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1994 — 1995, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

Наложением платежом журнал не высылается.

«НМ».

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА». 1985 — 1994

В январских, юбилейных номерах «Нового мира» за 1975 и 1985 годы читателям были предложены публикации «Из летописи полувека», а затем «Летопись «Нового мира» продолжается», в которых были обозначены наиболее приметные произведения, появившиеся на страницах журнала. В номере, который отмечает 70-летие нашего журнала, мы продолжаем эту хронику.

1985

- Л. Аннинский. Прижизненные и посмертные приключения немецкого механика Гуго Пекторалиса в России. Из истории лесковских текстов.
Виктор Астафьев. Жизнь прожить. Рассказ.
Григорий Бакланов. Свет вечерний. Рассказ.
С. В. Белов. Вокруг Достоевского.
Юрий Бондарев. Игра. Роман.
Игорь Дедков. Вертикали Юрия Трифонова.
Евгений Евтушенко. Фуку! Поэма.
С. Есин. Имитатор. Записки честолюбивого человека.
Валентин Катаев. Спящий.
Станислав Кондрашов. В чужой стихии, или Путешествие Американиста.
Владислав Леонович. На работе и дома. Записки рабочего человека.
Геннадий Лисичкин. За ведомственным барьером.
Юрий Лотман. Биография — живое лицо.
Юрий Рытхэу. Магические числа. Роман.
Василий Селюнин. Эксперимент.
Георгий Семенов. Земные пути. Рассказы.
Симон Соловейчик. «Агу» и «бука». Педагогические размышления.
Уильям Стайрон. И поджег этот дом. Роман. Перевод с английского.
Марина Цветаева. Флорентийские ночи.
Владимир Цветов. Пятнадцатый камень Сада Реандзи.
Ю. Черниченко. Свой хлеб.
Н. Эйдельман. Секретная аудиенция.

1986

- Чингиз Айтматов. Плаха. Роман.
Джон Апдайк. Кролик разбогател. Роман. Перевод с английского.
Евгений Винокуров. Минута. Стихи.
Сергей Залыгин. «Женщина и НТР». Рассказ.
Анатолий Иващенко. Земля.
Фазиль Искандер. Табу. Рассказ.
П. Л. Капица. Письма к матери. 1921 — 1926.
Валентин Катаев. Сухой лиман.
Владимир Крупин. Прости-прощай... Повесть.
Александр Рекемчук. Тридцать шесть и шесть. Роман. Часть вторая.
И. Роднянская. Знакомые незнакомцы. К спорам о героях Владимира Маканина.
Юрий Рюриков. По закону Тезея. Мужчина и женщина в начале биархата.
Георгий Семенов. Ум лисицы. Повесть.
Стихи и письма. Анна Ахматова. Николай Гумилев.
Анатолий Стреляный. «Районные будни». К тридцатилетию выхода в свет.
Виктория Токарева. Длинный день. Повесть.
Татьяна Толстая. Рассказы.
Лион Фейхтвангер. Черт во Франции. Перевод с немецкого.
Ольга Чайковская. Пиковые дамы.
Илья Штемлер. Поезд. Роман.

1987

- Мария Аввакумова. Поздняя гостья. Стихи.
 Алесь Адамович. Последняя пастораль. Повесть.
 Даниил Андреев. На великих перекатах времени. Стихи.
 Виктор Астафьев. Заберга. Из повести «Последний поклон».
 Олег Базунов. Морепоплаватель. Распространенные комментарии к одному ненаписанному дневнику.
 Василий Белов. Кануны. Хроника конца 20-х годов. Часть третья.
 Генрих Бёлль. Женщины у берега Рейна. Роман в диалогах и монологах. Перевод с немецкого.
 Андрей Битов. Человек в пейзаже; Пушкинский дом. Роман.
 Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью. Стихи.
 Михаил Булгаков: глава из романа и письма.
 Ю. Буртин. «Реальная критика» вчера и сегодня.
 А. Введенский. Элегия.
 Н. Вильмонт. Борис Пастернак. Воспоминания и мысли.
 Даниил Гранин. Зубр. Повесть.
 Сергей Залыгин. Поворот. Уроки одной дискуссии.
 Сергей Каледин. Смирненное кладбище. Повесть.
 Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом. Роман. Перевод с английского.
 Николай Клюев. Погорельщина. Поэма.
 Игорь Клямкин. Какая улица ведет к храму?
 Марк Костров. Поселянщина.
 М. Кураев. Капитан Дикштейн. Фантастическое повествование.
 В. Маканин. Утрата. Повесть.
 Осип Мандельштам. Последние творческие годы. Стихи, письма, воспоминания о поэте
 Владимир Набоков. Николай Гоголь.
 Андрей Платонов. Котлован. Повесть.
 Василий Селюнин, Григорий Ханин. Лукавая цифра.
 Борис Слуцкий. Современные размышления. Стихи.
 А. Стреляный. Два умозрения. Об одном неудавшемся литературном предприятии.
 Арсений Тарковский. Стихи и рассказы.
 А. Твардовский. Из творческого наследия.
 Владимир Тендряков. Покушение на миражи. Роман.
 Николай Тряпкин. Стихи недавних лет.
 Борис Чичибабин. Печаль моих поэм. Стихи.
 Чуковский об Ахматовой. По архивным материалам.
 Михаил Шатров. Брестский мир. Драма в двух частях.
 Николай Шмелев. Авансы и долги.

1988

- С. С. Аверинцев. Византия и Русь. Два типа духовности.
 Алесь Адамович. «Честное слово, больше не взорвется», или Мнение специалиста.
 Юз Алешковский. «Не унывай, зимой дадут свидание...». Стихи.
 Виктор Астафьев. Ельчик-бельчик. Притча.
 Максимилиан Волошин. Из цикла «Усобица». Стихи.
 Вирджиния Вулф. На маяк. Роман. Перевод с английского.
 Александр Галич. Городские романсы.
 Р. Гальцева, И. Роднянская. Помеха — человек. Опыт века в зеркале антиутопий.
 Лидия Гинзбург. Заблуждение воли.
 Евгений Гнедин. Себя не потерять. Воспоминания.
 Ю. Даниэль. Дом. Стихи.
 Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Роман.
 Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы.
 Владимир Корнилов. Пять стихотворений.
 Владимир Короленко. Письма к Луначарскому.
 Михаил Кураев. Ночной дозор. Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова.
 Алла Латынина. Колокольный звон — не молитва. К вопросу о литературных полемиках.

- Д. С. Лихачев. Крещение Руси и государство Русь.
 Борис Мазурин. Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны
 «Жизнь и труд».
 Екатерина Мещерская. Трудовое крещение.
 Ксения Мяло. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция.
 Владимир Набоков. Предисловие к «Герою нашего времени».
 Андрей Нуйкин. Идеалы или интересы? По страницам газет и журналов.
 Булат Окуджава. Бесшумная эскадрилья. Стихи.
 Владимир Орлов. Аптекарь. Роман.
 Л. Петрушевская. Свой круг; Изолированный бокс.
 Василий Селюнин. Истоки.
 Виталий Семин. Страницы из переписки последних лет.
 Владимир Тендряков. Рассказы.
 Даниил Хармс. «Я думал о том, как прекрасно все первое!».
 Велимир Хлебников. Председатель чеки.
 Мариэтта Чудакова. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературном процессе 20 — 30-х годов.
 Ф. И. Шаляпин. Маска и душа. Главы из книги.
 Николай Шмелев. Новые тревоги.

1989

- Федор Абрамов. Поездка в прошлое. Повесть.
 Даниил Андреев. Роза Мира. Фрагменты.
 Виктор Астафьев. Любочка. Рассказ.
 Василий Белов. Год великого перелома. Хроника девяти месяцев.
 Андрей Битов. Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному
 С. Н. Булгаков. Моя родина. Статьи, очерки, письма.
 Леонид Габышев. Одлян, или Воздух свободы. Роман.
 Борис Гусев. Мой дед Жамсаран Бадмаев.
 Олег Ермаков. Благополучное возвращение. Рассказ.
 Сергей Залыгин. Незабудка. Небольшая повесть в трех частях от первого лица.
 Игорь Золотусский. Крушение абстракций.
 Сергей Каледин. Стройбат. Повесть.
 Н. Коржавин. Анна Ахматова и «серебряный век».
 Анатолий Ким. Отец-Лес. Роман-притча.
 Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии.
 Николай Клюев. Соловки.
 Игорь Клямкин. Почему трудно говорить правду. Выбранные места из истории одной болезни.
 Роберт Конквист. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Перевод с английского.
 Семен Липкин. Вячеславу. Жизнь переделкинская. Стихи.
 Анатолий Марченко. Мои показания. Главы из книги.
 Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь.
 Владимир Набоков. Изобретение Вальса. Драма в трех действиях.
 Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой.
 В. Непомнящий. Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина.
 Джордж Оруэлл. 1984. Роман. Перевод с английского.
 Л. Петрушевская. Новые Робинзоны (Хроника конца XX века).
 Андрей Платонов. Антисексус. Рассказ.
 Вячеслав Пьецух. Новая московская философия Повесть.
 В. В. Розанов. Русский Нил.
 «Русская революция» Неизвестные стихи Бориса Пастернака.
 Василий Селюнин. Черные дыры экономики; Бремя действий
 Александр Солженицын. Нобелевская лекция, Архипелаг ГУЛАГ Опыт художественного исследования. Главы из книги.
 Владимир Соловьев. Статьи и письма.
 Лев Тимофеев. Феномен Вознесенского. Опыт анализа одного поэтического мотива.
 В. Тростников. Научна ли «научная картина мира»?
 Г. П. Федотов. Историческая публицистика.
 Лидия Чуковская. Сверстнику. Стихи.
 Варлам Шаламов. «Новая проза». Из черновых записей 70-х годов.

- Игорь Шафаревич. Две дороги — к одному обрыву.
 «Я верю в силу свободной мысли...». Письма В. И. Вернадского
 И. И. Петрункевичу.
 Анатолий Якобсон. О романтической идеологии.

1990

- А. Авторханов. X съезд и осадное положение в партии.
 Н. А. Бердяев. Судьба человека в современном мире. Статьи, письма.
 Андрей Битов. Записки из-за угла.
 Б. Д. Бруцкус. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу
 русского опыта.
 Василий Быков. Облава. Повесть. Перевод с белорусского.
 Симона Вейль. «Илиада», или Поэма о силе. Перевод с французского.
 Наталия Вовси-Михоэлс. Мой отец — Соломон Михоэлс. Воспоминания о
 жизни и гибели.
 М. С. Волошина. Записи военных лет.
 М. Восленский. Номенклатура. Фрагменты книги.
 «Высокий стойкий дух». Переписка Бориса Пастернака и Марии Юдиной.
 Юрий Домбровский. Ручка, ножка, огуречик... Рассказ.
 С. Залыгин. Год Солженицына.
 Михаил Кураев. Маленькая домашняя тайна. Из семейной хроники.
 Лариса Миллер. Окнами на волю. Стихи.
 Георгий Оболдуев. Устойчивое неравновесье. Стихи.
 Борис Пастернак: неизвестная проза.
 Л. Петрушевская. Песни восточных славян.
 Давид Самойлов. Я вырос в железной скворешне. Стихи.
 «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гу-
 милеве.
 Александр Солженицын. В круте первом. Роман; Раковый корпус. Повесть.
 А. Твардовский. наброски и черновики.
 Е. Н. Трубецкой. О христианском отношении к современным событиям.
 Статьи, письма.
 С. Л. Франк. По ту сторону «правого» и «левого». Статьи по социальной филосо-
 фии.
 Владислав Ходасевич. Статьи. Записная книжка.
 Александр Ципко. Хороши ли наши принципы?
 Мариэтта Чудакова. Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов.
 Корней Чуковский. Дневник.

1991

- А. Авторханов. Ленин в судьбах России. Главы из книги; Загадка смерти Ста-
 лина. Главы из книги.
 Антоний, митрополит Сурожский. Без записок.
 Александр Архангельский. Между свободой и равенством. Общественное
 сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника».
 Леонид Бежин. Калоши счастья. Записки случайного философа.
 Михаил Берг. Через Лету и обратно.
 Иосиф Бродский. О Марине Цветаевой.
 Год памяти. 1910 — 1990. Л. Н. Толстой. Из неопубликованного. Письма.
 Сергей Залыгин. Новости экономики. Рассказ; Трифонов, Шукшин и мы.
 Ибо знаю надежду. Кумранские гимны. Перевод с древнееврейского.
 И. А. Ильин. О сопротивлении злу.
 Сергей Каледин. Поп и работник. Сцены приходского быта.
 Тимур Кибиров. Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней со-
 циокультурной ситуации. Стихи.
 Анатолий Кривоносов. Я человек исторический. Повесть.
 Юрий Кублановский. Памяти алапаевских узников. Стихи.
 Д. С. Лихачев. Русская культура в современном мире.
 Владимир Лобас. Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста.
 Лев Лосев. Из новых стихов.
 Владимир Маканин. Там была пара... Рассказ; Лаз. Повесть; Сюр в пролетар-
 ском районе. Рассказы.
 Александр Межиров. Из книги «День благодарения». Стихи.
 П. И. Новгородцев. На путях к правовому государству.

- Марина Палей. Кабирия с Обводного канала. Повесть.
 Л. Пантелеев. Я верую. Главы из автобиографической повести.
 Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909 — 1918.
 Валерий Пискунов. Чью душу желаете? Повесть.
 Андрей Платонов. Счастливая Москва. Роман.
 Полюса евразийства. Л. П. Карсавин. Государство и кризис демократии; Георгий Флоровский. Евразийский соблазн.
 Феликс Светов. Отверзи ми двери. Роман.
 Георгий Семенов. Путешествие души. Повесть.
 Иван Соколов-Микитов. Из карачаровских записей.
 Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни; На возврате дыхания и сознания; Раскаяние и самоограничение; Образованщина; ...Колеблет твой треножник.
 Ф. А. Степун. Мысли о России.
 П. Б. Струве. За свободу и величие России.
 Иван Твардовский. «У нас нет пленных». Страницы пережитого.
 Сергей Фудель. Воспоминания.
 Ф. А. Хайек. Дорога к рабству. Перевод с английского.
 Виктор Ярошенко. Энергия распада. Очерки политических обстоятельств 1989 — 1990 годов.

1992

- Виктор Астафьев. Забубенная головушка. Вечерние раздумья. Из книги «Последний поклон»; Прокляты и убиты. Роман. Книга первая.
 Леонид Бежин. Усыпальница без праха. Записки sentimentalного созерцателя.
 Татьяна Бек. Предварительные итоги. Стихи.
 Вениамин Блаженных. Страшная сказка. Стихи.
 Петр Вайль, Александр Генис. Потерянный рай. Фрагменты книги.
 Стефан Вильканович. Десять заповедей демократии в христианском разумении. Перевод с польского.
 Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Фрагменты книги; Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого».
 Рената Гальцева. Возрождение России и новый «орден» интеллигенции.
 Лидия Гинзбург. Записи 20 — 30-х годов. Из неопубликованного.
 Наталья Горбаневская. Из стихов последних лет.
 Владимир Домогацкий. Кладовка. Попытка консервации.
 Сергей Залыгин. Как-нибудь. Рассказ.
 Борис Зубакин. Стихи и письма.
 И. С. Карпов. По волнам житейского моря. Воспоминания.
 Бахыт Кенжеев. Из новых стихов.
 Анатолий Ким. Поселок кентавров. Роман.
 М. Конисская. Злые годы.
 Н. Коржавин. В соблазнах кровавой эпохи.
 Яков Кротов. Советский житель как религиозный тип.
 Михаил Кураев. Дружбы нежное волнение. Записки провинциала.
 Александр Кушнер. Со звездой в облаках. Стихи.
 Семен Липкин. Записки жильца. Повесть.
 Инна Лиснянская. Из новой тетради. Стихи.
 Вийви Луйк. Красота истории. Роман. Перевод с эстонского.
 Лев Наврозов. Есть ли литература на Западе?
 Иван Оганов. Опустел наш сад. Народный балаган.
 Борис Пастернак. Письма к Жаклин де Пруайяр.
 Л. Петрушевская. Время ночь.
 Валерий Пискунов. Фили, платформа справа. Рассказ.
 Николай Покровский. Скитские биографии
 Евгений Рейн. Мальтийский сокол. Поэма.
 А. Синявский. Чтение в сердцах.
 Александр Солженицын. Апрель Семнадцатого; Наши плюралисты; Темплтоновская лекция.
 Александр Сопровский. Пристанище ветхой свободы. Стихи, эссеистика.
 П. Сорокин. Современное состояние России.
 Сергей Толстой. Отец.
 Белла Улановская. Рассказы.
 Людмила Улицкая. Сонечка. Повесть.
 Устный рассказ Ф. М. Достоевского.

- Афанасий Фет. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство.
 Даниил Хармс. «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». Записные книжки. Письма. Дневники.
 Татьяна Чередниченко. Эра пустяков, или Как мы наконец пришли к легкой музыке и куда, возможно, пойдём дальше.
 Д. Штурман. «Человечества сон золотой...».

1993

- Сергей Аверинцев. Стих о стихах духовных, или Прение о Руси.
 А. Андреева. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой.
 Белла Ахмадулина. Два стихотворения.
 Андрей Битов. Ожидание обезьян.
 В. Богомолов. В кригере. Повесть.
 Александр Борщаговский. Обвиняется кровь. Фрагменты книги.
 Михаил Бутов. Памяти Севы, самоубийцы. Рассказ.
 Эмма Герштейн. Лишняя любовь. Сцены из московской жизни.
 Игорь Губерман. Стал каплями российского фольклора. Стихи.
 Я. С. Друскин. Предопределение и свобода. Философские эссе. Дневник.
 Борис Екимов. Враг народа. Набег. Рассказы.
 Сергей Залыгин. Экологический роман.
 Юрий Карабчиевский. Филологическая проза.
 Игорь Клех. Хутор во вселенной.
 Марк Костров. Как уцелеть в наше смутное время? Советы болотного жителя.
 Евгения Кунина. Франческа да Римини.
 Михаил Курасв. Зеркало Монтаччи. Роман.
 Владимир Леонович. Сашок. Очерки из наркологии.
 Д. С. Лихачев. О русской интеллигенции.
 Владимир Маканин. Квази.
 А. Г. Макаров, С. Э. Макарова. К истокам «Тихого Дона».
 «Наша любовь нужна России...». Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой.
 Евгений Носов. Темная вода. Рассказ.
 Иван Оганов. Песнь виноградаря осенью. Эпос.
 Виктор Пелевин. Желтая стрела. Повесть.
 Людмила Петрушевская. В садах других возможностей. Рассказы; Ну, мама, ну! Сказки, рассказанные детям.
 Валерий Пискунов. По роду их. Повесть.
 Письма М. И. Цветаевой. Из архива П. П. Сувчинского.
 Андрей Платонов. Ноев ковчег. Пьеса.
 Д. А. Пригов. Моя Россия. Стихи.
 Елена Ржевская. Геббельс. Портрет на фоне дневника.
 Ирина Роднянская. Гипсовый ветер. О философской интоксикации в текущей словесности.
 Дина Рубина. Во вратах твоих. Повесть.
 Борис Садовской. Пшеница и плевелы. Роман.
 Андрей Сергеев. Россия для приезжего — орех. Поэмы.
 Николай Славянский. Из страны рабства — в пустыню. О поэзии Иосифа Бродского.
 Александр Солженицын. Ответное слово на присуждение литературной награды американского национального клуба искусств; Черты двух революций.
 Спор о свободе совести. Владимир Семенов. Две свободы; Рената Гальцева. Роковое слово.
 Людмила Улицкая. Дочь Бухары. Рассказ.
 Марк Харитонов. Провинциальная философия. Повесть.
 Татьяна Чередниченко. Новая музыка № 6.
 Мариэтта Чудакова. Под скрип уключин.
 Владимир Шаров. До и во время. Роман.
 Д. Штурман. Остановимо ли Красное Колесо? Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына; У края бездны. Корниловский мятеж глазами историка и современников.
 Асар Эппель. Рассказы.
 Ариадна Эфрон. «А душа не тонет...». Воспоминания, письма.
 М. В. Юдина. Письма к друзьям. 20 — 60-е годы.
 Виктор Ярошенко. Попытка Гайдара. Помесячные записки историографа «правительства реформ».

1994

- Герман Андреев. Обретение нормы.
 Михаил Ардов. Легендарная Ордынка.
 Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Роман. Книга вторая.
 Андрей Битов. Из книги «Айне кляйне арифметика русской литературы».
 Иосиф Бродский. Воздух с моря. Стихи.
 Михаил Бутов. Известь. Рассказ.
 Андрей Быстрицкий. Urbs et orbis. Городская цивилизация в России; Приближение к миру. Субъективные заметки.
 Рената Гальцева. Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах.
 Даниил Гранин. Бегство в Россию. Роман.
 Борис Екимов. В дороге. Очерки.
 Павел Зайцев. Записки пойменного жителя.
 Фазиль Искандер. Ласточкино гнездо. Рассказ.
 Юрий Каграманов. На стыке времен.
 Анатолий Ким. Казак Давлет.
 Игорь Клех. Зимания. Герма.
 Марк Костров. Вариации переходного периода.
 Ирма Кудрова. Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветасвой.
 Андрей Кураев. Новомодные соблазны.
 Александр Кушнер. Среди детей ничтожных мира. Заметки на полях.
 Юлия Латынина. Демократия и свобода.
 Михаил Леонтьев. Государство и рынок.
 Д. С. Лихачев. «Нельзя уйти от самих себя...». Историческое самосознание и культура России; Культура как целостная среда.
 Александр Мелихов. Изгнание из Эдема. Исповедь еврея.
 Андрей Немзер. Современный диалог с Гоголем.
 Вл. Новиков. «Горе от ума у нас уже имеется». Письмо Юрию Тынянову.
 Марина Новикова. Маргиналы.
 Олег Павлов. Казенная сказка. Роман.
 Григорий Петров. Жизнь здешняя. Рассказы.
 Людмила Петрушевская. Карамзин. Деревенский дневник.
 Валерий Пискунов. Свои козыри. Записки наемника.
 «...Пишу я только для Вас...». Письма К. П. Победоносцева сестрам Тютчевым.
 Н. Н. Покровский. Политбюро и Церковь. 1922 — 1923.
 Ольга Постникова. Бабы песни. Стихи.
 «Смерть первая и воскресение первое». Письма С. Н. Булгакова. 1917 — 1923.
 Владимир Соколов. Под деревом ночным, шумящим. Стихи.
 Александр Солженицын. «Русский вопрос» к концу XX века.
 Ирина Сурат. Пушкин как религиозная проблема.
 Три жизни. Мария Конисская. Старые фотографии; Борис Гусев. Уготованная судьба; Михаил Мамонтов. Как я узнавал пословицы.
 В. Н. Тростников. «Красно-коричневые» — ярлык или реальность?
 Людмила Улицкая. Девочки. Рассказы.
 Евгений Федоров. Одиссея. Роман.
 Е. Л. Фейнберг. Сахаров в ФИАНе.
 Борис Хазанов. Exsilium.
 Александр Хургин. Дверь. Повесть.
 Татьяна Чередниченко. Музыкальные увеселения: культура радости вчера и завтра.
 Александр Черницкий. Мы можем всё. Истерн.
 Александр Шеман. Воскресные беседы. 1969 — 1974; Духовные судьбы России.
 Юлий Шрейдер. Ценности, которые мы выбираем.
 Д. Штурман. Дети утопии. Фрагменты идеологической автобиографии; В поисках универсального со-знания. Перечитывая «Вехи».
 Дмитрий Шушарин. Возвращение в контекст.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



К. Д. Бальмонт. Собрание сочинений. В двух томах. Можайск. «Терра». 1994. Том 1 — 832 стр. Том 2 — 704 стр. 25 000 экз.

Алексей Бархатов. Надворный советник. Повесть о Якове Княжнине. М. «Лепта». 1994. 319 стр. 25 000 экз.

Свидетельство живого интереса современных прозаиков к истории отечественной культуры. После романа Петра Алешковского «Арлекин, или Жизнеописание Василия Кирилловича Тредиакковского» («Согласие», 1993, № 8 — 12; 1994, № 1 — 2), написанного с широким охватом исторического и биографического материала и демонстрирующего выучку у мастеров русской орнаментальной прозы, появляется повесть Бархатова о Княжнине на фоне века Екатерины, о придворной и литературной жизни, журнальных баталиях, о Сумарокове, Фонвизине, Новикове, Панине и других. В отличие от Алешковского Бархатов более строг в стилевом оформлении повествования, стремится к большей документальности.

А. А. Бахтияров. Брюхо Петербурга. Очерки столичной жизни. Вступительная статья, комментарии Ф. М. Лурье. СПб. «Ферт». 1994. 221 стр. 10 000 экз.

Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Составление, предисловие В. М. Пискунова. М. «Республика». 1994. 560 стр. 25 000 экз.

Владимир Губайловский. История болезни. Стихи. М. ИМА-пресс. 1993. 88 стр. 1000 экз.

Первая книга московского поэта. Стихотворение, открывающее сборник, помечено 1984 годом. Узнаваемые интонации поэтического поколения 80-х (Гандлевский, Кибиров и другие) не заглушают собственного голоса Губайловского.

Жан Жене. Богоматерь цветов. Роман. Перевод с французского Елены Гришиной, Сергея Табашкина. М. «Эргон». «Азазель». 1993. 316 стр. 50 000 экз.

Жан Жене. Дневник вора. Роман. Перевод с французского Н. Паниной. М. «Текст». 1994. 254 стр. 50 000 экз.

Эти два издания продолжают знакомство русского читателя с «запретной классикой» европейского романа XX века. Жан Жене (1910 — 1986) — безусловно один из мастеров современной французской прозы — представлял в литературе от мира воров, убийц, проституток, сутенеров и альфонсов. Более подробный разговор о писателе в ближайших номерах журнала.

Тимур Кибиров. Сантименты. Восемь книг. Белгород. «Риск». 1994. 384 стр. 10 000 экз.

Достаточно частый в русской литературе случай (со времен Грибоедова), когда выход книги не оповещает читателя о появлении нового писателя, но лишь подтверждает сложившуюся в обществе репутацию. Стихи Кибирова, разошедшиеся в последние годы по малотиражным изданиям, давно уже считаются заметным явлением современной поэзии — многократно цитированные, истолкованные критиками разных направлений, они на слуху у многих. И вот наконец выход наиболее полной (все написанное с 1986 по 1991 год) книги Кибирова. Вместе с недавно вышедшей книгой-альбомом «Стихи о любви» (М. «Цикады». 1993) сборник «Сантименты» представляет основной корпус написанного поэтом.

Валентин Распутин. Собрание сочинений. В 3-х томах. М. «Вече-АСТ». «Молодая гвардия». 1994. 50 000 экз.

Том 1. «Деньги для Марии», «Живи и помни». Повести, рассказы. 510 стр.

Том 2. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Пожар». Повести. 416 стр.

Том 3. «Сибирь, Сибирь...». Очерки. Публицистика. 496 стр.

Жан Фруассар. Любовный плен. Поэма. Перевод с французского М. Гринберга. М. «Cart Blanche». 1994. 240 стр. 3000 экз.

Поэма средневекового поэта, больше известного как автор «Хроники Фландрии», охватывающей 1327 — 1400 годы.

В. Шаламов. Четвертая Вологда. Повесть, рассказы. Вологда. «Грифон». 1994. 190 стр. 20 000 экз.

Составитель С. Костырко.

АСЯ

Умерла Анна Самойловна Берзер.

Наша любимая Ася из «Нового мира».

Редактор и друг В. Гроссмана, Ю. Домбровского, В. Некрасова, В. Семина, Г. Владимова, В. Войновича, Ф. Искандера, А. Солженицына...

И много было тогдашних молодых, которых она благословила в литературу, не успев стать их редактором.

Ее рука прикасалась к текстам как орудие высшей справедливости, это была такая редакторская школа: оставлять только абсолютное.

«Новый мир» все знали как журнал Твардовского. Так, безусловно, и было. Но мало кто знал, что уровень редатуры Анны Самойловны поднимал — подспудно, незаметно — уровень российской прозы. Многие читатели и авторы, сами того не ведая, ориентировались на ее требования к тексту.

Анна Самойловна, кроме того, писала удивительно смешные статьи, литературные фелетоны, что было событием в те трудные времена, актом мужества.

Анну Самойловну уволили с работы в 1971 году — и за ее авторов, за этот список, и за статьи.

И все эти годы она не только работала — о многом мы еще узнаем, — но и защищала своими собственными силами запрещенных, непечатаемых, загнанных в подполье писателей. Как защищала? Точно по формуле Уголовного кодекса: хранила и распространяла рукописи (вспомним роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», солженицынские вещи). Следила за новыми работами, иногда — правда, с годами все реже — звонила, слабым голосом хвалила, а что такое была ее похвала, не знает никто. Мороз по коже, и хочется писать, и не важно становится, напечатают ли это...

Она была для нас крестной.

Она умерла в полном одиночестве, никого не затруднив своей слепотой, слабостью, нищетой.

Только малое число преданных друзей допущено было в ее дом.

Она умерла гордым, независимым человеком, умерла такой, какой была, не изменившись.

Святой путь и мгновенная смерть.

Спасибо Вам, Ася Берзер, за Вашу жизнь.

Простите нас за Ваше многолетнее одиночество.

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ.



SUMMARY



First in issue is an editorial celebrating the 70th anniversary of the «Novy Mir». Poetry is represented by poems of Alla Sharapova, Alexey Alyokhin and Elmira Kotlyar.

We are publishing a new novel by prosaist and script-writer Valery Zalotukha, «The Great March For the Liberation of India» — a fantastic account of the Red Army's failed expedition to establish Soviet power over India.

Mark Kostrov publishes documentary short stories «Muzzle Brakes», about the post-war life of Soviet officers in Chukotka.

Section «Philosophy. History. Culture» contains a large essay by Yury Kagramanov, «The Empire and Oecumene».

Section «Publications and Reports» presents letters of academician V. V. Vinogradov to his wife.

In «Literary criticism» there are Sergei Borovikov's notes «In the Russian Style».

Section «By the Way» contains polemical notes on realism and post-modernism by critic Pavel Basinsky.

In «Book Review» Anatoly Kuznetsov offers an account of the recent editions on Mikhail Bakhtin, Pavel Basinsky reviews the first volumes of the Russian Writers Dictionary, Andrey Nemzer — the latest book of Natan Eidelman.

«Briefly About Books» includes Yury Kublanovsky's review of two issues of the new poetry magazine «Arion» and Alexander Andryushkin's review of the new Armenian-Jewish magazine «Noah».

As usually, the issue is ended with «Bookshelf».

**Читайте в следующем номере
статью Марины Новиковой
«Символы»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким (зам. главного редактора), С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Технический редактор А. С. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09 94 г Подписано к печати 10.11.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир» Формат бумаги 70x108 1/16 Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 25 000 экз. Зак. 4047. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
Л. АЙЗЕРМАН. «Из таких крупинок складывается история...» (заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений);
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Письма из Поднебесной (путевые записки);
В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Полторы комнаты (автобиографическая проза; перевод с английского);
БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);
АНАТОЛИЙ КИМ. Онлирия (роман);
Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);
МАРК КОСТРОВ. «Я хочу, чтобы вы знали мое мнение...» («выбранные места» из писем читателей);
АЛЕКСАНДР КУШНЕР. В зеленоватом, потом золотом... (стихи);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Кавказский пленный (рассказ);
МАРИНА НОВИКОВА. Символы (статья);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. У нас в богадельне (повесть);
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Мост Ватерлоо (рассказы);
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Тихая улица (рассказ);
АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ. Натренированный на победу боец (роман);
АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ. И слово в музыку вернись... (о певице М. А. Олениной-д'Альгейм);
АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. Неизвестные страницы воспоминаний;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в России;
ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Воскресшее слово (главы из книги);
Д. ШТУРМАН. После Катастрофы (по страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Радости жизни (рассказ);

а также новые произведения ЛЬВА АННИНСКОГО, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, ВИКТОРА АСТАФЬЕВА, АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МИХАИЛА КУРАЕВА, ОЛЕГА ЛАРИНА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, В. НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ИРИНЫ СУРАТ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ!**